Борис Чичибабин

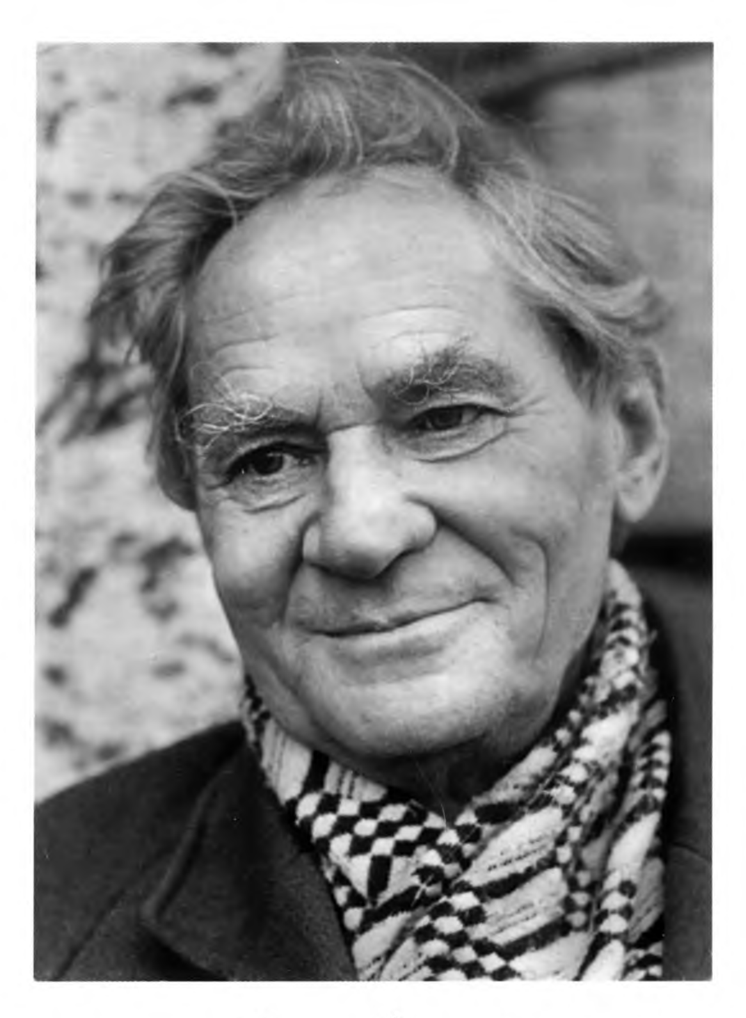


В стихах и прозе

Борис
Чичибабин



В стихах и прозе



Борис Чичибабин

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Борис Чичибабин



Издание подготовили:

Л.С. КАРАСЬ-ЧИЧИБАБИНА

Л.Г. ФРИЗМАН



МОСКВА НАУКА 2013

УДК 82
ББК 84(0)6
Ч-72

Ответственный редактор
Б.Ф. ЕГОРОВ

Серия основана академиком
С.И. ВАВИЛОВЫМ

По сети «Академкнига»

ISBN 978-5-02-038097-4

Мысли о главном





Да будут первыми словами этих моих раздумий на бумаге, которые сам не знаю куда меня заведут, слова благодарности и любви. В начале 70-х судьба подарила мне близкое общение с двумя замечательными людьми – Зинаидой Александровной Миркиной и Григорием Соломоновичем Померанцем, вечное им спасибо! Незадолго до этого я, как, впрочем, многие тогда из моего поколения, пережил великую и грозную духовную катастрофу, утрату того, что долгие годы было для меня ценностями и святынями. Земля уходила из-под ног, перед глазами разверзалась бездна. От самоубийства или помешательства меня спасла любовь к женщине, которую зовут Лиля и с которой я с тех пор не расстаюсь. Вместе мы прочитали какие-то случайно дошедшие до нас в Харьков статьи Григория Соломоновича. Сейчас имена Миркиной и Померанца стали известны многим, а тогда, особенно если учесть, что жили мы далеко друг от друга, в разных городах, найти их и обрести в них родных и близких людей было чудом. На протяжении нескольких лет они были моими духовными вожатыми. Если он остается в моих глазах примером свободного и бесстрашного интеллекта, то она, Зинаида Александровна, на всю мою жизнь пребудет для меня совершенным воплощением просветленной религиозной духовности, может быть, того, что верующий назвал бы святостью. Величайшим счастьем моей жизни были их беседы, во время которых они говорили оба, по очереди, не перебивая, а слушая и дополняя друг друга, исследуя предмет беседы всесторонне, в развитии, под разными углами, с неожиданными поворотами. Хотя говорили она и он, это был не диалог, а как бы вьющийся по спирали двухголосый монолог одного целостного духовного существа, из снисхождения к слушателю, для удобства восприятия и ради большей полноты разделившегося на два телесных – женский и мужской – образа. Таким же счастьем было слушать Зинины стихи. К тому времени она уже давным-давно страдала какой-то страшной, неизлечимой, разрушительной болезнью, доставлявшей ей во время приступов такие нестерпимые муки, что она, терпеливица, смиренница, молитвенница, порой просила Бога о смерти. Но между приступами, когда к ней приходило вдохновение, стихи изливались из нее безудержным, неиссякаемым потоком, иногда по нескольку стихотворений в день. Это было вроде давидовой Псалтыри или, еще лучше, единой непрестанной молитвы со множеством разветвлений и вариаций.

Ни до, ни после я не встречал такого интенсивного, одержимого, обильного творческого процесса. Это было похоже на чудо, в моем представлении так творили Микеланджело, Бах, Моцарт – великие гении и послушные «Божьи ремесленники».

В этом доме на Рождество устраивалась елка – но что это была за елка! Специально для нее Зинаида Александровна писала сказку, каждый год – новую, так что теперь из этих рождественских сказок пора бы составить большую чудесную книгу, которую хотелось бы прочитать и детям, и взрослым. Елка затейливо украшалась персонажами и образами написанной сказки. Ее ставили в ведро с мокрым песком, она стояла неделями, долго, для того чтобы на нее можно было пригласить друзей с детьми, близких, знакомых, всех, кто хотел послушать сказку, а таких всегда было много, а комнатка – маленькая, и таинство повторялось несколько вечеров. Тушился свет, Зина тихим, сосредоточенным, как будто прислушивающимся к чему-то и повторяющим не свои, а чьи-то услышанные слова голосом, – так она и стихи читала – начинала рассказывать сказку. Гриша колдовал с выключателями. Загорались лампочки, освещающие разные кусочки елки, те сценические площадки с человечками, гномиками, зверушками, ангелами, звездами, предметами из рассказываемой сказки, на которых разыгрывалось ее действие и которые попеременно требовались по ходу действия. Сказка была с приключениями и тайнами, с ненавязчивым религиозным смыслом, долгой, высокой, доброй, празднично-светлой, как рождественская елка. Сколько людей побывало на этих вечерах, прослушало Зинины сказки, сколько детей, уже давно ставших взрослыми, научились из них правдолюбию, солидарности, благородству, добру! Мало кто из них остался на родине, но я убежден, что тот, кто хоть раз побывал на Зининой елке, не забудет ее, благодарный, пока живет на земле. Она-то, Зинаида Александровна, и подарила мне свою любимую молитву. То есть не подарила, конечно, просто рассказала в одном из писем, какая у нее есть любимая молитва, а это я уже сам принял ее на всю жизнь как самый дорогой подарок, как святой дар. Молитва эта такая: «Господи, как легко с Тобой, как тяжко без Тебя. Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!». Я думаю сейчас: всем бы нам повторять эту Зинину молитву. Не жить по ней (кто же и когда жил по ней в нашем-то мире?), но хотя бы повторять, помнить, знать, что есть такая молитва, думать об этом. «Да будет воля Твоя, а не моя!». Я думаю, что то, что вложено в эти слова, должно быть понятно и близко каждому, в ком есть душа и разум, каждому способному «мыслить и страдать». Еще недавно в нашей стране большинство населения были атеисты. Наверное, и сейчас многие не верят в Бога, не могут или не хотят поверить. Я с величайшим уважением отношусь к вере или неверию любого мыслящего существа. Для меня дело не в слове «Бог». «Да будет воля Твоя, а не моя» – это должно быть, по-моему, и атеисту понятно, если он посмотрит вокруг

себя, а заодно и в себя заглянет и задумается. Все знают библейский миф о первородном грехе и утраченном рае: люди отступились от Бога, обманули и покинули Его, променяв райскую гармонию на беззаконие и бессмыслицу соблазненного своеволия. Это происходит на наших глазах каждый день. Но и тоска по утраченному жива в сердцах, если они еще живые. «Твоя, а не моя» – это признание той неоспоримо очевидной истины, что в мире есть нечто более правильное и верное, чем воля, хотение, произвол отдельной личности или группы людей, общества, государства, что мир в своем существовании, вся наша жизнь подчинены высшим нравственным законам, более естественным, могущественным и постоянным, чем все экономические, политические, правовые, государственные и прочие законы, придуманные человеческим своеволием. Уклонение от этих вечных и непреложных законов опасно и болезненно, каждый из нас испытал это на себе, а прямое нарушение их приводит к смертоносным и всеразрушительным последствиям. Говоря проще и короче, «Да будет воля Твоя, а не моя» – это признание того, что жизнь не может быть чем-то случайным, хаотичным, неуправляемым, что в жизни нашей должен быть смысл, что в ней есть смысл.

Я не знаю, что такое Бог, так же как не знаю, в чем смысл жизни. Я считаю себя не вправе рассуждать об этом, да полагаю, что и никто не вправе. Просто, как на исповеди, хочу признаться, что для меня Бог начинается не «над», а «в», внутри меня, в глубине моей, но в такой непостижимо дальней, в такой невообразимо сокровенной глубине, когда она, не переставая оставаться моей личностной глубиной, моим невозможно-идеальным, никогда в реальности не осуществимым, совершеннейшим «я», Божьим замыслом меня, свободным от искажений жизни и судьбы, становится уже и глубиной другого человека, и всех людей, живущих и живших на земле, и не только людей, но и животных и растений, тополя за окном, березки, посаженной Лилей четверть века назад и растущей перед нашим балконом. И еще я знаю, что Бог один – у православных и католиков, у христиан и иудаистов, у мусульман и буддистов, у верующих и неверующих. И пребывает Он в Вечности. Вечность, вечная жизнь, в моем представлении и понимании, это не то, что будет когда-то, не то, что, скажем, ожидает нас после смерти, а то, что, в отличие от проходящего времени, не проходит, а есть – есть всегда и сейчас. Живя во времени, в 1994 году, сегодня, мы, временные, смертные люди, какими-то своими мыслями, чувствами, поступками и вечности причастны, и вечности принадлежим. Вообще же, в моих мыслях об этом, о Боге, о вечности, в моем знании, что Он есть, в моем чувстве присутствия Его в мире и в моей собственной душе, в моем отношении к Нему, в моих отношениях с Ним все полно тайны, недосказанности и абсолютной уверенности в том, что это знание, это чувство, эти отношения и составляют Главное в жизни каждого человека, во всей мировой жизни. Думаю, что было время (сужу по книгам,

по преданиям, по памятникам культуры, по самой культуре, в конце концов), когда большинство живущих людей знало про это Главное и в жизни своей руководствовалось этим знанием. Конечно, и тогда в жизни было много темного и страшного, и тогда среди людей были и властолюбцы, и мошенники, и распутники, и воры, и убийцы; и все-таки про это Главное знали все, и знали, что это и есть Главное. Знал каторжник, осужденный за тяжкое преступление, за насилие, за убийство, и знала крестьянская женщина, подававшая ему милостыню – кусок хлеба или денежку, – все знали, каждый знал. В человеческих душах, невежественных, непросвещенных, жило представление о добре и зле, понятие греха и покаяния. Совершая преступление, дурной поступок, люди знали, что они совершают грех против Бога (или, если они не верили в Бога, против совести, справедливости, неписаных нравственных мировых законов, против смысла и лада жизни), в конечном итоге против жизни, и что грех этот влечет за собой «Божье наказание», требует искупления. С этим знанием жили десятки поколений людей, – я убежден в этом: я не могу не верить любимым книгам, истории, мировой духовности, которая вся на этом зиждется. И вся беда и весь ужас нашей сегодняшней жизни, вся ее тьма и тяжесть и состоят в том, что из жизни ушло Главное и сама жизнь поэтому лишилась значения и смысла, цельности и подлинности.

Пока человек живет на земле, он не может быть свободен от земных, повседневных, житейских забот. Никакой Бог не может этого требовать. Но, живя сегодняшним, люди помнили о Вечном. У них были непреходящие ценности и святыни, которыми они и мерили свою жизнь. Кроме понятия греха было понятие суеты. Не знаю, когда и как это случилось с нами, но мы в нашей жизни подменили Главное если не прямо ложным и мнимым, то уже точно второстепенным, суетным, отвлекающим, мешающим, запутывающим. Беда не в повседневности, не в быте – от них никуда не денешься, – а в том, что, когда мы перестали думать о Главном, повседневность, быт, суета заняли в нашей жизни главное и единственное место. Все наши мысли и чувства заняты политикой, карьерой, зарплатой, вещами, тряпками, склоками, званиями, поисками виноватых, сведением счетов – преходящим, бренным, сиюминутным, лишенным и высоты, и глубины, и света, и возможности какой-то гармонии. Ну, давайте представим, что нам сказали абсолютно достоверно, неусомнительно точно, что послезавтра в три часа дня мы умрем, нас не станет, – неужели эти оставшиеся нам часы мы так бы и продолжали жить, со всем этим, со всей нашей ложью, алчностью, завистью, враждой? Да не может же быть! Вот тогда бы, по-моему, с нас и сошло бы, и спало бы все неглавное, невечное, неподлинное и осталось бы то, что в нас задумал Бог и чем мы должны предстать перед Ним, и осталось бы Главное. Но ведь мы и так знаем, что когда-нибудь умрем, – почему же не опомнимся, не задумаемся, не вспомним о забытом и утраченном? Давайте вспомним,

попробуем вернуть Его в нашу жизнь, вот в такую, какая она есть сегодня, – со всеми неурядицами и смутами, с грызней в очередях и пустыми полками магазинов; я верю: мы увидим, как она сразу изменится; озарится, освятится добром и смыслом.

Я думаю, что для человека гораздо невыносимее, страшнее и мучительнее любых испытаний, лишений и мук сознание того, что эти испытания, лишения и муки не имеют смысла, сознание их напрасности и случайности. Для мыслящего существа бессмыслица его жизни в бессмысленном мире страшнее смерти, ужаснее небытия. Но вот в сплошной и враждебной душе бессмыслице сегодняшней жизни, где небывало обильный урожай остается несобранным, а безвозмездно-щедрые дары богатых соседних народов по нерасторопности и дурости пропадают в дороге, во всем этом абсурде и хаосе вдруг видишь прекрасный храм, слышишь музыку Моцарта или стихи Пушкина, – и душа получает утешение, обретает надежду и веру: не может быть бессмысленным мир, в котором есть такие нетленные сокровища человеческой духовности. И я опять повторяю Зинину молитву: «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!». По-моему, мировая культура есть нагляднослышимо-осязаемое осуществление этой воли, во всяком случае, вслушивание в нее, ее исполнение и утверждение. Культура принадлежит вечности и каждого из нас приобщает к Вечной жизни. Поэтому, когда я слышу и, мало того, сам повторяю слова о кризисе культуры, об упадке культуры, я чувствую их неточность и то, что они основаны на недоразумении. Конечно, в нашем сознании существует понятие культуры того или иного народа, общества, региона, той или иной эпохи, но ведь существует понятие единой мировой культуры, в которой ничто не отмирает и не отменяется. Кризис или упадок может переживать человеческое общество, но не культура. Сменяются экономические системы, гибнут империи – культура остается. Люди могут отказаться от Бога, но Бог не может отказаться от людей. Можно закрыть глаза и уши, души и сердца, можно не слышать зова, но он-то все равно звучит, пусть для немногих, пусть для никого – кто-то да услышит, откликнется, отзовется. Мы все повторяем слова Достоевского о красоте, которая спасет мир. Культура и есть эта спасительная красота, включающая в себя и добро, и истину. Ведь она – не только книги, храмы, музеи, философия, музыка, живопись, она, в еще большей мере, тот свет, который все это оставляет в наших душах. Культура – это и наше поведение в жизни, и наши отношения друг с другом, наша дружба, любовь, терпимость, способность к созиданию и милосердию, наше чувство ответственности. Если нас не спасет культура, нас больше ничто не спасет.

Попутно не могу не отметить, что в противоположность культуре, являющейся в моих глазах чем-то близким тому, что верующий определил бы как проявление Божьей воли, то, что мы называем цивилизацией, есть, по-моему,

как раз уклонение от этой воли, ее искажение или нарушение, основанное на человеческом своеволии. Если культура – это воистину смысл, свет, гармония жизни, то цивилизация – ее бессмыслица, суета, разлад и разложение. В то же время между ними есть таинственная и сложная связь, удивительно, до смеха и ужаса похожая на отношения главных антагонистических героев мудрой сказки Андерсена (и пьесы Евгения Шварца)[1]. Как ученый и его тень, так и культура и цивилизация не могут, видимо, существовать одна без другой. Как в сказке, цивилизация вынуждена считаться с культурой, даже помогать ей, быть все время вместе, неразлучно, и, как в сказке, цивилизацию иногда принимают за культуру. По-моему, не нужно доказывать, что в таких понятиях, как «массовая культура», «рок-культура», «молодежная», «постмодернистская» и всякая «другая культура», слово «культура» совершенно ошибочно и излишне и что к культуре эти понятия никакого отношения не имеют, хотя бы потому, что они зависят от обстоятельств, от времени, от моды и на них рассчитаны. Рожденные безбожным человеческим своеволием, они враждебны и разрушительны для души и духа, но, по счастию, недолговечны, и влияние их легковесно-поверхностно и несерьезно.

«Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!». Так может молиться только свободный человек. Культура невозможна без абсолютной внутренней свободы тех, чьим делом и достоянием она стала. Но и свобода без уважения к культуре, без воспитанного культурой чувства достоинства и ответственности есть абсурд и дикость, производные от «бессмысленного и беспощадного» рабского бунта, то же рабство, только вывернутое наизнанку, нечто невообразимое и страшное. Не с отстраненным и грустным безразличием и уж, конечно, не со злорадством, а с великой тоской и болью задыхающегося и истекающего кровью сердца писал замечательный русский писатель, мудрец и мученик, Василий Гроссман о том, что «русская душа – тысячелетняя раба», что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России – ростом рабства. И как бы ни проклинали его за эти «исступленные нападки» на русский народ наши «духовные пастыри», – как будто можно быть бо́льшим патриотом и народолюбцем, чем воевавший под Сталинградом Гроссман, – лучшим доказательством его горькой и мучительной правоты является не только то, что, получив в последние пять лет всевозможные и не снившиеся нам прежде политические, гражданские, «внешние» права и свободы и завоевывая на митингах и съездах все новые и новые, мы не знаем, что с ними делать, и, оставаясь внутри рабами, ведем себя как рабы, неспособные к свободному и ответственному труду, нетерпимые, завистливые, мстительные, недобрые, но и то, что именно сейчас из нас, а уж в первую очередь из них, из «пастырей» наших «духовных», и особенно из самых «чистокровных» и

[1] Имеется в виду замечательная пьеса Евгения Шварца «Тень», в которой использован сюжет одноименной сказки Андерсена.

«самородных», так и полезла наружу рабская наша вражда к мировой культуре, не просто неприязнь или нелюбовь, а едва ли не ненависть. Рабом, если он привык к своему рабскому состоянию, в известном смысле быть удобней и легче. «А разве плохо быть рабом?» – очень искренне и совершенно серьезно спросил мою жену ее сотрудник по работе в проектном институте. Должен признаться, что это совсем не такой уж простой вопрос.

Есть мысли, которые становятся для нас руководством на всю жизнь. Такой мыслью стало для меня вычитанное у любимого Бердяева мудрое, благое и точное противопоставление религиозного, благородного и плодотворного чувства вины, присущего свободному человеку и приводящего к покаянию, искуплению, воскрешению, – рабскому чувству обиды, безбожному, низменному и губительному, рождающему новые обиды и неостановимое бесконечное зло. А мы все сегодня полны и только и живем этим страшным рабским чувством. Когда один из самых культурных и уже поэтому один из немногих истинно свободных людей в стране – Дмитрий Сергеевич Лихачев – призвал нас всех к покаянию, Господи, как возмутилось в нас это чувство: пусть палачи и насильники каются, разрушители храмов, голодоморы, казнокрады, начальники, аппаратчики, а нам-то в чем? Мы непричастны, мы в сторонке, сами обиженные, жертвы, винтики. Да вот в том, что были винтиками, и покаемся! Академик Лихачев, чудом избежавший расстрела на Соловках, не считает, что ему не в чем каяться, не снимает с себя вины за все зло, всю ложь, все грехи своего времени и государства. И академик Сахаров не снимал. И те семеро, что вышли на площадь, протестуя против ввода наших войск в Чехословакию, не снимали и не снимают. И кто в лагерях да психушках при Брежневе сидел, не считают себя героями, винятся, каются. В том, что жили в такое время, в такой стране и, значит, не могут быть непричастны ко всему, что творилось тогда, да и по сей день творится, не могут не разделять вины и ответственности за все, что делалось и делается, было и есть. Да так всегда и велось на свете: чем душа праведней, тем она сама себя и считает грешней и виноватей, тем больше ей есть в чем покаяться, а мнили о себе, что не в чем, те, кто понаглей да поподлей, ну разве что еще дурачки по слепоте да недомыслию.

Нет, не изжили мы в себе рабов и, Бог весть, изживем ли. Культуру мы и сейчас сплошь и рядом подменяем идеологией, к тому же тоталитарной, упрощенно воинствующей, все богатство, всю сложность духовной жизни со всеми противоречиями, оттенками, версиями сводящей к двум полюсам: богатые и бедные, белые и красные, а «кто не с нами, тот против нас». И оттого что полюса эти противоположно поменялись, ничего в нашей рабской непримиримости не изменилось. Вчера мы все поголовно были «красные», в детские годы любили Гайдара (а ведь он действительно прекрасный детский писатель), потрясались фильмом о Чапаеве (а ведь это действитель-

но великий фильм), собирали в своих библиотеках лучшие книги из серии «Пламенные революционеры» (а ведь в этой серии были хорошие книги, для нее писали Трифонов и Эйдельман, Давыдов и Окуджава, Аксенов, Войнович, Гладилин), – сегодня мы все «белые», да еще и такие, что белее и быть невозможно, поем песни о поручике Голицыне и корнете Оболенском, с умилением поминаем всех без разбора русских царей, возрождаем традиции русского дворянства и любимый герой у нас Столыпин с его идеей «великой России», и во враги этой «великой России», а значит, и в свои враги мы зачисляем не только Ленина с большевиками, но и всех революционеров и либералов, начиная с Радищева, да и чуть ли не всю русскую литературу. А ведь русское бунтарство, скоморохи, еретики, раскольники, Болотников, Разин, Пугачев, Булавин, как и русская революционная мысль – Радищев, декабристы, Герцен, народники – это ведь тоже русская традиция, наше наследие. Что ж это у нас за судьба – вечно от какого-то наследия отказываться? Вчерашние поголовные атеисты, сегодня мы скопом бросаемся в православную церковь, опять-таки не с покаянием, а за утешением и помощью, не подозревая того, что путь веры и трудный, и тернистый, и уж в любом случае индивидуальный, личностный, свободный и ответственный путь. Не просить и ждать от Бога помощи, милости, чуда, а «помочь Богу нужно», – говорит Зина Миркина, и правильно, по-моему, говорит. Разуверившись в наших любимцах и лидерах, устав от их парламентской и митинговой болтовни, поняв-таки, что они такие же рабы, не истины алчущие, не добра возжаждавшие, а воюющие друг с другом за свою правоту, за свой верх, за свою власть над душами, в предчувствии беды мы по-прежнему ждем выхода и спасения от кого угодно и чего угодно, но только не от самих себя. Рабы, никогда не знавшие радости свободного труда, свободного деяния, мы, может быть, и хотели бы, да не умеем, не можем, не знаем, как приложить руки и душу к какому-то конкретному живому делу, которое хотя бы чуть-чуть изменило к лучшему положение в доме, в селе, в городе, в государстве, хотя бы на немного улучшило и осмыслило нашу жизнь.

Не нужно идти за толпой, растворяться в массе – к этому нас уже призывали. То, что верующий называет Божьей волей, только в тишине, только в личной сосредоточенности можно услышать. Бродский сказал в нобелевской речи, что человечество спасти уже нельзя, поздно, но отдельного человека – никогда не поздно, еще можно и должно спасти, и мне это очень близко и дорого. Только с отдельного человека и начинается пробуждение, воскресение, спасение, только так и начинается всякий путь. И если мир спасется, то только так – через личность. Не представляю, чтобы к истине можно было прийти «соборно». А у нас – как? Вот Бухарин ругал Есенина – значит, напрасно мы его реабилитировали, поскольку он враг России и русского народа. Маяковский не любил Булгакова – значит, он еще хуже Сталина и тоже враг

народа. Да не могли Бухарин любить Есенина, а Маяковский – Булгакова, это же понятно и естественно. И что это за установка, что всякий русский должен любить Есенина и Булгакова, а если кто не любит, так тот и не русский? Даже о Пушкине, как ни хочется, нельзя так сказать. Толстой Шекспира не любил, Ахматова – Чехова, – это печально, но это их дело, и ничего тут не скажешь. Великая личность – явление неоднозначное, сложное, меняющееся во времени. Сейчас у нас в стране антиленинское поветрие. За семьдесят с лишним последних лет нашей народной жизни накопилось столько зла, которое в нашем сознании, справедливо ли, несправедливо ли, связано с этим именем, что разобраться в этом очень непросто. Для нас сегодня что Сталин, что Ленин, что Маркс – во всех них мы видим виновников нашей русской беды. Вряд ли это может быть правдой. Мы и в слове «социализм» не слышим сейчас ничего хорошего, а между тем идеи социализма, идеи социальной справедливости будут жить на земле, пока живо человечество, это и Бердяев знал. Но только Ленин, по-моему, был еще и очень русский человек, очень русский путаник, и хотя и считал себя марксистом, но и социализм у него был не марксовый, а очень русский. В душе Ленина вполне по-русски попыталось совместиться несоединимое – русский бунт и русский порядок, великий революционер и великий государственник, что-то от Разина и что-то от Петра. В революции он шел за массой, за стихией, вероятно, потому и сумел обуздать ее и прибрать к рукам, крови на нем много, но в конце жизни что-то же надоумило его сделать и спасительный и благодатный для народа поворот к нэпу, и, если бы ему еще пожить, все эти семьдесят лет совсем по-другому сложились бы и обернулись, – политик-то он был гениальный (если в политике возможен гений). Умирать ему, должно быть, было страшно: вероятно, он многое понял и сам себе ужаснулся. Во всяком случае, со Сталиным я его никогда не равнял и равнять не могу.

Так же, как от Ленина, сейчас мы с обоих краев, и правые, и левые, в один голос отрекаемся от Октябрьской революции. Дескать, революция эта в историю нашу попала случайно, по ошибке, и хорошо бы эти страницы из истории выдрать, как будто их и в помине не было, да и не народная это революция, а историческое недоразумение и преступление, переворот, сотворенный кучкой злоумышленников, преимущественно нерусского происхождения. Да чушь все это! Великая русская революция вовсе не начинается, и не кончается, и не исчерпывается октябрьским переворотом, который, может быть, и был осуществлением заговора, кстати, довольно бескровным. Но не могла кучка злоумышленников всю Россию всколыхнуть: от брошенных солдатами окопов на Западе до самых глухих и отдаленных окраин, до самого Тихого океана. Значит, накапливались непростимые народные обиды, чтобы разом прорваться в великую и страшную четырехлетнюю братоубийственную войну. Тому и свидетель есть непогрешимый и неподкупный,

которому невозможно не верить – великая русская литература. Или уже не слышим Некрасова? Не слышим Щедрина? А если, повинуясь времени и моде, мы этих «смутьянов» уже отлучили от русского гражданства, изъяли из наследия нашего, то что ж – и великого Толстого не слышим, кого слышал весь мир? И Достоевского не слышим, которого сейчас сами на каждом шагу поминаем? Вспомним, перечитаем в «Карамазовых» разговор в трактире Ивана с Алешей, историю про то, как крепостного ребенка помещик собаками затравил. Вот они – причины и истоки революции нашей. Перечитаем Александра Блока, самого чуткого, самого искреннего, самого прозорливого русского поэта XX века, стихи его из третьего тома – о «Страшном мире», о «Возмездии» – и его статьи того времени. Или и Блоку не верим? Тогда перечитаем Бунина, ненавидящего революцию, – знаменитую «Деревню». Ведь очевидно же, что все в России шло и вело к революции, и не только с начала века, но и гораздо раньше, что не могла она не разразиться, не свершиться в этой стране, в нашей многогрешной России, и именно такой – великой, грозной, кровавой, стократным «бессмысленным и беспощадным» повторением разинщины и пугачевщины. Сегодня уже невозможно славить революцию, прощать ей ее преступления не в человеческих силах. Когда читаешь о всех ужасах «красного террора», да и белого тоже, когда пробуешь представить, как живых людей в землю зарывали, как живых в паровозные топки бросали, как живых пилами распиливали, кажется, с ума сойдешь, сердце не выдержит – разорвется или остановится. Конечно, «не приведи Бог» – не с Пушкиным же спорить, – конечно же, великое преступление и великий грех. Но ведь и великая трагедия, великая кара, великое возмездие тем, против кого она была направлена и кто в ней повинен, как предсказывала и предупреждала русская литература, как понимал все тот же Бердяев, по крайней мере, ничуть не меньше тех, кто ее осуществлял. И недаром же Пушкин во всей русской истории, наряду со всегда привлекавшим его Петром, больше всего как раз и интересовался Разиным да Пугачевым.

Хотим мы того или не хотим, а революционное сознание, революционное чувство, сама революция со всем, что ею порождено и ей сопутствовало, – это тоже наше наследие, к тому же самое близкое и прямое, самое кровное, самое живое, и не все в этом наследии – зло и грех, есть и добро, и подвижничество. И ведь то, во имя чего произошла революция, прекрасно и свято, ведь лозунги ее, обещания ее человечны и привлекательны: «мир народам, власть Советам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим», – разве это безбожные призывы? Мы только сегодня беремся их в жизнь воплощать, ведь и наша «перестройка» задумывалась и начиналась как продолжение революции, – значит, живы ее замыслы, может быть, сможет она искупить свои грехи? Может быть, и впрямь не кончена она на страшном и стыдном, может быть, впереди у нее преображение и искупление? Ведь было же, пусть

на очень короткое время, весь мир потрясшее революционное искусство 20-х годов, замечательные фильмы, замечательная музыка. Многие великие революции прошли через террор и диктатуру, но со временем отстоялась кровавая муть и замыслы их воплотились во что-то разумное и доброе – и празднуют французы 14 июля, день взятия Бастилии как самый великий свой национальный праздник. Но нас призывают забыть революцию, отказаться от ее идеалов, сделать вид, что не было ее в России, одни – для того, чтобы вернуться к старому, к тому, что было у нас до 17-го года, к монархии, к империи единой и неделимой, другие – для того чтобы строить что-то с самого начала «по чужому образцу», «на голом месте». Это все от несвободы, от безответственности, от бескультурья нашего. Не берусь судить, как жилось русскому народу до 17-го года, так ли хорошо и благополучно, как сейчас нам по телевизору рассказывают, или так тяжело и безобразно, как описали Бунин в «Деревне» и десятки других писателей меньшего калибра, в том числе и крестьянских, но знаю, что вернуться к этому старому, уже несуществующему, или каким-то образом вернуть его на совсем другую, новую землю просто нельзя, невозможно, как невозможно и нельзя что-то создать, построить из чужого или придуманного материала, из пустоты, из ничего. Ни то ни другое никогда никому не удавалось.

Политико-экономические преобразования, начинавшиеся девять лет назад в нашей стране, я, как и большинство ее населения, встретил с надеждой, радостью и восторгом, тем более, что начались-то они для меня с безусловно хорошего и доброго: вернулись из лагерей и тюрем мои друзья и знакомые, был возвращен из ссылки академик Сахаров. 25 лет, по сути всю мою творческую жизнь, я был отлучен от литературы, от читателя и слушателя, а тут мои стихи стали печатать – это ли не радость для поэта? Но беда не в том даже, что эти преобразования осуществляются не так, как о них мечталось, как они задумывались, а в том, что и задумывались-то они без мыслей о Главном, без той Зининой молитвы, о которой я так много говорил в этих размышлениях. Великое дело – освободить души сотен миллионов людей от казенной лжи, от государственного насилия, от ненужных, смешных и нелепых запретов; еще важнее, наверное, наполнить товарами полки магазинов, приблизить материальный уровень нашей жизни к тому, как живут люди во всем мире, но ведь не может же быть, чтоб в этом был смысл жизни, чтоб это было исполнением того, что верующий называет Божьей волей. Ведь надо же когда-то подумать о Главном, о душе, о духе, нельзя же без конца откладывать. Я скажу страшное: и в нашем «религиозном возрождении», в нашем обращении к церкви не вижу я этого Главного. Когда я смотрю и слушаю по телевизору многолюдные и пышные богослужения, и где-то тут, на переднем плане, наши президенты, премьеры, мэры, использующие церковь для создания своего нового «имиджа», стоят со свечечками в руках, мне становится

неловко и жутко; по-моему, это безбожно. Прекрасны наши русские храмы и прекрасны русские хоры, но в этой пышности мне было бы трудно обрести и услышать Бога, скорее – в лесу, среди зеленых трав и деревьев, или на пустынном берегу моря, где никто не мешает. В Москве, в Петербурге, во многих наших городах по улицам слоняются молодые люди, юноши и девушки, на глазах распутничают, сквернословят, дерутся, издеваются над прохожими, а на груди у каждого – православный крест. В общественном транспорте места старому человеку не уступят, еще и обматерят, а тоже с крестом. Завтра они пойдут стадом громить, убивать евреев, коммунистов, интеллигентов, «врагов России», может быть, даже с иконами и хоругвями, было же и такое в нашей истории. Убили же Александра Меня – ничего, сошло, а убиенного царя собираются канонизировать как святого. В киосках и на лотках рядышком лежат иконки, крестики, молитвенники – и эротические открытки и порнографические книжонки. Все это стыдно и гадко. И непредсказуемо-ужасно невероятное, немыслимое, кощунственное и в то же время абсолютно понятное и даже, вероятно, неизбежное объединение коммунистов, самых косных и твердолобых, и церковников, монархистов, черносотенцев. Но, во-первых, как сказал поэт, «они всегда договорятся»: интересы-то одни, имперские, кровные, шкурные, а, во-вторых, чего же было и ждать в неразберихе и бессмыслице нашей жизни, при нашей несвободе, некультурности и бездуховности.

А вот «нам» с «ними» вряд ли можно «договориться», и вряд ли нужно, и вряд ли этого от нас хочет Бог. Правда, когда в открытом море гибнет и идет на дно корабль и люди бросаются спасать детей, женщин, самих себя, в те минуты и часы они не думают, кто из них коммунист, кто монархист, кто фашист, и действуют сообща, вместе – вот разве так. Но ведь это случай экстремальный, предсмертный. Возможно ли так в нашей сегодняшней жизни? Согласно Божьим заповедям, нужно, должно ненавидеть грех и любить грешников, не принимая зла, противясь ему, любить злодеев, любить в них людей, наших братьев и сестер. Я знаю, что это так, знаю, что так нужно и должно, но понять это ни умом, ни сердцем не могу, тем более не могу применить это в жизни. Я не могу любить мучителя, убийцу, насильника, не могу отделить их страшных дел, их злодейств от них самих, не могу увидеть в них человеческого, Божьего. Знаю, что это мой грех, мое несовершенство, моя вина, мое несчастье, но я не могу и вряд ли хочу мочь. Да «объединиться» с ними значило бы «объединиться» с их взглядами, которые, в моем представлении, являются злом; не с ними, как с людьми, а именно с тем, что они проповедуют, к чему призывают, значило бы полюбить не грешников (в отношении некоторых из этих людей это как раз легко было бы сделать), но сам грех, принять на душу их грехи, то есть пойти против себя, против Бога. Думаю, что это ненужно, нельзя и невозможно.

Долгие годы, да что годы – века, мы, русские, утешали себя да, кажется, и сейчас пытаемся утешить себя мыслью о какой-то особенной русской духовности, об особенной нашей, в отличие от всех других народов и стран, близости к Богу. Пусть у нас кровавая и нелепая история, пусть другие страны и народы богаче нас, материально благополучнее и благоустроеннее, зато мы превосходим их какой-то «особенной» статью, некоей мистической «всемирной отзывчивостью», богопослушностью и богоизбранностью. Мы даже гордились своей темнотой и бедностью, по крайней мере, видели в них какое-то знамение: «убогий» значит «у Бога», – вот мы какие: мы у Бога, мы ближе всех к Богу. Я был очень мало за границей – несколько дней в Италии, несколько дней в Германии, мне трудно судить о духовности живущих там людей, скорее всего, и они не вспоминают о Главном в своей повседневной жизни. Но и за несколько минут можно разглядеть, – это сразу и самое первое, что бросается в глаза, – что они все свободнее, спокойнее, приветливее, благожелательнее наших людей. Очень может быть, что они менее духовны, чем мы, этого сразу не увидишь, но они, в отличие от нас, например, очень внимательны и заботливы к своим инвалидам и старикам, к бедным и немощным. И я, грешным делом, никак не могу понять, как нашу «всемирную отзывчивость» и духовность, как нашу близость к Богу можно совместить с нашим невежеством и пьянством, с нашим рабским равнодушием и воровством, с нашей раздражительностью, нетерпимостью, жестокостью, бессовестностью. Я уж не говорю о нашем богомерзком сквернословии, о нашем сплошном российском мате, который сейчас – дожили-таки! – хлынул и на печатные страницы, и на экраны телевизоров. Не есть ли это очередной и уже, наверное, последний русский миф? Ведь если есть Главное в жизни, то оно, Главное, у всех и для всех: и для еврея, и для немца, и для американца, и для русского. Конечно, у каждого к этому Главному свой путь, личностный, отдельный, свой – у каждой личности, у каждой нации, у каждого народа, но в то же время и в конце-то концов, если правда, что есть Главное, есть Истина, есть Вечность, есть Бог, это – и единый, и общий, и всечеловеческий, и всемирный путь. Об этом говорят, к этому ведут все религии мира, вся мировая история и, может быть, лучше всех наш Пушкин: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна». «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей». Ведь веленье это – одно для всех, воля эта – одна для всех, для всего человечества. Но услышать это дано только каждому в отдельности, только каждому самому по себе, услышать и исполнить – личности – всемирное. Только в этом, наверное, и спасение: «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!».

Но и собственную историю нельзя переделать, от истории нельзя отказываться. Да и незачем. Она, история русская, вся в наших костях да крови, если кто и не знает ее, а мы все сегодня плохо ее знаем, все равно с самого

рождения в генах своих ее носим, никуда от нее не денешься, ни от царей, ни от бунтарей, ни от Ивана Грозного, ни от Стеньки Разина. Сергий Радонежский и Малюта Скуратов, протопоп Аввакум и Чаадаев, Петр Первый и Лев Толстой, семья Аксаковых с верой в особый, русский путь, и Маяковский, мечтающий о том, «чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитьем», – вот они какие разные, а все русские люди, и мысли их и идеи – русские, и самые крайние из них – как раз самые русские. И за революцией нашей, великой и русской, стоят благословляющие и вдохновляющие фигуры прекраснейших и благороднейших русских людей – от Радищева и декабристов до лейтенанта Шмидта. Она была, ее не перечеркнешь, не забудешь. Мы приняли ее наследство, страшное, темное, безобразное, но нам не избавиться от него. Это не только недостойно, безответственно, безнравственно, но, в конце концов, и безграмотно, противоестественно, просто невозможно. Наш долг, наша задача – пока еще не поздно, покаяться во всех ужасных, непростимых грехах революции, государства, своих собственных (а их у каждого немало), исправлять ошибки революции, искупать ее преступления, не словами, а поступками, делами, трудом искупать, преобразовывать ее (это прекрасное, любимое слово – «преображение») согласно с тем велением, с той волей, с тем зовом, которые верующий человек определил бы как Божьи для того, чтобы вместе с ней, искупленной и преображенной, обновленными и просветленными вернуться в божественное лоно мирового человечества. И молиться. И верить. И любить.

1992–1994



Я родом оттуда



* * *

Я родом оттуда, где серп опирался на молот,
а разум на чудо, а вождь на бездумие стай,
где старых и малых по селам выкашивал голод,
где стала евангельем «Как закалялася сталь»,

где шли на закланье, но радости не было в жертве,
где милость каралась, а лютости пелась хвала,
где цель потерялась, где низились кроткие церкви
и, рушась, немели громовые колокола,

где шумно шагали знамена портяночной славы,
где кожаный ангел к устам правдолюбца приник,
где бывшие бесы, чьи речи темны и корявы,
влюблялись нежданно в страницы убийственных книг,

где судеб мильоны бросались, как камушки, в небо,
где черная жижа все жизни в себя засосет,
где плакала мама по дедушке, канувшем в небыль,
и прятала слезы, чтоб их не увидел сексот,

где дар и задумчивость с детства взяты под охрану,
где музыка глохла под залпами мусорных зим,
где в яростной бурке Чапаев скакал по экрану
и щелкал шары звонкощекий подпольщик Максим,

где жизнь обрывалась, чудовищной верой исполнясь,
где, нежно прижавшись, прошли нищета и любовь,
где пела Орлова и Чкалов летел через полюс,
а в чертовых ямах никто не считал черепов,

где солнцу обрыдло всходить в небесах адодонных,
где лагерь так лагерь, а если расстрел, ну и пусть,
где я Маяковского чуть ли не весь однотомник
с восторгом и завистью в зоне читал наизусть;

и были на черта нужны мне поэты другие,
где пестовал стадо рябой и жестокий пастух,
где странно звучало старинное имя России,
смущая собою к нему неприученный слух,

где я и не думал, что встречусь когда-нибудь с Ялтой,
где пахарю ворон промерзлые очи клевал,
где утро барачное било о рельсу кувалдой
и ржавым железом копало заре котлован,

где вздохи ровесников стали земной атмосферой,
винясь перед нами, а я перед ними в долгу,
где все это было моими любовью и верой,
которых из сердца я выдрать еще не могу.

Тот крест, что несу, еще годы с горба не свалили,
еще с поля брани в пустыню добра не ушел.
Как поздно я к вам прихожу со стихами своими!
Как поздно я к Богу пришел с покаянной душой!

1992

* * *

Кончусь, останусь жив ли, –
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры –
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга – шпыни да шиши.

А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травою черной
беспризорные поля.

На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка Сибирь.

На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.

Льнет к полячке русый рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..

Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря...

Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.

То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать...
«И никто нам не поможет.
И не надо помогать».

1947

ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

Был бы я моложе – не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю», –
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.
Помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны, –
муки гетто, коль не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа – цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов, –
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки, –
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

1946

* * *

Поэт – что малое дитя.
Он верит женщинам и соснам,
и стих, написанный шутя,
как жизнь, священ и неосознан.

То громыхает, как пророк,
а то дурачится, как клоун,
Бог весть, зачем и для кого он,
пойдет ли будущему впрок.

Как сон, от быта отрешен,
и кто прочтет и чем навеян?
У древней тайны вдохновенья
напрасно спрашивать резон.

Но п е р е д т е м как сесть за стол
и п р е ж д е ч е м стихам начаться,
я твердо ведаю, за что
меня не жалует начальство.

Я б не сложил и пары слов,
когда б судьбы мирской горнило
моих висков не опалило,
души моей не потрясло.

1960

БИТВА

В ночном, горячем, спутанном лесу,
где хмурый хмель, смола и паутина,
вбирая в ноздри беглую красу,
летят самцы на брачный поединок.

И вот, чертя смертельные круги,
хрипя и пенясь чувственною бурей,
рога в рога ударятся враги,
и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.

И будет битва, яростью равна,
шатать стволы, гореть в огромных ранах.
И будет ждать, покорная, она,
дрожа душой за одного из равных...

В поэзии, как в свадебном лесу,
но только тех, кто цельностью означен,
земные страсти весело несут
в большую жизнь – к паденьям и удачам.

Ну, вот и я сквозь заросли искусств
несусь по строфам шумным и росистым
на милый зов, на роковой искус –
с великолепным недругом сразиться.

1948

* * *

Пока хоть один безутешен влюбленный, –
не знать до седин мне любви разделенной.

Пока не на всех заготовлен уют, –
пусть ветер и снег мне уснуть не дают.

И голод пока смотрит в хаты недобро, –
пусть будут бока мои – кожа да ребра.

Покуда я молод, пока я в долгу, –
другие пусть могут, а я не могу.

Сегодня, сейчас, в грозовой преисподней,
я горшую часть на спине своей поднял.

До лучших времен в непогоду гоним,
таким я рожден – и не быть мне иным.

В глазах моих боль, но ни мысли про старость.
До смерти, любовь, я с тобой не расстанусь.

Чтоб в каждом дому было чудо и смех, –
пусть мне одному будет худо за всех.

1949

МАХОРКА

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся цигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жмется и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска –
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.

Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.

1946

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвалися лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...

А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже – свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.

Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним, –
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.

На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох как бьется – в пене рот, глаза навыкате, –
все отведав, бьется Федор Достоевский.

Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.

Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
и душа не разбежится в темноте ж, –
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.

Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь – в глаза ему, в лицо ему – метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.

Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.

1962

* * *

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах –
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был нешелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,
и все-таки я есмь поэт.

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.

Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.

1960

* * *

Люди – радость моя,
вы, как неуходящая юность, –
полюбите меня,
потому что и сам я люблю вас.

Смелым словом звеня
в стихотворном свободном полете,
это вы из меня
о своем наболевшем орете.

Век нас мучил и мял,
только я на него не в обиде.
Полюбите меня,
пока жив я еще, полюбите!

За характер за мой
и за то, что тружусь вместе с вами.
Больше жизни самой
я люблю роковое призванье.

Не дешевый пижон,
в драгоценные рифмы разоткан,
был всего я лишен,
припадая к тюремным решеткам.

Но и там, но и там,
где зима мои кости ломала,
ваших бед маята
мою душу над злом поднимала.

Вечно видится мне,
влазит в сердце занозою острой:
в каждом светлом окне
меня ждут мои братья и сестры.

Не предам, не солгу,
ваши боли мой мозг торопили.
Пусть пока что в долгу –
полюбите меня, дорогие!

Я верну вам потом,
я до гроба вам буду помощник.
Сорок тысяч потов,
сорок тысяч бессонниц полночных.

Ну, зачем мне сто лет?
Больше жизни себя не раздашь ведь.
Стало сердце стареть,
стала грудь задыхаться и кашлять.

Не жалейте ж огня.
Протяните на дружбу ладоши.
Полюбите меня,
чтобы мне продержаться подольше.

1960

ОДА

Так-сяк, и трезво, и хмельно,
в кругу друзей сквозь жар и трепет,
на службе, если дело терпит,
в кафе, в троллейбусе, в кино,
пока душа не обреклась
ночному холоду и лени,
смотрю на женские колени,
не отводя упрямых глаз.

Земному воздуху верны,
округлы, розовы, хрустальны,
соблазна плод и парус тайны, –
пред ними нет моей вины.
Как на заморскую зарю –
не веря в то, что это худо, –
на жизни чувственное чудо
с мороза зимнего смотрю.

Сумы дорожные свалив,
как мы смеемся, что мы шепчем,
когда в колени ждущих женщин
роняем головы свои.

Весь шар земной, весь род людской,
шута и гения – вначале
колени матери качали
с надеждой, верой и тоской.

Природа женщины сама –
стыдливость, жертвенность и шалость –
в них упоительно смешалась,
сводя художников с ума.
Спасибо видящим очам!
Я в греховодниках не значусь,
но счастье мне дарила зрячесть,
и я о том не умолчал.

Не представляю слаще лон
и, как на чудо Божье, пялюсь,
как соком плод, как ветром парус,
они наполнены теплом.
Досталось мне и стуж, и гроз,
но все сумел перетолочь их,
когда, голея сквозь чулочек,
лучило нежное зажглось.

Пусть хоть сейчас приходит смерть,
приму любое наказанье,
а если выколют глаза мне,
я стану звездами смотреть.
Они мне рай, они мне Русь,
волчонком добрым льну и лащусь,
уж сорок лет на них таращусь,
а все никак не насмотрюсь.

1962

РОДНОЙ ЯЗЫК

1

Дымом Севера овит,
не знаток я чуждых грамот.
То ли дело – в уши грянет
наш певучий алфавит.
В нем шептать лесным соблазнам,
терпким рекам рокотать.
Я свечусь, как благодать,

каждой буковкой обласкан
на родном языке.

У меня – такой уклон:
я на юге – россиянин,
а под северным сияньем
сразу делаюсь хохлом.
Но в отлучке или дома,
слышь, поют издалека
для меня, для дурака,
трубы, звезды и солома
на родном языке?

Чуть заре зарозоветь,
я, смеясь, с окошка свешусь
и вдохну земную свежесть –
расцветающий рассвет.
Люди, здравствуйте! И птицы!
И машины! И леса!
И заводов корпуса!
И заветные страницы
на родном языке!

2

Слаще снящихся музы́к,
гулче воздуха над лугом,
с детской зыбки был мне другом –
жизнь моя – родной язык.

Где мы с ним ни ночевали,
где ни перли напрямик!
Он к ушам моим приник
на горячем сеновале.

То смолист, а то медов,
то буян, то нежным самым
растекался по лесам он,
пел на тысячу ладов.

Звонкий дух земли родимой,
богатырь и балагур!
А солдатский перекур!
А уральская рябина!..

Не сычи и не картавь,
перекрикивай лавины,
о ветрами полевыми
опаленная гортань!..

Сторонюсь людей ученых,
мне простые по душе.
В нашем нижнем этаже –
общежитие девчонок.

Ох и бойкий же народ,
эти чертовы простушки!
Заведут свои частушки –
кожу дрожью продерет.

Я с душою захромавшей
рад до счастья подстеречь
их непугану речь –
шепот солнышка с ромашкой.

Милый, дерзкий, как и встарь,
мой смеющийся, открытый,
розовеющий от прыти,
расцелованный словарь...

Походил я по России,
понаслышался чудес.
Это – с детства, это – здесь
песни душу мне пронзили.

Полный смеха и любви,
поработав до устатку,
ставлю вольную палатку,
спорю с добрыми людьми.

Так живу, веселый путник,
простодушный ветеран,
и со мной по вечерам
говорят Толстой и Пушкин
на родном языке.

1951

ДОЖДИК

День за днем жара такая все –
задыхайся и казнись.
Я и ждать уже закаялся.
Вдруг откуда ни возьмись

с неба сахарными каплями
брызнул, добрый на почин,
на неполитые яблони,
огороды и бахчи.

Разошлась погодка знатная,
спохмела тряхнув мошной,
и заладил суток на двое
теплый, дробный, обложной.

Словно кто его просеивал
и отрушивал с решет.
Наблюдать во всей красе его
было людям хорошо.

Стали дали все позаткананы,
и, от счастья просияв,
каждый видел: над посадками –
светлых капель кисея.

Не нарадуюсь на дождик.
Капай, лейся, бормочи!
Хочешь – пей его с ладошек,
хочешь – голову мочи.

Миллион прозрачных радуг,
хмурый праздник озарив,
расцветает между грядок
и пускает пузыри.

Нивы, пастбища, леса ли
стали рады, что мокры,
в теплых лужах заплясали
скоморохи-комары.

Лепестки раскрыло сердце,
вышло солнце на лужок –
и поет, как в дальнем детстве,
милой родины рожок.

1954

ЯБЛОНЯ

Чем ты пахнешь, яблоня –
золотые волосы?
Дождевыми каплями,
тишиною по лесу,

снегом нерастаянным,
чем-то милым сызмала,
дорогим, нечаянным,
так что сердце стиснуло,

небесами осени,
тополями в рубище,
теплыми колосьями
на ладони любящей.

1954

* * *

Твои глаза светлей и тише
воды осенней, но, соскучась,
я помню волосы: в них дышит
июльской ночи тьма и жгучесть.

Ну где еще отыщет память
такую грезящую шалость,
в которой так ночное пламя б
с рассветным льдом перемешалось?

Такой останься, мучь и празднуй
свое сиянье над влюбленным, –
зарей несбыточно-прекрасной,
желаньем одухотворенным.

1950

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА МИРА – ЛЮБОВЬ

Вечная музыка мира – любовь,
вечное чудо любви...
Льющимся пламенем в люльке лесов
славят весну соловьи.

Молодость-злюка, молю, замолчи!
    Людям к лицу доброта.
Слышишь, нас кличут лесные ключи,
    клены шумят у пруда.

Радостным утром с подругой удрав,
    на золотом берегу
алгебру запахов учим у трав,
    алую заповедь губ.

Жарко от шарфа шальной голове,
    сбрось его с бронзовых плеч.
Светом и нежностью пьян соловей,
    пчелам не жалить, не жечь.

Рядом с любимой, с ромашкой во рту,
    всею судьбой прожитой
кланяюсь ласке, дарю доброту,
    пренебрегаю враждой.

Доченька дождика, смейся и верь,
    ветром в ладонях владей.
Сосны, как сестры, звенят в синеве.
    Солнце вселилось в людей.

Плещутся желтые волны хлебов
    в жаркие плечи твои...
Вечная музыка мира – любовь,
    вечное чудо любви.

1960

* * *

Апрель – а все весна не сладится.
День в день – не ветрен, так дождист.
Когда в природе неурядица,
попробуй на сердце дождись.

Блеснет – на миг – и тучи по небу,
и новый день не удался.
А все ж должно случиться что-нибудь,
вот-вот начнутся чудеса.

И что душе до вражьих происков,
что ей, влюбленной, боль и суд,
когда в лесу сине от пролесков
и пахнет почками в лесу?..

1958

* * *

Когда весь жар, весь холод был изведан,
и я не ждал, не помнил ничего,
лишь ты одна коснулась звонким светом
моих дорог и мрака моего.

В чужой огонь шагнула без опаски
и принесла мне пряные дары.
С тех пор иду за песнями запястий,
где все слова значимы и добры.

Моей пустыни холод соловьиный,
и вечный жар обветренных могил,
и небо пусть опустятся с повинной
к твоим ногам, прохладным и нагим.

Побудь еще раз в россыпи сирени,
чтоб темный луч упал на сарафан,
и чтоб глаза от радости сырели,
и шмель звенел, и хмель озоровал.

На свете нет весны неизносимой:
в палящий зной поляжет, порыжев,
умрут стихи, осыплются осины,
а мы с тобой навеки в барыше.

Кто, как не ты, тоску мою утешит,
когда, листву мешая и шумя,
щемящий ветер борозды расчешет
и затрещит роса, как чешуя?

Я не замерзну в холоде декабрьском
и не состарюсь в темном терему,
всем гулом сердца, всем моим дикарством
влюбленно верен свету твоему.

1961

* * *

Нет, ты мне не жена.
Так звать тебя не надо.
Как старость, тяжела
семейная прохлада.
А мы до самых щек
теплы, как от пожара,

и стариться еще
нам не за что, пожалуй.
Еще не завелось
достатка и богатства,
и золото волос
пока что не погасло.

Нет, ты мне не жена.
Я слово слаще знаю.
Ты вся, как тишина, –
телесная, лесная.
Наш дом открыт для всех,
лишь захоти остаться,
в нем не смолкает смех
и не скучает счастье.
О, музыка и зной
тех слов, что ты мне шепчешь
пастушкою ночной
поступков сумасшедших!..

Нет, ты мне не жена,
бродяжка и бесенок,
ты вся отражена
в глазах моих бессонных.
Ты – пролесок лесной,
и медом дальних пахот,
дымящейся весной
твои ладони пахнут.
Коснись моей листвы,
кружись певучей пчелкой
и жизнь мою лишь ты
переправляй и черкай.

Я губ твоих желал,
как простоты и света.
Нет, ты мне не жена,
и песенка не спета.

1961

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОРЩА

Моя подруга варит борщ.
Неповторимая страница!
Тут лоб как следует наморщь,
чтоб за столом не осрамиться.

Ее глазенушки светлы.
Кастрюля взвалена на пламя,
и мясо плещется в компаньи
моркови, перца и свеклы.

На вкус обшарив закрома,
лохматая, как черт из чащи,
постой, пожди, позаклинай,
чтоб получилось подходяще.

Ты только крышку отвали,
и грянет в нос багряный бархат,
куда картошку как бабахнут
ладони ловкие твои.

Ох, до чего ж ты хороша,
в заботе милой раскрасневшись
(дабы в добро не вкралась нечисть),
душой над снедью вороша.

Я помогаю чем могу,
да только я умею мало:
толку заправочное сало,
капусту с ляды волоку.

Тебе ж и усталь нипочем,
добро и жар – твоя стихия.
О, если б так дышал в стихи я,
как ты колдуешь над борщом!

Но труд мой кривду ль победит,
беду ль от родины отгонит,
насытит ли духовный голод,
пробудит к будням аппетит?..

А сало, желтое от лет,
с цибулей розовой растерто.
И ты глядишь на божий свет,
хотя устало, но и гордо.

Капуста валится, плеща,
и зелень сыплется до кучи,
и реет пряно и могуче
благоухание борща.

Теперь с огня его снимай
и дай бальзаму настояться.
И зацветет волшебный май
в седой пустыне постоянства.

Владыка, баловень, кащей,
герой, закованный в медали,
и гений – сроду не едали
таких породистых борщей.

Лишь добрый будет угощен,
лишь друг оценит это блюдо,
а если есть меж нас иуда, –
пусть он подавится борщом!..

Клубится пар духмяней рощ,
лоснится соль, звенит посуда…
Творится благостное чудо –
моя подруга варит борщ.

1964

* * *

Январь – серебряный сержант,
давно отбой в казармах ротных,
а не твои ли в подворотнях
снегами чоботы шуршат?

Не досчитались нас с тобой.
Мы в этот вечер спирт лакали.
Я черкал спичкой – и в бокале
являлся чертик голубой.

Мне мало северного дня
дышать на звездочки мозаик.
Ведь я – поэт, а не прозаик,
хранитель Божьего огня.

Хотя, по счастию, привык
нести житейскую поклажу,
но с братом запросто полажу,
рубая правду напрямик...

Ан тут хозяюшка зима,
чье волшебство со счастьем смежно,
лохмато, северно и снежно,
меня за шиворот взяла.

Ей не впервой бродяг держать,
ворча сквозь смех о позднем часе,
и пошкандыбал восвояси
январь – серебряный сержант.

Теперь морозцем щеки жги,
святой снежок в ладошах комкай.
В ночи, космической и колкой,
шуршат сержантовы шаги.

[*1966*]

* * *

Уже картошка выкопана,
и, чуда не суля,
в холодных зорях выкупана
промокшая земля.

Шуршит тропинка плюшевая:
весь сад от листьев рыж.
А ветер, гнезда струшивая,
скрежещет жестью крыш.

Крепки под утро заморозки,
под вечер сух снежок.
Зато глаза мои резки
и дышится свежо.

И тишина, и ясность...
Ну, словом, чем не рай?
Кому-нибудь и я снюсь
в такие вечера.

[*1957*]

* * *

Во мне проснулось сердце эллина.
Я вижу сосны, жаб, ежа
и радуюсь, что роща зелена
и что вода в пруду свежа.

Не называйте неудачником.
Я всем удачам предпочел
сбежать с дорожным чемоданчиком
в страну травы, в отчизну пчел.

Люблю мальчишек, закопавшихся
в песок на теплом берегу,
и – каюсь – каждую купальщицу
в нескромных взорах берегу.

Благословенны дни безделия
с подругой доброй средь дубрав,
когда мы оба, как бестелые,
лежим, весь бор в себя вобрав.

Мы ездили на хутор Коробов,
на кручи солнца, в край лесов.
Он весь звенел от шурких шорохов
и соловьиных голосов.

Мы ничего с тобой не нажили,
привыкли к всяческой беде.
Но эти чащи были нашими,
мы в них стояли, обалдев.

Уху варили, чушь пороли,
ловили с лодки щук-раззяв
и ночевали на пароме,
травы на бревна набросав.

О, если б кто в ладонях любящих
сумел до старости донесть
в кувшинках, в камышовых трубочках
до дна светящийся Донец!..

Плескалась рыба, бились хвостики.
Реки и леса красота,
казалось, вся в пахучем воздухе
с росой и светом разлита.

Скорей, любимая, приблизься.
Я этот мир тебе дарю.
Я в нем любил лесные листья
и славил зелень и зарю.

Счастливый, брошусь под деревья.
Да в их дыханье обрету
к земле высокое доверье,
гармонию и доброту.

1961

* * *

А хорошо бы летом закатиться
в лесную глушь – подальше от греха.
В сосновых рощах воздух золотистый.
Из пней прогнивших сыплется труха.

Пар от росы, как будто из дымарни.
Луга мокры. Болот не перебресть.
Куда ни глянь – цветы иван-да-марья,
резун-трава, ромашка и чабрец...

И ни тебе ни страсти, ни мороки.
Молчишь светло, и зло тебе в ползла.
В росе пасутся божии коровки,
одна из них на лоб тебе вползла.

Лежит пыльца на ягодах вкуснейших,
мошка в ноздрю забраться норовит,
треща и плача, прыгает кузнечик,
и суетятся мудро муравьи.

[*1961*]

* * *

По-разному тратится летняя радость:
кому чего надо, кто чем увлечен.
А я вот, усталый, на травы усядусь,
в пахучие зори зароюсь лицом.

Меня закалила работа и служба,
я лиха немало хлебнул на веку,
и сладок мне отдых и весело слушать
мычанье скотины да квохтанье кур.

Вся в каплях, подруга пришла и присела,
огонь раздувает, готовит уху.
Не худо подумать про ужин, про сено,
«Ну что, хорошо?» Отвечает: «Угу».

Палил меня полдень, кололи колосья,
лишь под вечер стало свежей и сырей,
и в кои-то веки хоть раз довелося
пожить на досуге в колхозном селе.

Тут хаты пропахли полынью и хлебом.
А я хоть не пахарь, да свой промеж них.
Хлебаем сметану, толкуем про пленум,
и сам я по крови – казак и мужик.

Приходят девчата, поникнув плечами,
налипшую землю счищают с подошв.
Темнеет в дворах, наступает молчанье –
лишь лают собаки да плещется дождь...

Вот так и кочую, как ветры велели,
с котомкой и палкой брожу, полугол,
да слушаю речек сырые свирели
и гулкие дудки болотных лугов.

[*1961*]

БЕЛЫЕ КУВШИНКИ

Что за беда, что ты продрог и вымок?
Средь мошкары, лягушечьих ужимок
протри глаза и в прелести омой,
нет ничего прекраснее кувшинок,
плавучих, белых, блещущих кувшинок.
Они – как символ лирики самой.

Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,
для всех, кто любит, чашами стоят.
А там, на дне, – не думали уже б мы, –
там смрадный мрак, пиявок черных яд.

На душном дне рождается краса их
для всех, а не для избранных натур.
Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,
кувшинки ждут, вкушая темноту.

О, как горюют, царственные цацы,
как ужас им дыханье заволок,
в какой тоске сподыспода стучатся
стеблями рук в стеклянный потолок!

Из черноты, пузырчатой и вязкой,
из тьмы и тины, женственно-белы,
восходят ввысь над холодом и ряской.
И звезды пьют из белой пиалы.

[*1961*]

НА ЖУЛЬКИНУ СМЕРТЬ

Товарищи, поплачьте один на свете раз
о маленькой собачке, что радовала вас,

что с нами в день весенний, веселья не тая,
перебирала всеми своими четырьмя,

и носик нюхал воздух, и задыхалась пасть,
и сумасшедший хвостик никак не мог опасть.

Мы так ее любили, не знали про беду.
Ее автомобилем убило на ходу.

Мне кажется все время, что это только сон,
как жалобно смотрели глаза под колесом.

А сердце угасает, и горлышко пищит
и просит у хозяев живительных защит.

Как тягостно и просто тянулась эта ночь!
Ни ласкою, ни просьбой уже ей не помочь!

Ласкали и купали, на трудные рубли
ей кости покупали – а вот не сберегли.

И стали как культяпки и выпал из-за щек
четыре куцых лапки и бедный язычок.

Ребята озорные, от горя потускнев,
в саду ее зарыли, как будто бы во сне.

Проснемся рано утром, а боль еще свежа.
Уже не подбежит к нам, ликуя и визжа.

В земле, травой поросшей, отлаявшись навек,
она была хорошей, как добрый человек.

Куда ж ты улетело, куда ж ты утекло,
из маленького тела пушистое тепло?

До смерти буду помнить, а в жизни не найду:
стоит над нею холмик в Шевченковском саду.

Животик был запачкан, вовсю смеялась пасть,
Прости меня, собачка, что я тебя не спас.

Не хватит в мире йода. Утрат не умаляй.
По гроб в нутро мое ты царапайся и лай.

1964

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнет – и снова в путь, навьючась,
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит,
его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него – от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, –
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.

Его удел – ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есть моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

1964

* * *

В декабре в Одессе жуть:
каплет, сеет, брызжет, мочит.
В конуре своей сижу.
Скучно. Мокро. Нету мочи.

В голове плывут слова.
Гололедица и слякоть.
Ты вези меня, трамвай,
чтоб в ладони не заплакать.

Что за черт? Да это ж Дюк!
А за что – забыла память.
И охота же дождю
по панелям барабанить.

До берез не доберусь:
на дорогу треба денег.
У меня на сердце грусть
от декабрьской дребедени.

День мой тошен и уныл –
наказание Господне...
До тебя – как до луны.
Что ты делаешь сегодня?

1963–1964

* * *

Клубится кладбищенский сумрак.
У смерти хороший улов.
Никто нам не скажет разумных,
простых и напутственных слов.

Зачем про веселье узнал я,
коль ужас мой ум холодит?
Поэты уходят в изгнанье,
а с нами одни холуи.

О, как нам жилось и бродилось
под русским снежком по зиме...
Смешная девчонка Правдивость,
ты есть ли еще на земле?

Да разве расскажет писатель
про тайны лукавых кулис,
что кесари наши пузаты
и главный их козырь – корысть?

Висит календарь наш без мая,
у кисти безумны мазки,
и девочки глушат, и смалят,
и кроют беду по-мужски.

На женщину, как на зарю, я
молился сто весен назад,
а нынче смотрю, озоруя,
на ножки твои да на зад.

Ворожит ли стая воронья,
пороша ль метет на душе, –
художник бежит от здоровья,
от нежности и кутежей.

При жизни сто раз умиравший,
он слышит шаги за спиной:
то снова наводит мурашки
жестокости взор жестяной.

Теперь не в ходу озорные, –
кому отливать перепуг,
когда Пастернака зарыли
и скоро помрет Эренбург?

Бродяга и шут из Ламанчи,
кто нес на мече доброту,
все ребра о жизнь изломавши,
дал дуба и где-то протух...

Немея от нынешних бедствий
и в бегстве от будущих битв,
кому ж быть в ответе за век свой?

А надо ж кому-нибудь быть...

1963

*   *   *

Без всякого мистического вздора,
обыкновенной кровью истекав,
по-моему, добро́ и здо́рово,
что люди тянутся к стихам.

Кажись бы, дело бесполезное,
но в годы памятного зла
поеживалась Поэзия, –
а все-таки жила!

О, сколько пуль в поэтов пущено,
но радость пела в мастерах,
и мстил за зло улыбкой Пушкина
непостижимый Пастернак.

Двадцатый век болит и кается,
он – голый, он – в ожогах весь.
Бездушию политиканства
Поэзия – противовес.

На колья лагерей натыканная,
на ложь и серость осерчав,
поворачивает к Великому
человеческие сердца...

Не для себя прошу внимания,
мне не дойти до тех высот.
Но у меня такая мания,
что мир Поэзия спасет.

И вы не верьте в то, что плохо вам,
перенимайте вольный дух
хотя бы Пушкина и Блока,
хоть этих двух.

У всех прошу, во всех поддерживаю –
доверье к царственным словам.
Любите Русскую Поэзию.
Зачтется вам.

1959

КЛЯНУСЬ НА ЗНАМЕНИ ВЕСЕЛОМ

Однако радоваться рано –
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?

Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, –
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, –
не умер Сталин.

И не по старой ли привычке
невежды стали наготове –
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков, –
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,

не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

1959

КРЫМСКИЕ ПРОГУЛКИ

Колонизаторам – крышка!
Что языки чесать?

Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины...
Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.
Я ничего не жег.

Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.

А более иное
мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.
Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?

Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?

Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?
Люди на пляж, я – с пляжа,
там, у лесов и скал,
«Где же татары?» – спрашивал,
все я татар искал.

Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, – кричал, – татары?»
Нет никаких татар.
А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.

Не русская Ривьера,
а древняя Орда
жила, в Аллаха верила,
лепила города.

Кому-то, знать, мешая
зарей во всю щеку,
была сестра меньшая
Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров...

Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.
Это не при Иване,
это не при Петре:
сами небось припевали:
«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли,
ни очага, ни сакли.
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена, –
и на земле татарской
ни одного татарина.

Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом Севере
косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой, –
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.

Сидит начальство важное:
«Дай, – думает, – повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.
Теперь, хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолви, –
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня – не политика.
У меня – этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты, ни жалости.

Умершим – не подняться,
не добудиться у́мерших...
но чтоб целую нацию –
это ж надо додуматься...

А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.

А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.

Когда ж ты родишься,
в огне трепеща,
новый Радищев –
гнев и печаль?

1961

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Лишь закрою глаза –
и, как челн, меня море качает,
и садится на губы
нагая и теплая соль.
Не отцовством объят,
а от солнца я пьян и от чаек.
О, как часто мне снится
соленый и плещущий сон!

Дразнит прозу мою,
брызжет в раны веселый обидчик,
чья за мутью и зеленью
так изумительна синь.
То ли хлопья летят,
то ли птицы хлопочут о пище, –
то порхают барашки,
которых вовек не сносить.

Ну о чем бормотать?
Ну какого рожна кипятиться?
Я горю на огне.
Я – роса. Я ничем не гнетусь.
Я лежу на рядне.
Породниться бы нам, кипарисы!
Солнце плавит плоды
и колышет в ладонях медуз.

Разверзаются недра,
что вечно свежи и не дряблы.
Ходят нежные негры.
Здесь камень до ночи нагрет.
Пахнет йодом и рыбой.
И ёкает сердце над рябью,
где хохочущий повар
готовит чертям винегрет.

Отоспимся потом.
До потемок позябнем от зыби.
По ночам оно дышит,
как скинувший бурку джигит.
Море хлюпает в мол,
Море мокрые камешки сыплет.
Им никто не насытится.
Море и мертвых живит.

И смывает всю муть.
И смеется светло и ломяще.
И прозрачно слоится.
А может и скалы молоть.
И возьму я с собой
в свой последний отъезд из Ламанчи
вместо хлеба и книги
лохматой лазури ломоть.

1962

* * *

Месяц прошел и год, десять пройдет и сто, –
дышит – поет внизу море в барашках белых.
Ласточкино гнездо, Ласточкино гнездо –
нежного неба зов, южного моря берег.

Прожитых дней печаль стихла и улеглась.
Чайки сулят покой. Звездно звенят цикады.
Близким теплом души, блеском любимых глаз
в Ласточкином гнезде так неземно тиха ты.

Наши сердца кружит солнца и моря хмель,
память забыла все горести и ненастья.
Почка лозы святой – пушкинская свирель –
путников вновь свела в замке добра и счастья.

Сладостно-солона вечная синева,
юность ушла в туман на корабле прошедшем.
Ласточкино гнездо – ласковые слова,
те, что не раз, не два мы в тишине прошепчем.

Как за волной волна, тайне душа верна.
Спят за горой гора в свете от кипарисов.
Давние времена, славные имена,
как ветровой привет и как заветный вызов.

Стань для меня с тобой памятью и звездой,
где, как веков настой, море шумит в пещерах,
Ласточкино гнездо, Ласточкино гнездо –
нежного неба зов, южного моря берег.

1970

СОНЕТ С МАРШАКОМ

В краю, чье имя – радости синоним,
на берегу зеленом и морском,
смутясь до слез и в трепете сыновнем,
мне говорить случилось с Маршаком.

Я час провел с веселым мастаком,
как сердце, добрым, вовсе не сановным.
Сияло детство щедрое само в нем
и проливалось солнечным стихом.

Седым моржом наморщенный Маршак
судил мой жар, стараясь быть помягче.
Бесценный клад зарыт в моих ушах.

Ему б – мой век, а мне б – его болячки.
И что мне зной, и что мне мошкара?
Я горд, как черт, что видел Маршака.

1962

* * *

Неужто все и впрямь темно и тошно,
и ты вовек с весельем не знаком?
А вот костер – и варится картошка,
и пар плывет над жарким казанком.

Запасы счастья засветло пополни,
а злость и зависть сядут под арест.
О, что за снедь ликует на попоне:
редиска с грядки, первый огурец!

И мед земли поет в твоих ладонях,
сверкает, медлит, шелков и парчов,
и, курс держа на свой дощатый домик,
спешит семья стремительных скворцов.

Каким пером ту прелесть опишу я,
где взять слова, каких на свете нет,
когда над всем, блистая и бушуя,
царит и дышит яблоневый цвет,

и добрый ветер, выпрыгнув из чащи,
ласкает ветки, листьями звеня,
и добрый друг, так родственно молчащий,
сидит с тобой у доброго огня.

1964

ОДА НЕЖНОСТИ

О, дай мне одой нежности побыть,
кувшинкой белой, дуновеньем мяты!
Я так боюсь заветное забыть!
Хоть на минуту вспомнишь ли меня ты?

Я повторю на тысячи ладов,
перетрублю сиянье лир и лютен,
что нет, не страсть, о нет, и не любовь,
но, нежность, ты всего нужнее людям.

Ты приходила девочкой простой,
вся из тепла, доверия и грусти –
как летний луг с ромашкой и росой,
как зимний лес в сверкании и хрусте.

Касалась боли холодом бинта,
на жаркий лоб снежинками снижалась,
и в каждом жесте мне была видна
твоя ошеломительная шалость.

Я помню пальцы твердые твои,
их волшебству вовеки не угаснуть.
Явись еще и чудо сотвори,
верни мою утраченную ясность.

Твой тихий шаг звучит едва-едва.
Зову, мечусь: да разве ж ты немая?
Я целый мир у зла отвоевал,
а твоего не вызвал пониманья.

Ни заслужить, ни вымолить нельзя,
чтоб соловьями волосы запели.
Ты – легкая. Ты – светлая. Ты – вся,
как первый снег и первый звон капели.

И только ты нас делаешь людьми.
Нам хорошо в твоей певучей власти.
О, сохрани несбыточность любви
от прямоты ожесточенной страсти!

Плесни в мой жар, о карая река,
омой мою струящуюся муку.
Живи со мной, как правая рука,
не торопись на вечную разлуку.

Ведь если я и вздор порой мелю
и если вдруг и потемнею ликом,
то это в легком праздничном хмелю,
а не в чаду удушливом и диком.

1964

ЭТОТ МАРТ

Разнообразны и вкусны
повествования весны.
Она как будто и близка,
а снегу сроду столько не было.
Иду по марту, как по небу,
проваливаясь в облака.

Еще морочат нас морозы,
но даль хрустально-голуба,
и, как от первой папиросы,
кружится дура-голова.

В моих глазах – мельканье марли.
Ну что ж, метелица, бинтуй.
Мы заблудились в этом марте.
Не угодить бы нам в беду.

Я сто ночей не отдыхаю.
Я слаще нежности не знал.
Во сне теснит мое дыханье
мокроволосая весна.

В ее святой и светлой замяти,
в капели поздней и седой
живу с открытыми глазами,
как мне повелено судьбой.

Сосулинки залепетали,
попались, звонкие, впросак,
и голубыми лебедями
сугробы плещутся в ручьях.

Я никуда отсель не съеду.
Душа до старости верна
хмельному таянью и свету,
твоей волшебности, весна.

Знать, для того и Север был,
и одиночество, и ливни,
чтобы в тот март тебя внесли мне
пушистой веточкой вербы.

Ну что мне выдумать? Ну чем мне
шаги веселые вернуть?
Не исчезай, мое мученье,
еще хоть капельку побудь.

Мир полон обликом твоим.
Он – налегке. Он с кручи съехал.
Он пахнет солнышком и снегом,
а в сердце буйство затаил.

[*1962*]

* * *

На мой порог зима пришла,
в окошко потное подула.
Я стыну зябко и сутуло,
грущу – и грусть моя грешна.

И то ли счастье, то ли сон
на мой порог, как снег, упали,
и пахнет милыми губами
мое горящее лицо.

Я жарюсь в чертовых печах.
(Как раз за лириков взялись там!)
Я нищетой до дыр залистан.
О, не читай меня, печаль.

Ты ж, юность, смейся и шали,
с кем хочешь будь, что хочешь делай.
Метелью праздничной и белой
во мне шумят твои шаги.

Душе и сладко, и темно,
ей не уйти и не остаться, –
и трубы трепетные счастья
по-птичьи плачут надо мной.

1962

* * *

И нам, мечтателям, дано,
на склоне лет в иное канув,
перебродившее вино
тянуть из солнечных стаканов,
в объятьях дружеских стихий
служить мечте неугасимой,
ценить старинные стихи
и нянчить собственного сына.
И над росистою травой,
между редисок и фасолей,
звенеть прозрачною строфой,
наивной, мудрой и веселой.

1952

* * *

Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали.
Я их сам не узнал. Я не думал, что это про то.
Полуночница, умница, черная пчелка печали,
не сердись на меня. Посмотри на меня с добротой.

Как чудесно и жутко стать сразу такими родными!
Если только захочешь, всю душу тебе отворю.
Я твержу как пароль каждым звуком хмелящее имя,
я тревожной порой опираюсь на нежность твою.

Не цветными коврами твой путь устилала усталость,
окаянную голову северный ветер сечет.
Я не встречусь с тобой. Я с тобой никогда не расстанусь.
Отдохни в моем сердце, покуда стучится еще.

Задержись хоть на миг – ты приходишь с таким опозданьем.
Пусть до смертного часа осветит слова и труды
каждый жест твоих рук, обожженных моим обожаньем.
Чудо жизни моей, я в долгу у твоей доброты.

1962

* * *

И опять – тишина, тишина, тишина.
Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий.
Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена,
и почиет пчела на моем подбородке.

Я блаженствую молча. Никто не придет.
Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная.

Все, что вижу вокруг, беспредельно любя,
как я рад, как печально и горестно рад я,
что могу хоть на миг отдохнуть от себя,
полежать на траве с нераскрытой тетрадью.

Это самое лучшее, что́ мне дано:
так лежать без движений, без жажды, без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.

И не страшно душе – хорошо и легко
слиться с листьями леса, с растительным соком,
с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.

[*1948–1950*]

* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя – как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.
Никто – ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я – просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

[*1966–1967*]

* * *

Как стали дни мои тихи...
        Какая жалость!
Не в масть поре мои стихи,
        как оказалось.

Для жизни надобно служить
        и петь «тарам-там», –
а как хотелось бы прожить
        одним талантом.

Махну, подумавши, рукой:
        довольно бредней, –
не я единственный такой,
        не я последний.

Добро ль, чтоб голос мой гремел,
        была б охота,
а вкалывал бы, например,
        безмолвный кто-то?

Всему живому друг и брат
        под русским небом,
я лучше у церковных врат –
        за нищим хлебом.

Пускай стихам моим пропасть,
без славы ляснув, –
зато, веселым, что им власть
мирских соблазнов?

О, что им, вольным, взор тупой,
корысть и похоть,
тщеславье тех, кто нас с тобой
берет под ноготь?

Моя безвестная родня,
простые души,
не отнимайте у меня
нужды и стужи.

В полдневный жар, в полночный мрак,
строкой звуча в них,
я никому из вас не враг
и не начальник.

Чердак поэта – чем не рай?
Монтень да тюлька.
Еще, пожалуйста, сыграй,
моя свистулька.

Россия – это не моря,
леса, долины.
С ее душой душа моя
неразделимы.

1965

ОДА РУССКОЙ ВОДКЕ

Поля неведомых планет
души славянской не пленят,
но кто почел, что водка яд,
таким у нас пощады нет.
На самом деле ж водка – дар
для всех трудящихся людей,
и был веселый чародей,
кто это дело отгадал.

Когда б не нес ее ко рту,
то я б давно зачах и слег.
О, где мне взять достойный слог,
дабы воспеть сию бурду?

Хрусталён, терпок и терпим
ее процеженный настой.
У синя моря Лев Толстой
ее по молодости пил.

Под Емельяном конь икал,
шарахаясь от вольных толп.
Кто в русской водке знает толк,
тот не пригубит коньяка.
Сие народное питье
развязывает языки,
и наши думы высоки,
когда мы тяпаем ее.

Нас бражный дух не укачал,
нам эта влага по зубам,
предоставляя финь-шампань
начальникам и стукачам.
Им не узнать вовек того
невосполнимого тепла,
когда над скудостью стола
воспрянет светлое питво.

Любое горе отлегло,
обидам русским грош цена,
когда заплещется она
сквозь запотевшее стекло.
А кто с вралями заодно,
смотри, чтоб в глотку не влили:
при ней отпетые врали
проговорятся все равно.

Вот тем она и хороша,
что с ней не всяк дружить горазд.
Сам Разин дул ее не раз,
полки боярские круша.
С Есениным в иные дни
история была такая ж –
и, коль на нас ты намекаешь,
мы тоже Разину сродни.

И тот бессовестный кащей,
кто на нее повысил цену,
но баять нам на эту тему
не подобает вообще.

Мы все когда-нибудь подохнем,
быть может, трезвость и мудра, –
а Бог наш – Пушкин пил с утра
и пить советовал потомкам.

1963

* * *

Весна – одно, а оттепель – иное:
сырая грязь, туманов серый дым,
слабеет лед, как зуб, крошась и ноя,
да жалкий дождь трещит на все лады.

Ее приметы сумрачны и зыбки,
в ее теплыни холод затаен,
и снег – не снег, и тает по ошибке,
да жалкий дождь клубится сатаной.

Все планы – в прах, все вымыслы повыбрось,
не доверяй минутному теплу.
Куда ни глянь – все мокрота да рыхлость,
да жалкий дождь стекает по стеклу.

И мы хмелеем, даром что тверезы,
разинув рты на слякотную хмарь,
но молча ждут мордастые морозы,
да жалкий дождь бубнит, как пономарь.

1963

* * *

Нам стали говорить друзья,
что им бывать у нас нельзя.

Что ж, не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,

что валят прямо и тайком
на времена и на райком,

окончат шуткой неудачной
и вниз по лестнице чердачной.

А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.

1963

* * *

Колокола голубизне
рокочут медленную кару,
пойду по желтому пожару,
на жизнь пожалуюсь весне.

Тебя поносят фарисеи,
а ты и пикнуть не посмей.
Пойду пожалуюсь весне,
озябну зябликом в росе я.

Часы веселья так скупы,
так вечно косное и злое,
как будто все в меня весною
вонзает пышные шипы.

Я, как бессонница, духовен
и беззащитен, как во сне.
Пойду пожалуюсь весне
на то, что холод не уходит.

1965

* * *

Про то, что сердце, как в снегу,
в тоски таинственном настое,
как Маяковский, не смогу,
а под Есенина не стоит.

Когда б вмешательством твоим
я был от горшего избавлен,
про все, что на сердце таим,
я б написал, как Чичибабин.

Да, вот беда и канитель:
его нет дома, он в отлучке,
дверь заперта, пуста постель,
и жар-перо ржавеет в ручке.

1965

* * *

Одолевали одолюбы.
У них – не скрипка, не рожок.
Они до хрипа дули в трубы,
где помолчать бы хорошо.

Одолевали водоливы.
Им лист печатный маловат.
Еще туда-сюда вдали бы,
а то под ухом норовят.

А правда не была криклива,
у правды – скромное жилье,
но вся земля ее прикрыла,
и все услышали ее.

1962

ПАСТЕРНАКУ

Твой лоб, как у статуи, бел,
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.

И сетую, слез не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты, у трех сосен зарыт,
не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных...

А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода
любим и наивен.

И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
– Не может быть злой человек
хорошим поэтом...

Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,
храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,

где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.

О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?

Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,
не кончив похода...
Какая пора на дворе,
какая погода!..

Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.

[1962]

СОНЕТЫ К КАРТИНКАМ

1. ПАРУСА

Есть в старых парусах душа живая.
Я с детства верил вольным парусам.
Их океан окатывал, вздувая,
и звонкий ветер ими потрясал.

Я сны ребячьи видеть перестал
и, постепенно сердцем остывая,
стал в ту же масть, что двор и мостовая,
сказать по-русски – крышка парусам.

Иду домой, а дома нынче – стирка.
Душа моя состарилась и стихла.
Тропа моя полынью поросла.

Мои шаги усталы и неловки,
и на простой хозяйственной веревке
тряпьем намокшим сохнут паруса.

2. ВЕЧЕРОМ С ПОЛУЧКИ

Придет черед, и я пойду с сумой.
Настанет срок, и я дойду до ручки.
Но дважды в месяц летом и зимой
мне было счастье вечером с получки.

Я набирал по лавкам что получше,
я брился, как пижон, и, Бог ты мой,
с каким я видом шествовал домой,
неся покупки вечером с получки.

С весной в душе, с весельем на губах
идешь-бредешь, а на пути–кабак.
Зайдешь – и все продуешь до полушки.

Давно темно, выходишь, пьяный в дым,
и по пустому городу один –
под фонарями, вечером, с получки.

3. ПОСТЕЛЬ

Постель– костер, но жар ее священней:
на ней любить, на ней околевать,
на ней, чем тела яростней свеченье,
душе темней о Боге горевать.

У лжи ночной кто не бывал в ученье?
Мне все равно – тахта или кровать.
Но нет нигде звезды моей вечерней,
чтоб с ней глаза не стыдно открывать.

Меня постель казенная шерстила.
А есть любовь черней, чем у Шекспира.
А есть бессонниц белых канитель.

На свете счастья – ровно кот наплакал,
и, ох, как часто люди, как на плаху,
кладут себя в постылую постель.

4. ОСЕНЬ

О синева осеннего бесстыдства,
когда под ветром, желтым и косым,
приходит время помнить и поститься
и чад ночей душе невыносим.

Смолкает свет, закатами косим,
Любви – не быть, и небу – не беситься.
Грустят леса без бархата, без ситца,
и холодеют локти у осин.

Взывай к рассудку, никни от печали,
душа – красотка с зябкими плечами,
Давно ль была, как птица, весела?

Но синева отравлена трагизмом,
и пахнут чем-то горьким и прокислым
хмельным-хмельные вечера.

5. ЧТО Ж ТЫ, ВАСЯ?

Хоть горевать о прошлом не годится,
а все ж скажу без лишней чепухи:
и я носил погоны пехотинца
и по тревоге прыгал в сапоги.

У снов солдатских вздохи глубоки.
Узнай, каков конец у богатырства, –
свистя душой, с высотки покатиться
и поползти за смертью в лопухи.

А в лопухах, служа червям кормежкой, –
лихой скелет с распахнутой гармошкой,
в ее лады запутался осот.

Тряся костьми и в хохоте ощерен,
в пустые дырки смотрит чей-то череп
и черным ртом похабщину несет.

6. СТАРИК-КЛАДОВЩИК

Старик-добряк работает в райскладе.
Он тих лицом, он горестей лишен.
Он с нашим злом в таинственном разладе
весь погружен в певучий полусон.

Должно быть, есть же старому резон,
забыв лета и не забавы ради,
расколыхав серебряные пряди,
брести в пыли с гремучим колесом.

Ему – в одышке, в оспе ли, в мещанстве –
кричат людишки: «Господи, вмешайся!
Да будет мир избавлен и прощен!»

А старичок в ответ на эту речь их
твердит в слезах: «Да разве я тюремщик?
Мне всех вас жаль. Да я-то тут при чем?»

7. ХОРАЛ

Дай заглянуть в глаза твои еще хоть.
Скажи хоть раз, что ты была не сном...
Под сапогами, черными, как деготь,
кричит заря в отчаянье смешном.

Святые спят. Их плачем не растрогать.
Перепились на пиршестве ночном.
Лишь чей-то возглас: «Господи, начнем!»
И детский крик. И паника. И похоть.

На небесах горит хорал кровавый.
Он сбрасывает любящих с кроватей.
Он рушит стены, грозен и коряв.

Кричит в ночи раздавленное детство,
и никуда от ужаса не деться,
пока гремит пылающий хорал.

8. ПЛЕМЯ ЛИШНИХ

Мы – племя лишних в городе большом
с дворами злыми, с улицами старыми,
где люди глушат водку и боржом,
и врут в глаза, и трусят, как при Сталине.

Сто стукачей к нам сызмала приставлены,
казенный дом на тысячу персон.
А мы над всеми верами поржем.
А сами вовсе верить перестали мы.

Мы – племя лишних в этой жизни чертовой,
и мы со зла кричим: «А ну, еще давай!»
Нас давит век тяжелый, как булыжник.

В ракетных свистах да в разрывах атомных
мы – племя лишних, никому не надобных.
И мы плюем на все. Мы – племя лишних.

9. НЕ ВИЖУ, НЕ СЛЫШУ, ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ

Не вижу неба в петлях реактивных,
не вижу дымом застланного дня,
не вижу смерти в падающих ливнях,
ни матерей, что плачут у плетня.

Не слышу, как топочет солдатня,
гремят гробы, шевелятся отцы в них,
не слышу, как в рыданьях безотзывных
трясется мир и гибнет от огня.

Знать не хочу ни жалости, ни злобы,
знать не хочу, что есть шуты и снобы,
что боги врут в руках у палача.

Дремлю в хмелю, историю листаю, –
не вижу я, не слышу я, не знаю,
что до конца осталось полчаса.

10. ЖЕНЩИНА У МОРЯ

Над вечным морем свет сменила мгла.
Плывут валы, как птицы в белых перьях.
Всей красоты не разглядеть теперь их,
лишь пыль от них на камушки легла.

И женщина, пришедшая на берег,
в напевах волн стоит голым-гола,
как хрупкий храм. И соль на бедрах белых,
и славят ночь ее колокола.

Две наготы. Два неба. Два набата.
Грозна душа седого шалуна,
и, вся его дыханием объята,

как синева, хмельна и солона,
стоит у моря женщина ночная,
сама себя не видя и не зная.

11. ВЕСЕННИЙ ДОМ

Я помню дом один весною в городе.
Его за то я в памяти храню,
что по его карнизам ходят голуби
и снег лежит у крыши на краю.

Еще мокрынь, еще деревья голы те,
но, вся отдавшись нежному вранью,
горит девчонка в том весеннем холоде,
в мальчишеских ладонях, как в раю.

Взлетают неба синие качели.
А дом стоит, тяжелый от капели,
а льды звенят, а снег никак не стается.

Мне холода вовек не возомнятся.
Моим девчонкам всем по восемнадцать.
Я никогда не доживу до старости.

12. ВЕТЕР

Дуй, ветер, так, чтоб нам дышать невмочь,
греми в ушах, перед глазами черкай,
прочней вяжи моих морозов мощь
с ее весной, мучительной и зоркой.

Не бойся ветра, нежная, как ночь,
ни буйства страсти, сумрачной и горькой.
Мы крещены бедой и черствой коркой.
И только ветер смеет нам помочь.

У жизни есть на всякого указки.
Но мы вступаем в заговор цыганский.
Возврата нет. Все брошено в былом.

Ладонь в ладонь! Черны или червонны –
любовь и ветер – больше ничего мы
в тревожный путь с собою не берем.

1960–1963

* * *

Живем – и черта ль нам в покое?
Но иногда, по временам,
с устатку что-нибудь такое
приходит в голову и нам.

Что проку добрым быть и честным,
искать начала и концы,
когда и мы в свой срок исчезнем,
как исчезают подлецы,

когда и нам закроют веки
и нас на кладбище свезут?
Но есть же совесть в человеке
и творчества веселый зуд.

Есть та особенная сила,
что нам с рожденья привита,
чтоб нашу плоть нужда месила,
чтоб дух ковала клевета.

И огнь прожег пяты босые,
когда и мне настал черед
поверить в то, что я – Россия –
земля, вода и сам народ.

В меня палили вражьи пушки,
меня ссылали в Соловки,
в моей душе Толстой и Пушкин
как золотые колобки.

Я грелся в зимние заносы
у Революции костров,
и на меня писал доносы
Парис Жуаныч Котелков.

В беде, в безвестности, в опале,
в глухой дали от милых глаз
мои тревоги не пропали,
моя держава сбереглась.

И вот – живу, пытаю душу,
готовлю душу к платежу
и прозаическую стужу
стихами жаркими стыжу.

1964

* * *

Когда с тобою пьют,
не разберешь по роже,
кто – прихвостень и плут,
кто – попросту хороший.

Мне все друзья святы.
Я радуюсь, однако,
учуяв, что и ты
из паствы Пастернака.

Но мне важней втройне
в разгаре битв заветных,
на чьей ты стороне –
богатых или бедных.

Пусть муза и умрет,
блаженствуя и мучась,
но только б за народ,
а не за власть имущих.

Увы, мой стяг – мой стих,
нам абсолютно плохо:
не узнает своих
безумная эпоха.

1964

* * *

Я слишком долго начинался
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса,
неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям моим неведом,
враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков
землянин с люлечки пленен.
Рассвет рассудка одинаков
у всех народов и племен.

Но я с мальчишества наметил
прожить не в прибыльную прыть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

И кровь и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

Уже листва уходит с веток
в последний гибельный полет,
а мною сложенных и спетых –
никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о каменья,
и сам согбен, как аксакал.
Меня младые поколенья
опередили, обскакав.

Не счесть пророков и провидцев,
что ни кликуша, то и тип,
а мне к заветному пробиться б,
до сокровенного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,
что я бурбон и нелюдим,
и весь мой пот, и весь мой опыт
пойдет не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,
моих святынь не видно им,
и не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса.
Со мной ни брата, ни отца.
Я слишком долго начинался.
Мне страшно скорого конца.

1965

* * *

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Среди сосен и скал там нам было на все начихать.
Там у синего моря цветы на камнях розовели
и дремалось цветам под языческий цокот цикад.

Мы забыли беду, мы махнули рукой на заботы,
мы сказали нужде: «Подожди-ка нас дома, нужда!»
Дома ссорились мы. Я тебе говорил: «Ну чего ты?»
И в глаза целовал, и добра ниоткуда не ждал.

Так уж вышло у нас. Ничего мы с тобой не сумели.
Я дымлю табаком, надо мной воздушок сине-сиз.
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там мы рвали кизил и ходили пешком в Симеиз.

Бесшабашное солнце плыло в галактических высях
над просоленной галькой – обломышем древних пород…
Я от кривды устал, я от горнего голода высох,
не смеются глаза, и улыбкой не красится рот.

Убежим от себя – хоть на край, хоть на день, хоть на час мы.
Ну-ка платье надень, ну-ка ношу на камни свали –
и забудем о том, что запутаны мы и несчастны,
и в смеющейся влаге утопим тревоги свои...

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Он висел между скал и глаза нам лазурью колол.
Жарко-ржавые пчелы от сока живьем осовели,
черкал ящерок яркий. Скакал по камням богомол.

Там нам было тепло. А бывало, от стуж коченели.
Государственный холод глаза голубые гасил...
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там шершава трава и неслыханно кисел кизил.

1966

* * *

Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла.

У мира прорва бедолаг, –
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.

Я только-только дотяну
вот эту строчку,
а кровь людская не одну
зальет сорочку.

Уже за мной стучатся в дверь,
уже торопят,
и что ни враг – то лютый зверь,
что друг – то робот.

Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй, –
мы все привычною стезей
проходим путь свой.

Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим.
Что льда у лета, доброты
просить у женщин.

Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу, –
принять бы яду натощак,
принять бы яду.

И ты, любовь моя, и ты –
ладони, губы ль –
от повседневной маеты
идешь на убыль.

Как смертью веки сведены,
как смертью – веки,
так все живем на свете мы
в Двадцатом веке.

Не зря грозой ревет Господь
в глухие уши:
– Бросайте все! Пусть гибнет плоть.
Спасайте души!

1966

* * *

Когда трава дождем сечется
и у берез стволы сочатся,
одна судьба у пугачевца –
на виселице покачаться.

И мы качаемся, босые,
в полях обшмыганных и черных.
О нас печалится Россия
очами синими девчонок.

А ночь на Русь упала чадом,
и птицу-голову – на жердь вы,
хоть на плечах у палача там
она такая ж, как у жертвы.

А борода его смеется,
дымящаяся и живая,
от казака до инородца
дружков на гульбище сзывая.

А те дружки не слышат зова
и на скоромное не падки,
учуяв голос Пугачева,
у них душа уходит в пятки.

А я средь ночи и тумана
иду один, неотреченный,
за головою атамана,
за той отчаянной и черной.

1967

* * *

Не брат с сестрой, не с другом друг,
без волшебства, без чуда,
живем с тобой, как все вокруг, –
ни хорошо, ни худо.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
еще смеемся: «Эка
беда!» – меж тем как наш недуг
совпал с бедою века.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
а с женщиной мужчина,
мы сходим в ад за кругом круг,
и в этом вся причина.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
и что ни шаг – то в бездну, –
и хоть на плаху, но из рук,
в которых не воскресну.

1967

* * *

Уходит в ночь мой траурный трамвай.
Мы никогда друг другу не приснимся.
В нас нет добра, и потому давай
простимся.

Кто сочинил, что можно быть вдвоем,
лишившись тайн в пристанище убогом,
в больном раю, что, верно, сотворен
не Богом?

При желтизне вечернего огня
как страшно жить и плакать втихомолку.
Четыре книжки вышло у меня.
А толку?

Я сам себе растлитель и злодей,
и стыд и боль как должное приемлю
за то, что все придумывал – людей
и землю.

А хуже всех я выдумал себя.
Как мы в ночах прикармливали зверя,
как мы за ложь цеплялись не любя,
не веря.

Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, как прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести
по свету.

Я все снесу. Мой грех, моя вина.
Еще на мне и все грехи России.
А ночь темна, дорога не видна...
Чужие...

Страшна беда совместной суеты,
и в той беде ничто не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждой
и злостью.

1967

* * *

И вижу зло, и слышу плач,
и убегаю, жалкий, прочь,
раз каждый каждому палач
и никому нельзя помочь.

Я жил когда-то и дышал,
но до рассвета не дошел.
Темно в душе от божьих жал,
хоть горсть легка, да крест тяжел.

Во сне вину мою несу
и – сам отступник и злодей –
безлистым деревом в лесу
жалею и боюсь людей.

Меня сечет господня плеть,
и под ярмом горбится плоть, –
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.

И были дивные слова,
да мне сказать их не дано,
и помертвела голова,
и сердце умерло давно.

Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.

1968

* * *

Тебя со мной попутал бес
шататься зимней чащей,
где ты сама была как лес,
тревожный и молчащий.

В нем снег от денного тепла
лежал тяжел и лепок –
и стыли ножки у тебя
в ботиночках нелепых.

Мы шли по лесу наугад,
навек, напропалую,
и ни один не видел гад,
как я тебя целую.

Дышал любимой на виски
и молча гладил руки
и задыхался от тоски
и нестерпимой муки.

Нам быть счастливыми нельзя,
а завтра будет хуже, –
и лишь древесные друзья
заглядывали в души.

Да с лаской снежная пыльца,
неладное почуяв,
касалась милого лица
и горьких поцелуев.

1967

* * *

В январе на улицах вода,
темень с чадом.
Не увижу неба никогда
сердцем сжатым.

У меня из горла – не слова –
боли комья.
В жизни так еще не тосковал
ни по ком я.

Ты стоишь, как Золушка, в снегу,
ножки мочишь.
Улыбнись мне углышками губ,
если можешь.

В январе не разыскать следов.
Сны холонут.
Отпусти меня, моя любовь,
камнем в омут.

Мне не надо больше смут и бед,
славы, лени.
Тихо душу выдохну тебе
на колени.

Упаду на них горячим лбом.
Ох, как больно!
Вся земля – не как родильный дом,
а как бойня.

В первый раз приходит Рождество
в черной роли.
Не осталось в мире ничего,
кроме боли.

И в тоске, и в смерти сохраню
отсвет тайны.
Мы с тобой увидимся в раю.
До свиданья.

1968

*   *   *

На сердце красится боль и досада.
Милым лицом твоим весь озарясь,
только с тобою изыду из ада,
Лиля Карась.

Прелесть примет твоих неуловима.
Ты во спасенье мое родилась.
С верой шепчу твое светлое имя,
Лиля Карась.

Жизнь твою стиснули робость и жалость
страхом беды повседневно казнясь,
тайной мечтанья в ночах освежалась
Лиля Карась.

В шуме вражды беззащитен и странен
лик твой иконный, но братством гордясь,
рады деревья в бору, что сестра им
Лиля Карась.

Кончатся сроки раздумий и странствий
хватятся правнуки: как ты звалась?
Встретимся травами. Шепотом: – Здравствуй,
Лиля Карась.

Только с тобой – до последней одышки,
по бездорожию, злу не корясь, –
в шапочке вязаной, в старом пальтишке
Лиля Карась.

А как уйду, от разлуки избавлен
горечью вея да прахом курясь,
будем вовеки: Борис Чичибабин –
Лиля Карась.

1967

*   *   *

Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное, как жердь.

Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал – и видел ад воочью, –
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.

1967

КОЛОКОЛ

Возлюбленная! Ты спасла мои корни!
И волю, и дождь в ликовании пью.
Безумный звонарь, на твоей колокольне
в ожившее небо, как в колокол, бью.

О как я, тщедушный, о крыльях мечтал,
о как я боялся дороги окольной.
А пращуры душу вдохнули в металл
и стали народом под звон колокольный.

Да буду и гулок, как он, и глубок,
да буду, как он, совестлив и мятежен.
В нем кротость и мощь. И ваятель Микешин
всю Русь закатал в тот громовый клубок.

1968

* * *

Когда взыграют надо мной
весны трагические трубы,
мне вслед за ними поутру бы
и только при смерти домой.

Как страшно спать под мертвой кровлей,
а не под ласковой листвой
и жить не мудростью людской,
а счастья суетною ловлей.

Но держат шоры грошовые,
служебно-паспортный режим,
чтоб я остался недвижим
и все мы были неживые.

Вот почему, как в жар дождя,
как ждут амнистии под стражей,
я жду шагов твоих с утра уже,
до крика к вечеру дойдя.

Свое дневное отработав
заради скудного куска,
мы – должники твои, тоска
пустынных лестничных пролетов.

Но уведи меня туда,
где мир могуч, а травы пряны,
где наши ноющие раны
омоет нежная вода.

Там ряска сеется на заводь
сквозь огневое решето,
и мы возьмем с собой лишь то,
что и в раю нельзя оставить.

Из всей древесности каштан
достоин тысячи поклонов,
а из прозаиков – Платонов,
а из поэтов – Мандельштам.

Там дышит хмель и каплет сок,
и, трав телесностью наполнясь,
ты в них вдохнешь свою духовность
и станешь легкой, как цветок.

Там все свежо и озаренно
и ничему запрета нет
навеянному с детских лет
новеллами Декамерона.

Там все, что лесом прожито,
хранит малюсенький кустарник,
он не слыхал стихов бездарных
и разговоров ни про что.

Там пир всемирного братанья,
и только люди – без корней.
Так уведи меня скорей
туда, где все – добро и тайна.

1968

* * *

Ф. Кривину

Я груз небытия вкусил своим горбом:
смертельна соль воды, смертельна горечь хлеба,
но к жизни возвращен обыденным добром –
деревьями земли и облаками неба.

Я стер с молчащих губ отчаянья печать,
под нежной синевой забыл свои мученья.
Когда не слышно слов, всему дано звучать,
все связано со всем и все полно значенья.

И маску простоты с реальности сорвав,
росой тяжелых зорь умыв лицо и руки,
как у священных книг, у желтоглазых трав
играючи учусь безграмотной науке.

Из кроткой доброты и мудрого стыда
кую свою броню, трудом зову забавы
и тихо говорю: «Оставьте навсегда
отчаянье и страх, входящие сюда вы».

На благодарный пир полмира позову,
навстречу счастью засвечу ресницы, –
и ничего мне больше не приснится:
и ад, и рай – все было наяву.

1968

* * *

Цветы лежали на снегу,
твое лицо тускнело рядом, –
и лишь дыханием и взглядом
я простонать про то смогу.

Был воздух зимний и лесной,
как дар за годы зла и мрака,
была могила Пастернака
и профиль с каменной слезой.

О счастье, что ни с кем другим
не шел ни разу без тебя я,
на строчки бережно ступая,
по тем заснежьям дорогим.

Как после неуместен был
обед в полупарадном стиле,
когда еще мы не остыли
от пастернаковской судьбы...

Звучи, поэзия, звучи,
как Маяковский на Таганке!
О три сосны – как три цыганки,
как три языческих свечи...

Когда нам станет тяжело,
ты приходи сюда погреться,
где человеческое сердце
и под землей не зажило.

Чужую пыль с надгробья смой,
приникни ртом к опальной ране,
где я под вещими ветрами
шумлю четвертою сосной.

[1972–1973]

* * *

Трепещу перед чудом Господним,
потому что в бездушной ночи
никого я не спас и не поднял,
по-пустому слова расточил.

Ты ж таинственней черного неба,
золотей Мандельштамовых тайн.
Не меня б тебе знать, и не мне бы
за тобою ходить по пятам.

На земле не пророк и не воин,
истомленный твоей красотой, –
как мне горько, что я не достоин,
как мне стыдно моей прожитой!

Разве мне твой соблазн и духовность,
колокольной телесности свет?
В том, что я этой радостью полнюсь,
ничего справедливого нет.

Я ничтожней последнего смерда,
но храню твоей нежности звон,
что, быть может, одна и бессмертна
на погосте отпетых времен.

Мне и сладостно, мне и постыдно.
Ты – как дождь от лица до подошв.
Я тебя никогда не постигну,
но погибну, едва ты уйдешь.

Так прости мне, что заживо стыну,
что свой крест не умею нести,
и за стыд мой, за гнутую спину
и за малый талант мой – прости.

Пусть вся жизнь моя в ранах и в оспах,
будь что будет, лишь ты не оставь,
ты – мой свет, ты – мой розовый воздух,
смех воды, поднесенной к устам.

Ты в одеждах и то как нагая,
а когда все покровы сняты,
сердце падает, изнемогая,
от звериной твоей красоты.

1968

* * *

Куда мне бежать от бурлацких замашек?
Звенят небеса высоко.
На свете совсем не осталось ромашек
и синих, как сон, васильков.

Отдай мою землю с дождем и рябиной,
верни мне березы в снегу.
Я в желтые рощи ушел бы с любимой,
да много пройти не смогу.

Лишь воздух полуночи мой собеседник.
Сосняк не во сне ли возник?
Там серый песок, там чабрец и бессмертник,
там дикие звезды гвоздик.

Бросается в берег русалочья брага.
Там солнышком воздух согрет.
И сердце не вспомнит ни худа, ни блага,
ни школьных, ни лагерных лет.

И Вечность вовек не взойдет семицветьем
в загробной безрадостной мгле.
И я не рожден в девятьсот двадцать третьем,
а вечно живу на земле.

Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гете
со мной в непробудном родстве.

1969

ИЗ СОНЕТОВ ЛЮБИМОЙ

1

Как властен в нас бессмысленного зов,
как страшен грех российского развала.
Под ним нагнулись чаши всех весов,
и соль земли его добром назвала.

Безбожной бурей выплеснут из вала,
мир начинался голенький с азов.
Как Страшный суд, в нем шел отсев отцов:
духовность гибла, низость выживала.

Когда бы знал, никто б не стал рождаться
в позорный век позорного гражданства
с живой душой под мертвою стопой.

Рай нашей жизни хрупок и громоздок.
Страх духом стал. Ложь подменила воздух.
В такой-то век я встретился с тобой.

2

У явного злодейства счет двойной,
проливший кровь будь первым наготове:
звереет боль, и собранные брови
грозят насилью мстительной войной.

И Вечности не жаль отмщенной крови.
Но ложь страшна бескровною виной.
Ей нет суда. Поймай ее на слове.
Всем хорошо, все сыты тишиной.

Добрей петля и милосердней нож.
Не плоть, а души убивает ложь,
до смерти в совесть всосанная с детства.

Словесомолы, неучи, ханжи,
мы – тени тел, приникшие ко лжи,
и множим ложь в ужасное наследство.

3

– Ответьте мне, Сервантес и Доре,
почто так жалок рыцарь из Ламанчи,
зачем порок так царственно заманчив
и почему нет радости в добре?

Так вопрошал я в чертовой дыре,
боль вечных ран надеждой не занянчив,
у мертвых и живых ответа клянчив,
но был уклончив он о той поре.

Под ношей зла, что сердцу тяжела,
когда б я знал, что рядом ты жила,
как Бог добра, но вся полна соблазна.

В твоих губах цвел сладостный ответ:
– Лицо Любимой излучает свет,
а харя зла темна и безобразна.

4

Не спрашивай, что было до тебя.
То был лишь сон, давно забыл его я.
По кругу зла под ружьями конвоя
нас нежил век, терзая и губя.

От наших мук в лесах седела хвоя,
хватал мороз, дыхание клубя.
В глуби меня угасло все живое,
безвольный дух в печали погребя.

В том страшном сне, минутная, как милость,
чуть видно ты, неведомая, снилась.
Я оживал, в других твой свет любя.

И сам воскрес, и душу вынес к полдню,
и все забыл, и ничего не помню.
Не спрашивай, что было до тебя.

5

Для счастья есть стихи, лесов сырые чащи
и синяя вода под сенью черных скал,
но ты в сто тысяч раз таинственней и слаще
всего, что видел взор и что рассудок знал.

Когда б мне даровал небесный аксакал
джорджоневский закал, заманчивый и зрящий,
то я б одну тебя бросал на холст горящий,
всю жизнь тебя для всех лепил и высекал.

Почто из тьмы один лишь я причастен к чуду?
Есть лучшие, чем я. С кем хочешь и повсюду
будь счастлива. А я, хвала твоим устам,

уже навек спасен, как Господом католик.
По капле душу пей томливыми, с которых
еще не отжурчал блаженный Мандельштам.

6

Люблю твое лицо. В нем каждая черта –
от облачного лба до щекотных ресничек –
стесняется сказать, как ландышно чиста
душа твоя, сестра деревьев и лесничих.

Тому, кто чист душой, привычна нищета.
Для бывших бунтарей мы нищие из нищих.
Но ты, не помня зла, беспечностью казнишь их.
Перед лицом твоим не страшно ни черта.

Люблю в него смотреть с наивностью сектанта.
Когда читаешь вслух Гомера или Данта,
ты всей душою там, в их думах дома ты.

Но тихо льется ночь в древесные стаканы,
и ласк твоих труды медлительно-медвяны,
и прелести твоей не надо темноты.

7

Твое лицо светло, как на иконе,
ты в зное снов святишься, как река.
Хвала тебе! Крылаты наши кони.
Как душен век! Как Вечность коротка!

Мне без тебя – ни вздоха, ни глотка.
О, сколько жара тайного в тихоне!
Стыдишься слов? Спроси мои ладони,
как плоть твоя тревожна и гладка.

Отныне мне вовек не будет плохо.
Не пророню ни жалобы, ни вздоха,
и в радость боль, и бремя – благодать.

Кто приникал к рукам твоим и бедрам,
тот внидет в рай, тому легко быть добрым.
О, дай Господь, всю жизнь тебя ласкать!

8

Смиренница, ты спросишь: где же стыд?
Дикарочка, воскликнешь: ты нескромен!
И буду я в глазах твоих уронен,
и детский взор обиды не простит.

Но мой восторг не возводил хоромин,
он любит свет, он сложное простит.
Я – беглый раб с родных каменоломен.
Твоя печаль на лбу моем блестит.

Моим глазам, твое лицо нашедшим,
после тебя тоска смотреть на женщин,
как после звезд на сдобный колобок.

Меня тошнит, что люди пахнут телом.
Ты вся – душа, вся в розовом и белом.
Так дышит лес. Так должен пахнуть Бог.

9

Когда б мы были духом высоки,
в любви достойны милого мерила,
с каким весельем ты б себя дарила,
всему стыду, всем страхам вопреки.

Ты и в алчбе чиста и белокрыла,
а мы и в снах от неба далеки.
В какую даль, округлы и легки,
зовут твои упругие ветрила?

Кто обоймет их трепетную прелесть?
Не накасались и не насмотрелись.
Как трудно жить! Хоть губы освежим.

Таи мечты под черною короной
и речью тела одухотворенной
влеки, влюбляя, к святости вершин.

10

Великая любовь душе моей дана.
Ей радостью такой дано воспламениться,
что в пламени ее рассыпались страницы,
истлела волчья шерсть и стала высь видна.

И я узнал, что жизнь без чуда холодна,
что правда без добра ловчит и леденится,
что в мире много правд, но истина одна,
разумных миллион, а мудрых единицы,

что мир, утратив стыд, любовью то зовет,
когда у божества вздувается живот
и озорство добра тишает перед прозой.

Исполненный тоски за братьев и сестер,
я сердце обнажил, и руки распростер,
и озарил простор звездой черноволосой.

11

Черноволос и озаренно-розов,
твой образ вечно будет молодым,
но старюсь я, несбывшийся философ,
забытый враль и нищий нелюдим.

Ты древней расы, я из рода россов
и, хоть не мы историю творим,
стыжусь себя перед лицом твоим.
Не спорь. Молчи. Не задавай вопросов.

Мне стыд и боль раскраивают рот,
когда я вспомню все, чем мой народ
обидел твой. Не менее чем девять

веков легло меж нами. И мало –
загладить их – все лучшее мое.
И как мне быть? И что ты можешь сделать?

12

В тебе семитов кровь туманней и напевней
земли, где мы с тобой ромашкой прорастем.
Душа твоя шуршит пергаментным листом.
Я тайные слова читаю на заре в ней.

Когда жила не здесь, а в Иудее древней,
ты всюду по пятам ходила за Христом,
волшбою всех тревог, весельем всех истом,
всей нежностью укрыв от разъяренных гребней.

Когда ж он выдан был народному суду
и в муках умирал у черни на виду,
а лоб мальчишеский был тернями искусан,

прощаясь и скорбя, о как забились вдруг
проклятьем всех утрат, мученьем всех разлук
ладони-ласточки над распятым Исусом.

13

Бессмыслен русский национализм,
но крепко вяжет кровью человечьей.
Неужто мало трупов и увечий,
что этим делом снова занялись?

Ты слышишь вопль напыщенно-зловещий?
Пророк-погромщик, осиянно-лыс,
орет в статьях, как будто бы на вече,
и тучами сподвижники нашлись.

«Всех бед, – кричат, – виновники евреи,
народа нет корыстней и хитрее –
доколь терпеть иванову горбу?»

А нам еще смешно от их ужимок,
Светла река, и в зарослях кувшинок
веслом веселым к берегу гребу.

14

Палатка за ночь здорово промокла.
Еще свежо от утренней росы.
Течет туман с зеленой полосы,
а я тебе читаю вслух Софокла.

В селе заречном редко лают псы,
а, кроме них, на свете все замолкло.
Под щебет птиц чуть движутся часы,
а я тебе читаю вслух Софокла.

Когда уйдем, хочу, чтоб ты взяла
с собою воздух леса и села
и старых ран, чтоб кровь на мне засохла.

Нам век тяжел. Нам братья не друзья.
Мир обречен. Спасти его нельзя.
А я тебе читаю вслух Софокла.

15

Мне о тебе, задумчиво-телесной,
писать – что жизнь рассказывать свою.
Ты – мой собор единственный, ты – лес мой,
в котором я с молитвою стою.

Ты – все, чем я дышал в родном краю:
полынь полей, мед пасеки небесной,
любовь к добру, и ужас перед бездной,
и в черный час презренье к холую.

Вся жизнь моя. Как мне вместить все это
в один пролет мгновенного сонета,
не пропустив, не предав ничего,

чтоб ты, как мир, воскресла белой ранью,
как божество, доступное желанью,
как вышних чар над бренным торжество.

16

«Смешно толпе добро», – такой припев заладя,
не я ли с давних пор мотал себе на ус
извечнейший, как жизнь, как солнышка с оладьей,
с застенчиво-смешным прекрасного союз.

И мы с тобой смешны, как умникам Исус,
как взрослому дитя, как Мандельштам и Надя.
Твоей душе молясь, твои колени гладя,
я над самим собой мальчишески смеюсь.

Устроено хитро, что нежность и величье
нам часто предстают в комическом обличье.
Так, может быть, и нас запомнят наизусть?

Вот скачет Дон Кихот – и хлоп с лошадки наземь!
Зачем же он смешон? Затем, что он прекрасен.
Смешны избранники. Тем хуже? Ну и пусть!

17

Наш общий друг, прозрев с позавчера,
любовью древней возлюбил Россию.
Любви иной ничем не пересилю,
хоть ей еще не срок и не пора.

Отрину бремя левого ребра,
раздую жар и зрение расширю,
и все, что прожил, брошу морю синю,
коли в нем нет духовного добра.

Я с детских лет не чту родства по крови.
Когда ж гроза все зримей, все багровей,
я мерой взял твой свет и доброту.

Великий грех – равнять людей и нелюдь.
Я стану всех одной любовью мерить,
и только с ней я братьев обрету.

18

Бессмертна проза русская. И благо
земле, чьим соком кроны вспоены.
Ее плоды лишь истине верны,
и не вольны над ней костер и плаха.

Но как должны быть распределены
в одной душе и мера, и отвага,
и страсть, и ум у авторов «Войны
и мира», «Жизни и судьбы», «Живаго».

О, дай мне Бог, быть истинным и щедрым,
грянь в парус мой мирооблетным ветром,
пред коим ложь презренна и тиха.

Пока мой ковш серебряный не допит,
пусть русской прозы мужественный опыт
упрочит прелесть русского стиха.

19

В любое место можно взять билет,
есть дом у всех – Америка, Москва ли, –
а мы с тобой из безымянной швали,
а нам с тобой нигде приюта нет.

Не для того, чтоб через сотню лет
с тобой меня по имени назвали,
я взял билет на призрачном вокзале
и за сонетом выдышал сонет.

Не я писал. Моим пером водила
та власть, что движет листья и светила
и сны диктует в рощах вечеров.

Я был щепой в орфическом потоке.
Я все сказал, всему подвел итоги.
Я – твой диктант и Божий вещероб.

20

Еще не весь свободен от химер я,
еще от слов хмелеет голова.
Простится ль мне мое высокомерье,
дурацкий смех и праздные слова?

Но солнце жжет и трудится трава,
и бьется сердце, полное доверья.
О вечной жизни пели наши перья,
той, что свята, прекрасна и права.

Я не взлюбил традиций и нотаций,
я полюбил трудиться и мотаться
и светлых снов космическую ширь.

К моей звезде, таинственной, далекой,
иду на свет единственной дорогой,
слепого века строгий поводырь.

21

Когда уйдут в бесповоротный путь
любви моей осенние светила,
ты напиши хоть раз когда-нибудь
стихи про то, как ты меня любила.

Я не прошу: до смерти не забудь.
Ты и сама б до смерти не забыла.
Но напиши про все, что с нами было,
не дай добру в потопе потонуть.

Глядишь – и я сквозь вечную разлуку
услышу их. Я буду рад и звуку:
дождинкой светлой в ночь мою стеки.

И я по звуку нарисую образ.
О, не ласкать, не видеть – но еще б раз
душой услышать милые стихи.

22

Какое счастье, что у нас был Пушкин!
Сто раз скажу, хоть присказка стара.
Который год в загоне мастера
и плачет дух над пеплищем потухшим.

Топор татар, Ивана и Петра,
смех белых вьюг да темный зов кукушкин...
Однако ж голь на выдумку хитра:
какое счастье, что у нас был Пушкин.

Который век безмолвствует народ
и скачет Медный задом наперед,
но дай нам Бог не дрогнуть перед худшим,

брести к добру заглохшею тропой.
Какое счастье, что у нас есть Пушкин!
У всей России. И у нас с тобой.

23

Не льну к трудам. Не состою при школах.
Все это ложь и суета сует.
Король был гол. А сколько истин голых!
Как жив еще той сказочки сюжет.

Мне ад везде. Мне рай у книжных полок.
И как я рад, что на исходе лет
не домосед, не физик, не геолог,
что я никто – и даже не поэт.

Мне рай с тобой. Хвала Тому, кто ведал,
что делает, когда мне дела не дал.
У ног твоих до смерти не уныл,

не часто я притрагиваюсь к лире,
но счастлив тем, что в рушащемся мире
тебя нашел – и душу сохранил.

1969–1975

ВЕСЕННИЕ СТАНСЫ

1

Над всей землей – ласкающая высь.
Зато зимой я весь мольба: «Явись!»
Весна нисходит к любящим с высот
и всех живых от холода спасет.

2

Как с губ ребенка первые слова,
пробилась тонко первая трава,
спросонок почки щурятся с ветвей,
и самый свет становится светлей.

3

В последний раз мы печку разожжем.
Еще деревья дремлют нагишом,
но даже корни чувствуют весну –
и с ними я все ночи не засну.

4

В моей руке любимая рука.
Да будет ей любовь моя легка.
Возьми, весна, и нас в одно свяжи,
чтоб стали дни просторны и свежи.

5

Я прожил годы в горе и тоске,
бросал на ветер, строил на песке
и заплатил всей мукою земной,
чтоб в этот час она была со мной.

6

Цветами рощ, каменьями морей
пестро жилье возлюбленной моей,
скворечня муз, где прозы шум и лязг
нам не слышны среди стихов и ласк.

7

Лети, душа, за солнышком в зенит!
Пусть каждый шаг о радости звенит
и длится сон, и слышу горний зов
под белый звон святых колоколов.

8

Весна нисходит, землю веселя.
Ее призыв услышала земля.
О, как еще ей зябко по утрам,
но свет влечет, и смысл его упрям.

9

Так дай, о жизнь, безмерна и щедра,
сто раз коснуться милого бедра
и по весне морозною зарей
в блаженном сне на родине зарой.

1968

ЭПИТАЛАМА, СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

О Гименей-Христос, о нежный Гименей!
Благослови двух душ бесстрашную единость,
наставь и укрепи, слепи, смешай, сведи нас
в убожестве Твоем – в духовности Твоей.

О скорбный Гименей, кто плотницким вином
стол бедных одарил в рассказе Иоанна,
чей образ обрастал одеждами обмана,
будь с нами, как тогда, во времени ином.

От нашей немоты, о ясный Гименей,
не пастырь наш, а брат, прими обет венчальный,
благослови обряд блаженный и печальный
средь попранных святынь, обобранных камней.

От бренности и лжи в мечте своей омой,
избави от стыда и, отрешив от странствий,
прощенным счастье дай друг другу молвить
«Здравствуй»,
прижать к лицу лицо вернувшимся домой.

О сердце и чело, отвергнувшие злость!
О легкий Гименей, сквозь рознь благослови нас,
чтоб канула во тлен былая половинность
и Целое из нас собралось и зажглось.

Две тьмы преобрази в сияние одно,
благослови на жизнь, благослови на вечность,
дай любящим прозреть в конечном бесконечность,
испить в земных водах небесное вино.

О Гименей-Христос, о тихий Гименей,
открой нам нашу высь, чтоб, низости переча,
друг с другом и с Тобой увечненная встреча
в бессмертие вела средь смертоносных дней.

Да примем в брачный дар Твой жертвенный венец,
о кроткий Гименей, как в Кане Галилейской,
раскаявшихся душ ласкающею леской
из мертвых вод времен для вечности ловец.

Да с верой длань Твоя коснется наших лбов,
играющий с детьми и сам Дитя Господне,
чтоб Царствие Твое исполнилось сегодня
и вызрела в сердцах всемирная любовь.

И в терньях, и в цепях, свободный Гименей,
упрочь наш брачный дом, о бесприютный путник,
в стране берез и верб, где есть Толстой и Пушкин,
что сладостней, чем мед, и соли солоней.

А если станет в ней безлюдней и темней
и недостойный стон из недр во сне исторгнем,
да устыдимся уз, да будет даром долг нам,
о радостный Исус, о светлый Гименей!

1980

ТАЛЛИНН

У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки,
испорошившейся на треть,
где я свое оставил сердце –
не подышать и насмотреться,
а полюбить и умереть.

Войдя в него, поймете сами,
что эти башенки тесали
для жизни, а не красоты.
Для жизни – рынка заварушка,
и конной мельницы вертушка,
и веры тонкие кресты.

С блаженно-нежною усмешкой
я шел за юной белоснежкой,
былые горести забыв.
Как зябли милые запястья,
когда наслал на нас ненастье
свинцово-пепельный залив.

Но доброе средневековье
дарило путников любовью,
как чудотворец и поэт.
Его за скудость шельмовали,
а все ж лошадки жерновами
мололи суету сует...

У Бога в каменной шкатулке
есть жестяные переулки,
домов ореховый раскол

в натеках смол и стеарина
и шпиль на ратуше старинной,
где Томас лапушки развел.

За огневыми витражами
пылинки жаркие дрожали
и пел о Вечности орган.
О город готики господней,
в моей безбожной преисподней
меня твой облик настигал.

Наверно, я сентиментален.
Я так хочу вернуться в Таллинн
и лечь у вышгородских стен.
Там доброе средневековье
колдует людям на здоровье –
и дух не алчет перемен.

1970

ЛИТВА – ВПЕРВЫЕ И НАВЕК

Одну я прожил или две,
неволен и несветел,
но я не думал о Литве,
пока тебя не встретил.

Сквозь дым и сон едва-едва
нашел единоверца.
А ты мне все: «Литва, Литва...», –
как о святыне сердца...

И вот, дыханье затая,
огнем зари облиты,
сошли как в тайну ты и я
на вильнюсские плиты.

Плыла, как лодочка, Литва,
смолою пахли доски,
в лесах высокая листва
шумела по-литовски.

Твои глаза под цвет лесов,
так сладко целовать их,
но рядом тысячи Христов
повисли на распятьях.

Я ведал сам и верил снам,
бродя по крестной пуще,
что наш восторг ее сынам
был оскорбленья пуще.

Пусть я из простаков простак,
но как нам выжить все же,
когда от боли на крестах
дрожат ладони Божьи?..

И мученическая смерть
ни капли не суровей,
чем о любви своей не сметь
проговориться в слове.

Сквозь боль пронесший на губах
озноб сосны и тмина,
Чюрленис – ты безумный Бах
из рощи Гедимина.

За нами гнался дикий век
своим дыханьем сжечь нас,
но серебром небесных рек
нам лбы студила Вечность.

И стали от веселых слез
у нас глаза туманны,
когда и нам пройти пришлось
у стен костела Анны.

Их тихий свет в себе храня,
их простотою мерясь,
мы не разлюбим те края,
где протекает Нерис.

Я перед той тоской винюсь,
какой никто б не вынес,
но знай, что я еще вернусь
к твоим ладоням, Вильнюс.

[*1973*]

РИГА

Как Золотую Книгу
в застежках золотых же,
я башенную Ригу
читаю по-латышски.

Улыбкой птицеликой
смеется сквозь века мне
царевна-горемыка
из дерева и камня.

Касавшиеся Риги
покоятся во прахе –
кафтаны и вериги,
тевтоны и варяги.

Здесь край светловолосых,
чье прошлое сокрыто,
но в речи отголосок
священного санскрита.

Где Даугава катит
раскатистые воды,
растил костлявый прадед
цветок своей свободы.

Он был рыбак и резчик
и тешил душу сказкой,
а воду брал из речек
с кувшинками и ряской.

Служа мечте заслоном,
ладонью меч намацав,
бросал его со звоном
на панцири германцев.

И просыпалась Рига,
ища трудов и споров,
от птиц железных крика
на остриях соборов...

А я чужой всему здесь,
и мне на стыд и зависть
чужого сна дремучесть,
чужого сада завязь.

Как божия коровка,
под башнями брожу я.
Мне грустно и неловко
смотреть на жизнь чужую.

Как будто бы на Сене,
а может быть, на Рейне
души моей спасенье –
вечерние кофейни.

Вхожу горбат и робок,
об угол стойки ранюсь
и пью из темных стопок,
что грел в ладонях Райнис.

Ушедшему отсюда
скитаться и таиться
запомнится как чудо
балтийская столица.

И ночью безнебесной
услышим я и Лиля,
как петушок железный
зовет зарю со шпиля.

Гори, сияй, перечь-ка
судьбе – карге унылой,
янтарное колечко
на пальчике у милой.

Да будут наши речи
светлы и нелукавы,
как розовые свечи
пред ликом Даугавы.

1972

* * *

Улыбнись мне еле-еле,
что была в раю хоть раз ты.
Этот рай одной недели
назывался Саулкрасты.

Там приют наш был в палатке
у смолистого залива,
чьи доверчивы повадки,
а величие сонливо.

В Саулкрасты было небо
в облаках и светлых зорях.
В Саулкрасты привкус хлеба
был от тмина прян и горек.

В Саулкрасты были сосны,
и в кустах лесной малины
были счастливы до слез мы,
оттого что так малы мы.

Там встречалася не раз нам
мавка, девочка, певунья,
чье веселым и прекрасным
было детское безумье.

В ней не бешеное пламя,
не бессмысленная ярость, –
разговаривала с пнями,
нам таинственно смеялась...

С синим небом белый парус
занят был игрою в прятки,
и под дождь нам сладко спалось
в протекающей палатке.

Нам не быть с мечтой в разлуке.
На песок, волна, плесни-ка,
увлажни нам рты и руки
вместо праздника, брусника.

Мы живем, ни с кем не ссорясь,
отрешенны и глазасты.
Неужели мы еще раз
не увидим Саулкрасты?

1972

БАХ В ДОМСКОМ СОБОРЕ

Светлы старинные соборы.
В одном из них по вечерам
сиял и пел орган, который
был сам похож на Божий храм.

И там, воспряв из тьмы и праха,
крылами белыми шурша,
в слезах провеивала Баха
миротворящая душа.

Все лица превращались в лики,
все будни тлели вдалеке,
и Бах не в лунном парике,
а в звездном звоне плыл по Риге.

Он звал в завременную даль
от жизни мелочной и рьяной
и обволакивал печаль
светлоулыбчивой нирваной.

И мы, забыв про плен времен,
уняв умы, внимали скопно,
как он то жаловался скорбно,
то веселился, просветлен.

Мы были близкие у близких,
и в нас ни горечи, ни лжи,
и светом сумерек латвийских
просвечивали витражи.

И развевался светлый саван
под сводами, где выше гор
сиял и пел орган, и сам он
был как готический собор.

1972

* * *

С далеких звезд моленьями отозван,
к земле прирос
и с давних пор живет в лесу литовском
Исус Христос.

Знобят дожди его нагое тело,
тоскуют с ним,
и смуглота его посеверела
от здешних зим.

Его лицо знакомо в каждом доме,
где видят сны,
но тихо стонут нищие ладони
в кору сосны.

Не слыша птиц, не радуясь покою
лесных озер,
он сел на пень и жалобной рукою
щеку подпер...

Я в ту страну лесную и речную
во сне плыву,
но все равно я ветрено ревную
к нему Литву.

Он там сидит на пенышке сосновом
под пенье ос,
и до сих пор никем не арестован
смутьян Христос.

Про черный день в его крестьянской торбе
пяток сельдей.
Душа болит от жалости и скорби
за всех людей.

Ему б – не ложь словесного искуса,
молву б листвы...
Ну как же вы не видели Исуса
в лесах Литвы?

1970

ПРОКЛЯТИЕ ПЕТРУ

Будь проклят, император Петр,
стеливший душу, как солому!
За боль текущего былому
пора устроить пересмотр.

От крови пролитой горяч,
будь проклят, плотник саардамский,
мешок с дерьмом, угодник дамский,
печали певческой палач!

Сам брады стриг? Сам главы сек!
Будь проклят, царь-христоубийца,
за то, что кровию упиться
ни разу досыта не смог!

А Русь ушла с лица земли
в тайнохранительные срубы,
где никакие душегубы
ее обидеть не могли.

Будь проклят, ратник сатаны,
смотритель каменной мертвецкой,
кто от нелепицы стрелецкой
натряс в немецкие штаны.

Будь проклят, нравственный урод,
ревнитель дел, громада плоти!
А я служу иной заботе,
а ты мне затыкаешь рот.

Будь проклят тот, кто проклял Русь –
сию морозную Элладу!
Руби мне голову в награду
за то, что с ней не покорюсь.

1970

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ В НАЧАЛЕ СЕМИДЕСЯТЫХ

О Господи, подай нам всем скончаться за год
до часа, как Китай пойдет войной на Запад.

Для напасти такой, что вскорости накатит,
ни Дантов и ни Гой у вечности не хватит.

Исполнится с лихвой пророчество рязанца:
над Русью и Литвой удары разразятся.

Прислушайся к земле в ознобе и тревоге:
беда уже в седле, и страх уже в дороге.

Нашествие скотин с головками из воска,
как будто бы с картин Иеронима Босха.

Голодная орда, чьи помыслы кровавы,
растопчет города греховности и славы.

Ничто не оградит от кольев и укусов
кричащих Афродит и стонущих Исусов.

Когда свершится суд, под клики негодяев
в один костер пойдут и Ленин, и Бердяев.

Горами мертвых тел обрушится эпоха,
и тем, кто уцелел, равно придется плохо.

О дьявол, чем поишь? Никто так не поил нас.
В развалинах Париж, Флоренция и Вильнюс.

Весь мир пойдет на снедь для той орды бродячей,
да так, что даже смерть покажется удачей.

С изысканностью мук Европе спорить нечем:
слыхали, чтоб бамбук рос в теле человечьем?

В кишку воткни, ловчась, и боль навив мотками,
по сантиметру в час пойдет вгрызаться в ткани.

И желтый сатана с восточною усмешкой
поднимется со дна над жизнью головешкой...

Рекомая беда, венчающая сцена,
вот не скажу когда, но будет непременно.

А чтоб не думал ты, что я пекусь о малом,
свои – желтым-желты по нынешним журналам.

Там, кровью обагрен, шлет вязкие повестки
на дружеский погром Петруша Верховенский.

Воздев на шею крест и всю родню прирезав,
на гноище воскрес кровавейший из бесов.

История, тю-тю! Кончайте ваши пренья,
а умников – к ногтю, земле для удобренья.

Что сеял – то пожни: мы разве были добрыми?
О Боже, ниспошли хотя б скончаться вовремя.

О Господи, подай нам всем подохнуть за год
до часа, как Китай навалится на Запад.

1972

ВЕНОК НА МОГИЛУ ХУДОЖНИКА

Хоть жизнь человечья и вправду пустяк,
но, даже и чудом не тронув,
Чюрленис и Врубель у всех на устах,
а где же художник Филонов?

Над черным провалом летел, как Дедал,
питался как птица господня,
а как он работал и что он видал,
никто не узнает сегодня.

В бездомную дудку дудил, как Дедал,
аж зубы стучали с мороза,
и полдень померкнул, и свет одичал,
и стала шиповником роза.

О, сможет сказать ли, кому и про что
тех снов размалеванный парус?
Наполнилось время тоской и враждой,
и Вечность на клочья распалась.

На сердце мучительно, тупо, нищо,
на свете пустынно и плохо.
Кустодиев, Нестеров, кто там еще –
какая былая эпоха!

Ничей не наставник, ничей не вассал,
насытившись корочкой хлеба,
он русскую смуту по-русски писал
и веровал в русское небо.

Он с голоду тонок, а судьи толсты,
и так тяжела его зрячесть,
что насмерть сыреют хмельные холсты,
от глаз сопричастников прячась.

А слава не сахар, а воля не мед,
и, солью до глаз ополоскан,
кто мог бы попасть под один переплет
с Платоновым и Заболоцким.

Он умер в блокаду – и нету его:
он был и при жизни бесплотен.
Никто не расскажет о нем ничего,
и друг не увидит полотен...

Я вою в потемках, как пес на луну,
зову над зарытой могилой...
...Помилуй, о Боже, родную страну,
Россию спаси и помилуй.

[*1973*]

* * *

Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю –
молиться молюсь, а верить – не верю.

Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?

От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла, –
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.

Нет меры жестокости ни бескорыстью,
и зря о твоем же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.

Скучая трудом, лютовала во блуде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди –
бахвалы, опричники и палачи.

А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит – и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.

Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.

1969

ПЕЧАЛЬНАЯ БАЛЛАДА О ВЕЛИКОМ ГОРОДЕ НАД НЕВОЙ

Был город как соль у России,
чье имя подобно звезде.
Раскатны поля городские,
каких не бывало нигде.

Петр Первый придумал загадку,
да правнуки вышли слабы.
Змея его цапни за пятку,
а он лошака на дыбы.

Над ним Достоевского очи
и Блока безумный приют.
Из белого мрамора ночи
над городом этим плывут.

На смерти настоянный воздух –
сам знаешь, по вкусу каков, –
хранит в себе строгую поступь
поэтов, царей, смельчаков.

Таит под туманами шрамы,
а море уносит гробы.
Зато как серебряны храмы,
дворцы зато как голубы.

В нем камушки кровью намокли,
и в горле соленый комок.
Он плачет у дома на Мойке,
где Пушкин навеки умолк.

Он медлит у каждого храма,
у мраморных статуй и плит,
отрытой строфой Мандельштама
Ахматовой сон веселит.

И, взором полцарства окинув,
он стынет на звонких мостах,
где ставил спектакли Акимов
и множил веселье Маршак.

Под пологом финских туманов
загривки на сфинксах влажны.
Уходит в бессмертье Тынянов,
как шпага уходит в ножны.

Тот город – хранитель богатства,
нет равных ему на Руси,
им можно всю жизнь любоваться,
а жить в нем Господь упаси.

В нем предала правду ученость,
и верность дала перекос,
и горько при жизни еще нас
оплакала Ольга Берггольц.

Грызет ли тоска петербуржцев,
свой гордый покинувших дом,
куда им вовек не вернуться,
прельщенным престольным житьем?

Во громе и пламени ляснув
над черной, как век, крутизной,
он полон был райских соблазнов,
а ныне он центр областной.

[*1977*]

ЛЕШКЕ ПУГАЧЕВУ

Шумит наша жизнь меж завалов и ямин.
Живем, не жалея голов.
И ты россиянин, и я россиянин –
здорово, мой брат Пугачев.

Расставим стаканы, сготовим глазунью,
испивши, на мир перезлись, –
и нам улыбнется добром и лазурью
Христом охраненная высь.

А клясться не стану, и каяться не в чем.
Когда отзвенят соловьи,
мы только одной лишь России прошепчем
прощальные думы свои.

Она – в наших взорах, она – в наших нервах,
она нам родного родней, –
и нет у нее ни последних, ни первых,
и все мы равны перед ней.

Измерь ее бездны рассудком и сердцем,
пред нею душой не криви.
Мы с детства чужие князьям и пришельцам,
юродивость – в нашей крови.

Дожди и деревья в мой череп стучатся,
крещенская стужа строга,
а летом шумят воробьиные царства
и пахнут веками стога.

Я слушаю зори, подобные чуду,
я трогаю ветки в бору,
а клясться не стану и спорить не буду,
затем что я скоро умру.

Ты знаешь, как сердцу погромно и душно,
какая в нем ночь запеклась,
и мне освежить его родиной нужно,
чтоб счастий чужих не проклясть.

Мне думать мешают огни городские,
и если уж даль позвала,
возьмем с собой Лильку, пойдем по России –
смотреть, как горят купола.

1978

ЦЕРКОВЬ В КОЛОМЕНСКОМ

Все, что мечтала услышать душа
в всплеске колодезном,
вылилось в возгласе: «Как хороша
церковь в Коломенском!»

Знаешь, любимая, мы – как волхвы:
в поздней обители –
где еще, в самом охвостье Москвы, –
радость увидели.

Здравствуй, царевна средь русских церквей,
бронь от обидчиков!
Шумные лица бездушно мертвей
этих кирпичиков.

Сменой несметных ненастий и ведр
дышат, как дерево.
Как же ты мог, возвеличенный Петр,
съехать отселева?

Пей мою кровушку, пшикай в усы
зелием чертовым.
То-то ты смладу от божьей красы
зенки отвертывал.

Божья краса в суете не видна.
С гари да с ветра я
вижу: стоит над Россией одна
самая светлая.

Чашу страданий испивши до дна,
пальцем не двигая,
вижу: стоит над Россией одна
самая тихая.

Кто ее строил? Пора далека,
слава растерзана...
Помнишь, любимая, лес да река –
вот она, здесь она.

В милой пустыне, вдали от людей
нет одиночества.
Светом сочится, зари золотей,
русское зодчество.

Гибли на плахе, катились на дно,
звали в тоске зарю,
но не умели служить заодно
Богу и Кесарю...

Стань над рекою, слова лепечи,
руки распахивай.
Сердцу чуть слышно журчат кирпичи
тихостью Баховой.

Это из злыдни, из смуты седой
прадеды вынесли
диво, созвучное Анне Святой
в любящем Вильнюсе.

Полные света, стройны и тихи,
чуда глашатаи, –
так вот должны воздвигаться стихи,
книги и статуи.

...Грустно, любимая. Скоро конец
мукам и поискам.
Примем с отрадою тихий венец –
церковь в Коломенском.

[*1973*]

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПОКРОВА НА НЕРЛИ

Мы пришли с тобой и замерли,
и забыли все слова
перед белым чудом на Нерли,
перед храмом Покрова,

что не камен, а из света весь,
из любовей, из молитв, –
вот и с вечностию сведались:
и возносит, и знобит.

Ни зимы меж тем, ни осени,
а весна – без мясников.
Бог растекся паром по земи –
стала церковь меж лугов.

Мы к ней шли дорогой долгою,
мы не ведали другой, –
лишь душа жужжала пчелкою
над молящейся травой.

Как подумаю про давнее,
сколько зол перенесли,
крестным мукам в оправдание
эта церковь на Нерли.

Где Россия деревенская
ниц простерлась, окружив,
жил я, родиной не брезгуя, –
потому и в мире жив.

Красоты ничем не вычислим:
в Риме был позавчера,
горд, скажу вам, и величествен
в Риме том собор Петра.

А моя царевна-скромница
всех смиренней, всех юней,
да зато и зло хоронится
перед радостною ней.

Дух восторгом не займется ль там,
в Божестве неусомним,
перед ней, как перед Моцартом, –
как пред Господом самим?

Что ж ты, смерть? Возьмись да выморозь –
да не выйдет ни шиша:
незатмимым светом вымылась
возлетевшая душа.

Лебедь белая, безмолвница,
от грехов меня отмой!
Кто в России не помолится
красоте твоей родной?

Горней радости учила ты:
на удар – в ответ – щеку б!
У тебя и мы – не сироты,
и поэт – не душегуб.

1988

ДЕВОЧКА СУЗДАЛЬ

О, Русь моя, жена моя...
А. Блок

Когда воплощаются сердца мечты,
душа не безуста ль?
А не было чуда небесней, чем ты,
ах, девочка Суздаль!

Ясна и прелестна, добра и нежна
во всем православье –
из сказки царевна, из песни княжна
и в жизни сестра мне.

Как свечи, святыни твои возжены, –
пестра во цветенье, –
не тронет старинной твоей тишины
Петра нетерпенье.

Но жизней мильон у Руси на кону –
и выси ли, бездне ль –
о, как она служит незнамо кому,
родимая безмерь!..

Ты ж дремлешь, серебряна и голуба,
средь темного мира
такой, как ремесленная голытьба
твой лик сохранила.

Ни грустного Пруста с собой не возьму,
ни Джойса, ни Кафку
на эту дарящую радость всему
зеленую травку.

В дали монастырской туман во садах,
полощется пашня, –
ах, девочка Суздаль, твоя высота
по-детски домашня.

Так весело сердцу, так празднует взгляд,
как будто Исус дал
им этот казнимый и сказочный град –
раздольную Суздаль.

Как будто я жил во чужой стороне,
и вот мне явилось
то детство, какого не выпало мне,
какое лишь снилось.

Уйдут, ко святым прикоснувшись местам,
обиды и усталь, –
ты девочкой будь, ты женою не стань,
пресветлая Суздаль.

Какой ни застынь поворот головы –
и в смутах не смеркли, –
полетно поют со смиренной травы
рассветные церкви.

В воде отражается храм небольшой,
возросший над нею,
и в зареве улиц притихшей душой
к России роднею.

О, как бы любил я ее и, любя,
как был бы блажен я,
когда б мог увидеть, взглянув на тебя,
ее отраженье!

1980

ПСКОВ

Темных сил бытия в нас –
в каждом хватит на двух.
Чем униженней явность,
тем возвышенней дух.

Меркнут славы и стоны
на Господних весах.
На земле побежденный
устоит в небесах.

Милый, с небом в соседстве,
город набожных снов,
нам приснившийся в детстве
и отысканный Псков.

В эту глушь, в бездорожье,
в этот северный лес
к людям ангелы Божьи
прилетали с небес.

В русской сказке, в Печорах,
что народ сотворил,
слышен явственный шорох
гармонических крыл...

Дело было под осень.
И охота ж была
Берендеевым осам
шелушить купола!

В просветленье блаженном,
о любви говоря,
пахла снегом и сеном
синева сентября.

Чайки хлопьями пены
опадали, дремля,
на старинные стены
ветряного Кремля.

И, свой каменный ворот
раскрывая навек,
славил Господа город
у слияния рек.

Оттого ль, что с холмов он
устремлен к высоте,
в нем, лесном и холщовом,
столько неба везде.

В нем бродяжливым дебрям
предстоял по утрам
так небесно серебрян
тихой Троицы храм.

Все державные дива
становились мертвей
перед правдой наива
его кротких церквей.

Капли горнего света –
строгих душ образа.
Как не веровать в это,
если видят глаза?

Бог во срубе небесном,
тот, чьих сил не боюсь,
только с вольным и честным
заключает союз.

Хоть порою бывает,
что, исполненный сил,
он зачем-то карает
тех, кого возлюбил...

Этот город, как Иов,
и, где ангел летал,
плакать бархатным ивам
по сожженным летам.

Пусть величье простое
неприглядно на вид –
побежденный в истории
в небесах устоит.

Мрет в луче благодатном
государева мощь,
и – ладошкой подать нам
до михайловских рощ!

[*1981*]

ЭКСКУРСИЯ В ЛИЦЕЙ

Нам удалась осенняя затея.
Ты этот миг, как таинство, продли,
когда с другими в сумерках Лицея
мы по скрипучим лестницам прошли.

Любя друг друга бережно и страшно,
мы шли по классам пушкинской поры.
Дымилась даль, как жертвенные брашна.
Была война, готовились пиры.

Горели свечи в коридорных дебрях.
Там жили все, кого я знал давно.
Вот Кюхельбекер, Яковлев, вот Дельвиг,
а вот и Он – кому за всех дано

сквозь время зреть и Вечности быть верным,
и слушать мир, как плеск небесных крыл.
Он плыл органом в хоре семисферном
и егозой меж сверстниками слыл...

Легко ль идти по тем же нам дорожкам,
где в шуме лип душа его жива,
где он за музой устьем пересохшим
шептал как чудо русские слова?

От жарких дум его смыкались веки,
но и во сне был радостен и шал,
а где-то рядом в золоте и снеге
стоял дворец и сад, как Бог, дышал...

И нет причин – а мы с тобою плачем,
а мы идем и плачем без конца,
что был он самым маленьким и младшим,
поди стеснялся смуглого лица

и толстых губ, что будто не про женщин.
Уже от слез кружится голова,–
и нет причин, а мы идем и шепчем
сквозь ливни слез бессвязные слова.

Берите все, берите все березы,
всю даль, всю ширь со славой и быльем,
а нам, как свет, оставьте эти слезы,
в лицейском сне текущие по нем.

Как сладко быть ему единоверцем
в ночи времен, в горячке вековой,
лишь ты и Он, душой моей и сердцем
я не любил нежнее никого.

А кто любил? Московская жаровня
ему пришлась по времени и впрок.
И всем он друг, ему ж никто не ровня –
ни Лев Толстой, ни Лермонтов, ни Блок.

Лишь о заре, привыкнув быть нагими,
над угольком, чья тайна так светла,
склонялись в ласке нежные богини
и все деревья Царского Села...

Уже близки державная опека
и под глазами скорбные мешки.
Но те, кто станут мученики века,
еще играют в жаркие снежки.

Еще темны воинственные вязы,
еще пруды в предутреннем дыму...
О смуглолицый, о голубоглазый,
вас переглушат всех по одному.

И по тебе судьба не даст осечки,
уложит в снег, чтоб не сошел с ума,
где вьет и крутит белые колечки
на Черной речке музонька зима...

Но знать не знает горя арапчонок –
земель и вод креститель молодой,
и синева небес неомраченных
ему смеется женской наготой.

В ребячьем сердце нежность и веселье,
закушен рот, и щеки горячи...
До наших лет из той лицейской кельи
сияет свет мальчишеской свечи.

И мы, даст Бог, до смерти не угаснем,
нам не уйти от памяти и дум.
Там где-то Грозный радуется казням,
горит в смоле свирепый Аввакум.

О, что уму небесные законы,
что град Петра, что Царскосельский сад,
когда на дыбе гибнут миллионы
и у казнимых косточки хрустят?

Молчат пустые комнаты и ниши,
и в тишине, откуда ни возьмись,
из глубины, но чудится, что свыше,
словами молвит внутренняя высь:

– Неси мой свет в туманы городские,
забыв меж строк Давидову пращу.
В какой крови грешна моя Россия,
а я ей все за Пушкина прощу.

1974

СТИХИ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

1

Ни с врагом, ни с другом не лукавлю.
Давний путь мой темен и грозов.
Я прошел по дереву и камню
повидавших виды городов.

Я дышал историей России.
Все листы в крови – куда ни глянь!
Грозный царь на кровли городские
простирает бешеную длань.

Клича смерть, опричники несутся.
Ветер крутит пыль и мечет прах.
Робкий свет пророков и безумцев
тихо каплет с виселиц и плах...

Но к о г д а закручивался узел
и к о г д а запенивался шквал,
Александр Сергеевич не трусил,
Николай Васильевич не лгал.

Меря жизнь гармонией небесной,
отрешась от лживой правоты,
не тужили бражники над бездной,
что не в срок их годы прожиты.

Не для славы жили, не для риска,
вольной правдой души утоля.
Тяжело Словесности Российской.
Хороши ее Учителя.

2

Пушкин, Лермонтов, Гоголь – благое начало,
соловьиная проза, пророческий стих.
Смотрит бедная Русь в золотые зерцала.
О, как ширится гул колокольный от них!

И основой святынь, и пределом заклятью
как возвышенно светит, как вольно звенит
торжествующий над Бонапартовой ратью
Возрождения русского мирный зенит.

Здесь любое словцо небывало значимо
и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты
осененные светом тройного зачина
наши веси и грады, кусты и кресты.

Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога,
ветер, мука и даль со враждой и тоской,
Русской Музы полет от Кольцова до Блока,
и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.

Как вода по весне, разливается Повесть
и уносит пожитки, и славу, и хлам.
Безоглядная речь. Неподкупная совесть.
Мой таинственный Кремль. Наш единственный храм.

О, какая пора б для души ни настала
и какая б судьба ни взошла на порог,
в мирозданье, где было такое начало –
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, – там выживет Бог.

1979

ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ

1

Никнет ли, меркнет ли дней синева –
на небе горестном
шепчут о вечном родные слова
маминым голосом.

Что там – над бездною судеб и смут,
ангелы, верно, там?
Кто вы, небесные, как вас зовут?
– Пушкин и Лермонтов.

2

В скудости нашей откуда взялись,
нежные, во свете?
– Все перевесит блаженная высь...
– Не за что, Господи!

Сколько в стремнины, где кружит листва,
спущено неводов, –
а у ранимости лика лишь два –
Пушкин и Лермонтов.

3

Детский, о Боже, младенческий зов...
Черепом – в росы я...
Здесь их обоих – на месте, как псов,
честные взрослые.

Вволю ль повыпито водочки злой,
пуншей и вермутов?
Рано вы русскою стали землей,
Пушкин и Лермонтов.

4

Что же в нас, люди, святое мертво?
Кашель, упитанность.
Злобные алчники мира сего,
как же любить-то нас?

Не зарекайтесь тюрьмы и сумы –
экая невидаль!
Сердцу единственный выход из тьмы –
Пушкин и Лермонтов.

5

Два белоснежных, два темных крыла,
зори несметные, –
с вами с рожденья душа обрела
чары бессмертия.

Господи Боже мой, как хорошо!
Пусто и немотно.
До смерти вами я заворожен,
Пушкин и Лермонтов.

6

Крохотка неба в тюремном окне...
С кем перемолвитесь?..
Не было б доли, да выпала мне
вечная молодость.

В дебрях жестокости каждым таясь
вздохом и лепетом,
только и памяти мне – что о вас,
Пушкин и Лермонтов.

7

Страшно душе меж темнот и сует,
мечется странница.
В мире случайное имя «п о э т»
в Вечности славится.

К чуду бессуетной жизни готов,
в радость уверовав,
весь я в сиянии ваших стихов,
Пушкин и Лермонтов.

1979

ПУТЕШЕСТВИЕ К ГОГОЛЮ

1

Как утешительно-тиха
и как улыбчиво-лукава
в лугов зеленые меха
лицом склоненная Полтава.

Как одеяния чисты,
как ясен свет, как звон негулок,
как вся для медленных прогулок,
а не для бешеной езды.

Здесь божья слава сердцу зрима.
Я с ветром вею, с Ворсклой льюсь.
Отсюда Гоголь видел Русь,
а уж потом смотрел из Рима...

Хоть в пенье радужных керамик,
в раю лошадок и цветов
остаться сердцем не готов,
у старых лип усталый странник, –

но так нежна сия земля
и так добра сия десница,
что мне до смерти будут сниться
Полтава, полдень, тополя.

Край небылиц, чей так целебен
спасенный чудом от обнов
реки, деревьев и домов
под небо льющийся молебен.

Здесь сердце Гоголем полно
и вслед за ним летит по склонам,
где желтым, розовым, зеленым
шуршит волшебное панно.

Для слуха рай и рай для глаза,
откуда наш провинциал,
напрягшись, вовремя попал
на праздник русского рассказа.

Не впрок пойдет ему отъезд
из вольнопесенных раздолий:
сперва венец и капитолий,
а там – безумие и крест.

Печаль полуночной чеканки
коснется дикого чела.
Одна утеха – Вечера
на хуторе возле Диканьки...

Немилый край, недобрый час,
на людях рожи нелюдские, –
и Пушкин молвит, омрачась:
– О Боже, как грустна Россия!..

Пора укладывать багаж.
Трубит и скачет Медный всадник
по душу барда. А пока ж
он – пасечник, и солнце – в садик.

И я там был, и я там пил
меда, текущие по хвое,
где об утраченном покое
поет украинский ампир...

2

А вдали от Полтавы, весельем забыт,
где ночные деревья угрюмы и шатки,
бедный-бедный андреевский Гоголь сидит
на собачьей площадке.

Я за душу его всей душой помолюсь
под прохладной листвой тополей и шелковиц,
но зовет его вечно Великая Русь
от родимых околиц.

И зачем он на вечные веки ушел
за жестокой звездой окаянной дорогой
из веселых и тихих черешневых сел,
с Украины далекой?

В гефсиманскую ночь не моли, не проси:
«Да минует меня эта жгучая чара», –
никакие края не дарили Руси
драгоценнее дара.

То в единственный раз через тысячу лет
на серебряных крыльях ночных вдохновений
в злую высь воспарил – не писательский, нет –
мифотворческий гений...

Каждый раз мы приходим к нему на поклон,
как приедем в столицу всемирной державы,
где он сиднем сидит и пугает ворон
далеко от Полтавы.

Опаленному болью, ему одному
не обидно ль, не холодно ль, не одиноко ль?
Я, как ласточку, сердце его подниму.
– Вы послушайте, Гоголь.

У любимой в ладонях из Ворсклы вода.
Улыбнитесь, попейте-ка самую малость.
Мы оттуда, где, ветрена и молода,
Ваша речь начиналась.

Кони ждут. Колокольчик дрожит под дугой.
Разбегаются люди – смешные козявки.
Сам Сервантес Вас за руку взял, а другой
Вы касаетесь Кафки.

Вам Италию видно. И Волга видна.
И гремит наша тройка по утренней рани.
Кони жаркие ржут. Плачет мать. И струна
зазвенела в тумане...

Он ни слова в ответ, ни жилец, ни мертвец.
Только тень наклонилась, горька и горбата,
словно с милой Диканьки повеял чабрец
и дошло до Арбата...

За овитое терньями сердце волхва,
за тоску, от которой вас Боже избави,
до полынной земли, Петербург и Москва,
поклонитесь Полтаве.

1973

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Ты нам во славу и в позор,
    Сергей Есенин.
Не по добру твой грустен взор
    в пиру осеннем.

Ты подменил простор земной
    родной халупой;
не то беда, что ты хмельной,
    а то, что глупый.

Ты, как слепой, смотрел на свет
    и не со зла ведь
хотел бы славить, что не след
    поэту славить.

И, всем заветам вопреки,
    как соль на раны,
ты нес беду не в кабаки,
    а в рестораны.

Смотря с тоскою на фиал –
    еще б налили, –
с какой ты швалью пропивал
    ключи Марии.

За стол посаженный плебей –
    и ноги на стол, –
и баб-то ты любил слабей,
    чем славой хвастал.

Что слаще лбу, что солоней –
    венец ли, плаха ль?
О, ресторанный соловей,
    вселенский хахаль!

Ты буйством сердца полыхал,
    а не мечтами,
для тех, кто сроду не слыхал
    о Мандельштаме.

Но был по времени высок,
    и я не Каин –
в твой позолоченный висок
    не шваркну камень.

Хоть был и неуч, и позер,
    сильней, чем ценим,
ты нам и в славу, и в позор,
    Сергей Есенин.

1971

* * *

О, дай нам Бог внимательных бессонниц,
чтоб каждый мог, придя под грубый кров
как самозванец, вдруг с далеких звонниц
услышать гул святых колоколов.

Той мзды печаль укорна и старинна,
щемит полынь, прощает синева.
О брат мой Осип и сестра Марина,
спасибо вам за судьбы и слова.

О, трижды нет! Не дерзок я, не ловок,
чтоб звать в родню двух лир безродный звон.
У ваших ног, натруженных, в оковах,
я нищ и мал. Не брезгуйте ж родством.

Когда в душе, как благовест Господний,
звучат стихи с воскреснувших страниц,
освободясь из дымной преисподней,
она лежит простершаяся ниц

и, слушая, наслушаться не может,
из тьмы чужой пришедшая домой,
и жалкий век, что ею в муках прожит,
не страшен ей, блаженной и немой.

И думает беглянка ниоткуда:
«Спасибо всем, кто дал мне их прочесть.
Как хорошо, что есть на свете Чудо,
хоть никому, хоть изредка, но есть.

А где их прах, в какой ночи овражной?
И ей известно ль, ведает ли он,
какой рубеж, возвышенный и страшный,
в их разобщенных снах запечатлен?

Пусть не замучит совесть негодяя,
но чуткий слух откликнется на зов...»
Так думает душа моя, когда я
не сплю ночей над истиной стихов.

О, ей бы так, на ангельском морозе б
пронзить собой все зоны и слои.
Сестра моя Марина, брат мой Осип,
спасибо вам, сожженные мои!

Спасибо вам, о грешные, о божьи,
в святых венцах веселий и тревог!
Простите мне, что я намного позже
услышал вас, чем должен был и мог.

Таков наш век. Не слышим и не знаем.
Одно словечко в Вечность обронив,
не грежу я высоким вашим раем.
Косноязычен, робок и ленив,

всю жизнь молюсь без имени и жеста, –
и ты, сестра, за боль мою моли,
чтоб ей занять свое святое место
у ваших ног, нетленные мои.

1980

СОНЕТ МАРИНЕ

За певчий бунт, за крестную судьбу,
по смертный миг плательщицу оброка,
да смуглый лоб, воскинутый высоко,
люблю Марину – Божию рабу.

Люблю Марину – Божия пророка
с грозой перстов, притиснутых ко лбу,
с петлей на шее, в нищенском гробу,
приявшу честь от родины и рока,

что в снах берез касалась горней грани,
чья длань щедра, а дух щедрее длани.
Ее тропа – дождем с моих висков,

ее зарей глаза мои моримы,
и мне в добро Аксаков и Лесков –
любимые прозаики Марины.

1980

* * *

До могилы Ахматовой сердцем дойти нелегко –
через славу и ложь, стороной то лесной, то овражной,
по наследью дождя, по тропе, ненадежной и влажной,
где печаль сентябрей собирает в полях молоко.

На могиле Ахматовой надписи нет никакой.
Ты к подножью креста луговые цветы положила,
а лесная земля крестный сон красотой окружила,
подарила сестре безымянный и светлый покой.

Будь к могиле Ахматовой, финская осень, добра,
дай бездомной и т а м не отвыкнуть от гордых привычек.
В рощах дятлы стучат, и грохочет тоской электричек
город белых ночей, город Пушкина, город Петра.

Облака в вышине обрекают злотворцев ее
на презренье веков, и венчаньем святого елея
дышат сосны над ней. И победно, и ясно белея,
вечно юн ее профиль, как вечно стихов бытие.

У могилы Ахматовой скорби расстаться пора
с горбоносой рабой, и, не выдержав горней разлуки,
к ней в бессмертной любви протянул запоздалые руки
город черной беды, город Пушкина, город Петра.

1972

ПАМЯТИ А. ТВАРДОВСКОГО

Вошло в закон, что на Руси
при жизни нет житья поэтам,
о чем другом, но не об этом
у черта за душу проси.

Но чуть взлетит на волю дух,
нислягут рученьки в черниле,
уж их по-царски хоронили,
за исключеньем первых двух.

Из вьюг, из терний, из оков,
из рук недобрых, мук немалых
народ над миром поднимал их
и бережно, и высоко.

Из лучших лучшие слова
он находил про опочивших,
чтоб у девчонок и мальчишек
сто лет кружилась голова.

На что был загнан Пастернак –
тихоня, бука, нечестивец,
а все ж бессмертью причастились
и на его похоронах...

Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть.

Узнал, сердечный, каковы
плоды, что муза пожинала.
Еще лады, что без журнала.
Другой уйдет без головы.

Ты слег, о чуде не моля,
за все свершенное в ответе...
О, есть ли где-нибудь на свете
Россия – родина моя?

И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?

Ведь одного его любя,
превыше всяких мер и правил,
ты в рифмы Теркина оправил,
как сердце вынул из себя.

И в зимний пасмурный денек,
устав от жизни многотрудной,
лежишь на тризне малолюдной,
как жил при жизни одинок.

Бесстыдство смотрит с торжеством.
Земля твой прах сыновний примет,
а там Маршак тебя обнимет,
«Голубчик, – скажет, – с Рождеством!..»

До кома в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном –
и вот, унижен, слеп и наг,
лежал в гробу при орденах,

но с голодом неутоленным, –
на отпеванье потаенном
куда пускали по талонам
на воровских похоронах.

1971

ПАМЯТИ ДРУГА

1

В чужих краях, в своей пещере,
в лесном краю, в машинном реве
с любовью думаем о Шере
Израилевиче Шарове,

об углубленье и наитье,
о тайновидце глуховатом,
кто видел зло в кровопролитье,
но шел по замети солдатом,

о жизни лешего, сгоревшей
в писательской заветной схиме
плеч о плеч с Гроссманом, с Олешей
и отлетевшими другими,

о книжнике и о бродяге,
на чьей душе кровоподтеки,
об Одиссее на Итаке
и одиночестве в итоге,

о той тоске, что, как ни кличь я,
всегда больна и безымянна,
о беззащитности величья
и обреченности обмана,

о красоте, что не крылата,
но чьей незримостью спасутся,
сокрытой в черепе Сократа,
в груди испанского безумца,

о грустной святости попоек,
о крыльях, прошумевших мимо,
и – двое нас – о вас обоих
отдельно и неразделимо,

о все же прожитой не худо,
о человеке как о чуде,
а кто не верит в это чудо,
подите с наше покочуйте.

Пока сердца не обветшали,
грустя, что видимся нечасто,
мы пьем вино своей печали
за летописца и фантаста.

К Москве протягивая руки,
в ознобе гордости и грусти
сквозь слезы думаем о друге
в своем бетонном захолустье.

2

Но лишь тогда в Начале будет Слово,
когда оно готово Богом стать, –
вот почему писателя Шарова
пришла пора, открыв, перечитать.

Он в смене зорь, одна другой румянче,
средь коротыг отмечен вышиной,
был весь точь-в-точь, как воин из Ламанчи,
печальный, добрый, мудрый и смешной.

В таком большом как веку не вместиться?
Такую боль попробуй потуши!
Ему ж претит словесное бесстыдство –
витийский хмель расхристанной души.

Он тем высок, что в сказку быль впряглась им,
что он, глухарь, знал тысячи утрат,
но и в быту возвышенно прекрасен
в углу Москвы укрывшийся Сократ.

Зато и нам не знать мгновений лучших,
чем те, когда – бывало, повезет –
и к нам на миг его улыбки лучик
слетал порой с тоскующих высот...

Вот он на кухне в россказнях вечерних
сидит, ногою ногу оплетя,
писатель книг, неведомый волшебник,
в недобрый мир забредшее дитя.

Как принц из сказки, робок и огромен,
хоть нет на лбу короны золотой,
и не чудно ль, что мы его хороним,
а он, как свет, над нашей суетой?

И больно знать, что, так и не дождавшись,
наставших дней душа его ждала, –
так хоть теперь с нее снимите тяжесть,
пустите в жизнь из ящиков стола!

1973, 1984

ГАЛИЧУ

Когда с жестокостью и ложью
больным годам не совладать,
сильней тоска по царству Божью,
недостижимей благодать.

Взъярясь на вралищах гундосых,
пока безмолвствует народ,
пророк откладывает посох,
гитару в рученьки берет.

О как в готовность ждущих комнат
его поющий голос вхож!
И что с того, что он, такой вот,
на мученика не похож?

Да будь он баловень и бабник,
ему от песен нет защит,
когда всей родины судьба в них,
завороженная, звучит.

Его из лирики слепили,
он вещей болью одарен
и веку с дырами слепыми
назначен быть поводырем.

Ему б на площадь, да пошире,
а он один, как свет в ночи,
а в нем менты, а в нем кассирши,
поэты, психи, палачи.

Еще ль, голубчики, не все тут?
О, как мутится ум от кар!..
В какие годы голос этот,
один за всех, не умолкал!

Как дикий бык, склоняя выю,
измучен волею Творца,
он сеет светлую Россию
в испепеленные сердца.

Он судит пошлость и надменность,
и потешается над злом,
и видит мертвыми на дне нас,
и чует на сердце надлом.

И замирает близь и да́лечь
в тоске несбывшихся времен,
и что для жизни значит Галич,
мы лишь предчувствуем при нем.

Он в нас возвысил и восполнил,
что было низко и мертво.
На грозный спрос в Суде Господнем
ответим именем его.

И нет ни страха, ни позерства
под вольной пушкинской листвой.
Им наше время не спасется,
но оправдается с лихвой.

1974

ПОСМЕРТНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ А.А. ГАЛИЧУ

Чем сердцу русскому утешиться?
Кому печаль свою расскажем?
Мы все рабы в своем отечестве,
но с революционным стажем.

Во лжи и страхе как ни бейся я,
а никуда от них не денусь.
Спасибо, русская поэзия:
ты не покинула в беде нас.

В разгар всемирного угарища,
когда в стране царили рыла,
нам песни Александра Галича
пора абсурдная дарила.

Теперь, у сердца бесконвойного
став одесну́ю и ошу́ю,
нам говорят друзья покойного,
что он украл судьбу чужую.

Я мало знал его, и с вами я
о сем предмете не толкую –
но надо ж Божие призвание,
чтоб выбрать именно такую!

Возможно ли по воле случая,
испив испуг смерторежимца,
послав к чертям благополучие,
на подвиг певческий решиться?

Не знаю впредь, предам ли, струшу ли:
страна у нас передовая, –
но как мы песни эти слушали,
из уст в уста передавая!

Как их боялись – вот какая вещь –
врали, хапужники, невежды!
Спасибо, Александр Аркадьевич,
от нашей выжившей надежды.

1988

НА МОГИЛЕ ВОЛОШИНА

Я был на могиле поэта,
где духу никто не мешал,
в сиянии синего света,
на круче Кучук-Енишар.

В своем настоящем обличье
там с ветром парил исполин –
родня Леонардо да Винчи
и добрый вещун из былин.

Укрывшись от бурь и от толков
с наивной и мудрой мольбой,
он эти края для потомков
обжил и наполнил собой.

Гражданские грозы отринув,
язычески рыжебород,
увидел в девчонке – Марину
и благословил на полет.

Художник, пророк и бродяга,
незримой земли властелин,
у вскинутых скал Карадага
со всеми свой рай разделил...

Со всей потаенной России
почтить его гордый покой
мерещились тени другие,
завидуя тризне такой.

Но пели усталые кости,
вбирая гремучий бальзам,
о том, что разъехались гости
и не было счастья друзьям.

На солнце кусты обгорели,
осенние бури лихи...
Не меркнут его акварели,
у сердца не молкнут стихи.

И я в этом царстве вулканьем,
с велением сердца в ладу,
ему на обветренный камень
угрюмые строки кладу.

Пожил богатырь да поездил,
да дум передумал в тиши.
Превыше побед и поэзий
величие чистой души.

У туч оборвалась дорога.
Вернулся на берег Садко.
Как вовремя... Как одиноко...
Как ветрено... Как высоко...

1975

ПАМЯТИ ГРИНА

Шесть русских прозаиков, которых я взял бы с собой в пустыню, это: Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Пришвин и – Александр Грин.

Какой мне юный мир на старость лет подарен!
Кто хочешь приходи – поделим пополам.
За верность детским снам о как я благодарен
Бегущей по волнам и Алым парусам.

На русском языке по милости Аллаха
поведал нам о них в недавние лета
кабацкий бормотун, невдалый бедолага,
чья в эту землю плоть случайно пролита.

Суди меня, мой свет, своей улыбкой темной,
жеватель редких книг по сто рублей за том:
мне снится в добрый час тот сказочник бездомный,
небесную лазурь пронесший сквозь содом.

Мне в жизни нет житья без Александра Грина.
Он с луком уходил пасти голодный год
в языческую степь, где молочай и глина,
его средь наших игр му́тило от нагот.

По камушкам морским он радости учился,
весь застлан синевой, – уж ты ему прости,
что в жизни из него моряк не получился,
умевшему летать к чемушеньки грести,

что не был он похож на доброго фламандца,
смакующего плоть в любезной духоте,
но, замкнут и колюч, – куда ж ему сравняться
в приятности души с Антошей Чехонте.

Упрямец и молчун, угрюмо пил из чаши
и в толк никак не брал, почто мы так горды,
как утренняя тень он проходил сквозь наши
невнятные ему застолья и труды.

С прозрения по гроб он жаждал только чуда,
всю жизнь он прожил т а м, и ни минуты з д е с ь,
а нам и невдомек, что был он весь О Т Т У Д А,
младенческую боль мы приняли за спесь.

Ни родины не знал, ни в Индии не плавал,
ну, лакомка, ну, враль, бродяга и алкаш, –
а ты игрушку ту, что нам подсунул дьявол,
рассудком назовешь и совесть ей отдашь.

А ты всю жизнь стоишь перед хамлом навытяжь,
и в службе смысла нет, и совесть не грызет,
и все пройдет как бред, а ты и не увидишь,
как солнышко твое зайдет за горизонт...

Наверно, не найти средь русских захолустий
отверженней глуши, чем тихий Старый Крым,
где он нашел приют своей сиротской грусти,
за что мы этот край ни капли не корим.

От бардов и проныр в такую даль заброшен, –
я помню, как теперь, – изглодан нищетой,
идет он в Коктебель, а там живет Волошин, –
о хоть бы звук один сберечь от встречи той!

Но если станет вдруг вам ваша жизнь полынна,
и век пахнёт чужим, и кров ваш обречен,
послушайтесь меня, перечитайте Грина,
вам нечего терять, не будьте дурачьем.

1975

ПАУСТОВСКОМУ

Не уподобившись волхвам,
не видя света из-за марева,
я опоздал с любовью к Вам
на полстолетия без малого.

Но что ни год от Ваших чар
все чаще на душу – о Боже мой –
нисходит светлая печаль
и свежесть вести неопошленной.

На море Черном, на Оке ль
мне Ваше слышится дыхание, –
седого юношества хмель
с годами все благоуханнее.

Места, что были Вам милы,
и я люблю безоговорочно:
святое из житейской мглы
выходит ярко и осколочно, –

и тех осколков чистота
все светоносней и нетленнее.
О Боже, как юна мечта
и как старо осуществление!

Мир дышит лесом и травой
как бы в прозрачности предутренней, –
нет зренья в прозе мировой
восторженней и целомудренней.

И мне светлее оттого,
что в скуке ль будня, в блеске ль праздника
я столько раз ни одного
не перечитываю классика.

1984

С. СЛАВИЧУ

Живет себе в Ялте прозаик,
сутулый и рыжий на вид.
Ему бы про рыб да про чаек,
а он про беду норовит.

Да это ж мучение просто,
как весь он тревогой набряк,
худущий да длинного роста,
смешной и печальный добряк.

Приучен войной к просторечью,
к тяжелым и личным словам,
он все про тоску человечью,
про судьбы солдатские вам.

Есть чудо – телесная мякоть
рассказа, где с первой строки
ты будешь смеяться и плакать,
и молча сжимать кулаки,

и с верой дурацкой прощаться,
и пить из отравленных чаш.
И к этому чуду причастен
прозаик чахоточный наш.

Он в Ялту приехал с морозца,
он к морю пришел наугад.
Удача ему не смеется.
Печатать его не хотят.

Я с ним не живал по соседству –
и чем бы порадовать смог
за то, что пришелся по сердцу
его невозвышенный слог?..

Мудрец о судьбе не хлопочет,
не ищет напрасных забот,
и сам продаваться не хочет,
и в спорах ума не пропьет.

Жена у него и сынишка,
а он свои повести – в стол,
до лучшего часа, и, слышь-ка,
опять с рыбаками ушел.

Он ходит по Крыму, прослыв там
у дельных людей чудаком,
не то доморощенным Свифтом,
не то за душой ходоком...

Житье непутевое это
пришлось бы и мне по плечу,
да темной судьбою поэта
меняться ни с кем не хочу.

1976

ЗАЩИТА ПОЭТА

И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

А.С. Пушкин

С детских лет избегающий драк,
чтящий свет от лампад одиноких,
я – поэт. Мое имя – дурак.
И бездельник, по мнению многих.

Тяжек труд мне и сладостен грех,
век мой в скорби и праздности прожит,
но, чтоб я был ничтожнее всех,
в том и гений быть правым не может.

И хоть я из тех самых зануд,
но, за что-то святое жалея,
есть мне чудо, что Лилей зовут,
с кем спасеннее всех на земле я.

Я – поэт, и мой воздух – тоска,
можно ль выжить, о ней не поведав?
Пустомель – что у моря песка,
но как мало у мира поэтов.

Пусть не мед – языками молоть,
на пегасиках ловких процокав
под казенной уздой, но Господь
возвещает устами пророков.

И, томим суетою сует
и как Бога зовя вдохновенье,
я клянусь, что не может поэт
быть ничтожным хотя б на мгновенье.

Соловей за хвалой не блестит.
Улыбнись на бесхитростность птичью.
Надо все-таки выпить за стыд
и пора приучаться к величью.

Светлый рыцарь и верный пророк,
я пронизан молчанья лучами.
Мне опорою Пушкин и Блок.
Не равняйте меня с рифмачами.

Пусть я ветрен и робок в миру,
телом немощен, в куче бессмыслен,
но, когда я от горя умру,
буду к лику святых сопричислен.

Я – поэт. Этим сказано все.
Я из времени в Вечность отпущен.
Да пройду я босой, как Басё,
по лугам, стрекозино поющим.

И, как много столетий назад,
просветлев при божественном кличе,
да пройду я, как Данте, сквозь ад
и увижу в раю Беатриче.

И с возлюбленной взмою в зенит,
и от губ отрешенное слово
в воскрешенных сердцах зазвенит
до скончания века земного.

1973

* * *

Больная черепаха –
ползучая эпоха,
смотри: я – горстка праха,
и разве это плохо?

Я жил на белом свете
и даже был поэтом, –
попавши к миру в сети,
раскаиваюсь в этом.

Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.

Весь тутошний, как Пушкин
или Василий Теркин,
я слушал клеп кукушкин
и верил птичьим толкам.

Я – жрец лесных религий,
мне труд – одна морока,
по мне, и Петр Великий
не выше скоморока.

Как мало был я добрым
хоть с мамой, хоть с любимой,
за что и бит по ребрам
судьбиной, как дубиной.

В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.

Не верю в то, что руссы
любили и дерзали.
Одни врали и трусы
живут в моей державе.

В ней от рожденья каждый
железной ложью мечен,
а кто измучен жаждой,
тому напиться нечем.

Вот и моя жаровней
рассыпалась по рощам.
Безлюдно и черно в ней,
как в городе полнощном.

Юродивый, горбатенький,
стучусь по белу свету –
зову народ мой батенькой,
а мне ответа нету.

От вашей лжи и люти
до смерти не избавлен,
не вспоминайте, люди,
что я был Чичибабин.

Уже не быть мне Борькой,
не целоваться с Лилькой,
опохмеляюсь горькой.
Закусываю килькой.

1969

* * *

Дай вам Бог с корней до крон
без беды в отрыв собраться.
Уходящему – поклон.
Остающемуся – братство.

Вспоминайте наш снежок
посреди чужого жара.
Уходящему – рожок.
Остающемуся – кара.

Всяка доля по уму:
и хорошая, и злая.
Уходящего – пойму.
Остающегося – знаю.

Край души, больная Русь, –
перезвонность, первозданность
(с уходящим – помирюсь,
с остающимся – останусь) –

дай нам, вьюжен и ледов,
безрассуден, и непомнящ,
уходящему – любовь,
остающемуся – помощь.

Тот, кто слаб, и тот, кто крут,
выбирает каждый между:
уходящий – меч и труд,
остающийся – надежду.

Но в конце пути сияй
по заветам Саваофа,
уходящему– Синай,
остающимся – Голгофа.

Я устал судить сплеча,
мерить временным безмерность.
Уходящему – печаль.
Остающемуся – верность.

1971

* * *

Не веря кровному завету,
что так нельзя,
ушли бродить по белу свету
мои друзья.

Броня державного кордона –
как решето.
Им светит Гарвард и Сорбонна,
да нам-то что?

Пусть будут счастливы, по мне, хоть
в любой дали, –
но всем живым нельзя уехать
с живой земли.

С той, чья судьба еще не стерта
в ночах стыда,
а если с мертвой, то на черта
и жить тогда?..

Я верен тем, кто остается
под бражный треп
свое угрюмое сиротство
нести по гроб.

Кому обещаны допросы
и лагеря,
но сквозь крещенские морозы
горит заря.

Нам не дано, склоняя плечи
под ложью дней,
гадать, кому придется легче,
кому трудней.

Пахни ж им снегом и сиренью,
чума-земля.
Не научили их смиренью
учителя.

В чужое зло метнула жизнь их,
с пути сведя,
и я им, дальним, не завистник
и не судья.

Пошли им, Боже, легкой ноши,
прямых дорог
и добрых снов на злое ложе
пошли им впрок.

Пускай опять обманет демон,
сгорит свеча, –
но только б знать, что выбор сделан
не сгоряча.

1973

* * *

Опять я в нехристях, опять
меня склоняют на собраньях,
а я и так в летах неранних,
труд лишний под меня копать.

Не вправе клясть отчайный выезд,
несу как крест друзей отъезд.
Их Бог не выдаст – черт не съест,
им отчий стыд глаза не выест.

Один в нужде скорблю душой,
молчу и с этими и с теми, –
уж я-то при любой системе
останусь лишний и чужой.

Дай Бог свое прожить без фальши,
мой срок без малого истек,
и вдаль я с вами не ездок:
мой жданный путь намного дальше.

1973

БЫЛИНА ПРО ЕРМАКА

Ангел русской земли, ты почто меня гнешь и караешь?
Кто утешит мой дух, если в сердце печаль велика?
О, прости меня, Пушкин, прости меня, Лев Николаич,
я сегодня пою путеводную длань Ермака.

Бороде его – честь и очам его – вечная память,
и бессмертие – краю, что кровью его орошен.
Там во мшанике ночь и косматому дню не шаманить
над отшельничьим тем, над несбывшимся тем шалашом.

Отшумело жнивье, а и славы худой не избегло,
было имя, как стяг, а пошло дуракам на пропой,
и смирна наша прыть, и на звaную волю из пекла
не дано нам уплыть атамановой пенной тропой.

Время кружит в ночи смертоносно-незримые кружна,
с православного древа за плодом срывается плод.
Что Москва, что мошна – перед ними душа безоружна,
а в сибирском раю – ни опричников, ни воевод.

Две медведицы в лапах несут в небеса семисвечья,
и смеется беглец, что он Богу не вор и не тать.
Между зверем и древом томится душа человечья
и тоскует, как барс, что не может березонькой стать.

– Сосчитай, грамотей, сколько далей отмерено за день.
А что было – то было, то в зорях сгорело дотла.
Пейте брагу, рабы, да не врите, что я кровожаден,
вам ни мраку, ни звезд с моего кругового котла...

Мы пируем уход, смоляные ковши осушая,
и кедровые кроны звенят над поверженным злом.
Это – русские звоны, и эта земля – не чужая,
колокольному звону ответствует гусельный звон...

А за кручами – Русь, и оттуда – ни вести, ни басни,
а что деется там, не привидится злыдню во сне:
плахи, колья, колесы; клубятся бесовские казни,
с каждой казнью деньжат прибывает в царевой казне.

Так и пляшет топор, без вины и без смысла карая,
всюду трупы да гарь, да еще воронье на снегу,
и князь Курбский тайком отъезжает из отчего края,
и отъезд тот во грех я помыслить ему не могу.

Можно ль выстоять трону, сыновнею кровью багриму?
И на этой земле еще можно ль кого-то любить?
Льется русская кровь по великому Третьему Риму,
поелику вовеки четвертому Риму не быть...

А Ермак – на лугу, он для правнуков ладит садыбу,
он прощает врагу и для праздников мед бережет,
в скоморошьей гульбе он плюет на Малютину дыбу
и беде за плечами не тщится вести пересчет.

К Ермаковым ногам подкатился кедровый рогачик,
притулилась жар-птица, приластилась тьма из болот.
Ни зверью он не враг, ни чужого жилья не захватчик,
а из Божьих даров только волю одну изберет.

Под великой рекой он веселую голову сложит,
а заплачет другой, кто родится с похожей душой,
а тропы уже нет, потому что он сроду не сможет
ни обиды стерпеть, ни предаться державе чужой.

Из ковша Ермака пили бражники и староверы,
в белокрылых рубахах на грудь принимали врага,
а исполнив оброк, уходили в скиты и пещеры,
но и в райских садах им Россия была дорога.

Хорошо Ермаку. Не зазря он мне снился на Каме...
Над моей головой вместо неба нависла беда,
пали гусли из рук, расступается твердь под ногами,
но – добыта Сибирь, – и уже не уйти никуда.

1976

* * *

М. Рахлиной

Марленочка, не надо плакать,
мой друг большой.
Все – суета, все – тлен и слякоть,
живи душой.

За место спорят чернь и челядь.
Молчит мудрец.
Увы, ничем не переделать
людских сердец.

Забыв свое святое имя,
прервав полет,
они не слышат, как над ними
орган поет...

Не пощадит ни книг, ни фресок
безумный век.
И зверь не так жесток и мерзок,
как человек.

Прекрасное лицо в морщинах,
труды и хворь, –
ты прах – и с тем, кто на вершинах,
вотще не спорь.

Все мрачно так, хоть в землю лечь нам,
над бездной путь.
Но ты не временным, а вечным
живи и будь...

Сквозь адский спор добра и худа,
сквозь гул и гам,
как нерасслышанное чудо,
поет орган.

И Божий мир красив и дивен
и полон чар,
и, как дитя, поэт наивен,
хоть веком стар.

Звучит с небес Господня месса,
и ты внизу
сквозь боль услышь ее, засмейся,
уйми слезу.

Поверь лишь в истину, а флагам
не верь всерьез.
Придет пора – и станет благом,
что злом звалось...

Пошли ж беду свою далече,
туман рассей,
переложи тоску на плечи
твоих друзей.

Ни в грозный час, ни в час унылый,
ни в час разлук
не надо плакать, друг мой милый,
мой милый друг.

1972

* * *

Не от горя и не от счастья,
не для дела, не для парада
попросил хоть на малый час я
у судьбы тишины и лада.

И не возраст тому причиной,
он не повод для величанья,
но не первой моей морщиной
заслужил я черед молчанья.

Я хотел, никого не видя,
всех людей полюбить, как братьев,
а они на меня в обиде,
высоту тишины утратив.

Все мы с гонором, а посмотришь –
все сквалыжны в своей скворешне,
и достоин веселья тот лишь,
кто забыл о горячке прежней.

Желт мой колос, и оттого-то
я меняю для звездной жатвы
сумасшествие Дон Кихота
на спокойствие Бодисатвы.

Одного я хочу отныне:
ускользнув от любой опеки,
помолиться в лесной пустыне
за живущих в двадцатом веке.

И одна лишь тоска у сердца,
и не в радость ни куш, ни бляха, –
чтоб на поздней траве усесться
у колен Себастьяна Баха.

Был бы Пушкин, да был бы Рильке,
да была б еще тень от сосен, –
а из бражников, кроме Лильки,
целый мир для меня несносен.

Сколько раз моя жизнь ломалась
до корней, и за все такое
в кой-то век попросил хоть малость
одиночества и покоя.

Я ушел бы, ни с кем не споря,
чтоб не слушать хмельные речи,
с мудрой книгой на берег моря,
обнимая тебя за плечи.

Чтоб деревья шумели, дыбясь,
пела речка на радость эху
и, как братья, Толстой и Диккенс
перешептывались не к спеху.

Ничьего не ищу участья,
ничего мне от звезд не надо,
лишь прошу хоть на малый час я
у судьбы тишины и лада.

1972

* * *

О, когда ж мы с тобою пристанем
к островам с ворожбой и блистаньем,
где родная душе тишина
нежным холодом опушена?

У себя на земле, к сожаленью,
мы презрели божественной ленью
и не верим небесным дарам
под мучительный трам-тарарам.

Там стоят снеговые хоромы,
с ночи полные света и дремы,
и поземка в потемках шалит,
как безумное сердце Лилит.

С первым солнышком выйдем из дому
побродить по снежку молодому.
Дальний блеск, белизна, благодать, –
а нельзя ничего передать.

С добрым утром, царевна Ворона!
Где твоя золотая корона?
Черный бархат на белом снегу
никому подарить не смогу...

Напои ж нас грозовым бальзамом,
зимний рай, где остаться нельзя нам,
потому что и с музыкой зим
неизбежностью души казним.

1974

* * *

Деревья бедные, зимою черно-голой
что снится вам на городском асфальте?
Сквозь сон услышьте добрые глаголы,
моим ночам свою беду оставьте.

Взмахнув ветвями, сделайтесь крылаты,
летите в Крым, где хорошо и южно,
где только жаль, что не с моей зарплаты,
а то и нам погреться было б нужно.

Морозы русские, вы злее, чем монголы,
корней не рушьте, сквозь кору не жальте...
Что может сниться вам зимою черно-голой,
деревья бедные, на городском асфальте?

1971

ХЕРСОНЕС

Какой меня ветер занес в Херсонес?
На многое пала завеса,
но греческой глины могучий замес
удался во славу Зевеса.

Кузнечики славы обжили полынь,
и здесь не заплачут по стуже –
кто полон видений бесстыжих богинь
и верен печали пастушьей.

А нас к этим скалам прибила тоска,
трубила бессонница хрипло,
но здешняя глина настолько вязка,
что к ней наше горе прилипло.

Нам город явился из царства цикад,
из желтой ракушечной пыли,
чтоб мы в нем, как в детстве, брели наугад
и нежно друг друга любили...

Подводные травы хранят в себе йод,
упавшие храмы не хмуры,
и лира у моря для мудрых поет
про гибель великой культуры...

В изысканной бухте кончалась одна
из сказок Троянского цикла.
И сладкие руки ласкала волна,
как той, что из пены возникла.

И в прахе отрытом все виделись мне
дворы с миндалем и сиренью.
Давай же учиться у желтых камней
молчанью мечты и смиренью.

Да будут нам сниться воскресные сны
про край, чья душа синеока,
где днища давилен незримо красны
от гроздей истлевшего сока.

1975

* * *

Еще недавно ты со мной,
два близнеца в страде земной,
молились морю с Карадага.
Над гулкой далью зрел миндаль,
мой собеседник был Стендаль,
а я был радостный бродяга.

И мир был только сотворен,
и белка рыжим звонарем
над нами прыгала потешно.

Зверушка, шишками шурша,
видала, как ты хороша,
когда с тебя снята одежда.

Водою воздух голубя,
на обнаженную тебя
смотрела с нежностью Массандра,
откуда мы, в конце концов,
вернулись в горький край отцов,
где грусть оставили назавтра.

Вся жизнь с начала начата,
и в ней не видно ни черта,
и распинает нищета
по обе стороны креста нас, –
и хочется послать на «ё»
народолюбие мое,
с которым все же не расстанусь.

Звезда упала на заре,
похолодало на дворе,
и малость мальская осталась:
связать начала и концы,
сказать, что все мы мертвецы,
и чаркой высветлить усталость.

Как ни стыжусь текущих дней,
быть сопричастником стыдней, –
ох, век двадцатый, мягко стелешь!
Освобождаюсь от богов,
друзей меняю на врагов
и радость вижу в красоте лишь.

Ложь дня ко мне не приросла.
Я шкурой вызнал силу зла,
я жил, от боли побелевший,
но злом дышать невмоготу
тому, кто видел наготу
твою на южном побережье.

1968

СУДАКСКИЕ ЭЛЕГИИ

1

Когда мы устанем от пыли и прозы,
пожалуй, поедем в Судак.
Какие огромные белые розы
там светят в садах.

Деревня – жаровня. А что там акаций!
Каменья, маслины, осот...
Кто станет от солнца степей домогаться
надменных красот?

Был некогда город алчбы и торговли
со стражей у гордых ворот,
но где его стены и где его кровли?
И где его род?

Лишь дикой природы пустынный кусочек,
смолистый и выжженный край.
От судей и зодчих остался песочек –
лежи загорай.

Чу, скачут дельфины! Вот бестии. Ух ты,
как пляшут! А кто ж музыкант?
То розовым заревом в синие бухты
смеется закат.

На лицах собачек, лохматых и добрых,
веселый и мирный оскал,
и щелкают травы на каменных ребрах
у скаредных скал.

А под вечер ласточки вьются на мысе
и пахнет полынь, как печаль.
Там чертовы кручи, там грозные выси
и кроткая даль.

Мать-Вечность царит над нагим побережьем,
и солью горчит на устах,
и дремлет на скалах, с которых приезжим
сорваться – пустяк.

Одним лишь изъяном там жребий плачевен
и нервы катают желвак:
в том нищем краю не хватает харчевен
и с книгами – швах.

На скалах узорный оплот генуэзцев,
тишайшее море у ног,
да только в том месте я долго наесться,
голодный, не мог.

А все ж, отвергая житейскую нехоть –
такой уж я сроду чудак, –
отвечу, как спросят: «Куда нам поехать?» –
«Езжайте в Судак».

2

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не богоданна.
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господень рай
после изгнанья Евы и Адама.

Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу,
и все кругом – такая не Россия.

Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чуялся Восток –
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.

Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.

На облаках бы – в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляну,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови как сладкую заразу.

О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...

Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
полынный свет, покинутый Эдем –
над синим морем розовый шиповник.

3

Восточный Крым, чья синь седа,
а сень смолиста, –
нас, точно в храм, влекло сюда
красе молиться.

Я знал, влюбленный в кудри трав,
в колосьев блестки,
что в ссоре с радостью не прав
Иосиф Бродский.

Но разве знали ты и я
в своей печали,
что космос от небытия
собой спасали?

Мы в море бросили пятак, –
оно – не дура ж, –
чтоб нам вернуться бы в Судак,
в старинный Сурож.

О сколько окликов и лиц,
нам незнакомых,
у здешней зелени, у птиц
и насекомых!..

Росли пахучие кусты
и реял парус
у края памяти, где ты
со мной венчалась.

Доверясь общему родству,
постиг, прозрев, я,
что свет не склонен к воровству,
не лгут деревья.

Все пело любящим хвалу,
и, словно грезясь,
венчая башнями скалу,
чернелась крепость...

А помнишь, помнишь: той порой
за солнцем следом
мы шли под Соколом-горой
над Новым Светом?

А помнишь, помнишь: тайный скит,
приют жар-птицын,
где в золотых бродильнях спит
колдун Голицын?

Да, было доброе винцо,
лилось рекою.
Я целовал тебя в лицо –
я пил другое...

В разбойной бухте, там, где стык
двух скал ребристых,
тебя чуть было не настиг
сердечный приступ.

Но для воскресших смерти нет,
а жизнь без края –
лишь вечный зов, да вечный свет,
да ширь морская!

Она колышется у ног,
а берег чуден,
и то, что видим, лишь намек
на то, что чуем.

Шуруя соль, суша росу ль,
с огнем и пеной
лилась разумная лазурь
на брег небренный.

И, взмыв над каменной грядой,
изжив бескрылость,
привету вечности родной
душа раскрылась!

1974, 1982

ЧУФУТ-КАЛЕ ПО-ТАТАРСКИ ЗНАЧИТ «ИУДЕЙСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Твои черты вечерних птиц безгневней
зовут во мгле.
Дарю тебе на память город древний –
Чуфут-Кале.

Как сладко нам неслыханное имя
назвать впервой.
Пускай шумит над бедами земными
небес травой.

Недаром ты протягивала ветки
свои к горам,
где смутным сном чернелся город ветхий,
как странный храм.

Не зря вослед звенели птичьи стаи,
как хор светил,
и Пушкин сам наш путь в Бахчисарае
благословил.

Мы в горы шли, сияньем души вымыв,
нам было жаль,
что караваны беглых караимов
сокрыла даль.

Чуфут пустой, как храм над пепелищем,
Чуфут ничей,
и, может быть, мы в нем себе отыщем
приют ночей.

Тоска и память древнего народа
к нему плывут,
и с ними мы сквозь южные ворота
вошли в Чуфут.

Покой и тайна в каменных молельнях,
в дворах пустых.
Звенит кукушка, пахнет можжевельник,
быть хочет стих.

В пустыне гор, где с крепостного вала
обзор широк,
кукушка нам беду накуковала
на долгий срок.

Мне – камни бить, тебе – нагой метаться
на тех холмах,
где судит судьбы чернь магометанства
в ночных чалмах,

где нам не даст и вспомнить про свободу
любой режим,
затем что мы к затравленному роду
принадлежим.

Давно пора не задавать вопросов,
бежать людей.
Кто в наши дни мечтатель и философ,
тот иудей.

И ни бедой, ни грустью не поборот
в житейской мгле,
дарю тебе на память чудный город –
Чуфут-Кале.

1975

* * *

Пребываю безымянным.
Час явленья не настал.
Гениальным графоманом
Межиров меня назвал.

Называй кем хочешь, Мастер.
Нету горя, кроме зла.
Я иду с Парнасом на спор
не о тайнах ремесла.

Верам, школам, магазинам
отрицание неся,
не могу быть веку сыном,
а пустынником – нельзя.

В желтый стог уткнусь иголкой,
чем совать добро в печать.
Пересыльный город Горький,
как Вас нынче величать?

Под следящим волчьим оком,
под недобрую молву
на ковчеге колченогом
сквозь гражданственность плыву.

Бьется крыльями Европа –
наша немочь и родня –
из Всемирного потопа
и небесного огня.

Сядь мне на сердце, бедняжка,
припади больным крылом.
Доживать свое нетяжко:
все прекрасное – в былом.

Мне и слова молвить не с кем,
тает снегом на губах.
Не болтать же с Достоевским,
если был на свете Бах.

Тайных дум чужим не выдам,
а свои – на все плюют.
Между Вечностью и бытом
смотрит в небо мой приют.

Три свечи горят на тризне,
три моста подожжены.
Трех святынь прошу у жизни:
Лили, лада, тишины.

1976

* * *

Сбылась беда пророческих угроз,
и темный век бредет по бездорожью.
В нем естество склонилось перед ложью
и бренный разум душу перерос.

Явись теперь мудрец или поэт,
им не связать рассыпанные звенья.
Все одиноки – без уединенья.
Все – гром, и смрад, и суета сует.

Ни доблестных мужей, ни кротких жен,
а вещий смысл тайком и ненароком...
Но жизни шум мешает быть пророком,
и без того я странен и смешон.

Люблю мой крест, мою полунужду
и то, что мне не выбиться из круга,
что пью с чужим, а гневаюсь на друга,
со злом мирюсь, а доброго не жду.

Мне век в лицо швыряет листопад,
а я люблю, не в силах отстраниться,
тех городов гранитные страницы,
что мы с тобой листали наугад.

Люблю молчать и слушать тишину
под звон синиц и скок веселых белок,
стихи травы, стихи березок белых,
что я тебе в час утренний шепну.

Каких святынь коснусь тревожным лбом?
Чем увенчаю влюбчивую старость?
Ни островка в синь-море не осталось,
ни белой тучки в небе голубом...

Безумный век идет ко всем чертям,
а я читаю Диккенса и Твена
и в дни всеобщей дикости и тлена,
смеясь, молюсь мальчишеским мечтам.

1976

* * *

Нехорошо быть профессионалом.
Стихи живут, как небо и листва.
Что мастера? Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства.

Наитье чар и свет в оконных рамах,
трава меж плит, тропинка к шалашу,
судьба людей, величье книг и храмов –
мне все важней всего, что напишу.

Я каждый день зову друзей на ужин.
Мой дождь шумит на множество ладов.
Я с детских лет к овчаркам равнодушен,
дворнягам умным вся моя любовь.

В душе моей хранится много таин
от милых муз, блужданий в городах.
Я только что открыл вас, древний Таллинн,
и тихий Бах, и черный Карадаг.

А мастера, как звезды в поднебесье,
да есть ли там еще душа жива?
Но в них порочность опыта и спеси,
за ремеслом не слышно божества.

Шум леса детского попробуй пробуди в них,
по дню труда свободен их ночлег.
А мне вставать мученье под будильник,
а засыпать не хочется вовек.

Нужде и службе верен поневоле,
иду под дождь, губами шевелю.
От всей тоски, от всей кромешной боли
житье душе, когда я во хмелю.

Мне пить с друзьями весело и сладко,
а пить один я сроду не готов, –
а им запой полезен, как разрядка
после могучих выспренных трудов.

У мастеров глаза, как белый снег, колючи,
сквозь наши ложь и стыд их воля пронесла,
а на кресте взлететь с голгофской кручи –
у смертных нет такого ремесла.

1974

ПОСОШОК НА ДОРОЖКУ ЛЕШЕ ПУГАЧЕВУ

С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!
Кто знает, брат, когда еще
приду к тебе на чай.

Я ревновал тебя ко всем,
кому от щедрых крыл
ты, на похмелье окосев,
картиночки дарил.

А я и в праздничном хмелю –
покличь меня, покличь –
ни с кем другим не преломлю
коричневый кулич.

Твой путь воистину не плох,
тебе не пасть во тлен,
иконописец, скоморох,
расписыватель стен.

Еще и то дрожит в груди,
что среди прочих дел
по всей Россиюшке, поди,
стихи мои попел.

Тобой одним в краю отцов
мне красен гиблый край.
С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!

Нам люб в махорочном дыму
языческий обряд,
но, что любилось нам, тому
пиши пропало, брат.

Пиши пропало, старина,
мальчишеской стране,
где пела верная струна
о светлой старине.

Пиши пропало той поре,
когда с метельных троп,
едва стемнеет на дворе,
а мы уже тип-топ.

И прозревает глубина
сквозь заросли морщин,
когда за чарочкой вина
в обнимочку молчим.

За то, что чуешь Бога зов
сквозь вой недобрых стай,
с дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай...

Ты улыбнулся от души,
как свечечку зажег, –
и мы в ремесленной тиши
осушим посошок.

Хвала покинувшему брег,
чей в ночь уходит след,
кто сквозь отчаянье и грех
прозрел всевышний свет.

Еще немного побредем
неведомым путем,
а что останется потом –
не нам судить о том.

О нашей сладостной беде,
об удали в аду
напишут вилы по воде
в двухтысячном году.

Но все забьет в конце концов
зеленый молочай...
С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!

1978

ОДА ВОРОБЬЮ

Пока меня не сбили с толку,
презревши внешность, хвор и пьян,
питаю нежность к воробьям
за утреннюю свиристелку.
Здоров, приятель! Чик-чирик!
Мне так приятен птичий лик.

Я сам, подобно воробью,
в зиме немилой охолонув,
зерно мечты клюю с балконов,
с прогретых кровель волю пью
и бьюсь на крылышках об воздух
во славу братиков безгнездых.

Стыжусь восторгов субъективных
от лебедей, от голубей.
Мне мил пройдоха воробей,
пророков юркий собутыльник,
посадкам враг, палаткам друг, –
и прыгает на лапках двух.

Где холод бел, где лагерь был,
где застят крыльями засовы
орлы-стервятники да совы,
разобранные на гербы, –
а он и там себе с морозца
попрыгивает да смеется.

Шуми под окнами, зануда,
зови прохожих на концерт!..
А между тем не так он сер,
как это кажется кому-то,
когда, из лужицы хлебнув,
к заре закидывает клюв.

На нем увидит, кто не слеп,
наряд изысканных расцветок.
Он солнце склевывает с веток,
с отшельниками делит хлеб
и, оставаясь шельма шельмой,
дарит нас радостью душевной.

А мы бродяги, мы пираты, –
и в нас воробышек шалит,
но служба души тяжелит,
и плохо то, что не пернаты.
Тоска жива, о воробьи,
кто скажет вам слова любви?

Кто сложит оду воробьям,
галдящим под любым окошком,
безродным псам, бездомным кошкам,
ромашкам пустырей и ям?
Поэты вымерли, как туры, –
и больше нет литературы.

1977

ЧЕРНИГОВ

Воробьи умолкли, прочирикав.
А про что? Наверно, про Чернигов,
монастырский, княжий, крепостной.
С этим звездам впору целоваться.
Это воздух древнего славянства.
Это наше детство над Десной.

Нет еще московского Ивана,
и душе заветна и желанна
золотая русская пора.
Он стоит, не зная о Батые,
смотрят ввысь холмы его святые,
золотые реют купола.

Это после будет вор на воре,
а пока живем по вольной воле:
хошь – молись, а хошь – иди в кабак.
Ни опричнин нет, ни канцелярий,
но зато полно господних тварей,
особливо кошек и собак.

От земли веселия и лада
хорошо доплыть до Цареграда
и вкусить от грецкого ума, –
но нигде нет жен милей и кротче,
но хмельны таинственные рощи,
где гудут пчелиные дома.

Так живем в раденьях и забавах.
Шлют в наш Кремль послов своих лукавых
царь индийский да персидский шах.
Пишем во церквах святые лики,
и в Ерусалим идут калики,
и живут подвижники в лесах.

Тени душ витают на погосте,
и горят рябиновые грозди,
и течет под берегом река,
и покой от веры и полыни.
Никакой Империи в помине.
Это просто Средние века.

Для того чтоб речь была хорошей,
надо б горстку соли скоморошьей,
да боюсь пересолить в летах,
потому что – верьте иль не верьте –
будут жарить черти после смерти
скоморохов на сковородах.

И смотрю с холмов на храмы Божьи,
проклинаю все, что будет позже:
братний спор, монголов и Москву, –
и люблю до головокруженья
лепоту и мир богослуженья
и каштанов вещую листву.

1976

* * *

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой.
Меч навострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.

Еле касаясь камений Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется.

Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Смертынька ждет их на выжженных пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник,
бражник и плужник по имени Лёха.

Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Бог-Вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.

Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

1977

МОЦАРТ

У моря ветер камни сыпал горсткой,
ракухи лускал.
Откуда Моцарт осенью приморской
на юге русском?

Он был как свет, не ведавший обмана,
не знавший спеси.
А где еще и слушать «Дон Жуана»,
как не в Одессе?

Придет пора – и я тебе наскучу,
Господня шалость.
Здесь сто племен в одну свалилось кучу
и все смешалось.

Под вольный шум отчаянного груза,
хвальбу и гогот
по образцам отверженного вкуса
схохмился город.

Сбегали к морю пушкинские строки,
овечьи тропы.
Лег на сухом и гулком солнцепеке
шматок Европы.

Здесь ни Растрелли не было, ни Росси,
но в этом тигле
бродяги мира в дань ребячьей грезе
Театр воздвигли.

Над ним громами небо колебалось,
трубили бури,
лишь Моцарт был, как ангел или парус,
дитя лазури.

Он шел, свистя, по пристаням, по дюнам,
с волшбой приятья,
и я не зря о Пушкине подумал:
они как братья.

Я рад ему в налитой Богом сини,
хотя, наверно,
играл оркестр и пели героини
довольно скверно.

Я б не хотел классичнее и строже,
и слава Богу,
что здесь блистают статуи и ложи,
как в ту эпоху.

Душе скитальца музыка желанна,
как сон о лесе,
а где еще и слушать «Дон Жуана»,
как не в Одессе?

Пусть стаи волн кусты и камни мочат,
и гаснут зори,
и чарам жизни радуется Моцарт
на Черном море.

1977

* * *

С Украиной в крови я живу на земле Украины,
и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
на лугах доброты, что ее тополями хранимы,
место есть моему шалашу.

Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою нагорий?
Помолюсь облакам, чтобы дождик прошел полосой.
Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий,
сердце радо ромашке простой.

На исходе тропы, в чернокнижье болот проторенной,
древокрылое диво увидеть очам довелось:
Богом по лугу плыл, окрыленный могучей короной,
впопыхах не осознанный лось.

А когда, утомленный, просил: приласкай и порадуй,
обнимала зарей, и к ногам простирала пруды,
и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой
от источника Сковороды.

Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней,
если б город престольный, лучась красотой и добром,
не на севере хмуром возвел золоченые кровли,
а над вольным и щедрым Днепром.

О земля Кобзаря, я в закате твоем, как в оправе,
с тополиных страниц на степную полынь обронен.
Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе,
соловьи запорожских времен.

1975

КИЕВ

Ю. Шанину

Без киевского братства
деревьев и церквей
вся жизнь была б гораздо
безродней и мертвей.

В лицо моей царевне,
когда настал черед,
подуло Русью древней
от Золотых ворот.

Здесь дух высок и весок,
и пусть молчат слова:
от врубелевских фресок
светлеет голова.

Идем на зелен берег
над бездной ветряной
дышать в его пещерах
святою стариной.

И юн и древен Киев –
воитель и монах,
смоловший всех батыев
на звонких жерновах.

Таится его норов
в беспамятстве годов,
он светел от соборов
и темен от садов.

Еще он ал от маков,
тюльпанов и гвоздик, –
и Михаил Булгаков
в нем запросто возник.

И, радуясь по-детски,
что домик удался,
строитель Городецкий
в нем делал чудеса...

Весь этот дивный ворох,
стоцветен и стокрыл,
веселый друг филолог
нам яростно дарил.

Брат эллинов и римлян,
античности знаток,
а Киев был им привран,
как водится, чуток.

Я в том не вижу худа,
не мыслю в том вины,
раз в киевское чудо
все души влюблены.

Ведь, если разобраться,
все было бы не так
без киевского братства
ученых и бродяг.

Нас всех не станет вскоре,
как не было вчера,
но вечно будут зори
над кручами Днепра.

И даль бела, как лебедь,
и, далью той дыша,
не может светлой не быть
славянская душа.

1972

НА СМЕРТЬ ЗНАКОМОЙ СОБАЧКИ ПИФЫ

Принесли в конверте
мизерную весть,
и о малой смерти
мне пришлось прочесть.

Умерла собачка –
не велик урон:
без печали спячка,
пища для ворон...

От какого тифа,
от какой беды
забежала Пифа
в горние сады?

Шерстяная, шустрая...
Горя не смирю,
и, как равный, чувствуя,
с равной говорю.

И в любви, и в робости
я тебе под стать
и хочу подробности
про беду узнать.

Ты была хорошею,
как свеча во мгле,
озорной порошею
стлалась по земле.

В человечьей гадости
лап не замарав,
от собачьей радости
проявляла нрав.

Дай мне лапы добрые
и не будь робка,
вся ты наподобие
светлого клубка...

Если встать на корточки,
разлохматить прядь,
все равно на мордочке
дум не разобрать.

На кого надеяться?
Разлеглась, как пласт,
не облает деревца,
лапки не подаст.

Бедный носик замшевый,
глазоньки в шерсти, –
ах вы, люди, как же вы
не могли спасти?

Злые волки живы,
нет беды на злых,
а веселой Пифы
больше нет в живых...

Умерла собачка, –
не велик урон, –
так возьми заплачь-ка,
что и мы умрем.

Только я, счастливый,
мысль одну храню:
повстречаться с Пифой
в неземном краю.

Я присел на корточки,
чтобы в мире том
до лохматой мордочки
дотянуться лбом.

1972

ФЕЛИКСУ КРИВИНУ

Я не пойму, где свет, где тьма,
не разберу, где мак, где вереск,
уж если вы, тишайший Феликс,
хлебнули горя от ума.

Дойдет ли до Карпат ущельных
дрожанье дружеских сердец
за Вас, застенчивый мудрец,
людей жалеющий волшебник,

циклоп и цыган злой поры,
чьи россказни на черном рынке,
как Солженицына и Рильке,
рвут у барыг из-под полы?

Немалый срок с тех пор протек,
как мы нагрянули в Мукачев,
своим визитом озадачив
гостеприимный городок.

Дойдет ли до Карпат ущельных
биенье любящих сердец
за Вас, застенчивый мудрец
и непоседливый отшельник,

кто, в человечности упрям,
там столько лет живет, как Пимен,
где от костров пахучих дымен
древесный воздух по утрам?

Нас тучи холодом кропят.
Так не пора ли нам обняться,
чтобы обнявшимся остаться
на светлом донышке Карпат?

1973

ЛЬВОВ

И статуи владык – и статуи Христа –
в сверкании колонн поникшие по нишам.
Не зря ты город львов. Твой лик жесток и пышен.
Грозны твои кресты. Державна красота.

И людно, и светло – а я один в тоске, вишь.
Мир весел и могуч – а я грущу по нем.
Да брось ты свой венок, дай боль твою, Мицкевич,
неужто мы с тобой друг друга не поймем?..

О бедный город лир, на что мне твой обман?
Враждебной красотой зачем ты нас морочишь?
Я верен нищете прадедовских урочищ.
Мне жаль твоей судьбы, ясновельможный пан.

Ты был милей в те дни, когда ты был горбат
и менее богат, но более духовен.
Есть много доброты в тиши твоих часовен.
Лесисты и свежи отрожия Карпат.

По бунтам и балам, шаля, пропрыгал юность,
сто лет сходил с ума по дьявольским губам, –
и бронзовый Исус уселся, пригорюнясь,
жалеть, а не судить поверивших в обман.

Как горестно смотреть на кровли городские.
Я дань твоим ночам не заплачу ничем.
Ты праздничен и щедр – но что тебе Россия?
Зачем ты нам – такой? И мы тебе – зачем?

Твои века молчат. Что знаю я – прохожий,
про боль твоих камней, случайный и немой?
Лишь помню, как сквозь сон, что был один похожий,
на косточках людских парящий над Невой.

Так стой, разиня рот, молчи, глазами хлопай.
Нам все чужое здесь – и камни, и листва.
Мы в мире сироты, и нет у нас родства
с надменной, набожной и денежной Европой.

1973

КИШИНЕВСКАЯ БАЛЛАДА

Непоседушка я, непоседа,
еду вдаль, засыпаю под стук, –
глядь – стоит на задворках у света
город-пасынок, город-пастух.

Он торгует плодами златыми
и вином – но какого рожна
первобрага надменной латыни
в перебранке базарной слышна?

Сколько жил, не встречались ни разу,
да и с виду совсем как село.
Эким ветром романскую вазу
в молдаванскую глушь занесло!..

Весь в слезах от влюбленных наитий,
от бесовского пламени ал,
не отсюда ль повинный Овидий
кесарийские пятки лизал?

Это пылью покрылось степною,
виноградной повилось лозой.
В черной шапке стоит надо мною
терпкоустый слезящийся зной.

Не сулит ни соблазна, ни чуда,
не дарит ни святынь, ни обнов,
не кишеньем столичного люда
привлекает сердца Кишинев.

Как великий поэт, простодушен,
как ребеночек, трубит в рожок.
– Что сегодня у Бога на ужин?
– Кукурузная каша, дружок.

Европейцу, наверное, внове,
может быть, в первый раз на веку,
не прося, услыхать в Кишиневе
петушиное кукареку.

В этом пенье, в повозочном скрипе,
с деревенской небритостью щек,
он живет у дорог на отшибе,
мамалыжник, добряк, дурачок.

Доводящийся Риму с Парижем
как-никак речевою родней,
что он скажет пришельцам бесстыжим?
Промолчит, как за божьей броней.

Но не надо особой натуги,
чтоб, увидев, понять не спеша:
в каждом доме и в каждой лачуге
сохранилась живая душа.

На усатом и каменном лике
отразились труды и бои, –
это маленький Штефан Великий
охраняет владенья свои.

А владенья – зеленые скверы
да фонтаны со свежей водой,
где о чем-то «шу-шу» староверы,
как воробышки перед бедой...

Чаша с пуншем стоит недопита, –
Са́ша Пушкин – лицейский щегол –
от забав постоялого быта
за косматым искусом ушел.

Не сулила забвенья Земфира,
не шептала немыслимых слов,
только волю одну изъявила,
чтобы спал у холодных костров.

Сон бежит от лица песнопевца,
ночь – для тайны, для ночи – сверчок,
как молдавского красного перца
обжигающий сердце стручок.

Но и сердцу заветная пища,
но и радости нет золотей,
что о вечном поют корневища
под камнями его площадей.

Сколько улочек в городе этом
немощеных, в пыли да в листве,
где, наверно, поется поэтам
как в Эстонии или Литве.

И на каждом старинном порожке,
где старинные люди живут,
умываются умные кошки,
но в свой мир никого не зовут.

Золотушный, пастушеский, сонный,
ты уж в дебрях своих не взыщи,
что орехов ребристые звоны
в снежный край увезут москвичи.

И радушность твоя не таима,
и приветствовать путников рад –
как-никак, а Парижа и Рима
в скифской скуди потерянный брат.

1976

* * *

Н. Смирской

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
мы жили бок о бок, но все это было давно.
Мы стали друзьями, молясь о покое и воле,
но свет их изведать живым на земле не дано.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
живые деревья подходят к высотным домам,
и воздухом бора сердца исцеляют от боли,
и музыкой Баха возвышенно дороги нам.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
мы с милой гостили в задумчивом царстве твоем,
от рук твоих добрых отведавши хлеба и соли,
и стало светло нам, и мы побратались втроем.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
под дружеским кровом мы вдоволь попили вина.
Поставь нам пластинку, давай потолкуем о Бёлле.
Пусть жизнь твоя будет, как русские реки, длинна.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
мы пили за дружбу, но все это было давно,
и, если остался осадок из грусти и боли,
пусть боль перебродит и грусть превратится в вино.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле
старинная дружба да будет легка на помин,
и в новые годы заради веселых застолий
сойдутся безумцы на праздник твоих именин.

На Павловом Поле, Наташа, на Павловом Поле.

1973

ДУМА НА ПОХМЕЛЬЕ

В ночах мильонозвездых
под гнетом темных гнезд
не веет вольный воздух,
не видно светлых звезд.

В чаду хмельном и спертом,
в обители чумы
политикой и спортом
питаются умы.

Там платят дань заботам,
ведут обидам счет,
все меньше год за годом
нас истина влечет.

Холопам биографий
не снять с нутра оков,
хоть лживей и кровавей,
чем наши, нет богов.

Как желты наши лица,
как праздна наша прыть!
Самим бы исцелиться, –
ан тужимся целить.

Рабы тщеты и фальши,
с апломбом мировым
все с Родины подальше
податься норовим...

Меж тем, пока мы спорим,
так трогательно бел
зацвел по рощам терен,
соловушка запел.

Всей живности хозяин
измучился и сник,
что столько мы не знаем
из музыки и книг.

И маленькие дети
додумались уже,
что есть одно на свете
спасение душе.

Ни горечью сиротства,
ни бунтом, ни гульбой
свобода не берется,
а носится с собой.

Сам дьявол, хоть не скаред,
на пажити чужой
ее нам не подарит,
раз нету за душой...

Нас ангел не разбудит
в день Страшного суда,
но Вечность есть и будет
сегодня и всегда.

И бабочка ли, куст ли,
словесное ль витье –
в природе и в искусстве
знамения ее.

К твоим шагам, о путник,
да не пристанет ложь,
пока не в косных буднях,
а в Вечности живешь.

Хоть смысл пути неведом,
идти не уклонясь –
все дело только в этом,
да дело не про нас.

И, значит, песня спета,
коль сквозь табачный дым
мы дарственного света
увидеть не хотим.

Что боги наши плохи,
постигнувшим давно,
из собственной эпохи
нам выйти не дано.

На горе многим землям
готовый кануть Рим,
мы разуму не внемлем
и радости не зрим.

Лишь я, поэт кабацкий, –
вишь, глотка здорова, –
верчу заместо цацки
дурацкие слова.

1978

* * *

Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо,
и свет во мне скорбит о поздней той поре,
как за моим столом сидел, смеясь, Мыкола
и тихо говорил о попранном добре.

Он – чистое дитя, и вы его не троньте,
перед его костром мы все дерьмо и прах.
Он жизни наши спас и кровь пролил на фронте,
он нашу честь спасет в собачьих лагерях.

На сердце у него ни пролежней, ни пятен,
а нам считать рубли да буркать взаперти.
Да будет проклят мир, где мы долгов не платим.
Остановите век – и дайте мне сойти.

Не дьявол и не рок, а все мы виноваты,
что в семени у нас – когда б хоть гордый! – чад.
И перед чванством лжи молчат лауреаты –
и физики молчат, и лирики молчат.

Чего бояться им – увенчанным и сытым?
А вот поди ж, молчат, как суслики в норе, –
а в памяти моей, смеющийся, сидит он
и с болью говорит о попранном добре...

Нам только б жизнь прожить, нам только б
скорость выжать,
нам только б сон заспать об ангельском крыле –
и некому узнать и некому услышать
мальчишку, что кричит о голом короле.

И Бога пережил – без веры и без таин,
без кроны и корней – предавший дар и род,
по имени – Иван, по кличке – Ванька-Каин,
великий – и святой – и праведный народ.

Я рад бы все принять и жить в ладу со всеми,
да с ложью круговой душе не по пути.
О, кто там у руля, остановите время,
остановите мир и дайте мне сойти.

[*1977–1978*]

НА ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ Л.Е. ПИНСКОГО

Неужели никогда?..
Ни в Москве, ни в Белой Церкви?..
Победила немота?
Светы Божии померкли?

Где младенец? Где пророк?
Где заваривальщик чая?
С дымом шурх под потолок,
человечеству вещая.

Говорун и домосед
малышом из пекла вылез.
От огня его бесед
льды московские дымились.

Стукачи свалились с ног,
уцепились брат за братца:
ни один из них не смог
в мудрой вязи разобраться.

Но, пока не внемлет мир
и записывает пленка,
у него в гостях Шекспир,
а глаза, как у ребенка.

Спорит, брызгая слюной.
Я ж без всякого усилья
за больной его спиной
вижу праведные крылья.

Из заснеженного сна,
из чернот лесоповала
детских снов голубизна
к мертвой совести взывала.

Нисходила благодать.
Сам сиял, мальчишка-прадед.
Должников его считать
у дубов листвы не хватит.

Неуживчив и тяжел,
бросив времени перчатку,
это он меня нашел
и пустил в перепечатку.

Помереть ему? Да ну!
Померещилось – и врете.
В волю, в Вечность, в вышину
он уплыл из плена плоти.

От надзора, от молвы,
для духовного веселья.
Это мы скорей мертвы
без надежд на воскресенье.

Вечный долг наш перед ним,
что со временем не тает,
мы с любовью сохраним.
Век проценты насчитает.

Не мудрец он, а юнец
и ни разу не был взрослым,
над лицом его венец
выткан гномом папиросным.

Не осилить ни огнем,
ни решетками, ни бездной
вечной памяти о нем,
вечной жизни повсеместной.

Кто покойник? Боже мой!
Леонид Ефимыч Пинский?
Он живехоньким живой,
с ним полмира в переписке.

1981

* * *

Я не знаю, пленник и урод,
славного гражданства,
для чего, как я, такому вот
на земле рождаться.

Никому добра я не принес
на земле на этой,
в темном мире не убавил слез,
не прибавил света.

Я не вижу меж добром и злом
зримого предела,
я не знаю в царстве деловом
никакого дела.

Я кричу стихи свои глухим,
как собака вою...
Господи, прими мои грехи,
отпусти на волю.

1985

* * *

Не говорите
русскому про Русь.
Я этой прыти
до смерти боюсь.

В крови без крова
пушкинский пророк
и «Спас» Рублева
кровию промок.

Венец Исусов
каплями с висков
стекает в Суздаль,
Новгород и Псков.

А тех соборов
Божью благодать
исчавкал боров
да исшастал тать.

Ты зришь, ты видишь,
хилый херувим,
что зван твой Китеж
именем другим?

Весь мир захлюпав
грязью наших луж,
мы – город Глупов,
свет нетленных душ.

Кичимся ложью,
синие от зим,
и свету Божью
пламенем грозим.

У нас булатны
шлемы и мечи.
За пар баланды
все мы – палачи,

свиные хамы,
силою сильны, –
Двины и Камы
сирые сыны.

И я такой же
праведник в родню, –
холопьей кожи
сроду не сменю.

Как ненавистна,
как немудрена
моя отчизна –
проза Щедрина.

1979

* * *

Как страшно в субботу ходить на работу,
в прилежные игры согбенно играться
и знать, на собраньях смиряя зевоту,
что в тягость душа нам и радостно рабство.

Как страшно, что ложь стала воздухом нашим,
которым мы дышим до смертного часа,
а правду услышим – руками замашем,
что нет у нас Бога, коль имя нам масса.

Как страшно смотреть в пустоглазые рожи,
на улицах наших как страшно сегодня,
как страшно, что, чем за нас платят дороже,
тем дни наши суетней и безысходней.

Как страшно, что все мы, хотя и подстражно,
пьянчуги и воры – и так нам и надо.
Как страшно друг с другом встречаться. Как страшно
с травою и небом вражды и разлада.

Как страшно, поверив, что совесть убита,
блаженно вкушать ядовитые брашна
и всуе вымаливать чуда у быта,
а самое страшное – то, что не страшно.

1976

* * *

Мне снится грусти неземной
язык безустный,
и я ни капли не больной,
а просто грустный.

Не отстраняясь, не боясь,
не мучась ролью,
тоска вселенская слилась
с душевной болью.

Среди иных забот и дел
на тверди серой
я в должный час переболел
мечтой и верой.

Не созерцатель, не злодей,
не нехристь все же,
я не могу любить людей,
прости мне, Боже!

Припав к незримому плечу
ночами злыми,
ничем на свете не хочу
делиться с ними.

Гордыни нет в моих словах –
какая гордость? –
лишь одиночество и страх,
под ними горблюсь.

Душа с землей свое родство
забыть готова,
затем что нету ничего
на ней святого.

Как мало в жизни светлых дней,
как черных много!
Я не могу любить людей,
распявших Бога.

Да смерть – и та – нейдет им впрок,
лишь мясо в яму, –
кто небо нежное обрек
алчбе и сраму.

Покуда смертию не стер
следы от терний,
мне ближе братьев и сестер
мой лес вечерний.

Есть даже и у дикарей
тоска и память.
Скорей бы, Господи, скорей
в безбольность кануть.

Скорей бы, Господи, скорей
от зла и фальши,
от узнаваний и скорбей
отплыть подальше!..

1978

* * *

Я почуял беду и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, –
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты...
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?

Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова – мы ж не дети, – словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.

О как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.

И меня обижали – безвинно, взахлеб, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренье берез, и склоненных небес тишина.

И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через терньи за ним, –
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.

Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок – ничего не поделаешь – Вечность
и все дальше ведет – ничего не поделаешь – Дух.

1978

* * *

Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.

Ни смысла и ни лада,
и дни как решето, –
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.

Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь – в одной горсти, –
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Давайте делать что-то
и, черт нас подери,
поставим Дон Кихота
уму в поводыри.

Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.

Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.

Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне, –
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.

Давайте что-то делать,
опомнимся потом, –
стихи мои и те вот
об этом об одном.

За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем?

Давайте ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!

1979

* * *

Благодарствую, други мои,
за правдивые лица.
Пусть, светла от взаимной любви,
наша подлинность длится.

Будьте вечно такие, как есть, –
не борцы, не пророки,
просто люди, за совесть и честь
отсидевшие сроки...

Одного я всем сердцем боюсь,
как пугаются дети,
что одно скажет правнукам Русь:
как н е н а д о на свете.

Видно, вправду такие чаи,
уголовное время,
что все близкие люди мои –
поголовно евреи...

За молчанье разрозненных дней,
за жестокие версты
обнимите меня посильней,
мои братья и сестры.

Но и все же не дай вам Господь
уезжать из России.
Нам и надо лишь соли щепоть
на хлеба городские.

Нам и надо лишь судеб родство,
понимание взгляда.
А для бренных телес ничего
нам вовеки не надо.

Вместе будет нам в худшие дни
не темно и не тяжко.
Вы одни мне заместо родни,
павлопольская бражка.

Как бы ни были встречи тихи,
скоротечны мгновенья,
я еще напишу вам стихи
о святом нетерпенье.

Я еще позову вас в бои,
только были бы вместе.
Благодарствую, други мои,
за приверженность чести.

Нашей жажде все чаши малы,
все, что есть, вроде чуши.
Благодарствую, други мои,
за правдивые души.

1978

* * *

Б.Я. Ладензону

Редко видимся мы, Ладензоны, –
да простит нас за это Аллах, –
отрешенные, как робинзоны,
на тверезых своих островах.

Или дух наш не юн и не вечен,
или в мыслях не стало добра,
что сегодня делиться нам нечем,
как, бывало, делились вчера?

Я не верю в худые заклятья,
не хочу ни затворов, ни стен,
только не размыкайтесь, объятья,
только б не расставаться ни с кем.

И приду еще я, и разуюсь,
и, из дружеской чаши поим,
вновь покоем твоим залюбуюсь
и порадуюсь шуткам твоим.

Наши дни холодны и туманны,
наша кривда нависла тузом.
Не хватило мне брата у мамы.
Будь мне братом, Борис Ладензон.

Назови это вздором и чушью,
только я никогда не пойму,
где предел твоему добродушью,
где он юмору, где он уму,

где он той доброте некрикливой,
что от роду тиха и проста
и венчается русской крапивой
вместо терний Исуса Христа.

И хоть стали нечастыми встречи,
и хоть мы ни на Вы, ни на ты,
эти встречи – как Божии свечи
в черноте мировой темноты.

Трижды слава таинственной воле,
что добра она к русской земле,
что не в сытости мы и не в холе,
а всего лишь во лжи да во зле.

Век наш короток, мир наш похабен,
с ними рядом брести не резон.
Я один на земле Чичибабин.
Будь мне братом, Борис Ладензон.

1977

НА ЛЫЖАХ

А. Черняку

Земля в снегу – как небо в облаках.
Замри, метель, не мни и не колышь их.
Что горевать о грозах, о врагах?
Идем на лыжах.

Все утро дуло, крышами гремя,
но стихло вдруг, и, с холоду поникши,
кой-как плетусь за храбрыми тремя
и набираюсь мужества по Ницше.

Мы вчетвером вползаем в зимний лес.
Как он велик! Как низко я зимую.
Как свеж покров, наброшенный с небес
на пестрый сор и черноту земную.

Бела дорога в царство лебедей.
А мы-то все трясемся и цыганим,
но весь наш мир бездушней и бедней
в соседстве с этим блеском и дыханьем.

И пусть неважный лыжник из меня,
а все ж и мне, сутулому, навстречу
бегут осины, ветками звеня,
дубы плывут – и я им не перечу.

И я, как воздух, вечен и крылат,
но свет еще добрей и беззаботней.
О, как у лыжниц личики горят!
Как светел дух под ласкою Господней!

Ни рвы, ни пни, ни черные стволы,
ни пир ворон на выгоревшем месте
не омрачат сверкающей хвалы,
не заглушат неуловимой вести.

Я никому из чутких не чужой,
но сладок сон: задумчиво-неспешно
скользить в снегах серебряной стезей,
чья белизна божественно безгрешна.

Скажу одно: блажен, кому дано
в морозный день, набегавшись по лыжням,
разлить по чарам зелено вино
и пить в любви к неведомым и ближним.

1973

ЗИНЕ МИРКИНОЙ

Душа родная, человек живой,
пророк Господень с незлобливым взглядом,
даривший нас миротворящим ладом,
смиреньем дум и гулкой тишиной.

Друг на земле и в Вечности сестра, –
вот Вы больны, вот мы от Вас далече,
но с нами – Ваши письма, наши встречи,
стихи в лесу, у Вашего костра.

Не Вы ли нам открыли свет глубин,
что есть во всех, но лишь немногим ведом,
и озарили тем блаженным светом
искус и мрак безжизненных годин?

Не Вы ли нам твердили о Творце,
о правоте Его сокрытой воли,
что нам нести без ропота и боли
и, вверясь ей, не думать о конце?

Не Вы ль учили: светел духа путь,
лишь тропы тела путаны и зыбки,
и скорби нет в звучанье горней скрипки,
но зовче зов и явственнее путь?

Спасибо Вам за то, что с той поры
и нашим снам светлее и свободней,
за смысл и тайну сказки новогодней,
за все, за все несчетные дары.

За негасимый праздник Рождества –
о, сколько душ он вырастил и поднял! –
за крестный путь, за каждодневный подвиг,
за кроткий жар и тихие слова...

Зачем же вдруг, склонясь на голос тьмы,
о бедный друг, в той горестной заботе,
устав от мук, Вы смерть к себе зовете,
забыв свои бессмертные псалмы?

Зачем Вы вдруг поникли головой,
«прости» всему и замолчали миру,
из рук роняя творческую лиру, –
душа родная, человек живой?

Да не умолкнет славящая песнь,
а нам дай Бог не упустить ни звука
из песни той. Что Вечности – разлука?
Что Духу – смерть? Что Сущности – болезнь?

Но если это нужно так Ему,
мой скудный век Ему на усмотренье:
пусть Вам оставит свет, восторг, паренье,
а мне даст тяжесть, терния и тьму.

О, дай мне Бог недолго быть в долгу,
средь дрязг и чар, в одеждах лживых Духа.
Дай Бог Вам сил, и радости, и слуха.
Так я молюсь – и лучше не могу.

1975

ЭЛЕГИЯ ФЕВРАЛЬСКОГО СНЕГА

Не куем, не сеем и не пашем,
но и нас от тяжеб и обид
кличет Вечность голосом лебяжьим,
лебединым светом серебрит.

Вышел срок метелицам полночным,
и к заре, блистая и пыля,
детски чистым, райски непорочным,
снежным снегом устлана земля.

Не цветок, не музыка, не воздух,
но из той же выси, что и сны,
эти дни о шлейфах звездохвостых
в обновимом чуде белизны.

Это лес пришел к нам вместе с лешим,
опустилась свыше кисея,
чтоб, до боли тих и незаслежен,
белый свет девически сиял.

Это мир, увиденный впервые,
детских снов рождественская вязь,
это сказка утренней Марии,
что из этой пены родилась...

Падай, снег, на волосы и губы,
холодком за шиворот теки.
Хорошо нам в этаком снегу бы
скоротать остатние деньки.

В сердце горько пахнет можжевельник,
и когда за сто земель и вод
откочует брат мой Саша Верник,
как он там без снегу проживет?

Что мы есть без племени, без рода
и за что нас в этакий мороз
как родных приветствует природа
пуховыми ветками берез?

Знать, и нам виденья не случайны
и на миг забрезжит благодать,
знать, и мы достойны нежной тайны,
что вовек живым не разгадать...

Скоро мы в луга отворим двери,
задрожим от журавлиных стай.
Пусть весна вершится в полной мере,
только ты, пожалуйста, не тай.

Сыпься с неба, тихий и желанный,
и огню, и Вечности родня,
холоди немеркнущие раны
и холмы с оврагами равняй.

Скоро канешь, горний, станешь, свежий,
мерзлой кашей, талою водой.
Но ведь чудо было не во сне же
и во мраке, сложенном с бедой,
помоги нам выжить, святый снеже,
падай, белый, падай, золотой.

1977

ЭЛЕГИЯ БЕЛОГО ОЗЕРА

Давай засвищем, флейта, в лад
напевам осени,
авось отыщем чей-то клад
на Белом озере.

Туда, в заветные места,
на горе ворогу
айда чуть свет, моя мечта,
нагою по лугу.

Там сказка розовой земли
и школа Корчака,
где пьют амброзию шмели
из колокольчиков.

И, от невидимых болот
спасая узника,
поет всю Вечность напролет
лесная музыка.

Там можно душу́ уберечь
и песню выпасти,
и растворить мирскую речь
в древесной тихости.

Когда из чащи лик живой,
дыша, просунется,
не испугается его
душа-разумница.

Пока наш взор следить готов
за вихрем беличьим,
всех наших бедствий и грехов
редеет перечень.

* * *

Еще не вторил листобой
напевам осени
в те дни, как жили мы с тобой
на Белом озере.

Над ним рыбак торчал упрям,
уду забрасывал,
читали сосны по утрам
стихи Некрасова.

Там сушь великая была,
с мольбою под небо
вся жизнь клонилась и ждала
дождя Господнего,

цепляясь ветками, маша
сухими листьями, –
как откровения – душа,
как разум – истины.

Так воздух сух, так полдень жжет,
так свет безоблачен,
был даже папоротник желт,
где я лесовничал.

Был зверем, древом поживу,
раскину ветви я, –
темна дорога к Божеству
сквозь кроны светлые...

* * *

«Тяжел черед» – зов ветра вслед
напевам осени,
где желт и розов бересклет
на Белом озере.

Скатилось лето колесом,
пожухли желуди,
и стал печальным карий сон
в дохнувшем холоде.

Поранишь душу об мороз –
поверишь в заповедь:
пора меж сосен и берез
мечту закапывать.

Собьют ли с ног, придет ли срок
напевам осени,
заройте зарево в песок
на Белом озере.

Ах, я не воин никакой,
игрок на лире я,
и пусть споет за упокой
речная лилия.

1976

* * *

Зеленой палаткой
в зеленом лесу
час радости краткой
от смерти спасу.

Спасу и помножу
на крест и мечту
и царскому ложу
его предпочту...

Лесного народа
немой хоровод
кровавого хода
времен не прервет.

Не шорохом хвойным
(он так поредел)
доносам и войнам
прядется предел.

Но разве не так ли
всесильный Господь
из роли в спектакле
не вызволит плоть?

Куда ж мы поденем
свой гонор и страх?
Не Божьим веленьем
живем в городах.

Себе для улова
нас путает бес
веселья земного
просить у небес.

От этой привычки
уводит бедняг
тропа с электрички
сквозь мелкий ивняк.

Час радости пробил
над веком забот,
и ангел меж ребер
в дорогу зовет.

Нет милости проще,
нет чуда святей,
чем свежие рощи
и дождик с ветвей.

Как были бы грубы
болезнь и любовь,
когда бы не трубы
берез и дубов.

Им ветки ломая,
с них лыко дерем, –
а кротость немая
нам платит добром.

Хлебнем для сугрева
и камушком в ларь,
что духом чрез древо
становится тварь.

Любимой и другу
как Вечности знак
органную фугу
играет сосняк.

Над речкой, над кручей,
над горем и злом
медвяно-колючий
колышется звон.

По влажным оврагам
цветет бузина,
и любящим благом
душа спасена.

Бессмысленным? Ой ли!
Лишь горечь и мрак
скрываются в пойле,
что стряпал дурак.

Неужто же эта
священная связь
не волей поэта
из тьмы создалась?

И лад из развала,
и праздник из зол
не мудрость воззвала,
не дух произвел?

То молвить могли бы,
листвой говоря,
осины и липы,
да нет словаря...

В терновую б заросль
враля и ханжу.
А что не сказалось,
уже не скажу.

Обугленной палкой
в костре вороша,
мне родины жалко
и жаль мураша...

Спросите у сосен
на их языке:
а что мы уносим
с собой в рюкзаке?

Что было случайным,
что стало родным,
доверие к тайнам,
цветенье и дым.

Дух горечи сладкой,
туман и росу –
с зеленой палаткой
в зеленом лесу.

1976

* * *

Между печалью и ничем
мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь «зачем?»,
а кто-то скажет «жаль».

И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
и думать про покой.

Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячу земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет Божий хмель.

Нам – как дышать, – приняв печать
гонений и разлук, –
огнем на искру отвечать
и музыкой – на звук.

И обреченностью кресту,
и горечью питья
мы искупаем суету
и грубость бытия.

Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропщущую плоть.

И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.

Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.

И снова – за листы поэм,
за кисти, за рояль, –
между печалью и ничем
избравшие печаль.

1977

ОДА ТОПОЛЯМ

Что значит – жизнь и что за слово – смерть,
кто в мире мы, я спрашивал у Бога, –
и вот Господь мне повелел воспеть
летучий тополь – жертвенник Ван Гога.

Давно ль мы все из чувственной шерсти
и шумно дышим сумраком и бездной,
и лишь во снах дано нам дорасти
до невозможной нежности древесной.

Как ни замерзни, как ни запылись,
есть тополей нежгущееся пламя,
есть глубь и тишь, взмывающие ввысь,
соборы сна, светильники с ветвями.

Мы приникаем к звездам и кустам
за тем одним, чем душу б излечили,
но шерсть и кровь, приставшие к устам,
нам не изжить в земной своей личине.

Своим жестоким вымыслам молясь,
мы служим лжи, корыстны и ретивы.
Лишь тополя под окнами у нас
зовут куда-то как ориентиры.

Молчать бы мне в неведенье святом,
сказал «зовут», но всякий зов обманчив,
и высшей правды не было ни в том,
кто на кресте, ни в том, кто из Ламанчи.

Сказал «зовут», но свету где найтись?
И коль зовут – не вдаль, но в глубину лишь,
зовут, чтоб мы, как некогда Нарцисс,
в свою – сквозь плоть – божественность вглянулись.

Мы с детских лет похожи на волчат,
в нас доброта мгновенна и случайна,
нам свойствен шум, а тополя молчат,
полным-полны значенья и звучанья.

И многорукость прочного ствола
с индийским Богом схожа, и нежны в нас
листочком каждым, солнышку хвала,
их немота, надежность и недвижность.

Здесь, на земле, от ликов нет лекарств.
Делами злы и разумом убоги,
мы и молчим о судьбах государств,
а тополя – о Вечности и Боге.

Душа моя! На то и жизнь дана,
чтоб нам молить о нежности древесной.
Пока есть в мире тополь и луна,
все, что в нем есть, душа моя, приветствуй.

Приветствуй все и все благодари,
а зло и боль останутся поодаль,
пока есть в небе крохотка зари,
и есть трава, и есть луна и тополь.

Как род людской криклив и неуклюж –
и как стройны сошественники рая,
неправоту героев и кликуш
своим покоем кротко укоряя.

И пламень их не жарок, не багрян,
а свеж и зелен. Храмами во мраке
они полны звучанья, как орган,
и тайны тайн, как чистый лист бумаги.

В тебе и мне, в Нарциссе и Христе –
одна душа, и больше в тополях нас,
чем в нас самих. Ослепли в суете.
Найдись ручей – я сам в него шарахнусь.

Алчба и страх снедают нашу плоть,
а тополя добры и неподвижны.
Галдят пророки – но молчит Господь,
и – внутрь себя – тиха улыбка Вишны.

1978

ЭЛЕГИЯ О СТАРОМ ДИВАНЕ

А все-таки стенам, пожалуй, когда-нибудь рухнуть.
О век мимолетный, безжалостный и деловой!
Из нового дома выносится старая рухлядь,
и в холод бездомья уходит бедняк Домовой.

Смешной старикашка, он так шкандыбает, сутулясь,
и шепчет проклятья, и прячет отчаянный взгляд
от страшного мира, где режут беспомощных куриц
и желтые листья в полночные лужи летят.

О старом диване никто и словечка не скажет,
случайно достался и, в общем, совсем не кровать,
он с детством не связан, стараньями предков не нажит,
и вид затрапезен, и не о чем зря горевать.

О как он был жёсток, неласковым жребием выпав,
к нему привыкали, почти что не чувствуя ног,
но чье-то дыханье с его полусонных прогибов
летело по небу на чей-то безумный звонок.

На нем раскрывалась ромашка младенческой позы
и тот полуночник, бывало, подремывал днем.
Он знает все тайны, он помнит молитвы и слезы,
но вот незадача – клопы обнаружились в нем.

И он обречен, а на новом, должно быть, уютней.
Зайдем и заплатим – и время бежать по делам.
Поминок не будет, не слышно органа и лютни,
в шумливом безмолвье уносится старый диван.

А близится осень, и капли щемят дождевые,
и в нежном сиянье бездомная горечь листвы.
Простите, простите, простите меня, домовые,
я тоже – давно уж – собрался в дорогу, как вы.

О, мир этот камен, и милых не губ ведь, не рук ведь,
и ветры смеются над бренной диванной душой.
О грусть Домового! О бедная старая рухлядь,
на коей – о счастье! – разляжется кто-то чужой.

О, мир этот камен, и, правду сказать, не в бреду ль я
с домашней заботой мешаю небесную высь,
и некому плакать, за вычетом Бога и дурня,
о старом диване, в котором клопы завелись.

1984

* * *

«Куда мы? Кем ведомы? И в хартиях – труха.
Сплошные, брат, Содомы с Адамова греха.
Повырублен, повыжжен и, лучшего не ждя,
мир плосок и недвижен, как замыслы вождя.

Он занят делом, делом, а ты, едрена вошь,
один на свете белом безделицей живешь,
а ты под ветхой кожей один противу всех.
А может, он-то – Божий, а не Адамов грех?..»

Я – слышу и не слышу. Я дланями плещу –
а все ж к себе под крышу той дряни не тащу.
Истошными ночами прозрений и разлук
безбожными речами не омрачаю слух.

Вам блазнится – сквозь нехоть в зажмуренной горсти –
куда-нибудь уехать, чтоб что-нибудь спасти.
Но Англия, Москва ли – не все ли вам равно?
Смотрите: все в развале – и все озарено.

Безумные искусства сексэнтээрных лет
щекочут ваши чувства, а мне в них проку нет.
Я ближним посторонний, от дальнего сокрыт,
и мир потусторонний со мною говорит.

Хоть Бог и всемогущий, беспомощен мой Бог.
Я самый неимущий и телом изнемог,
и досыта мне горя досталось на веку,
но, с Господом не споря, полвека повлеку.

Под хаханьки и тосты, под жалобы и чад
мне в душу светят звезды и тополи молчат.
Я самый иудейский меж вами иудей,
мне только бы по-детски молиться за людей.

Один меж погребенных с фонариком Басё,
я плачу, как ребенок, но знающий про все,
клейменный вашим пеклом и душу вам даря.
А глупость верит беглым листам календаря.

Вы скажете: «О Боже, да он – без головы?..»
А я люблю вас больше, чем думаете вы.
Пока с земли не съеду в отдохновенном сне,
я верю только свету и горней тишине.

Да прелесть их струится из Вечности самой
на терпкие страницы, возлюбленные мной.
И я скорблю и горблюсь, и в думах длится ночь.
А глупость верит в глобус. И ей нельзя помочь.

1978

* * *

Я нá землю упал с неведомой звезды,
с приснившейся звезды на каменную землю,
где, сколько б я ни жил, отроду не приемлю
ни тяжести мирской, ни дружбы, ни вражды.

Как с буднями, звезда, нездешним сердцем сжиться,
коль тополи в снегу мне в тыщу раз важней
всех выездов и смут, певичек и вождей,
а Моцарт и Паскаль отзывней сослуживца?

Что делать мне, звезда, проснувшись поутру?
Я с ближними в их рай не мечу наудачу,
с их сласти не смеюсь, с их горечи не плачу
и с ними не игрок в их грустную игру.

Что значу я, звезда, в день моего рожденья,
колодец без воды и дуб без желудей?
Дано ль мне полюбить косматый мир людей,
как с детства я люблю животных и растенья?

И как мне быть, звезда, на каменной земле,
где телу земляка люба своя рубаха,
так просто обойтись без воздуха и Баха
и свету не найтись в бесколокольной мгле?

Как жить мне на земле, ни с чем земным не споря?
Да будут сны мои младенчески чисты
и не предам вовек рождественской звезды,
откуда я упал на землю зла и горя.

1980

9 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА

И снова зажгутся, коль нам повезет,
на сосенке свечи,
и тихо опустится с тихих высот
рождественский вечер.

И рыжая киска приткнется у ног,
и закусь на блюде,
и снова сойдутся на наш огонек
хорошие люди.

Вот тут бы и вспомнить о вере былой,
о радостях старых,

о буйных тихонях, что этой порой
кемарят на нарах.

Но, тишь возмутив, окаянное дно
я в чаше увижу
и в ночь золотую набычусь хмельно
и друга обижу.

И стану в отчаянье, зюзя из зюзь,
стучать по стаканам
с надменной надеждой: авось откуплюсь
стихом покаянным.

Упершись локтем в ненадежность стола,
в обличье убогом,
провою его, забывая слова,
внушенные Богом.

О, мне бы хоть горстку с души соскрести,
в чем совесть повинна.
Прости мне, Марлена, и Генчик, прости,
и Шмеркина Инна.

Спокойно, друзья, отходите ко сну,
поверьте заздравью,
что завтра я с чистой страницы начну
свою биографью.

Но дайте мне, дайте мне веры в меня
хоть малую каплю...
Вот так я, хмельной, погоняю коня
и так я лукавлю.

А свечи святые давно сожжены
под серою сенью,
и в сердце волнуемом нет тишины,
и нет мне прощенья.

Не мне, о, не мне говорить вам про честь:
в родимых ламанчах
я самый бессовестный что ни на есть
трепач и обманщик.

Пока я вслепую болтаю и пью,
игруч и отыгрист,
в душе моей спорят за душу мою
Христос и Антихрист.

1980

ПРИЗНАНИЕ

Зима шуршит снежком по золотым аллейкам,
надежно хороня земную черноту,
и по тому снежку идет Шолом-Алейхем
с усмешечкой, в очках, с оскоминкой во рту.

В провидческой тоске, сорочьих сборищ мимо,
в последний раз идет по родине своей, –
а мне на той земле до мук необъяснимо,
откуда я пришел, зачем живу на ней.

Смущаясь и таясь, как будто я обманщик,
у холода и тьмы о солнышке молю,
и все мне снится сон, что я еврейский мальчик,
и в этом русском сне я прожил жизнь мою.

Мосты мои висят, беспомощны и шатки –
уйти бы от греха, забыться бы на миг!..
Отрушиваю снег с невыносимой шапки
и попадаю в круг друзей глухонемых.

В душе моей поют сиротские соборы,
и белый снег метет меж сосен и берез,
но те, кого люблю, на приговоры скоры
и грозный суд вершат не в шутку, а всерьез.

О, нам хотя б на грош смиренья и печали,
безгневной тишины, безревностной любви!
Мы смыслом изошли, мы духом обнищали,
и жизнь у нас на лжи, а храмы – на крови.

Мы рушим на века – и лишь на годы строим,
мы давимся в гробах, а Божий мир широк.
Игра не стоит свеч, и грустно быть героем,
ни Богу, ни себе не в радость и не впрок.

А я один из тех, кто ведает и мямлит
и напрягает слух пред мировым концом.
Пока я вижу сны, еще я добрый Гамлет,
но шпагу обнажу – и стану мертвецом.

Я на ветру продрог, я в оттепели вымок,
заплутавшись в лесу, почуявши дымок,
в кругу моих друзей, меж близких и любимых,
о как я одинок! О как я одинок!

За прожитую жизнь у всех прошу прощенья
и улыбаюсь всем, и плачу обо всех –
но как боится стих небратского прочтенья,
как страшен для него ошибочный успех...

Уйдет вода из рек, и птиц не станет певчих,
и окаянной тьмой затмится белый свет.
Но попусту звенит дурацкий мой бубенчик
о нищете мирской, о суете сует.

Уйдет вода из рек, и льды вернутся снова,
и станет плотью тень, и оборвется нить.
О как нас Бог зовет! А мы не слышим зова.
И в мире ничего нельзя переменить.

Когда за мной придут, мы снова будем квиты.
Ведь на земле никто ни в чем не виноват.
А все ж мы все на ней одной виной повиты,
и всем нам суждена одна дорога в ад.

1980

9 ЯНВАРЯ 1983 ГОДА

Когда мне стукнуло шестьдесят

Пришли, пришли пропойцы-кемари,
не отчурались, черти недосыпа!
На грядках дней пропольщики мои,
какое вам небесное спасибо!

Кто как сумел у чарочки присел, –
пои вас Бог, друзья-жизнепродувцы!
Пока далек положенный предел,
лета летят, а ниточки прядутся.

Спасибо всем, кто в этот час со мной,
кого я смог, кого не смог собрать я!
Ох, как я полон жизнию земной!
В ней нет чужих, все – сестры лишь да братья.

Чем тоньше нить, тем тише и светлей
в душе моей, и вся она – любовь к вам.
Ишь, летом вишен падает с ветвей,
а места нет счетам и недомолвкам.

Спасибо, жизнь, за то, что прожита,
за этот свет, что вы зовете «старость»!
Смотрю в себя: где горечь, где вражда?
И следу нет. Одна любовь осталась.

Ишь, воробьишки прыгают у ног, –
на свете роль нисколько не мала их.
Моя ж душа – воробышек и Бог,
и дуб в лесу, и Будда в Гималаях.

Мне в жизни сей хватало на харчи,
а по лихве печалиться не стану.
Простите все, кого я огорчил,
с кем в ссоре был, кого обидел спьяну.

Простите все, кого я не узнал, –
не из гордыни или басурманства.
Моя ж родня наполовину с нар,
да я и сам оттолева сорвался.

Окажем честь зеленому вину,
его еще останется на случай.
Прости мой долг, прости мою вину,
мой лучший брат за проволкой колючей.

За тыщу верст – пустили бы – пешком
прибрел к тебе копытами босыми.
Прости меня, барашек с петушком,
чью кровь опять прольют в Эчмиадзине.

Простите все. Мне высь моя к лицу.
С нее теперь ни на вершок не сниду.
Какое счастье – к отчему крыльцу
нести в себе вину, а не обиду.

Спасибо всем, случайным, как и я.
Я вас люблю светло и покаянно.
Как хорошо вернуться в океан
искавшей смысла капле океана.

Я высший дар несу не расплескав,
хоть и кажусь иному дурачиной.
Мне и теперь любая боль близка,
но все небесней свет неомрачимый.

Когда душа совсем уйдет от вас,
любовью к вам полна и осиянна,
мой грешный прах оплачет Комитас
в стране камней у синего Севана.

ПСАЛОМ АРМЕНИИ

Ну что тебе Грузия? Хмель да кураж,
приманка для бардов опальных
да весь в кожуре апельсиновой пляж
с луной в обезьяновых пальмах.

Я мог бы, пожалуй, довериться здесь
плетучим абхазским повозкам,
но жирность природы, но жителей спесь...
А ну их к монахам афонским!..

А сбоку Армения – Божья любовь,
в горах сораспятая с Богом,
где боль Его плещет в травинке любой,
где м а л о е помнит о м н о г о м.

Судьбой моей правит не тост тамады –
обитель трудов неустанных
контрастом тем пальмам, – а рос там один
колючий пустынный кустарник.

И камень валялся, и пламень сиял, –
и Ноем в кизиловом зное,
ни разу не видев, я сразу узнал
обещанное и родное.

О, где бы я ни был, душа моя там,
в краю потаенном и грозном,
где, брат непригретый, бродил Мандельштам
и душу вынашивал Гроссман.

Там плоть и материя щедро царят,
там женственность не деревянна,
там беловенечный плывет Арарат
близ алчущих глаз Еревана.

Там можно обжечься о розовый туф
и, как по делам ни спеши мы,
на место ожога минуту подув,
часами смотреть на вершины.

Там брата Севана светла синева,
где вера свой парус расправит, –
а что за слова! Не Саят ли Нова
влюбленность и праведность славит?

Там в гору, все в гору мой путь не тяжел, –
причастием к вечности полнясь,
не брезгуя бытом, на пиршестве сел
библейская пишется повесть.

Там жизнь м и р о в а я согласна с м и р с к о й,
и дальнее плачет о близком,
и радости праздник пронизан тоской
и жертвенной кровью обрызган.

Там я, удостоенный вести благой,
там я, просветленный и тихий,
узнал, что такое добро и покой
у желтых костров облепихи...

Не быть мне от времени навеселе,
и родина мне не защита –
я верен по гроб камнегрудой земле
орешника и геноцида.

И сладостен сердцу отказ от правот,
и дух, что горел и метался,
в любви и раскаянье к небу плывет
с певучей мольбой Комитаса...

Что жизнь наша, брат? Туесок для сует –
и не было б доли унылей,
но вышней трагедии правда и свет
ее, как ребенка, омыли.

1982

ВТОРОЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ

Армения, – руша камения с гор
знамением скорбных начал, –
прости мне, что я о тебе до сих пор
еще ничего не сказал.

Армения, горе твое от ума,
ты – боли еврейской двойник, –
я сдуну с тебя облака и туман,
я пил из фонтанов твоих.

Ты храмы рубила в горах без дорог
и, радуясь вышним дарам,
соседям лихим не в укор, а в урок
воздвигла Матенадаран.

Я был на Севане, я видел Гарни,
я ставил в Гегарде свечу, –
Армения, Бог твою душу храни,
я быть твоим сыном хочу.

Я в жизни и в муке твой путь повторю, –
и так ли вина уж тяжка,
что я не привел к твоему алтарю
ни агнушка, ни петушка?

Мужайся, мой разум, и, дух, уносись
туда, где, в сиянье таим,
как будто из света отлитый Масис
царит перед взором моим!

Но как я скажу про возлюбленный ад,
начала свяжу и концы?
Раскроется ль в каменном звоне цикад
молитвенник Нарекаци?

До речи ли тут, о веков череда?
Ты кровью небес не дразни,
но дай мне заплакать, чтоб мир зарыдал
о мраке турецкой резни.

Меж воронов черных я счастлив, что бел,
что мучусь юдолью земной,
что лучшее слово мое о тебе
еще остается за мной.

1982

ТРЕТИЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ

У самого неба, в краю, чей окраинный свет
любовь мою к миру священно венчает и множит,
есть памятник горю – и странный его силуэт
раздумье сулит и нигде повториться не может.

Подъем к нему долог, как приготовленье души,
им шествуют тени, что были безвинно убиты,
в их тихой молитве умолкли ума мятежи
и чувством вины уничтожено чувство обиды.

Не в праздничном блеске и не в суете площадной
является взорам, забывшим про казни да войны,
тот памятник людям, убитым за то лишь одно,
что были армяне, – и этого было довольно.

Из братских молчаний и в скорби склоненных камней,
из огнища веры и реквиема Комитаса
он сложен народом, в ком сердце рассудка умней,
чьи тонкие свечи в обугленном храме дымятся.

Есть памятник горю в излюбленной Богом стране,
где зреют гранаты и кроткие овцы пасутся, –
он дорог народу и тем он дороже втройне,
что многих святынь не дано ни узреть, ни коснуться.

Во славу гордыне я сроду стихов не писал,
для вещего слова мучений своих маловато, –
но сердце-то знает о том, как горька небесам
земная разлука Армении и Арарата.

О век мой подсудный, в лицо мое кровью плесни!
Зернистая тяжесть согнулась под злом стародавним,
и плачет над жертвами той беззабвенной резни
поющее пламя, колеблемое состраданьем.

Какая судьба, что не здесь я родился! А то б
и мне в этот час, ослепленному вестью печальной,
как древнему Ною, почудился новый потоп
и белые чайки над высью ковчегопричальной.

1983

ЧЕТВЕРТЫЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ

Я всем гонимым брат,
в душе моей нирвана,
когда на Арарат
смотрю из Еревана,

когда из глубока
верблюжьим караваном
святые облака
плывут над Ереваном,

и, бренное тесня
трагедией исхода,
мой мозг сечет резня
пятнадцатого года,

а добрый ишачок,
такой родноволосый,
прильнув ко мне, со щек
облизывает слезы...

О рвение любви,
я вечный твой ребенок, –
Армения, плыви
в глазах моих влюбленных!

Устав от маеты,
в куточек закопайся, –
отверженная ты
сиротка Закавказья.

Но хоть судьба бродяг
не перестала влечь нас,
нигде на свете так
не чувствуется Вечность.

Рождая в мире тишь,
неслыханную сердцем,
ты воздухом летишь
к своим единоверцам.

Как будто бы с луны,
очам даруя чары,
где в мире не славны
армянские хачкары?..

Я врат не отопру
ни умыслу, ни силе:
твои меня добру
ущелия учили.

Листая твой словарь
взволнованно и рьяно,
я в жизни не сорвал
плода в садах Сарьяна.

Блаженному служа
и в каменное канув,
живительно свежа
вода твоих фонтанов.

О, я б не объяснил,
прибегнув к многословью,
как хочется весь мир
обнять твоей любовью!..

Когда ж друзей семья
зовет приезжих в гости,
нет более, чем я,
свободного от злости.

Товарищ Степанян!
Не связанный обетом,
я нынче буду пьян –
и не тужу об этом.

Я не закоренел
в серьезности медвежьей
и пью за Карине,
не будучи невежей.

А на обед очаг
уже готовит праздник,
и Наапет Кучак
стихами сердце дразнит.

1985

9 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА

Изверясь в разуме и в быте,
осмеян дельными людьми,
я выстроил себе обитель
из созерцанья и любви.

И в ней предела нет исканьям,
но как светло и высоко!
Ее крепит армянский камень,
а стены – Пущино с Окой.

Не где-нибудь, а здесь вот, здесь вот,
порою сам того стыдясь,
никак не выберусь из детства,
не постарею отродясь.

Лечу в зеленые заречья,
где о веселье пели сны,
где так черны все наши речи
перед безмолвьем белизны.

Стою, как чарка, на пороге,
и вечность – пролеском у ног.
Друг, обопрись на эти строки,
не смертен будь, не одинок...

Гремят погибельные годы,
ветшает судебная нить...
Моей спасительной свободы
никто не хочет разделить.

1984

НА ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ Л. ТЁМИНА

Леня Тёмин не помню забыл
у загробья не стану лукавить
а когда-то как брата любил
и стихи знал когда-то на память

а теперь чего нет того нет
все пропало в тумане и дыме
а что души бывают родными
можно ль верить на старости лет

киевлянин полез в москвичи
черт понес тебя в чертов Тбилиси
а твои стихотворные выси
где они поищи посвищи

как ты ерзал меж светом и тьмой
вечно болен повсюду бездомен
сноб и баловень Ленечка Тёмин
как надменничал, Боже ты мой.

Так меж приступов пьянок сует
человечески грешен ли слаб ли
жил да был настоящий поэт
на меня не похожий ни капли

не завидую и не сужу
и в нечаянный день поминанья,
хоть и выдадут чару вина мне,
ничего о тебе не скажу

вот и мой скоро кончится путь
и ни скорби о том ни печали
пусть за нас с тобой хлопнут по чаре
в некий час кто-нибудь с кем-нибудь.

1984

МОСКОВСКАЯ ОДА

Ах, Москва ты Москва – золота голова!
Я, расколов твоих темноту раскумекав,
по погубленным храмам твоим горевал
вместе с тысячью прочих жидов и чучмеков.

Мои ночи в сиянье твоих вечеров,
и московский снежок холодит мои веки,
искаженный твой облик целую в чело,
в твое красное с белым влюбляюсь навеки.

Мне святыни твои – как больному бальзам,
но согласья духовного нет между нами, –
поделом тебе срам, что не веришь слезам
и пророков своих побиваешь камнями.

Ты, со злой татарвой не боясь кумовства,
только силой сильна да могуча минутой,
русской вольности веси, ворюга, Москва,
прибирала к рукам с Калитой да с Малютой.

Ты на празднества лжи созывала детей,
оглашая полсвета малиновым звоном,
но в пределах твоих, но по воле твоей
с целым миром досель непривычно родство нам.

Отлетевший твой дух долго жить приказал,
да не хочется жить, как посмотришь на лица, –
у Василья Блаженного нет прихожан,
а в церкви на крови и негоже молиться...

Не один изувеченной вечности клад
ты хранишь, зажигая огни городские,
но тебе все равно, что твой брат Ленинград
быть давно перестал тем, что был у России.

Ты родне деревенской в куске отказав,
шлешь проклятья и кары взывающим музам,
и тебе все равно, что Рязань и Казань
спозаранку твоим обжираемы пузом...

Свои лучшие думы я выстрадал здесь,
здесь я дружбу обрел, сочинитель элегий,
но противна душе чернорусская спесь,
и не терпит душа никаких привилегий.

Я полжизни отдам за московские дни,
хоть вовек не сочту, сколько было их кряду, –
но у красной стены чутко спят кистени
и скучают во сне по Охотному ряду.

Стыдно в ступе толочь мутны воды пестом,
стыдно новой порой да за старую песню ж, –
образумься, родная, трудом да постом,
и, пока не покаешься, да не воскреснешь.

1987

НЕПРОЩАНИЕ С БАТУМИ

Ну и гугняв же местный бес –
запустит дождик суток на шесть,
чтоб люди чувствовали тяжесть
непросыхаемых небес.

А мне он зла не причинял,
а я хлопот его не стою,
а мне бы стакнуться душою
с душой магнолий и чинар.

В недоуменье дух и плоть,
не разберу никак по думе, –
какой ты нации, Батуми,
и что напрял в тебе Господь.

Как ракушка – волной в ушах,
как дева – в лучевидной кроне,
о тыща и одном балконе,
о двух ажурных этажах.

И не во сне, а наяву
пестры под непогодью прыткой,
по-детски выложены плиткой
проспекты прямо в синеву.

Дано ль прочесть простым умам
узоры страхов и бесстраший,
под звонко-розовою пряжей
прибрежья зелень и туман?

Вдруг кто-то в чащу шах-шарах!
А кто? Увидеть бы, узнать бы,
но немо щурятся усадьбы
из тьмы в оранжевых шарах...

Века с недвижностью в очах
реальней здесь, чем день текущий,
и я гощу с кофейной гущей
у сна в бамбуковых дворцах.

У сердца нет иных забот,
чем жить, от волн морских святея,
где медным голосом Медея
отмщенье божие зовет.

Потопным топотом дождя
тщета веков, как пыль, прибита,
и эвкалипты Еврипида
стоят, до краешка дойдя...

1985

ФЕОДОСИЯ

В радостном небе разлуки зарю
дымкой печали увлажню:
гриновским взором прощально смотрю
на генуэзскую башню.

О, как пахнуло веселою тьмой
из мушкетерского шкафа, –
рыцарь чумазый под белой чалмой –
факельноокая Кафа!

Желтая кожа нагретых камней,
жаркий и пыльный кустарник –
что-то же есть маскарадное в ней,
в улицах этих и зданьях.

Тешит дыханье, холмами зажат,
город забавный, как Пэппи,
а за холмами как птицы лежат
пестроцветущие степи.

Алым в зеленое вкрапался мак,
черные зернышки сея.
Море синеет и пенится, как
во времена Одиссея.

Чем сгоряча растранжиривать прыть
по винопийным киоскам,
лучше о Вечности поговорить
со стариком Айвазовским.

Чьи не ходили сюда корабли,
но, удалы и проворны,
сколько богатств под собой погребли
сурожскоморские волны!

Ласковой сказке поверив скорей,
чем историческим сплетням,
тем и дышу я, платан без корней,
в городе тысячелетнем.

И не нарадуюсь детским мечтам,
что, по-смешному заметен,
Осип Эмильевич Мандельштам
рыскал по улочкам этим.

1984

ДЕЛЬФИНЬЯ ЭЛЕГИЯ

Как будто бы во сне повинном,
что не со всяким может статься,
я чувствую себя дельфином
на карадагской биостанции.

Зачем я дался людям глупым
и почему, хоть в скалах выбей,
мы то всего сильнее любим,
что нам приносит боль и гибель?

В бассейне замкнутом и душном,
где развернуться сердцу негде,
что в теле мне моем недужном
и в обреченном интеллекте?

Я разлучен с родимой бездной,
мне все враждебно и непрочно,
и надо мной не свод небесный,
а потолок цементно-блочный.

С тремя страдальцами другими,
утратив братьев и подругу,
плыву и прыгаю за ними
по кругу, Господи, по кругу!

Нас держат с котиками вместе,
и так расчетливо и дико
на мне сбывается возмездье
за поведенье Моби Дика.

Во славу трубящей науки,
что дуракам сулит бессмертье,
сношу бессмысленные муки
и не прошу о милосердье.

Спасибо, брат старшой, спасибо,
дитя корысти и коррупций, –
твоя мороженая рыба
не лезет в горло вольнолюбцу.

И вот – в пяти шагах от моря,
от неба синего, от рая
я с неразумия и с горя
никак не сдохну, умирая.

1984

* * *

Ежевечерне я в своей молитве
вверяю Богу душу и не знаю,
проснусь с утра или ее на лифте
опустят в ад или поднимут к раю.

Последнее совсем невероятно:
я весь из фраз и верю больше фразам,
чем бытию, мои грехи и пятна
видны и невооруженным глазом.

Я все приму, на солнышке оттаяв,
нет ни одной обиды незабытой;
но Судный час, о чем смолчал Бердяев,
встречать с виной страшнее, чем с обидой.

Как больно стать навеки виноватым,
неискупимо и невозмещенно,
перед сестрою или перед братом, –
к ним не дойдет и стон из бездны черной.

И все ж клянусь, что вся отвага Данта
в часы тоски, прильнувшей к изголовью,
не так надежна и не благодатна,
как свет вины, усиленный любовью.

Все вглубь и ввысь! А не дойду до цели –
на то и жизнь, на то и воля Божья.
Мне это все открылось в Коктебеле
под шорох волн у черного подножья.

1984

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ОДА

Никогда я Богу не молился
так легко, так полно, как теперь...
Добрый день, Аленушка-Алиса,
прилетай за чудом в Коктебель.

Видишь? – я, от радости заплакав,
запрокинул голову – и вот
Киммерия, алая от маков,
в бесконечность синюю плывет.

Вся плывет в непобедимом свете,
в негасимом полдне, – и на ней,
как не знают ангелы и дети,
я не помню горестей и дней.

Дал Господь согнать с души отечность,
в час любви подняться над судьбой
и не спутать ласковую Вечность
со свирепой вольностью степной...

Как мелась волошинская грива!
Как он мной по-новому любим
меж холмов заветного залива,
что недаром назван Голубым.

Все мы здесь – кто мучились, кто пели
за глоток воды и хлеба шмат.
Боже мой, как тихо в Коктебеле, –
только волны нежные шумят.

Всем дитя и никому не прадед,
с малой травкой весело слиян,
здесь по-детски властвует и правит
царь блаженных Максимилиан.

Образ Божий, творческий и добрый,
в серой блузе, с рыжей бородой,
каждый день он с посохом и торбой
карадагской шествует грядой…

Ах, как дышит море в час вечерний,
и душа лишь вечным дорожит, –
государству, времени и черни
ничего в ней не принадлежит.

И не славен я, и не усерден,
не упорствую, и не мечусь,
и что я воистину бессмертен,
знаю всеми органами чувств.

Это точно, это несомненно,
это просто выношено в срок,
как выносит водоросли пена
на шипучий в терниях песок.

До святого головокруженья
нас порой доводят эти сны, –
Боже мой Любви и Воскрешенья,
Боже Света, Боже Тишины!

Как Тебя люблю я в Коктебеле,
как легко дышать моей любви, –
Боже мой, таимый с колыбели,
на земле покинутый людьми!

Но земля кончается у моря,
и на ней, ликуя и любя,
глуби вод и выси неба вторя,
бесконечно верую в Тебя.

1984

ВОСПОМИНАНИЕ

Ты помнишь ли, мой ангел строгий,
в кого я двадцать лет влюблен,
какой возвышенной дорогой
мы шли на мыс Хамелеон?

Как мы карабкались по кручам,
то снизу вверх, то сверху вниз,
в краю пустынном и горючем
на этот самый чертов мыс,

как в тихой бухте при заливе
мы отдыхали в добрый час,
меж тем как тучи грозовые
ползли прямехонько на нас,

как шли назад путем хорошим,
еще сухие до поры,
робея, что поэт Волошин
нас видит со своей горы,

как напрягалась туча злая
и капли падали уже,
пытаясь выжить нас из рая,
где столько радости душе,

а мы в качающемся дыме
под надвигающейся тьмой
между овсами золотыми
бежали весело домой,

как в темных молний пересверке
под шум дождя и моря шум
мы прятались с тобой в пещерке,
где поместиться только двум,

и под разверзшеюся твердью
нас тихо полнила любовь
друг к другу, к миру и к бессмертью
в сокрытой выси голубой.

Куда ушли, куда поделись,
ярмо вседневности неся,
тот день, тот путь, тот мир в дожде весь,
каких нам век забыть нельзя?

Да не осилит сила вражья
и да откликнемся на зов
свободы, радости, бесстрашья
меж золотящихся овсов!

1984

* * *

Не каюсь в том, о нет, что мне казалось бренней
плоть – духа, жизнь – мечты, и верю, что, звеня
распевшейся строкой, хоть пять стихотворений
в летах переживут истлевшего меня.

1986

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

А. Вернику

Во имя доброты – и больше ни во чье,
во имя добрых тайн и царственного лада, –
а больше ничего Поэзии не надо,
а впрочем, пусть о том печется дурачье.

У прозы есть предел. Не глух я и не слеп
и чту ее раскат и заревую залежь,
но лишь одной Душе – Поэзия одна лишь
и лишь ее дары – всего насущный хлеб.

Дерзаешь ли целить гражданственный недуг,
поешь ли хрупких зорь престольные капризы
в текучем храме рек, – все это только ризы,
и горе, если в них не веет горний дух.

Как выбрать мед тоски из сатанинских сот
и ярость правоты из кротости Сократа,
разговорить звезду и на ладошку брата
свести ее озноб с михайловских высот?

Когда, и для чего, и кем в нас заронен
дух внемлющей любви, дух стройности певучей?
Вся Африка – лишь сад возвышенных созвучий,
где рук не сводят с арф Давид и Соломон.

Прислушайся ж, мой брат, к сокрытой глубине,
пойми ее напев и облеки в глаголы.
Есть в мире мастера, течения и школы,
и все ж в них меньше чар, чем в хлебе и вине.

На ветрище времен обтреплется наряд,
и, если суть бедна, куда мы срам свой денем?
Не жалуйся на жизнь. Вся боль ее и темень –
ничто в сравненье с тем, что музы нам дарят.

Когда ж из бездны зол взойдет твой званый час
из скудости и лжи, негадан и неведом,
да возлетит твой стих, светясь глубинным светом,
и не прельстится ум соблазном выкрутас.

Прозаик волен жить меж страхов и сует,
кумекать о добре и в рот смотреть кумиру, –
а нам любовь и гнев настраивают лиру.
Всяк день казним Иисус. И брат ему – Поэт.

Лишь избранных кресту Поэзия поит.
Так скорби не унизь до стона попрошаек
и, если мнишь, что ты беднее, чем прозаик,
отважься перечесть Тарасов ЗАПОВІТ.

1978

СИЯНИЕ СНЕГОВ

Какой зимой завершена
обида темных лет!
Какая в мире тишина!
Какой на свете свет!

Сон мира сладок и глубок,
с лицом, склоненным в снег,
и тот, кто в мире одинок,
в сей миг блаженней всех.

О, стыдно в эти дни роптать,
отчаиваться, клясть,
когда почиет благодать
на чаявших упасть!

В морозной сини белый дым,
деревья и дома, –
благословением святым
прощает нас зима.

За все зловещие века,
за всю беду и грусть
младенческие облака
сошли с небес на Русь.

В них радость – тернии купать
рождественской звезде.
И я люблю ее опять,
как в детстве и в беде.

Земля простила всех иуд,
и пир любви не скуп,
и в небе ангелы поют,
не разжимая губ.

Их свечи блестками парят,
и я мою зажгу,
чтоб бедный Галич был бы рад
упавшему снежку.

О, сколько в мире мертвецов,
а снег живее нас.
А все ж и нам, в конце концов,
пробьет последний час.

Молюсь небесности земной
за то, что так щедра,
а кто помолится со мной,
те – брат мне и сестра.

И в жизни не было разлук,
и в мире смерти нет,
и серебреет в слове звук,
преображенный в свет.

Приснись вам, люди, снег во сне,
и я вам жизнь отдам –
глубинной вашей белизне,
сияющим снегам.

1979

ТОЛСТОЙ И СТИХИ

Не отвечал я вам на первое письмо, потому что ваши рассуждения о Бальмонте и вообще о стихах мне чужды и не только не интересны, но и неприятны. Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделывал бы танцевальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды. Стихотворство есть, на мой взгляд, даже когда оно хорошее, очень глупое суеверие. Когда же оно еще и плохое и бессодержательное, как у теперешних стихотворцев, – самое праздное, бесполезное и смешное занятие. Не советую заниматься этим именно вам, потому что по письмам вашим вижу, что вы можете глубоко мыслить и ясно выражать свои мысли.

Лев Толстой. Из письма 14.01.1908 г.

Умер мой дядя (муж сестры моей матери) А.М. Жемчужников... Он был поэт. Л.Н. не признавал в нем никакого поэтического дара и даже самого примитивного понимания поэзии. Он считал, что все, что пишет Жемчужников, это зарифмованная, скучная и никому не нужная проза.

Но я думаю, что Л.Н. тут, как с ним часто бывает, слишком строг и требователен. Л.Н. признает всего пять поэтов – Пушкина, Лермонтова, Баратынского (за его «Смерть»), Фета и Тютчева.

М.С. Сухотин. Запись в дневнике 11.03.1908 г.

Ну а кого ему еще
любить прикажете?..
Саднит у пахаря плечо
на Божьей пажити.

Балует солнце в бороде,
щекотку делая.
Идет по черной борозде
лошадка белая...

С потопом схож двадцатый век:
рулим на камешек.
А он пустил бы в свой ковчег
моих неканувших?

Сгодился б Осип Мандельштам
для «Круга чтения»?
Ведь вот кого он выбрал сам.
Мое почтение!..

Идет на мир девятый вал.
Мертво писательство.
Не зря стихов не признавал
его сиятельство.

А я родился сиротой
и мучусь родиной.
Тому ли спорить с Бородой,
кто сам юродивый?

Гордыне лет земных чужой
с их злом и ложию,
тоскую темною душой
по Царству Божию.

Лущу зерно из шелухи,
влюбляюсь, верую.
Да мерит брат мои стихи
толстовской мерою.

1979

* * *

Сколько вы меня терпели!..
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекльберри,
никогда не ставший взрослым.

Дар, что был неждан, непрошен,
у меня в крови сиял он.
Как родился, так и прожил –
дураком-провинциалом.

Не командовать, не драться,
не учить, помилуй Боже, –
водку дул заради братства,
книгам радовался больше.

Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильней нас, –
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.

Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен,
между родиной и небом.

Убежденный, что в отчизне
все напасти от нее же,
я, наверно, в этой жизни
лишь на смерть души не ёжил.

Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.

Сотня строчек обветшалых –
разве дело, разве радость?
Бог назначил, я вещал их, –
дальше сами разбирайтесь.

Не о том, что за стеною,
я писал, от горя горбясь,
и горел передо мною
обреченный Лилин образ...

Вас, избравших мерой сумрак,
вас, обретших душу в деле,
я люблю вас, неразумных,
но не так как вы хотели.

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.

Поменяться сердцем не с кем,
приотверзлась преисподня, –
все вы с Блоком, с Достоевским, –
я уйду от вас сегодня.

А когда настанет завтра,
прозвенит ли мое слово
в светлом царстве Александра
Пушкина и Льва Толстого?

1986

АЛЕКСАНДРУ ВОЛОДИНУ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ, 1987 ГОДОМ

Я невызревший плод на урочное блюдо кладу,
я еще не пришел, и явиться меня не зовите, –
Александр Моисеевич, здравствуйте в Новом году,
и да будет он годом хороших вестей и событий.

Я не знаю, как где, а в российской беде в кой-то век
захотели сойтись государственность и человечность.
Александр Моисеевич, добрый вы мой человек,
может, счастье-то все, чтобы в жизни почувствовать Вечность.

Как не верить в нее, когда сквозь тошноту бормотух
вечер, снег, Петербург ставят пьесу дворцов и каналов.
Александр Моисеевич, мудрый вы мой драматург,
неразгаданный брат неудачников и коммунаров.

Я еще не пришел, эти строки еще не сбылись,
как заря за окном, несвершенна, робка, новогодня...
Александр Моисеевич, я – Чичибабин Борис, –
я люблю Вас давно, еще больше люблю Вас сегодня.

МОЛИТВА ЗА МЫКОЛУ

Молюсь – и молитва в листве сохранится
без фальши оттенка –
о том, чтоб не смог улететь за границу
Мыкола Руденко.

Ему ли в безвестие тесное кануть,
пойти на измену?
Коль это случится, на сердце и память
я траур надену.

Мы вместе годами сгорали от жажды,
хоть не были рядом.
О, как мне мечталось обняться однажды
с поэтом и братом!

Ведь, как нам ни тяжко и как нам ни тошно,
есть высшее нечто,
и дом наш не дом в Конче Заспе, а то, что
нетленно и вечно.

Для Бога несть эллина ни иудея,
все родины – майя,
но, людям о главном сказать не умея,
душа – как немая.

Молюсь, чтобы он до такого не дожил,
забыв свою мову,
а кто где родился, то там он и должен
взойти на Голгофу.

Что значили мы, то и станется с нами,
как стало сегодня,
а родина – это Господнее знамя
и воля Господня.

О близких молюсь, чтоб очнулись их души
от весточки братской,
что нету бездомья теснее и глуше
судьбы эмигрантской.

Я образ добра из отчаянья высек,
стал кротким и зрящим.
«О Боже, – молюсь, – вразуми и возвысь их
над злом преходящим».

Пока не престану молиться о том я,
Мыкола с Раисой
не бросятся в неть из родного бездомья,
с земли украинской.

1987

РОЖДЕСТВО

Да ну и что с того –
в Москве или в Нью-Йорке?
Сегодня Рождество,
и мы с тобой на елке.

Вся в звездах и огнях,
вот-вот взлетит, живая,
счастливцев и бедняг
на праздник созывая...

От крови и от слез
я слышу и не внемлю:
их столько пролилось
в отеческую землю,

что с душ не ототрет
уже ни рай, ни ад их, –
а нищий патриот
все ищет виноватых.

Вишь, умник да еврей –
губители России,
и алчут их кровей
погромные витии...

Но им наперекор,
сойдя с небес по сходням,
поет незримый хор
о Рождестве Господнем.

Поет, дары неся,
с уверенностью детской,
что Тот, кто родился,
сам крови иудейской.

Звучит хрустальный звон
для сбившихся с дороги:
уже родился Он
и мы не одиноки.

Идем со всех концов
с надеждою вглядеться
в безгрешное лицо
вселенского младенца.

Когда земная власть
с неправдой по соседству,
спасение – припасть
к Божественному детству.

Не зная наших уз,
свободный от одежки,
в нас верует Исус
и хлопает в ладошки.

Рождественской порой,
как подобает людям,
мы Божьей детворой
хоть трошечки побудем.

Творится явь из сна
и, всматриваясь в лица,
Господняя весна
в нас теплится и длится.

Серебряной вьюгой
мир выстиран и устлан,
и Диккенс и Гюго
родней, чем Джойс и Пруст нам.

В нас радуется Бог,
что детская пора есть,
от творческих тревог
взрослеть не собираясь.

Нам снова все друзья
и брат горой за братца,
и нам никак нельзя
от елки оторваться.

Та хвойная весна,
священствуя и нравясь,
с Руси привезена,
а всей земле на радость.

Клубится пар от вод,
сияет мир от радуг...
А нищий патриот
все ищет виноватых.

1990

РИМ БЕЗ ТЕБЯ

Я в Риме, где время клюет свои крохи с камней
седой голубицей, где в прелесть отлились просторы,
а римские ночи потемок московских темней:
у них на всех окнах прибожно опущены шторы.

На улицах грязно, но Риму и сор не в урон,
а русскому глазу он тем еще более близок,
ведь надобна ж снедь для воробышков и для ворон.
Как набожен сон мой, весь в пиниях и кипарисах!

Но сетует совесть, что снится он мне одному:
все горе с тобой не делил ли я поровну разве,
и разве сейчас я один без тебя подниму
все бремя восторга в наполненном чудом пространстве?

Мне грустно и горько, что здесь мне никто не родня,
что с кем я, ну с кем я аукнусь на улочках узких, –
нежданно-негаданно, да и всего на три дня
сюда я свалился в семерке писателей русских.

Тяжка наша участь, нам если не свой, то злодей,
а что у нас плохо, то все чужаки насолили,
а в Риме веселом, как всмотришься в лица людей,
никто и не помнит, что некогда был Муссолини.

Спешат работяги, и рот разевает чудак,
и ослик с тележкой хвостом говорит по-тбилисски,
и тянутся к небу на многих его площадях
египетские с иероглифами обелиски.

Я Рим императоров проклял с мальчишеских лет,
но дай мне, о Боже, как брата обнять итальянца.
Святые и гении высекли жертвенный свет,
и римским сияньем мильоны сердец утолятся.

Брожу и вбираю, обвитый с холмов синевой,
и русскому сердцу ответствует Дантова лира,
и вижу воочью, что разум прилежный с него
скопировал грады всего христианского мира.

Душой узнается, когда я брожу по нему,
то пушкинский Питер, то Вильнюс в Литве, то Одесса.
Я мрамор Бернини в молитвах святых помяну,
не молкнет во мне Микеланджело горняя месса.

И скорбная Пьета в соборе святого Петра
светлеет в углу, отовсюду слышна и всезрима.
Но как эта вечность по-детски родна и щедра,
как было бы миру пустынно и немо без Рима.

Хранящий святыни, но не превращенный в музей,
он дышит мне в щеки своей добротой тыщелицей, –
и что мне до цезарей, что мне до пап и князей?
В нем сердце любое Христовой любовью щемится.

О, если не всех, то хотя бы тебя привести
на холм Авентина, чтоб Рим очутился под нами
и стало нельзя нам пастушеских глаз отвести
от вечного стада с деревьями и куполами.

Нам ангел Мариин помашет на рынке рукой,
к нам дух Рафаэля с любовью прильнет на вокзале,
а площади Рима, где каждая краше другой,
расплещут фонтаны, чтоб мы в них монетки бросали.

Моя там осталась. Так, может быть, скоро с тобой
придем убедиться, что все наши ценности целы,
на улицах Рима смешаемся с доброй толпой
и Бога обрящем на фресках Сикстинской капеллы.

1989

* * *

Спокойно днюет и ночует,
кто за собой вины не чует:
он свой своим в своем дому
и не в чем каяться ему.

Он в хоровом негодованье
отверг и мысль о покаянье.
А я и в множестве один,
на мне одном сто тысяч вин.

На мне лежит со дня рожденья
проклятье богоотпаденья,
и что такое русский бунт,
и сколько стоит лиха фунт.

И тучи кровью моросили, –
когда погибло пол-России
в братоубийственной войне, –
и эта кровь всегда на мне.

1988

* * *

Скользим над бездной, в меру сил других толкая, –
такое время на Руси, пора такая.
Самих себя не узнаем, а крику много, –
с того и на сердце моем тоска-тревога.

О, как бы край мой засиял в семье народов!
Да черт нагнал национал-мордоворотов.
Ох, не к добру нам этот клич – свободы недуг,
что всех винит, себя опричь, в народных бедах.

У них обида правит бал, внутри темно в них,
ужо такой у них запал – искать виновных.
Весь белый свет готовы клясть, враждой несомы.
Ох, как бы небу не попасть в жидомасоны.

Какой бы стяг ни осенял их клан и веру,
вот так же Гитлер начинал свою карьеру.
И слово замерло в зобу, простор утратив,
и ох как страшно за судьбу сестер и братьев.

Любви-разумнице плачу всей жизнью дань я
и не возмездия хочу, а покаянья.
И лгали мне, и сам я лгал и кривде верил,
но дух мой истины взалкал и зло измерил.

Среди всколыхнутых стихий народной драмы
мои плакучие стихи стоят как храмы,
да кто услышит их – спроси у мила-края.
Такое время на Руси, пора такая.

Сто раз готов оставить кров, лишиться жизни,
но только пусть не льется кровь в моей отчизне.
Зачем был Пушкин тамадой, зачем рождаться?
Ужели мало нам одной войны гражданской?

О, злая ложь! На что зовешь? В кого ты целишь?
Что человек тебе, что вошь. Так неужели ж
один за всех – на всю страну, на всю планиду –
я исповедую вину, а не обиду?

1989

РЕСПУБЛИКАМ ПРИБАЛТИКИ

Вы уже почти потусторонние.
Вам еще слышны ль мои слова,
Латвия моя, моя Эстония
и моя медвяная Литва?

Три сестры в венечном белоночии,
что пристало милым головам,
три беды мой стих уполномочили,
чтоб свечой над кровью горевал.

Я узнал вас запоздно да вовремя,
в середине избранной судьбы,
и о том, что вольность ваша попрана,
с той поры ни разу не забыл.

Перемогший годы окаянные,
обнесенный чашей на пиру,
вольный крест вины и покаяния
перед вами на душу беру.

Слава вам троим за то, что первые
вышли на распутие времен
спорить с танкодавящей империей,
на века ославленной враньем!

Да прольется солнце светлым гением
к вам в окошки, в реки, в озерца!
Лишь любовью, а не принуждением
вяжутся и движутся сердца.

Только в ней останутся сохранными,
как строка, что в память возжена,
города граненые с органами,
моря шум и сосен вышина.

Я люблю вас просто, без экзотики,
но в чужом родное узнаю.
Может быть, свободой вашей все-таки
озарю под вечер жизнь мою.

Может быть, все как-нибудь устроится
и, святыни вечные суля,
нам с любимой, любящим, откроется
прибалтийской Троицы земля.

Сколько б ни морозилось, ни таялось,
как укор неверцу и вралю,
вы сошлись во мне и никогда я вас
не отрину и не разлюблю.

1990

* * *

На меня тоска напала.
Мне теперь никто не пара,
не делю ни с кем вины.

Землю русскую целуя,
знаю, что не доживу я
до святой ее весны.

Изошла из мира милость,
вечность временем затмилась,
исчерствел духовный хлеб.

Все погромней, все пещерней
время крови, время черни.
Брезжит свет – да кто не слеп?

Залечу ль рассудка раны:
почему чужие страны
нашей собственной добрей?

У меня тоска по людям.
Как мы истину полюбим,
если нет поводырей?

Не дослушаться ночами
слова, бывшего в начале,
из пустыни снеговой.

Безработица у эха:
этот умер, тот уехал –
не осталось никого.

Но с мальчишеского Крыма
не бывала так любима
растуманенная Русь.

Я смотрю, как жаждет жатва,
в задержавшееся завтра,
хоть его и не дождусь.

Что в Японии, что в Штатах –
на хрена мне их достаток, –
здесь я был и горю рад.

Помнит ли Иосиф Бродский,
что пустынницы-березки
все по-русски говорят?

«Милый, где твоя котомка?» –
вопрошаю у котенка,
у ромашки, у ежа.

Были проводы недлинны,
спьяну каждому в их спины
все шептал: «Не уезжай...»

А и я сей день готовил,
зрак вперял во мрак утопий,
шел живой сквозь лютый ад.

Бран был временем на измор,
но не сциклился с цинизмом,
как поэт-лауреат.

Ухожу, не кончив спора.
Для меня настанет скоро
время Божьего суда.

Хватит всем у неба солнца,
но лишь тот из них спасется,
кто воротится сюда.

1989

* * *

Кто – в панике, кто – в ярости,
а главная беда,
что были мы товарищи,
а стали господа.

Ох, господа и дамы!
Рассыпался наш дом –
Бог весть теперь куда мы
несемся и бредем.

Боюсь при свете свечек
смотреть на образа:
на лицах человечьих
звериные глаза.

В сердцах не сохранится
братающая высь,
коль русский с украинцем
спасаться разошлись.

Но злом налиты чаши
и смерть уже в крови,
а все спасенье наше
в согласье и любви.

Не стану бить поклоны
ни трону, ни рублю –
в любимую влюбленный
все сущее люблю.

Спешу сказать всем людям,
кто в смуте не оглох,
что если мы полюбим,
то в нас воскреснет Бог.

Сойдет тогда легко с нас
проклятие времен,
и исцеленный космос
мы в жизнь свою вернем.

Попробуйте – влюбитесь, –
иного не дано, –
и станете как витязь,
кем зло побеждено.

С души спадет дремота,
остепенится прыть.
Нельзя, любя кого-то,
весь мир не полюбить.

1991

СОВРЕМЕННЫЕ ЯМБЫ

1

Не верю сызмала словам я,
тружусь, как пахарь, за столом.
Мы ж рушим мир до основанья
и ничего не создаем.

Звезда имперская погасла,
все стало задом наперед –
сидим без сахара и масла,
а президенты делят флот.

Уж так, Россия, велика ты,
что не одну сгубила рать, –
нам легче взлезть на баррикады,
чем в доме чуточку прибрать.

Одни дружки в Советах рады –
избыли совести рубеж,
для рыл престижные оклады
поназначав самим себе ж.

Как тут невежды и невежи
гуртом из дыр в поводыри!
А ты трудись, с утра не евши,
да их же и благодари.

Попал из безвести как раз ты
на погребение страны,
чьи социальные контрасты,
как в зоне нож, обострены.

Сидишь, не чуя ног разутых,
в конфорке газу не зажег
и, как мешается рассудок,
печально чувствуешь, дружок.

Во времена живешь не те ты –
гроша не стоят ум и честь,
сплошные суверенитеты
и очень хочется поесть.

2

О, быть бы заодно со всеми,
к харчам всеобщим приобщаться!
Но Богом брошенное семя
мне не сулит такого счастья.

Я верен Богу одиноку
и, согнутый, как запятая,
пиляю всуперечь потоку,
со множеством не совпадая.

Что нет в глазах моих соринок,
не избавляет от нападок.
Я всем умом моим за рынок,
но сердцем не люблю богатых.

Я не могу, живу покуда,
изжить евангельские толки
насчет иголки и верблюда,
точней, отверстия в иголке.

Зачем мне дан был дар певучий
и светопламенные муки,
когда повсюду мрак паучий
и музы, мрущие, как мухи?

Неужто ж так мы неумелы
в своих стараньях многосильных,
что есть у нас миллионеры,
но нет товара в магазинах?

Над нами, нищими у храма,
как от зачумленных отпрянув,
смеется сытая реклама
с глумящихся телеэкранов.

О, дух словесности российской,
ужель навеки отмерцал ты?
А ты погнись-ка, попросись-ка:
авось уважут коммерсанты.

Тому ж, кто с детства пишет вирши
и для кого они бесценны,
ох как не впрок все ваши биржи,
и брокеры, и бизнесмены!

Но пусть вся жизнь одни утраты –
душе житьем не налякаться,
с меня ж – теши хоть до нутра ты –
не вытешешь американца!

Да знаю, знаю, что не выйти
нам из процесса мирового,
но так и хочется завыти,
сглотнувши матерное слово.

3

Среди родного бездорожья,
как от голгофского креста,
на нас ниспала кара Божья –
национальная вражда.

В дарах вседневных не скудея,
равняя всех одним концом,
несть эллина ни иудея
пред человечества Отцом.

Мне каждой ночью лица снятся,
что красят вечности простор.
Я в чарах их не вижу наций,
но чаю братьев и сестер.

Мы пили плеск одной криницы,
вздымали хлеб одних полей, –
кто б думать мог, что украинцы
возненавидят москалей!

Но, как слепцы б нас ни разнили,
в той розни выплывет не раз,
что лучшими людьми России
из рабства вызволен Тарас.

Кого судьба с другими месит,
кто в общем нищенстве возрос,
тому и в голову не влезет
решать этнический вопрос.

Когда ко мне, как жар, нагая,
ты льнешь, ласкаясь и любя,
я разве думаю, какая
национальность у тебя?

Душа, свергая в перегрузках
шовинистический дурман,
болит за молдаван и русских,
азербайджанцев и армян.

Откуда ж пагуба такая
на землю тысячи племен?
Какому бесу потакая,
друг друга губим и клянем?

4

Всю жизнь страшась кровопролитий,
крещен тюрьмою да сумой,
я связан тысячами нитей
с простонародною судьбой.

Душе не свойственно теряться,
когда на ней судьбы чекан.
В России бунта и тиранства
я дух склонял к бунтовщикам.

Под старость не переродишься,
я сам себя не сочинил:
мне ближе Герцен и Радищев,
чем Петр Аркадьевич иным.

Еще не спала чешуя с нас,
но, всем соблазнам вопреки,
поэзия и буржуазность –
принципиальные враги.

Я ж в недрах всякого режима
над теми теплю ореол,
кто вкалывал, как одержимый,
и ни хрена не приобрел.

Как мученики перед казнью,
нагие, как сама душа,
стихи обходят с неприязнью
барышника и торгаша.

Корыстолюбец небу гадок.
Гори, сияй, моя звезда!
В России бедных и богатых
я с бедняками навсегда.

1991

СОНЕТЫ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

В воскресный день с весельем невезенье –
оно давно у нас отменено.
Наводит телек панику на семьи,
приелась вдрызг эротика в кино –

и, как всегда, все к водке сведено,
и уж нельзя взирать без омерзенья,
как мы проводим наши воскресенья.
Да сам-то я хоть чем-нибудь иной?

К чужим страну бездумчиво ревную.
Пойду вздремну, потом пойду в пивную.
Там воздух сиз от дыма и кощунств.

Грохочет рок. Ругают демократов.
Взял кружку впрок, печаль в нее упрятав,
и на пропащих девочек кошусь.

ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ

Ты мне призывных писем не пиши
в заморский рай земного изобилья:
с моей тоски там как бы не запил я,
там нет ни в чем ни духа, ни души.

Мне лучше жить в отеческой глуши,
где каждый день вдыхаю Божью пыль я,
где степь ковылья да рысца кобылья,
где ляг в траву и дальше не спеши.

Я не сужу, я знаю, почему ты
оставил землю бедности и смуты,
где небу внемлют Пушкин и Толстой,

и проку нет с предавшим пререкаться.
Стихи – не довод для американца.
Я обойдусь любовью и тоской.

ВСЕ НЕ ТАК

С тех пор как мы от царства отказались,
а до свободы разум не дорос,
взамен мечты царят корысть и зависть,
и воздух ждет кровопролитных гроз.

Уже убийству есть цена и спрос.
Не духу мы, а брюху обязались
и в нищете тоскуем, обазарясь,
что ни одной надежды не сбылось.

Какой же строй мы будущему прочим,
где ходу нет крестьянам и рабочим,
где правит вор, чему барышник рад?

Но, коль уж чтец страстей новозаветных
на стороне богатых, а не бедных,
тогда какой он к черту демократ?

СЕЛО

На кой мне ляд проваливаться в ад?
Бродить по раю, грешный, не желаю.
Зато в селе всему, что помню, рад:
дымку печей, кудахтанью и лаю,

шатрам стогов и шаткому сараю,
где дышит хмель и ласточки шалят.
Страды крестьянской праведность и лад
в крови храню и совесть с ней сверяю.

До зорьки встать, быть к полдню молодцом,
разлечься на ночь к воздуху лицом,
охапку снов поклавши в изголовье.

Нет, сельский дух и в храме не изъян:
и красота корнями из крестьян,
ей и дерьмо коровье на здоровье.

СНЕГ

А ну, любовь, давай в оконце глянем –
в душе разор, а в мире красота.
Что за зима, как будто в детстве раннем,
трескучим светом пышно разлита!

Белым-бело, а зорька золота.
И год пройдет, а в город не нагрянем,
к щеке щека прильнув к искристым граням,
не для людей отливы изо льда.

А Бог дохнет – и с неба хлынут хлопья
и белизну сияньем обновят.
Нет, Божий мир ни в чем не виноват.

Он бел и свеж до неправдоподобья.
Бездарна жизнь, но в двух вещах мудра:
есть огнь и снег, все прочее – мура.

СМУТА НА РУСИ

Толкуют сны – и как не верить сну-то?
Хоть все потьмы слезой измороси.
Услышу: «Русь», а сердце чует: «смута»,
и в мире знают: смута на Руси.

А мы-то в ней, как в речке караси.
А всей-то жизни час или минута.
И что та жизнь? Мила ль она кому-то?
На сей вопрос ответа не проси.

А вот живу, не съехавши отсюда!
Здесь наяву и Чехов жил, как чудо,
весь мир даря вниманьем и тоской.

Есть смуте срок. Она ж неуморима,
моя Россия – Анна и Марина
и Божьи светы – Пушкин и Толстой.

1974–1994

ПЕСЕНКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Что-то мне с недавних пор
на земле тоскуется.
Выйду утречком во двор,
поброжу по улицам, –
погляжу со всех дорог,
как свобода дразнится.
Я у мира скоморох,
мать моя посадница.

Жизнь наставшую не хай,
нам любая гожа, –
но почто одним меха,
а другим рогожа?
Ох, империя – тюрьма,
всех обид рассадница, –
пропадаем задарма,
мать моя посадница!

Может, где-то на луне
знает Заратустра,
почему по всей стране
на прилавках пусто,
ну, а если что и есть,
так цена кусается.
Где ж она, благая весть,
мать моя посадница?

Наше дело – сторона?
Ничего подобного!
Бей тревогу, старина,
у людей под окнами!
Где обидели кого,
это всех касается, –
встанем все за одного,
мать моя посадница!

Ни к кому не рвусь в друзья
до поры, до времени,
но, по-моему, нельзя
зло все видеть в Ленине.
Всякий брат мне, кто не кат,
да и тот покается.
Может, хватит баррикад,
мать моя посадница?

У Небесного Отца
славны все профессии:
кто-то может без конца
заседать на сессии.
Не сужу их за тщету,
если терпит задница.
Наше время – на счету,
мать моя посадница!

А роптать на жизнь не след:
вовремя – не вовремя, –
коль явились мы на свет,
так уж будем добрыми,
потому что лишь добром
белый свет спасается.
Как полюбим – не умрем,
мать моя посадница!

Не впервой, не сгоряча,
сколь чертям не тешиться,
наше дело – выручать
из беды отечество.
Нам пахать еще, пахать –
и не завтра пятница.
Все другое – чепуха,
мать моя посадница!

1989

В БЕССОННУЮ НОЧЬ ДУМАЮ О ГОРБАЧЕВЕ

Всю ночь не сплю. Все ночи, Бог ты мой,
душа вопит на плахе перекладин.
С ней плачут кошки – просятся домой,
а дома нет, дом кем-то обокраден.

И вот, бесовством общим не задет,
не столь по разуменью, сколь по зову,
поскольку он уже не президент,
шепчу сквозь боль спасибо Горбачеву.

Его бытье молвой не обросло,
без добрых слов прошла его минута.
Да был ли он? Молчат добро и зло.
Всем не до них, но надобно ж кому-то.

В ком брезжит свет, тот чернью не щадим.
Вот и сидим без света и без хлеба.
Влип Михаил Сергеевич один
в ту распрю зол, как справа, так и слева.

Он мнил, что революционный дух
в сердцах людей еще не уничтожен,
меж тем как дух в соратниках протух
и стал, как смерть, всем россиянам тошен.

Не верить грех, что вправду он хотел, –
и верой той пожизненно блажен я, –
прозрев душой, от наших страшных дел
не разрушенья, но преображенья.

Когда в свой срок пришла его пора
и в суете подрастерялась челядь,
он выдал нам хоть толику добра,
а большего ему не дали сделать.

Да и не мог: хоть не о небе речь,
на холм и то без Бога не взобраться,
тем паче мир от войн не уберечь,
не превратить империи в собратство.

Но если мы нуждой обозлены
и за труды земные не почтенны,
в том нет его особенной вины,
он до того силком сошел со сцены.

Мы с той поры и дышим вполудых,
творим врагов, потворствуем угару,
как он пропал с экранов голубых
с Раисою Максимовной на пару...

Нам не дано в отеческой звезде
вообразить лампаду африканца,
но суждено невзлюбливать вождей
и от святынь кровавых отрекаться.

Всю ночь не сплю, раскаяньем томим,
вдыхаю дым непокарманной «Варны»,
под плач кошачий думаю: кто мы?
Так недобры и так неблагодарны.

Политика – бесовская игра,
и нас, объятых ею, коль почел он
безумцами, разрушившими храм,
кому о том поспорить с Горбачевым?

Не нам судить, – лишь боль разбередим, –
кто виноватей в роздури базара,
он перед нами, мы ли перед ним, –
но есть Судья, и по заслугам кара.

1992

ПЛАЧ ПО УТРАЧЕННОЙ РОДИНЕ

Судьбе не крикнешь: «Чур-чура,
не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.

Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла,

но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь.

С мороза душу в адский жар
впихнули голышом:
я с родины не уезжал –
за что ж ее лишен?

Какой нас дьявол ввел в соблазн
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.

Исчезла вдруг с лица земли
тайком в один из дней,
а мы, как надо, не смогли
и попрощаться с ней.

Что больше нет ее, понять
живому не дано:
ведь родина – она как мать,
она и мы – одно...

В ее снегах смеялась смерть
с косою за плечом
и, отобрав руду и нефть,
поила первачом.

Ее судили стар и мал,
и барды, и князья,
но, проклиная, каждый знал,
что без нее нельзя.

И тот, кто клял, душою креп
и прозревал вину,
и рад был украинский хлеб
молдавскому вину.

Она глумилась надо мной,
но, как вела любовь,
я приезжал к себе домой
в ее конец любой.

В ней были думами близки
Баку и Ереван,
где я вверял свои виски
пахучим деревам.

Ее просторов широта
была спиртов пьяней...
Теперь я круглый сирота –
по маме и по ней.

Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
Бог собирал в один народ,
но божий враг силен.

И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.

К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.

1992

А Я ЖИВУ НА УКРАИНЕ

Извечен желтизны и сини –
земли и неба договор...
А я живу на Украине
с рождения и до сих пор.

От материнского начала
светила мне ее заря,
и нас война лишь разлучала
да северные лагеря.

В ее хлебах и кукурузке
мальчишкой, прячась ото всех,
я стих выплакивал по-русски,
не полагаясь на успех.

В свой дух вобрав ее природу,
ее простор, ее покой,
я о себе не думал сроду,
национальности какой,

но чуял в сумерках и молньях,
в переполохе воробьев
у двух народов разномовных
одну печаль, одну любовь.

У тех и тех – одни святыни,
один Христос, одна душа, –
и я живу на Украине,
двойным причастием дыша...

Иной из сытых и одетых,
дав самостийности обет,
меж тем давно спровадил деток
в чужую даль от здешних бед.

Приедет на день, сучий сыне,
и разглагольствует о ней...
А я живу на Украине,
на милой родине моей.

Я, как иные патриоты,
петляя в мыслях наобум,
не доводил ее до рвоты
речами льстивыми с трибун.

Я, как другие, не старался
любить ее издалека,
не жив ни часа без Тараса,
Сковороды, Кармелюка.

Но сердцу памятно и свято,
как на последние рубли
до Лавры Киевской когда-то
крестьяне русские брели.

И я тоски не пересилю,
сказать по правде, я боюсь
за Украину и Россию,
что разорвали свой союз.

Откуда свету быть при тучах?
Рассудок меркнет от обид,
но верю, что в летах грядущих
нас Бог навек соединит...

Над очеретом, над калиной
сияет сладостная высь,
в которой мы с Костенко Линой,
как брат с сестрою, обнялись.

Я не для дальних, не для близких
сложил заветную тетрадь,
и мне без песен украинских
не быть, не жить, не умирать.

Когда ударю сердцем обземь,
а это будет на заре,
я попрошу сыграть на кобзе
последнего из кобзарей.

И днем с огнем во мне гордыни
национальной не найдешь,
но я живу на Украине,
да и зароете в нее ж.

Дал Бог на ней укорениться,
все беды с родиной деля.
У русского и украинца
одна судьба, одна земля.

1992

ПОЭТЫ

Тарасу Шевченко
в память и в подражание

Взяв трудом у Бога льготы,
с крыл-коня не слазя,
жил поэт немецкий Гете
при дворе у князя.

Краем дальше, часом позже
Китсу не пробиться:
чуть взошел на пожне Божьей –
и не стало Китса.

Грех стерег, шурша и пахня,
но спасала вера
в жаре зарев жоха-парня –
строгого Бодлера.

Как побитые пророки
на всемирном рынке,
были сроду одиноки
Гёльдерлин и Рильке.

Не переть же к вышней цели
сбродом, чохом, кошем.
Вот и Пушкин на дуэли
кем-то укокошен.

Всем поэтам в мире этом
жизни не хватило.
У иного под запретом
даже и могила.

Но, ни с мертвыми в траншее,
ни в камнях застенка,
не было судьбы страшнее
той, что у Шевченко.

Ни в Берлине, ни в Париже
найти не старайся:
нет душе родней и ближе
кобзаря Тараса,

кто, господской сукой-розгой
досыта заласкан,
дружбу свел с сумой сиротской
хлопчиком селянским,

кто, во цвете переехан
царскою коляской,
мукам мира вторил эхом
в пустыне Аральской,

кто, украдкой над тетрадкой,
как преступник, горбясь,
сохранил в юдоли краткой
высоту и гордость.

В жизнь-реку входил сто раз он,
не пытая брода,
аж пока не стал Тарасом
для всего народа.

Книжка-доченька, мокра ты –
строки жгутся раной.
В жизни ж нет ему награды –
женщины желанной.

Лишь во сне – у хаты вишня,
киця на приступке...
Дух-Тарас, благослови ж мя
на стихи-поступки!

Даст Господь, в четверостишьях
в души свет посею,
как мы выбрали бесстыжих
да себе ж на шею.

Мы ж свой крест никак не втащим –
тяжела деньжица.
Стало людям работящим
дома худо житься...

Уделите ж вы поэту
крохотку вниманья,
потому что в мире нету
высшего призванья.

От венчанья до скончанья,
если живы будем,
он не пан и не начальник,
а товарищ людям...

Не задумавшись, а сразу,
как с войны до дому,
я иду вослед Тарасу –
никому другому!

Вбок ведут, вихляя, тропы –
в дебри воровские
не обещанной Европы,
а больной России.

Никуда с нее не съеду –
прямиком до смерти
по Тарасовому следу,
по тернистой тверди!

Мне ж еще при строе старом,
что никак не сменим,
на всю жизнь примером стал он
и благословеньем.

1993

ЛИНЕ КОСТЕНКО

1

Лина, вы горимостью святы –
знать, стихии дочь Вы,
чьи стихи – как ливень с высоты
на сухие почвы.

Ливень тот – всеслышимая часть
духотворной воли.
Вот и дивно мне, что Вы за власть –
ту, что вор на воре.

Не добро поэту защищать,
кто в чинах да в сане, –
Вы от них же, ставящих печать,
претерпели сами.

Ведь народ и пастыри – совсем
не одно и то же:
гляньте, кто в начальниках засел –
да все те же рожи!

Или все, что связано с Москвой,
Вам – как в горле костка,
и, хоть вор, хоть вывертень, да свой –
рассудили жестко?

Где ж просвет? Империи-то нет,
хлебушек-то дорог...
Лина, Лина, Вы ж таки поэт,
а не идеолог.

Разве, Лина, разных мы кровей?
　　Вам на губы перст мой!
Наша Русь природней и первей
　　царской да имперской.

Я при той в задышливой тоске,
　　не в зачет, что с риском,
зло клеймил на русском языке,
　　Вы – на украинском.

Тот и этот – как сестра и брат,
　　что роднее нету.
Оттого-то я, как дурень, рад
　　Вашему привету.

2

Кровный сын у матери Руси,
　　русско-украинской,
я ее крестительной росы
　　мускусом проникся.

Как же сыну матерь не любить –
　　что леса, что степи?
Во пиру ее да хмелем быть,
　　цветом шелестеть бы.

Щедротою житниц и криниц
　　напитавшись вдоволь,
перед милым ликом падать ниц,
　　как в Полтаве Гоголь.

Уж добро во мне обречено,
　　лишний час оттикав,
но светлы над нежностью речной
　　Киев и Чернигов.

Городами древними славна
　　Русь моя – Украйна,
а другая русская страна
　　растеклась бескрайно.

Ей земля у хаты не мила,
　　канув дымной горсткой –
к шири страсть она переняла
　　у орды монгольской.

За ту ширь свободой заплатив,
лепотой лебяжьей,
грозным царством встала супротив
самое себя же.

Соблазнилась Азиею Русь,
чтобы стать Россией, –
сколько помню, столько и молюсь:
Господи, прости ей!

Но, коль позовет на Страшный суд
кроткий счет кукушкин,
за царей ответ не понесут
ни Толстой, ни Пушкин.

На одно я в мире обопрусь –
на родное слово,
Украина, Киевская Русь –
русскости основа!..

Вот и значит, Лина, что на том,
что на этом свете,
мы один и тот же вспомним дом,
материны дети.

В доме том господствовать и клясть
чуждо горней воле.
Вот и дивно мне, что Вы за власть
ту, что вор на воре.

Все гордыни – суета сует,
да кому что мило.
Вы ж от Бога истинный поэт –
достоянье мира.

1993

* * *

Нам вечность знакома на ощупь.
Раскрытия тайны не жди.
И разве стихи для того, чтоб
во лжи уличались вожди?

Претит им гражданская слава,
в почете пиит иль гоним, –
они из другого состава
и заняты делом иным.

Душе, что от смуты раскисла,
певуче прикажут «Проснись!»
и жизни без воли и смысла,
напомнят про лад и про смысл.

Да только услышит-то кто их?
Уж верно, не зэк, не генсек.
Сидим у распивочных стоек,
не слышим, как падает снег.

Тому, кто о небо оперся,
встревоженный вестью с высот,
убийственна пошлая польза
и вряд ли в быту повезет.

Борению духа и плоти
еще не трубили отбой,
и, значит, поэзия против
того, что зовется судьбой.

О, ей бы хоть в ком-то из тысяч,
что низкой тщете предались,
сподобиться искорку высечь
огня, устремленного ввысь!

Но ежели душу задела
обугленным звоном строка,
то что ей при этом за дело
до Ельцина и Кравчука?

1991

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Покарауль наш дом,
а я пройду по свету:
быть может, там найдем,
чего в помине нету.

С подножий до высот
круг замкнут и изломан,
и снова не везет,
как вечно не везло нам.

Не тщась в потопе дней
возобновлять старинку,
мы снова всех бедней
при переходе к рынку.

В ответ на зов еще
треньбренькаю на лире,
но смутно и нищо
в сознании и в мире.

Откуда счастье нам?
Ведь мы ж не побирушки,
как бедный Мандельштам
говаривал подружке.

В чаду календаря
с прощеньем и виною,
вернее говоря,
оно у нас иное.

Как верилось душе,
когда я был мальчишкой,
но в гору лезть уже
приходится с одышкой.

Все книги, что люблю,
прочитаны в той рани,
и вечер тороплю
для пива и тарани.

О да, я был в аду
и прожитые годы
фундаментом кладу
для внутренней свободы.

Под тяжестью седин
я чувствую впервые,
что мир сей посетил
в минуты роковые.

Не надо, не туши,
не думай, что не время, –
веселием души
поделимся со всеми.

Уж срок тот недалек,
когда любовь и мудрость,
раздув свой уголек,
воздушно обоймут нас.

Да будет нам щитом
душевная отвага
отшельника, чей дом
стоит у Карадага.

1992

ОДА ОДУВАНЧИКУ

В днях, как в снах, безлюбовно тупящих,
измотавших сердца суетой,
можно ль жить, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой?

Хорошо, если пчелки напьются,
когда дождик под корень протек, –
только, как ты его ни напутствуй,
он всего лишь минутный цветок.

Знать не зная ни страсти, ни люти,
он всего лишь трава среди трав, –
ну а мы называемся люди
и хотим человеческих прав.

Коротка и случайна, как прихоть,
наша жизнь, где не место уму.
Норовишь через пропасти прыгать –
так не ври хоть себе самому.

Если к власти прорвутся фашисты,
спрячусь в угол и письма сожгу, –
незлоблив одуванчик пушистый,
а у родичей рыльца в пушку.

Как поэт, на просторе зеленом
он пред солнышком ясен и тих,
повинуется Божьим законам
и не губит себя и других.

У того, кто сломает и слижет,
светлым соком горча на губах,
говорят, что он знает и слышит
то, что чувствуют Моцарт и Бах.

Ты его легкомыслья не высмей,
что цветет меж проезжих дорог,
потому что он несколько жизней
проживает в единственный срок.

Чтоб в отечестве дыры не штопать,
Божий образ в себе не забыть,
тем цветком на земле хорошо быть,
человеком не хочется быть.

Я ложусь на бессонный диванчик,
слышу сговор звезды со звездой
и живу, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой.

1992

РОССИЯ, БУДЬ!

Во всю сегодняшнюю жуть,
в пустыни городские
и днем шепчу: Россия, будь –
и ночью: будь, Россия.

Еще печаль во мне свежа
и с болью не расстаться,
что выбыл я, не уезжав,
из твоего гражданства.

Когда все сущее нищо
и дни пустым-пустые,
не знаю, есть ли ты еще,
отечество, Россия.

Почто ж валяешь дурака,
не веришь в прорицанья,
чтоб твоего издалека
не взвиделось лица мне?

И днем с огнем их не достать,
повывелись давно в нас
твоя «особенная стать»,
хваленая духовность.

Изгложут голову и грудь
хворобы возрастные,
но я и днем: Россия, будь –
и ночью: будь, Россия...

Во трубы ратные трубя, –
авось, кто облизнется, –
нам все налгали про тебя
твои славоразносцы.

Ты ж тыщу лет была рабой,
с тобой сыны и дочки,
генералиссимус рябой
довел тебя до точки.

И слав былых не уберечь,
от мира обособясь,
но остаются дух и речь,
история и совесть.

В Днепре крестившаяся Русь,
чей дух ушел в руины,
я вечности твоей молюсь
с отпавшей Украины.

Ни твое рабство, ни твой бунт
не ставя на весы, я
и днем тебе: Россия, будь!
и ночью: будь, Россия!

В краю дремливом хвой и вод,
где меркнет дождик мелкий,
преображенья твоего
ждет Радонежский Сергий.

И Пушкин молит со свечой,
головушка курчава:
«Россия, есть ли ты еще,
отечество, держава?»

Вся азбука твоя, звеня,
мне душу жжет и студит,
но с ней не станет и меня,
коли тебя не будет.

Пусть не прочтут моих стихов
ни мужики, ни бабы,
сомкну глаза и был таков –
лишь только ты была бы...

В ларьках барышники просты,
я в рожу знаю всех сам,
смешавших лики и кресты
с насилием и сексом.

Животной жизни нагота
да смертный запах снеди,
как будто неба никогда
и не было на свете.

Чтоб не завел заемный путь
в тенета воровские,
и днем твержу: Россия, будь! –
и ночью: будь, Россия!

Не надо храмов на крови,
соблазном рук не пачкай
и чад бездумных не трави
американской жвачкой.

В трудах отмывшись добела
и разобравшись в проке,
Россия, будь, как ты была
при Пушкине и Блоке.

Твое обличье – снег и лед,
внутри таится пламя ж,
и Сергий Радонежский ждет,
что ты с креста воспрянешь.

Земля небес, не обессудь,
что, грусти не осиля,
весь мир к тебе – Россия, будь! –
взывает: будь, Россия!

1992

* * *

В лесу соловьином, где сон травяной,
где доброе утро нам кто-то пропинькал,
счастливые нашей небесной виной,
мы бродим сегодня вчерашней тропинкой.

Доверившись чуду и слов лишены
и вслушавшись сердцем в древесные думы,
две темные нити в шитье тишины,
светлеем и тихнем, свиваясь в одну, мы.

Без крова, без комнат венчальный наш дом,
и нет нас печальней, и нет нас блаженней.
Мы были когда-то и будем потом,
пока не искупим земных прегрешений...

Присутствием близких в любви стеснена,
но пальцев ласкающих не разжимая,
ты помнишь, какая была тишина,
молитвосклоненная и кружевная?

Нас высь одарила сорочьим пером,
а мир был и зелен, и синь, и оранжев.
Давай же, – я думал, – скорее умрем,
чтоб встретиться снова как можно пораньше.

Умрем поскорей, чтоб родиться опять
и с первой зарей ухватиться за руки
и в кружеве утра друг друга обнять
в той жизни, где нет ни вины, ни разлуки.

1989

* * *

Вите Шварцу

Не идет во мне свет, не идет во мне море на убыль,
протираю глаза с камышовою дудкой во рту,
и клеймо упыря не забывший еще Мариуполь
все зовет меня вдаль за свою городскую черту.

И пойду я на зов, и доверюсь Чумацкому шляху,
и постигну поселки, где с екатерининских пор
славил Господа грек, и молился татарин Аллаху,
и где тварь и Творец друг на друженьку смотрят в упор.

Жаркий ветер высот разметал бесполезные тучи.
Известковая скудь, мое сердце принять соизволь.
Эти блеклые степи предсмертно сухи и пахучи,
к их земле и воде примешалась азовская соль.

Я от белого солнца закутался Лилиной шалью.
На железных кустах не приснится ни капли росы.
В пересохших лиманах прощаю с виной и печалью
улетающих ласточек с Белосарайской косы.

Здесь кончается мир. Здесь такой кавардак наворочен.
Здесь прикроешь глаза – и услышишь с виной и тоской
тихий реквием зорь по сосновым реликтовым рощам.
Здесь умолкли цветы и судьбой задохнулся изгой.

Чтоб не помнили зла и добром отвечали на зло мы,
к нам нисходят с небес растворившийся в море закат,
тополиных церквей византийские зримые звоны
и в цикуте Сократа трескучая россыпь цикад.

Эти поздние сны не прими, ради Бога, за явь ты.
Страшный суд подошел, а про то, что и смерть не беда,
я стихи написал на песках мариупольской Ялты, –
море смыло слова, и уплыли они в никуда.

1988

* * *

Когда я был счастливый
там, где с тобой я жил,
росли большие ивы,
и топали ежи.

Всходили в мире зори
из сердца моего,
и были мы и море –
и больше никого.

С тех пор, где берег плоский
и синий тамариск,
в душе осели блестки
солоноватых брызг.

Дано ль душе из тела
уйти на полчаса
в ту сторону, где Бело-
сарайская коса?

От греческого солнца
в полуденном бреду
над прозою японца
там дух переведу.

Там ласточки – все гейши –
обжили – добрый знак –
при Александр Сергейче
построенный маяк.

Там я смотрю на чаек,
потом иду домой,
и никакой начальник
не властен надо мной.

И жизнь моя – как праздник
у доброго огня...
Теперь в журналах разных
печатают меня.

Все мнят во мне поэта
и видят в этом суть,
а я для роли этой
не подхожу ничуть.

Лета в меня по капле
выдавливают яд.
А там в лиманах цапли
на цыпочках стоят.

О, ветер Приазовья!
О, стихотворный зов!
Откликнулся б на зов я,
да нету парусов...

За то, что в порах кожи
песчинки золоты,
избави меня, Боже,
от лжи и суеты.

Меняю призрак славы
всех премий и корон
на том Акутагавы
и море с трех сторон!

1988

НА ПАМЯТЬ О ФРАЙБУРГЕ

У Шварцвальдского подножия
нам с тобою в некий час
просияла милость Божия,
снизошедшая до нас.

Словно выкупавшись в радуге,
обрели тепло и свет
в городке старинном Фрайбурге
у родной Элизабет,

что, как будто больше некого,
даже плача из-за них,
любит Пушкина и Чехова
из писателей земных.

В нас, кого война не мешкая
приучила с ранних лет
ненавидеть все немецкое,
той вражды пропал и след.

У Шварцвальдского подножия,
отыскав душе родню,
вдруг расправился под ношей я
и обрадовался дню.

Нас ютила многокомнатность,
где тревог российских нет,
где еще, быть может, помнит нас
милая Элизабет.

Ты была со мною рядышком,
когда я стихи читал
в университете Фрайбургском,
как залетный камчадал.

Нам заплакать было не во что
возле дома у дверей,
где жила Марина-девочка
до судьбы еще своей.

У Шварцвальдского подножия
за тебя и за себя
повторял одно и то же я,
всю Германию любя.

Пока вы друг с другом спорите,
обалдев от суеты,
здесь, в прилежном этом городе,
люди делом заняты.

Нас вели студентки за руки
с ними выпить заодно
на рождественском базарике
подожженное вино.

В тех краях, где Мартин Хайдеггер
был при райхе в ректорах,
нас любили – и нехай теперь
дома ждут тоска и страх, –

душу вытряхнул под ношей я,
и в нее пролился свет
у Шварцвальдского подножия,
где живет Элизабет.

1991

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ В ЛЕНИНГРАДЕ

Буддийский храм на берегах Невы
приснился ль вам, знавали ль в жизни вы?

Ни то, ни се – гадание годов.
Следы Басё меж пушкинских следов
найти нельзя на плане городском.
Поди, не всякий здешний с ним знаком.

Бог весть когда, Бог ведает при ком
примерз ко льдам улыбчивый дракон,
прожег звездой стогибельную тьму,
чтоб Лев Толстой откликнулся ему.

Я смел понять, что жизни светел круг.
Когда опять приедем в Петербург,
ужель найдем, коль миги не велят,
молельный дом калмыков и бурят?

Откуда здесь, где холодно зимой,
как чудо, весть премудрости иной?
Нет, я не мнил, душевно неуклюж,
уверить мир в переселенье душ.

Я Чудью был и лошадиным ртом,
встав на дыбы, кричащим под Петром.
На склоне лет и на исходе сил
Нирваны свет мой дух преобразил.

Поэтов лень – достоинство и щит.
Грядущий день не нам принадлежит.
Его любить – даждь Бог мне на веку
подобным быть котенку и цветку.

Так мы с тобой из царства сатаны
немой судьбой сюда приведены,
и близок нам, покамест не мертвы,
буддийский храм на берегах Невы.

1987

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЬ

Так и не понял я, что за земля ты –
добрая, злая ль.
Умные пялят в Америку взгляды,
дурни – в Израиль.

В рыжую Тору влюбиться попробуй
жалким дыханьем.
Здесь никогда и не пахло Европой –
солнце да камень.

Мертвого моря вода ядовита,
солоно лоно –
вот ведь какое ты, царство Давида
и Соломона.

Что нам, приезжим, на родину взяти
с древнего древа?
Книги, и те здесь читаются сзади,
справа налево.

Не дружелюбны и не говорливы
камни пустыни.
Зреют меж них виноград и оливы,
финики, дыни.

Это сюда, где доныне отметки
Божии зрятся,
нынешних жителей гордые предки
вышли из рабства.

Светлое чудо в лачуги под крыши
вызвали ртами,
Бога единого миру открывши,
израильтяне.

Сразу за то на них беды волнами,
в мире рассеяв,
тысячу раз убиваемый нами
род Моисеев.

Не разлюблю той земли ни молвы я,
ни солнцепека:
здесь, на земле этой, люди впервые
слышали Бога.

Я их печаль под сады разутюжу,
вместе со всеми
муки еврейские приняв на душу
здесь, в Яд-Вашеме.

Кровью замученных сердце нальется,
алое выну –
мы уничтожили лучший народ свой
наполовину.

Солнцу ли тучей затмиться, добрея,
ветру ли дунуть, –
кем бы мы были, когда б не евреи, –
страшно подумать.

Чтобы понять эту скудную землю
с травами злыми,
с верой словам Иисусовым внемлю
в Иерусалиме.

В дружбах вечерних душой веселея,
в спорах неробок,
мало протопал по этой земле я
вдумчивых тропок.

И, с Тель-Авивского аэродрома
в небо взлетая,
только одно и почувствую дома –
то, что Святая.

1992

КОГДА МЫ БЫЛИ В ЯД-ВАШЕМЕ

А. Вернику

Мы были там – и слава Богу,
что нам открылась понемногу
вселенной горькая душа –
то ниспадая, то взлетая,
земля трагически-святая
у Средиземного ковша.

И мы ковшом тем причастились,
и я, как некий нечестивец,
в те волны горб свой погружал,
и тут же, невысокопарны,

грузнели финиками пальмы
и рос на клумбах цветожар...

Но люди мы неделовые,
не задержались в Тель-Авиве,
пошли мотаться налегке,
и сразу в мареве и блеске
заговорила по-библейски
земля на ихнем языке.

Она была седой и рыжей,
и небо к нам склонялось ближе,
чем где-нибудь в краях иных,
и уводило нас подальше
от мерзословия и фальши,
от патриотов и ханыг.

Все каменистей, все безводней
в ладони щурилась Господней
земля пустынь, земля святынь.
От наших глаз неотделима
холмистость Иерусалима
и огнедышащая синь.

А в сини той, белы как чайки,
домов расставленные чарки
с любовью потчуют друзей.
И встал, воздевши к небу руки,
музей скорбей еврейских – муки
нечеловеческой музей.

Прошли врата – и вот внутри мы,
и смотрим в страшные витрины
с предсмертным ужасом в очах,
как, с пеньем Тор мешая бред свой,
шло европейское еврейство
на гибель в ямах и печах.

Войдя в музей тот, в Яд-Вашем, я,
прервавши с миром отношенья,
не обвиняю темный век –
с немой молитвой жду отплаты,
ответственный и виноватый,
как перед Богом человек.

Вот что я думал в Яд-Вашеме:
я – русский помыслами всеми,

крещеньем, речью и душой,
но русской Музе не в убыток,
что я скорблю о всех убитых,
всему живому не чужой.

Есть у людей тела и души,
и есть у душ глаза и уши,
чтоб слышать весть из Божьих уст.
Когда мы были в Яд-Вашеме,
мы видели глазами теми,
что там с народом Иисус.

Мы точным знанием владеем,
что Он родился иудеем,
и это надо понимать.
От жар дневных ища прохлады,
над ним еврейские обряды
творила любящая Мать.

Мы это видели воочью
и не забудем днем и ночью
на тропах зримого Христа,
как шел Он с верными своими
Отца единого во имя
вплоть до Голгофского креста.

Я сердцем всем прирос к земле той,
сердцами мертвых разогретой,
а если спросите: «Зачем?» –
отвечу, с ближними не споря:
на свете нет чужого горя,
душа любая – Яд-Вашем.

Мы были там, и слава Богу,
что мы прошли по солнцепеку
земли, чье слово не мертво,
где сестры – братья Иисуса
Его любовию спасутся,
хоть и не веруют в Него.

Я, русский кровью и корнями,
живущий без гроша в кармане,
страной еврейской покорен –
родными смутами снедаем,
я и ее коснулся таин
и верен ей до похорон.

1992

* * *

А. Вернику

Не горюй, не радуйся –
дни пересолили:
тридцать с лишним градусов
в Иерусалиме.

Видимо, пристало мне
при таком варьянте
дуть с друзьями старыми
бренди на веранде.

Лица близких вижу я,
голосам их внемлю,
постигая рыжую
каменную землю –

ублажаю душеньку.
Дай же Бог всем людям
так любить друг друженьку,
как мы ныне любим.

Чую болью сердца я:
розня и равняя,
Муза Царскосельская –
всем нам мать родная.

Все мы были ранее
русские, а ныне
ты живешь в Израиле,
я – на Украине.

Смысл сего, как марево,
никому не ведом –
ничего нормального
я не вижу в этом.

Натянула вожжи – и
гнет, не отпуская,
воля нас – не Божия,
да и не людская.

1992

* * *

Ефиму Бершину

Что-то стал рифмачам Божий лад нехорош,
что не чую в них больше его я,
и достались в удел им гордыня и ложь
и своя, а не Божия воля.

Наших дней никакой не предвидел фантаст.
Как ни долог мучительный выдох,
мир от атомных бомб не погиб, так, Бог даст,
не погибнет от слов самовитых.

Можно верстами на уши вешать лапшу,
строить храмы на выпитом кофе,
но стихи-то – я знаю, я сам их пишу –
возникают, как вздох на Голгофе.

Конструировать бреды компьютерных муз,
поступившись свободой и светом,
соблазняйся кто хочет, а я отмахнусь,
ибо дар мой еще не изведан.

Не умеющий делать из мухи слона,
как же суть свою в жизни сыщу-то,
где не царственен стыд, и печаль не славна,
и не прибыльны тайна и чудо?

Сочинитель, конечно, не вор и не тать –
грех иной, да и слава не та, мол, –
но возможно ль до старости бисер метать
и с ума не сойти от метафор?

1992

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Хоть люб нам Дон Кихот, но кто он –
сам автор путался порой:
дразнящий разум псих и клоун
или всамделишный герой.

«Смеясь над милым, слезы лью, мол», –
признал всевидящий Отец,
и так родился в мире юмор
для восприимчивых сердец.

Печаль веселью не обуза,
смешит добро нас – мир таков:
легко представить Иисуса
меж диккенсовских чудаков.

И тот же Гоголь, тот же Чехов
небесно светятся в мозгу,
со смеха утреннего съехав
на предвечернюю тоску...

В любимом не ища изъянов,
но полюбивши всей душой,
считаю, что Эльдар Рязанов
в компаньи этой не чужой,

что, как над тем спины не горби,
никто не взвесит на весах
наличье нежности и скорби
в его обильных телесах,

что он, бесспорно, как намедни
в том убедиться удалось,
в своей комедии последней
до вышеназванных дорос...

Он из внимательных и щедрых,
чьи сны по воздуху плывут,
чей дар – благополучным недруг
и неудачникам приют.

Он сострадает бедным людям,
кто благороден и гоним,
и, если путь его и труден,
я все равно пойду за ним.

Над лбом его витают нимбы
и проступает благодать,
а мне сегодня надо с ним бы
о несказанном поболтать,

затем что – прямо как в романах –
я, хоть к такому не привык,
после «Небес обетованных»
его поклонник и должник.

1991

Надежда Ивановна Скитская с внуками Лидой, Борей и Женей. Первая половина 1930-х годов





Николай Евгеньевич Чичибабин, дед поэта. 1916–1918 гг.



Наталья Николаевна Чичибабина и Алексей Ефимович Полушин с детьми Лидой и Борей. 1926 г.



Лида и Боря Полушины – крайние слева. Чугуев. Середина 1930-х годов

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ОСВІТИ УРСР

Харьковский Госуниверситет им. Горького
(назва навчального закладу)

СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК № 40659

Прізвище Полушин

Ім'я Борис

По батькові

Факультет Исторический

Директор

Квиток дійсний до 7/II-1941 р.

Дата видачі квитка 20/III-1940 р.

(підпис студента)

Студенческий билет Б. Полушина. 1940 г.



Семья поэта. Слева направо: Борис, мама Наталья Николаевна, сестра Лидия, отчим Алексей Ефимович. 1946 г.



Б. Чичибабин после освобождения из Вятлага. Начало 1950-х годов



СССР

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Исправ. труд. лагерь

«17» июня 1951 г.

Форма «А»

ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО НЕ СЛУЖИТ
ПРИ УТЕРЕ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ.

4-БХ

СПРАВКА № 0006474

Выдана гражданину (ке) Полушину Борису Алексеевичу

1923 года рождения, уроженцу (ке) гор. Кременчуг

гражданство (подданство) СССР национальность русский

осужденному (ой) по делу МГБ СССР

«22» февраля 1947 г. за антисоветскую агитацию

к лишению свободы на пять лет с поражением в правах на нет года, имеющему (ей) в прошлом судимость не судим

в том, что он (она) отбывал (ла) наказание в местах заключения МВД по «17» июня 1951 г. и по отбытию срока наказания

С применением

Освобожден (на) «17» июня 1951 г. и следует к избранному месту жительства Харьковская обл. г. Чугуев

(город, село, дер., район, область)

до ст. Чугуев Южной жел. дороги.

Место для фотокарточки или дактилоскопического оттиска указательного пальца правой руки

Начальник лагеря (ИТК)

( )

Нач. ОУРЗ (УРЧ)

Печать

Справка об освобождении Б. Чичибабина из Вятлага. 1951 г.



Слева направо: Л. Тёмин, М. Якубовская и Б. Чичибабин около магазина «Поэзия». Харьков. Середина 1960-х годов



Друг Б. Чичибабина – актер Л.С. Пугачев. Середина 1960-х годов



Выступление Б. Чичибабина в Центральном лектории. Харьков. Осень 1963 г.



На дне рождения Г. Алтуняна. Справа налево: Б. Чичибабин, Г. Алтунян, В. Недобора, Л. Карась-Чичибабина, С. Подольский, А. Калиновский. Харьков. Середина 1970-х годов



Б. Чичибабин и А.П. Лесникова. 9 января 1973 г.



Б. Чичибабин и Л. Карась-Чичибабина на дне рождения Г. Алтуняна. Харьков. Середина 1970-х годов



День рождения Б. Чичибабина. С поэтом М. Богославским.
9 января 1980 г.



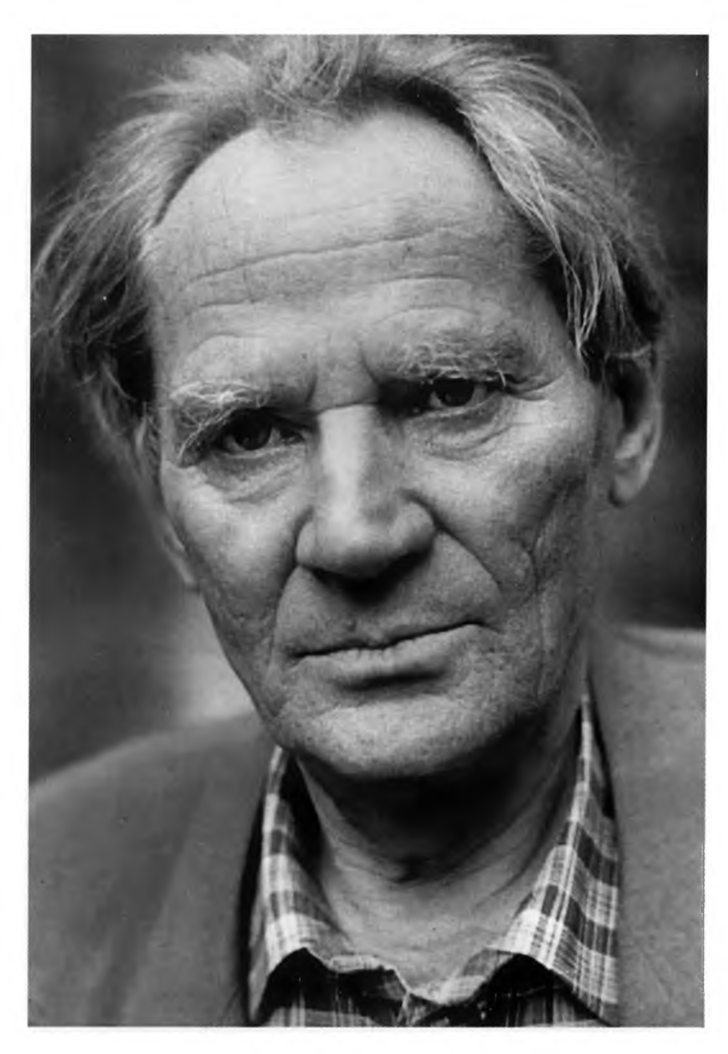
Возле Харьковского театра кукол. Слева направо: Ф.Д. Кривин, Б.Я. Ладензон,
Б.А. Чичибабин. Начало 1970-х годов



Слева направо: в первом ряду – М.Д. Рахлина, Т.С. Андреева; во втором ряду – Е.Ю. Захаров (муж М.Д. Рахлиной), Б. Чичибабин, Л.С. Карась-Чичибабина. Алупка. 1980-е годы



Б. Чичибабин на митинге в поддержку кандидата в депутаты Верховного Совета СССР от г. Харькова Е. Евтушенко. 1989 г.



Б.А. Чичибабин. 1987 г.



«Декабрьские вечера» в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, посвященные 100-летнему юбилею Б. Пастернака. Справа налево: Б. Ахмадулина, Б. Чичибабин, Л.К. Чуковская, Е.Б. Пастернак. 4 декабря 1989 г.



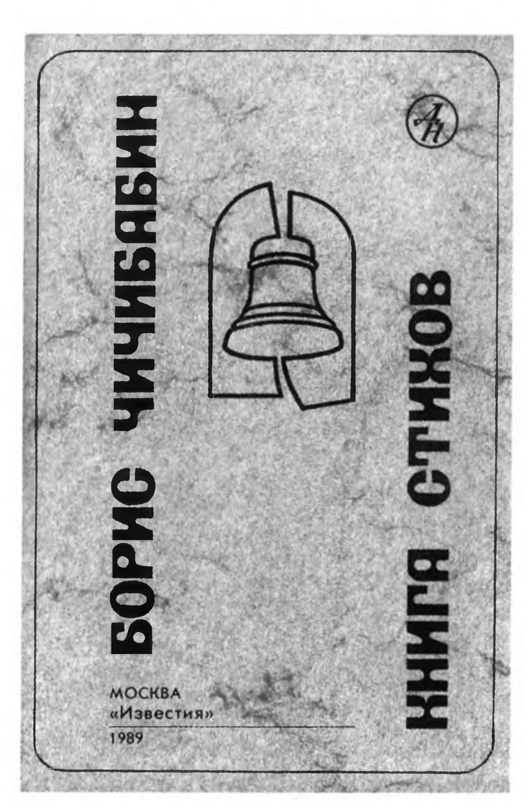
Первые выступления в Киеве. За столом – И. Дзюба, стоят Б. Чичибабин и В. Герасимюк. Дом актера. Февраль 1988 г.

*Б.А. Чичибабин и З.Я. Гердт
в ЦДЛ на праздновании
100-летнего юбилея Б. Пастернака.
Москва. 1990 г.*





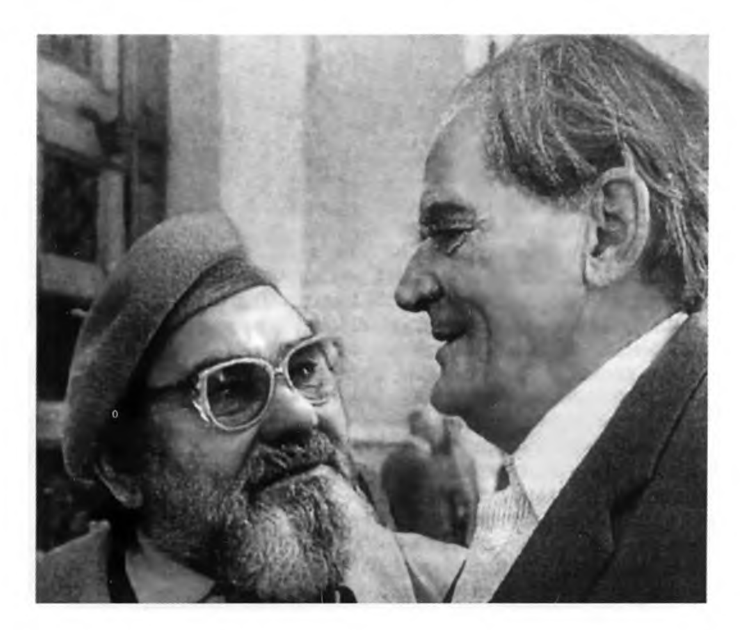
*Б.А. Чичибабин и С.С. Аверинцев в ЦДЛ на праздновании
100-летнего юбилея О. Мандельштама. Москва. 1991 г.*



Обложка сборника стихов Б. Чичибабина «Колокол» (1989), за который он был удостоен Государственной премии СССР за 1990 год

Вручение Б. Чичибабину Государственной премии СССР. Январь 1991 г.





М.Н. Руденко и Б.А. Чичибабин на X съезде Союза советских писателей Украины. Апрель 1991 г.



ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

"АПРЕЛЬ"

ДИПЛОМ

1993

Общее собрание московских писателей членов "Апреля" присудило:

БОРИСУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ЧИЧИБАБИНУ

Премию имени академика А.Д.Сахарова " За гражданское мужество писателя"

Диплом о присуждении Б. Чичибабину премии им. академика А.Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя». 1993 г.



*Вечер «Литературной газеты» «Автограф». Последнее выступление Б. Чичибабина.
Слева направо: И. Ришина, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Чичибабин.
12 ноября 1994 г.*



*Вечер, посвященный памяти Б. Чичибабина, в Доме-музее М. Цветаевой в Москве.
Выступает Б. Окуджава, справа от него – В. Берестов, слева – Е. Рейн. 29 марта 1995 г.*

*

* *

Вновь барыш и вражда верховодят тревогами дня.
На безликости зорь каменеют черты воровские...
Отзовись, мой читатель в Украине или в России!
Отзовись мне, Россия, коль есть ещё ты у меня!

Отзовись, кто-нибудь, если ты ещё где-нибудь есть, –
и проложим свой путь из потёмок бесстыжих на воздух...
Неужели же мрак так тягуче могуч и громоздок?
А и при смерти жду, что хоть кем-то услышится весть.

Что любимо – то вечно и светом стучится в окно,
счастьем щурится с неба – вот только никак не изловим.
И смеётся душа не тому, что мир тёмен и злобен,
а тому, что апрель и любимое с вечным – одно.

Пушкин шепчет стихи, скоро я свой костёр разожгу,
и дыхание трав, птичьи тайны, вода из колодца
подтвердят, что не всё покупается и продаётся
и не тщетно щедры Бог и Вечность на каждом шагу.

Борис Чичибабин

Автограф стихотворения «Вновь барыш и вражда верховодят тревогами дня...». 1993 г.



Горельеф и мемориальная доска на углу улицы в Харькове, названной именем Б. Чичибабина. Скульптор А. Владимиров. Установлена в 1996 г.

* * *

Виктории Добрыниной

Не празднично увиты,
а буднично тихи,
в меня вселились Виты
Добрыниной стихи,

что из полуподвалов
взошли на судный свет,
и в них не слышно жалоб
и обвинений нет.

Лишь молвят с горьким жестом,
катая в горле ком,
о неустройстве женском
в пейзаже городском.

Взялась – так не взыщи ты:
в быту, как на войне,
поэту нет защиты,
а женщине – вдвойне.

В истории, похоже,
не стоит ничего
с ободранною кожей
живое существо...

Она ж глядит, не хмурясь,
а пригоршни щедры –
и сердце всколыхнулось
от горечи сестры.

Я радоваться смею,
что, Божий нелюдим,
хожу, выходит, с нею
по улицам одним.

Не в поле, не от ветра,
а в лад календарю
из глаз моих ответной
слезой благодарю.

1993

ЦВЕТЕНИЕ КАРТОШКИ

Мы выбрались полоть
сорняк на огороде.
В нас радуется плоть
сочувственной природе.

В сей миг с тобой, со мной
по всей, поди, России
спасаются землей
семейства городские.

Она еще сыра,
по ней идешь, как в ластах,
от дождика, с утра
смочившего участок.

Рубахи поснимав,
в старании упорном
выводим письмена
зеленые на черном.

Расправившись с травой,
сминаемой в охапку,
пройдешь рядок-другой
и очищаешь тяпку.

Пекут лучи златы,
прощенным рай распахнут,
и влажные цветы –
принюхаешься – пахнут.

Так нам клянется тут
день, поднебесно огнен,
что не напрасен труд
и с голоду не сдохнем...

А низится зенит,
замельтешили мошки,
нам думы веселит
цветение картошки.

Я с ней сейчас живу
в усилиях единых,
цветущую ботву
спасая от личинок.

Никак не угляжу, –
видать, не та сноровка, –
где колорадский жук,
где божия коровка...

Меж тем, как я готов
сослаться на усталость,
непройденных рядов
почти что не осталось.

Садимся в закуток,
как бабочка в свой саван,
заправиться чуток
шматками хлеба с салом.

Доверившись Отцу,
внимательному к людям,
макаем лук в сольцу
и мир вечерний любим.

Всезначащ каждый жест,
как будто жизнь решаем,
и если жук не съест,
то будем с урожаем.

1992

* * *

В лесу, где веет Бог, идти с тобой неспешно...
Вот утро ткет паук – смотри, не оборви...
А слышишь, как звучит медлительно и нежно
в мелодии листвы мелодия любви?

По утренней траве как путь наш тих и долог!
Идти бы так всю жизнь – куда, не знаю сам.
Давно пора начать поклажу книжных полок –
и в этом ты права – раздаривать друзьям.

Нет в книгах ничего о вечности, о сини,
как жук попал на лист и весь в луче горит,
как совести в ответ вибрируют осины,
что белка в нашу честь с орешником творит.

А где была любовь, когда деревья пахли
и сразу за шоссе кончались времена?
Она была везде, кругом и вся до капли
в богослуженье рос и трав растворена.

Какое счастье знать, что мне дано во имя
твое в лесу твоем лишь верить и молчать!
Чем истинней любовь, тем непреодолимей
на любящих устах безмолвия печать.

1990

* * *

Смеженный свет солоноватых век...
Земля в снегу, мы в середине круга.
Пусть он лежит – скажи ему, подруга, –
я не хочу, чтоб таял белый снег.

На темный мир, исполненный бесстыдства,
пролился свет в покое полусна.
О, как он юн! О, как ему блестится!
От всех болезней лечит белизна.

В такие дни нельзя, чтоб злом на зло мы.
Во весь простор по взмаху милых рук
плывут из вьюг рождественские звоны,
святят печаль и размыкают круг.

Присесть к столу, погреться бы не худо,
земную стужу стаивая с век,
но не хочу, чтоб так кончалось чудо,
нельзя никак, чтоб таял белый снег.

Затем нельзя, что в замяти рассвета,
когда крещусь в купели снеговой,
душа моя пред вечностью раздета
и с нами снег – и больше никого.

1990

* * *

Мне горько, мне грустно, мне стыдно с людьми,
когда они любят меня,
а нет в моем сердце ответной любви,
и я им ни друг, ни родня.

О, это – как будто на званом пиру
пред всеми явиться нагу,
и кажется мне, что у всех я беру,
а дать ничего не могу.

Ну вот я и роюсь в моей кладовой,
спешу, суечусь, бестолков:
ведь мне и отсрочка-то лишь для того,
чтоб не оставалось долгов.

Какой уж там образ, какой уж там звон!
Мечусь между роз и ромах:
скорей бы разделаться с ложью и злом,
нашарить добро в закромах.

Простите меня, что несладок, неспел
мой плод и напрасен азарт,
простите меня, кому я не успел
просимого слова сказать.

Я только еще потому и живой
и Божьему свету под стать,
что всем полюбившим обязан с лихвой
любовью и жизнью воздать.

1990

* * *

Кириллу Ковальджи

Оснежись, голова! Черт-те что в мировом чертеже!
Если жизнь такова, что дышать уже нечем душе
    и втемяшилась тьма болевая,
помоги мне, судьба, та, что сам для себя отковал,
чтоб у жаркого лба не звенел византийский комар,
    костяным холодком повевая.

Что написано – стер, что стряслось – невозможно назвать.
В суматоху и сор, на кривой и немытый асфальт
    я попал, как чудак из романа,
и живу, как дано, никого за печаль не виня.
Нищим стал я давно, нынче снова беда у меня –
    Лиля руку в запястье сломала.

Жаль незрячих щенят, одурели в сиротстве совсем:
знай, свой закут чернят, издеваясь, как черти, над всем, –
    мы ж, как люди, что любим, то белим.
За стихов канитель современник не даст ни гроша.

Есть в Крыму Коктебель, там была наша жизнь хороша –
сном развеялся Крым с Коктебелем.

В городах этажи взгромоздил над людьми идиот.
Где ж то детство души, что, казалось, вовек не пройдет?
Где ж то слово, что было в начале?
Чтоб не биться в сети, что наплел за искусом искус,
суждено ль нам взойти в обиталище утренних муз,
добывающих свет из печали?

Есть в Крыму Коктебель, в Коктебеле – Волошинский дом,
и опять, как теперь, мы к нему на веранду придем,
до конца свой клубок размотавши, –
там, органно звуча, в нас духовная радость цвела,
там сиял, как свеча, виноград посредине стола
и звенела походка Наташи.

1992

* * *

Взрослым так и не став, покажусь-ка я белой вороной.
Если строить свой храм, так уж, ведомо, не на крови.
С той поры как живу на земле неодухотворенной,
я на ней прохожу одиночную школу любви.

Там я радость познал, но бывала и смертная боль же,
и отвечу ль в свой час на таинственный вызов Отца?
В этой школе, поди, классов сто, а возможно, и больше,
но последнего нет, как у вечности нету конца...

С Украины в Россию уже не пробраться без пошлин –
еле душу унес из враждой озабоченных лап.
Кабы каждый из нас был подобьем и образом Божьим,
то и вся наша жизнь этой радостной школой была б.

Если было бы так! Но какие ж мы Божьи подобья?
То ли Он подменен, то ль и думать о нем не хотим.
Взрослым так и не став, я смотрю на людей исподлобья:
видно, в школу любви ни единый из них не ходил.

Обучение в ней не прошло без утрат и падений,
без отчаянных вин, без стыда и без совести кар:
знает только Отец, сколько я отвечал не по теме,
сколько раз, малодушный, с уроков на волю тикал.

Но лишь ею одной, что когда-то божественной мнили,
для чьего торжества нет нигде ни границ, ни гробниц,
нет, спасется не мир, но спасется единственный в мире,
а ведь род-то людской и слагается из единиц.

Ну и что за беда, если голос мой в мире не звонок?
Взрослым так и не стал. Чем кажусь тебе, тем и зови.
Вижу Божию высь. Там живут Иисус и ягненок.
Дай мне помощь и свет, всемогущая школа любви.

1992

1 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА

Покамест я бессмертен и всесилен,
    еще с утра
со всех концов зову на праздник Лилин
    друзей добра.

Зову тихонь таимостей и странствий
    и думных дрем,
а ты одна повелевай и властвуй
    за сим столом.

А в полночь вдруг подумаю «да ну вас!»
    и вспомнишь ты,
как в детстве хмуром льнула и тянулась
    к теплу мечты,

как был сиротским присмерком искрошен
    твой ранний цвет
и ветром сдут, безгрешен и безгрошен,
    в колодец лет.

Боясь с мурой всеобщего устава
    попасть впросак,
в больном пути скрывала, что устала
    нести рюкзак.

Привыкла жить тайком, мечту свою ты
    в быту храня,
и были б дружбы, дети и уюты,
    не будь меня.

Не встреть меня, жила б себе в покое,
    в дарах дорог, –
за что ж тебе казнилище такое
    устроил рок?

В мой мерзлый мрак, с работы ли, с базара,
свой свет внесла
и жизнь мою безвестную спасала,
не помня зла.

Когда б не ты, я был бы нети отдан,
в когтях беды
давно став трупом или идиотом,
когда б не ты.

Жужжливым летом в памяти пахучей
медвяных крыл
ты мне дарила с воздухом созвучий
Литву и Крым.

Не нам с тобой мирить людей и нелюдь
ненастных дней, –
ты ж всем кругом добро б хотела сделать,
кто нас бедней.

Светлы тобой прельстительная чара
и тайный зов,
в тебе одной причина и начало
моих стихов.

Прожитых лет обузы и темноты,
тоску и гнет
прости мне в день рожденья твоего ты
под Новый год.

Присев к столу от кухонного газа,
от лжи обид,
ты улыбнешься мне, иконноглаза,
и Бог простит.

Еще не раз твои труды и брашна
меня спасут.
Когда любовь, то с ней идти не страшно
на Страшный суд.

Но даже там на спрос Судьи святого,
чтоб дух спасти,
я не смогу неведомого слова
произнести.

1993

* * *

Мы с тобой проснулись дома.
Где-то лес качает кроной.
Без движенья, без желанья
мы лежим, обнажены.
То ли ласковая дрема,
то ли зов молитвоклонный,
то ли нежное касанье
невесомой тишины.

Уплывают сновиденья,
брезжут светы, брызжут звуки,
добрый мир гудит как улей,
наполняясь бытием,
и, как до грехопаденья,
нет ни смерти, ни разлуки –
мы проснулись, как уснули,
на диванчике вдвоем.

Льются капельки на землю,
пьют воробышки из лужи,
вяжет свежесть в бездне синей
золотые кружева.
Я, не вслушиваясь, внемлю:
на рассвете наши души
вырастают безусильно,
как деревья и трава.

То ли небо, то ли море
нас качают, обнимая,
обвенчав благословеньем
высоты и глубины.
Мы звучим в безмолвном хоре,
как мелодия немая
заворожены мгновеньем,
друг во друга влюблены.

В нескончаемое утро
мы плывем на лодке утлой,
и хранит нас голубое,
оттого что ты со мной,
и, ложась зарей на лица,
возникает и творится
созидаемый любовью
мир небесный и земной.

1989

* * *

Исповедным стихом не украшен,
никому я не враг, не злодей.
За Кавказским отторженным кряжем
каждый день убивают людей.

Вся-то жизнь наша в смуте и страхе
и, военным железом звеня,
не в Абхазии, так в Карабахе
каждый день убивают меня.

Убивают людей, не считая,
и в приевшейся гонке годов
не держу перед злобой щита я
и давно уже к смерти готов.

Видно, без толку водит нас бес-то
в завирюхе безжизненных лет.
Никуда я не трогался с места –
дом остался, а родины нет.

Ни стихов там не слышно, ни мессы,
только митинга вечного гам,
и кружат нас мошнастые бесы
по истории бывшей кругам.

Из души нашей выжата воля,
к вечным книгам пропал интерес,
и кричу и не вижу того я,
кому нужен мой стих позарез.

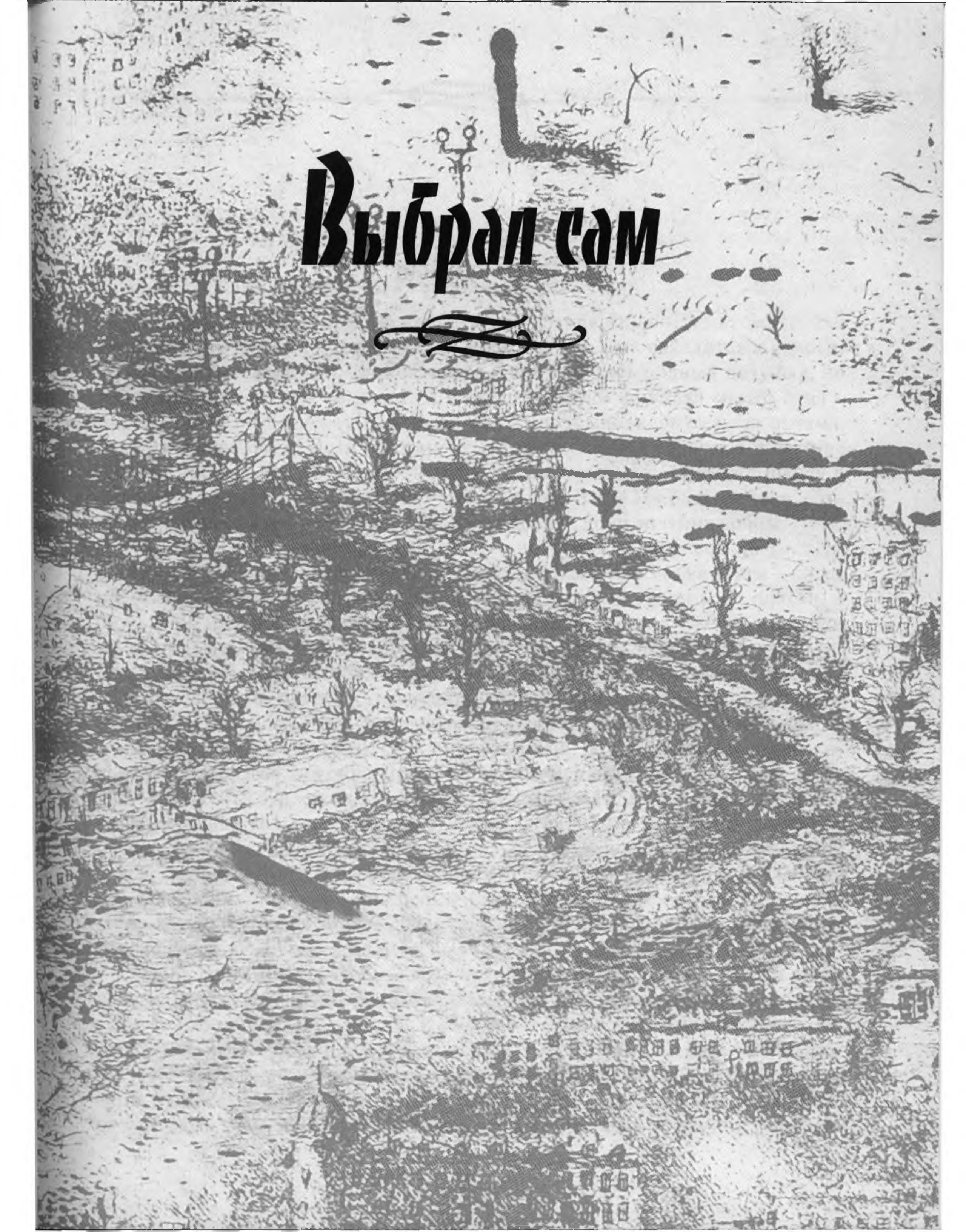
И в зверином оскале и вое
мы уже не Христова родня,
и кричу и не вижу того я,
кто хотел бы услышать меня.

Не мои – ни пространство, ни время,
ни с обугленной вестью тетрадь.
Не под силу мне бренности бремя,
но от бесов грешно умирать.

Быть не может земля без пророка.
Дай же сил мне, – Кого-то молю, –
чтоб не смог я покинуть до срока
обреченную землю мою.

1994





Выбрал сам



ВЫБРАЛ САМ

Я родился в 1923 году в Кременчуге, на Украине. Подписываю свои стихи фамилией Чичибабин – это фамилия моей матери. Она находится в родстве со знаменитым химиком Чичибабиным – это мой двоюродный дедушка, но я его никогда в жизни не видел. И никогда в жизни не видал своего отца – моя фамилия по паспорту Полушин, фамилия усыновившего меня отчима. Он был военнослужащим, поэтому семья часто меняла города, я в детстве жил в Кировограде, потом очень долго на Харьковщине. Окончил школу в 1940 году в Чугуеве, а в 1941-м началась война. В 1942-м был призван, служил в авиационных частях Закавказского фронта до окончания войны.

После демобилизации в июне 1945-го поступил в Харьковский университет на филологический факультет. Я сдавал экзамены за два курса – хотел через год перейти на третий курс, но мне не удалось кончить ни одного: в июне 1946 года был арестован. Когда меня спрашивают: за что? – я отвечаю: ни за что, как многие в те времена. Вероятно, кто-то передал кому-то мои стихи, в которых, возможно, было что-то, хотя по тем временам особенной крамолы быть не могло. Разговоры, болтовня, стихи... «За антисоветскую агитацию», как было сказано в приговоре Особого совещания, меня осудили на пять лет, по тем временам срок смехотворный. Это лишний раз подчеркивает, что арестован я был воистину ни за что. Все пять лет полностью отсидел – Вятлаг – и вышел еще при жизни Сталина, в 1951-м. И, пожалуй даже, самые тяжелые годы моей жизни были не лагерные, не тюремные, а эти вот несколько лет по выходе на волю, когда... Вы знаете, как тогда смотрели на людей, которые были осуждены за политическое преступление, антисоветскую агитацию. Конечно, мне нельзя было и думать о продолжении учебы, ни на какую более или менее сносную работу нельзя было устроиться, да и специальности у меня никакой не было.

Очень долго так тянулось: Харьков, провинция. И характер у меня замкнутый, за себя хлопотать не умею. После смерти Сталина, когда пахнуло хрущевской оттепелью, если бы это была Москва, может быть, мне удалось бы раньше издать свои первые книги. Мои друзья передали стихи в Москву, и в 1963 году вышла моя первая книжка. Но уж очень поздно она вышла, когда оттепель шла на спад. Именно поэтому я не рад ни московскому сборнику, ни тем трем, которые выходили потом в Харькове, потому что я не мог

туда дать своих лучших стихотворений, а часть тех, что были изданы, вышли изуродованными, искалеченными.

Одна из рекомендаций в Союз писателей была С.Я. Маршака. Мне вообще везло на хороших людей. Последние годы жизни Маршака я часто навещал его в Москве. Не умею об этом говорить. Может быть, придет когда-нибудь время и я возьмусь за мемуары, хотя очень страшно их писать, потому что все, что касается житейской, бытовой стороны – то, чем должна быть сильна проза, – мне совершенно не дано. Так вот, в 1966 году меня приняли в Союз писателей СССР.

Последняя книжка вышла в 1968 году, и с тех пор – полное молчание, полное забвение. Меня не печатали, я был изолирован от широкого круга читателей, которому были адресованы мои стихи. Но читатели-друзья были у меня всегда. И в Харькове, где я живу постоянно, и в других городах. Хотя бы самых дорогих, самых близких, без кого не представляю своей жизни, я просто обязан назвать: Леонид Ефимович Пинский, Александр Шаров, Александр Галич – всех их уже нет в живых.

Так вот, не печатался, причем, очевидно, и по своей воле. Сказать «я не захотел больше врать» – значит, врал до этого? Нет, я не врал. Но не мог уже согласиться, чтобы книжки мои выходили в таком виде, в каком они выходили прежде. Хотел говорить именно то, что хочу говорить, а это было невозможно. Надо было без конца уступать, а я уже не мог этого делать. Пришла переоценка ценностей, наступил кризис, который я перенес очень тяжело, думал о самоубийстве, боялся сойти с ума. В это время написано стихотворение «Сними с меня усталость, матерь Смерть». Меня спасла Лиля. Не могу произнести «моя жена», не люблю почему-то слова «жена», – любимая, друг, первый читатель моих стихов, единственный судья и подсказчик. С тех пор мы не расстаемся. И с тех пор я перестал думать о печатании, стал писать, смею думать, лучшие мои стихотворения совершенно свободно, заранее зная, что они никогда не будут опубликованы, перестал ходить в Союз писателей. Так что исключение меня из Союза в 1973 году, в конце концов, даже справедливо – я давно потерял с ним всякую связь.

А конкретным поводом для исключения были стихи о Твардовском, стихи «отъезжающим», «С Украиной в крови я живу на земле Украины...». То я – украинский националист, то я – сионист... Так и не разобрались, кто я на самом деле.

До недавнего времени, с тех пор как кончилась моя литературная жизнь, работал в трамвайно-троллейбусном управлении. Одно время руководил литстудией в Харькове. Не знаю, каким чудом она держалась – у меня нет никакого таланта к разговору, таланта литературного критика, наставника. Воспринимаю стихи как читатель, как человек, безумно, больше всего на свете любящий стихи. Но говорить, почему мне это нравится, а это не нравится, разбирать так, как

разбирают другие – по строчкам, не умею и думаю, что так и нельзя разбирать стихи. Ведь в стихах даже наших любимых поэтов, – самых великих, самых любимых, – в них, наверное, очень много огрехов (кроме Пушкина, у которого каждое слово на месте и все совершенно; Ахматовой, у которой тоже все слова – единственные, незаменимые). У остальных, «нормальных» поэтов – там всего хватает. Хорошо сказал Блок, что стихи держатся на каких-то отдельных словах, как на звездах. Если стихотворение мне нравится, я не замечаю в нем недостатков или даже эти недостатки мне тоже приятны, любимы мной, потому что в целом все получается хорошо. Поэтому, видимо, именно моя влюбленность в стихи и объединяла вокруг меня ребят... Но вскоре студию прикрыли. Я лишился всяких источников существования, мне стало не на что жить, и я вспомнил... В те самые страшные годы после лагеря я окончил курсы бухгалтеров, больше мне ничего было нельзя. Одно время работал рабочим сцены в Харьковском театре русской драмы. Когда вышли мои книжки, думал, что смогу прожить литзаработком...

Так вот, один человек, начальник отдела снабжения в трамвайно-троллейбусном парке, который знал мои стихи (я выступал в Харькове на вечерах), предложил мне пойти к нему работать. Пошел туда, приземлился... Числился мастером, кладовщиком, рабочим склада. Долго не решался уйти, да и они меня не отпускали: был нужным им человеком – писал отчеты, делал заявки, деловые письма писал... Не умею отказывать, мне очень трудно сказать «нет».

Живу я замкнуто, но это не какое-то несчастье. Не могу сказать обо всех поэтах – мой бог Пушкин был очень общительным человеком, – но такому, как я, нужны именно уединение и замкнутость. Меня суета, когда приезжаю в столицу, попадаю в круговорот, почти каждый вечер читаю стихи, просто подавляет.

Жил, спорил, радовался людям и думал, что жизнь так и пройдет, и кончится. Человек независимый, я выбрал свою судьбу сам, свыкся с ней. Свое дело сделал – написал стихи, а дальше...

И вдруг – перестройка, гласность. Меня стали публиковать, восстановили в СП (с сохранением стажа). На собрании разное было, кто-то произнес: «Что мы тут говорим – жизнь человека прошла».

Как и все мы, не мог не мечтать, что придут такие времена, когда мы будем читать Платонова, Гроссмана! Я был не готов к этому времени ни морально, ни нравственно.

Вообще считаю, что мои лучшие стихи – о Главном, о вечном. Нравственные, философские вопросы добра и зла, красоты, совершенства – это меня больше занимает. Но время, в которое мы с вами живем, не позволяет думать о вечности. Живешь публикациями, понимаешь, что все это суета и нужно жить вечным, но как же можно уйти от того, чем живет весь народ, вся страна? У меня уходит почва из-под ног, я пока что не найду себе места в

этом времени. И я не знаю, если мне Бог даст еще написать какие-то стихи – какие они будут...

Наверное, это покажется старомодно-смешным, но для меня нет в человечестве звания больше, чем поэт, выше, чем поэт, нужнее людям, чем поэт. В стихах я иногда называю себя поэтом, когда мне это необходимо, чтобы через это название выразить какую-то важную мысль. Но только в стихах и только, когда это нужно. В жизни – никогда, даже мысленно, даже в мечтах – никогда. И мне странно, как это можно сказать о себе: я – поэт. А ведь говорят, не боятся. Это же все равно, что сказать: я – герой или я – преступник. Или даже страшнее: сказать так – это посягнуть на тайну, назвать словом то, для чего нет в языке слов, что не должно и не может быть названо. Поэт – это же не занятие, не профессия, это не то, что ты выбрал, а то, что тебя избрало, это призвание, это судьба, это тайна. И зачем поэт, зачем стихи, если они не о Главном, если после них в мире не прибавится хоть на капельку доброты и любви, а жизнь не станет хоть чуть-чуть одухотвореннее и гармоничнее? Не знаю, как пишут другие. Для меня процесс писания – это тайна. «Ни дня без строчки» – не мой девиз. Я люблю говорить, что Бог поэтов – не церковный Бог. Не я пишу стихи – мне кто-то их диктует. И этому не могли помешать ни тюрьма и лагерь, ни служба в трамвайно-троллейбусном управлении, ни какие-то житейские неурядицы.

Когда мы читаем великую прозу, мы можем и не думать об ее авторе. Читая ее, мы любим не автора, а героя – Дон Кихота, Тиля Уленшпигеля, Наташу Ростову, Алешу Карамазова. У лирического поэта герой – сам автор, сам поэт. Это его мы любим, и он должен быть достоин нашей любви. Он должен быть похож на свои стихи, он и в жизни обязан совпадать с тем образом любимого поэта, который сложился у читателя-друга. И горе и беда, если не похож, если не совпадает: тогда он не поэт, а самозванец и обманщик, и читатель рано или поздно поймет это и уже не поверит ему.

Вот почему поэту труднее, тяжелее, ответственнее, чем прозаику или любому другому художнику; его стихи, его творчество должны подкрепляться биографией, жизнью, судьбой. Но и легче, но и радостнее: ничего не надо придумывать, ничего не надо сочинять, и в самом писании стихов уже награда, уже праздник. Если стих пойдет – он пойдет, если его нет – его ничто не заставит быть. Стихи – это чудо: что бы ни делалось вокруг тебя – ничего не существует. Ты живешь еще не написанным, но уже звучащим в тебе стихотворением. Это состояние – великое счастье. Потом, после меня, останется очень мало стихотворений...

Хоть обстоятельства отучали заниматься литературным делом, отучить быть поэтом невозможно. Это так же, как со свободой. Если есть у человека внутренняя свобода – он будет свободен и в тюремной камере, где пять шагов в длину и шаг в ширину. Он будет свободен, потому что он внутренне

свободен, и эту внутреннюю свободу никто у него не отберет – никакие лагеря, никакие тюрьмы, никакие преследования.

И в этом смысле идеал – Пушкин. Для меня нет более любимого человека, живой личности, живой души. Кто-то очень хорошо сказал, называя своих любимых композиторов, – Бах, Бетховен, Вагнер. А Моцарт? – спросили его. О, Моцарт – это Бог! Вот так я мог бы сказать о Пушкине. Перечень любых поэтов, если он будет открываться именем Пушкина, – для меня это кощунство. Это унизительно для Пушкина, потому что Пушкин – вне всяких списков, он совершенно отдельно. Это очень трудно объяснить. С одной стороны, когда мы читаем наших любимых поэтов – Тютчева, Лермонтова, – у них есть почти пушкинские строки, вплоть до того, что я иногда над какой-нибудь прекрасной строкой задумываюсь: неужели это не Пушкин? И в то же время – колоссальная разница, как между Моцартом и Бетховеном. И тот и другой – гении, но в одном случае это уже нечто божественное. Потому что такой гармонии... Невозможно человеку написать: «Я вас любил: любовь еще, быть может...».

Возведение простых жизненных фактов в какую-то необыкновенную красоту, свет – это мог только Пушкин из всех русских поэтов, а может быть, и из всех мировых поэтов. Я, к сожалению, кроме русского, не знаю других языков, но убежден, что и в мировой поэзии он – явление уникальное по гармонии, совершенству. От всех он отличается и необыкновенной добротой – не в расхожем, житейском, практическом смысле, а именно божественной добротой, космической добротой.

Чтобы прийти к Пушкину, его мудрости, его гармонии, к пониманию его совершенства, нужно прожить большую жизнь.

Так невероятно трудно быть тем, что люди называют поэтом, так невероятно трудно писать стихи... И правда, как Ахматова, – нельзя. А что говорить о Пушкине, о Тютчеве, а что говорить о том, что мы живем после Блока, после Цветаевой, Пастернака, Мандельштама? Но мы не бросаем писать стихи. Есть какая-то отчаянная, безнадежная дерзость: как же – после них – все-таки писать стихи? Значит, ты смеешь думать, что скажешь то, что они не говорили? Смеешь и можешь сказать, дерзаешь сказать?

Для меня всегда было великое чудо, великое счастье, что мне это позволено. Не знаю, напишу ли я еще хоть одну строчку, которой буду доволен, и рад, и счастлив. Может быть, то, что от меня сейчас ушли стихи, – это совершенно закономерно и естественно? Может быть, в каком-то возрасте нужно перестать писать стихи, как перестать быть спортсменом, перестать танцевать на сцене Большого театра? Но для меня было бы грустно, если бы я совсем перестал их писать...

Когда-то очень давно, в конце 50-х годов, я еще исповедовал то, что поэзия нас спасет. Тогда были вечера поэзии в Лужниках с конной милицией.

Дело в том, что это иллюзия. Дело в том, что поэзию никогда не будет любить такое большое количество народу – это все временное явление. Поэтому для меня не страшно, что кого-то знают мало. Его знают те, для кого он писал. Я не думаю, что тем, кто аплодирует мне на моих выступлениях, нужна поэзия. Поэзия нужна тем, кто без нее не может жить. Таких людей всегда будет очень и очень мало – во все времена. И сейчас я думаю: слава Богу, что это так. Было бы ужасно, если бы поэзию любили, как футбол или песни Аллы Пугачевой. Поэзию не должны любить многие люди, это было бы обидно и неестественно. Я глубоко убежден в том, что людей, по-настоящему любящих поэзию, гораздо меньше, чем людей, пишущих стихи и издающих книжки... Люди, которым нужны были мои стихи, знали меня и в прошлые времена. Я не могу обижаться на жизнь. И не думаю: вот выйдет моя книжка – и сразу что-то изменится, меня узнают, примут и полюбят тысячи людей, – нет, не будет такого чуда. Я, в моем возрасте, все об этом знаю, смею вас уверить. В этом смысле ничего не изменится.

Читатель стиха всегда есть и всегда будет. Многие годы я писал стихи без всякой надежды на то, что их когда-нибудь прочитают, что их услышат, писал свободно и призванно и, может быть, поэтому написал очень мало и, наверное, не очень профессионально. Я никогда не считал себя поэтом, но и мне всегда хотелось говорить стихами о Главном, о самом Главном в жизни для меня и, значит, по моей вере, для всех людей. Спасибо вам, кто любит мои стихи. Я до сих пор не могу поверить, что они пришли к людям, что их печатают, читают, слушают, что их – вот чудо – кто-то любит. Недаром же я всегда знал, что я самый счастливый человек на свете: разве для человека, пишущего стихи, может быть большее счастье в жизни, чем знать, что твои стихи услышаны, что они нашли отклик и обрели друзей? Нет для меня никого роднее и ближе тех, кто полюбил мои стихи, и только бы заслужить и оправдать, и не потерять по своей вине эту нежданную, невозможную, невыносимую любовь.

1988

ЛЮБОВЬ К ПУШКИНУ

Я прочитал об этом давным-давно, лет сорок – целую жизнь – тому назад, в книге, сослаться на которую не могу, так как не запомнил ни названия ее, ни автора. С тех пор книга эта на глаза мне не попадалась, и удивительно, что за все это время мне ни разу не удалось натолкнуться на засвидетельствованное подтверждение факта, вычитанного мной из той случайной книги и заслуживающего, по-моему, того, чтобы о нем узнали многие. Дело было в первые годы советской власти. Академия наук одной из европейских стран, не помню, какой именно и по какому поводу или для какой надобно-

сти, обратилась к нашей, тогда еще, кажется, Российской, располагавшейся в Петрограде Академии наук с просьбой прислать бюсты самых великих представителей отечественной истории и культуры. Речь шла не просто о великих людях, каких в каждой стране у каждого народа можно насчитать десятки, но о безоговорочно величайших гениях нации, без которых сама история ее могла бы сложиться по-иному и каких у нее не может быть больше, чем пальцев на одной руке. Отозвавшись на просьбу, наша Академия отправила запрашивающей стороне четыре бюста. Это были: Петр Великий, Пушкин, Толстой и Ленин. Мне запомнилось это на всю жизнь, потому что ведь и любой из нас, все мы, – с радостью или нехотя, это уже особый вопрос, а подумавши, – вынуждены будем признать, что именно эти четыре – два государственных деятеля и два писателя – и никто, кроме них, что это и есть величайшие гении (или демоны) России, по крайней мере трех последних столетий, определившие на многие годы, вплоть до нынешних дней, ее облик, характер и судьбу*.

Среди их державных, суровых и гулких имен имя Пушкина звучит и отзывается в наших душах по-домашнему легко и радостно, и лишь одно оно самим звучанием своим, мальчишеским, юным, как бы излучает добро и свет. Вряд ли еще в какой-нибудь стране мира огромная масса людей, живущих в этой стране, любит своего давно умершего великого соотечественника так, как мы любим Пушкина. То, что мы почитаем его, это не удивительно. Самым великим на все времена англичанином англичане назовут Шекспира, итальянцы то же самое скажут о Данте, немцы – о Гете. У России не было и, вероятно, не будет более всеобъемлющего, более совершенного, более гармоничного поэта, чем Пушкин, – как же нам не почитать его, не благоговеть перед ним? Но Пушкин для всей России не только самый великий, но и самый любимый. И наша любовь к нему больше, теплее, живее, таинственней почитания и благоговения. Отважусь сказать, что наша любовь к Пушкину является одной из черт нашего национального характера. Мы чуть ли не рождаемся на свет Божий уже с этой любовью, непонятной и странной для иностранца. В этой всеобщей, всенародной любви присутствует и нечто очень личное, заветное, интимное. Так любят живых и близких. Для нас Пушкин не только недосягаемый идеал поэта, писателя, художника, творца, не только великая и прекрасная духовная личность, великий за всех мыслитель, и чувствователь, и угадыватель, и называтель, но и желанный

---

* Интересно, что когда полвека спустя академик Эфроимсон для своей работы о генетической природе одаренных людей попросил одного из своих друзей, человека «выдающегося интеллекта», назвать, не задумываясь, величайших гениев человечества, он получил такой список: Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, Бах, Моцарт, Бетховен, Петр I, Наполеон, Шекспир, Гете, Пушкин, Толстой, Гегель, Маркс, Ленин, Лейбниц, Ньютон, Эйнштейн. Как видим, в этом списке Россия представлена теми же четырьмя именами. Мне это кажется не случайным.

собеседник, равный и добрый друг, верный спутник, надежный советчик, бесконечно и незаменимо родной и единственный. «Любить иных тяжелый крест». Бывает любовь неразделенная и напрасная, бывает любовь трудная, мучительная, больная, темная. Любить Пушкина легко и сладостно. Имя его, прекрасный и светлый пушкинский облик несовместимы с мучительностью и тяжестью. Любовь к Пушкину заведомо исключает неразделенность и разочарование. Ну да, «прекрасное должно быть величаво», и многие стихи Пушкина отмечены Божественной величавостью, чудесным, впрочем, образом сочетающейся с Божественной же легкостью, но в самом Пушкине, живом и подвижном, влюбчивом и смиренном, вдохновенном и простодушном, нет ни капли отталкивающего и холодного величия, ни капли олимпийского высокомерия. Он бесконечно добр и дароносен, он без конца дарит и, единственный на свете, ничего не требует взамен.

Я никогда не забуду, как лет двадцать назад мы с любимой перечитывали «Евгения Онегина». Незадолго до этого я пережил самое страшное время в своей жизни, был близок к помешательству или смерти. Она, любимая, вошла в мою жизнь и спасла ее. Мы тогда много читали стихов и, конечно, больше всего Пушкина. И вот решили перечитать «Онегина» ⟨...⟩ И, Господи, какой это был праздник души, праздник любви и поэзии! Ведь там все сказано, все о нас, все о России, все о мире и жизни. Все, как больше никем, как больше ни у кого. Как он это мог? Как он мог совместить безукоризненную, безусомнительную правду с никем более недостижимой Божественной простотой, не могу сказать иначе – с Божественной красотой? Как он мог из прозы, из прозы обыденщины, быта, очевидности, сделать поэзию, сияющую и льющуюся на нас с каких-то непостижимых духовных высот? И это был не вымысел, не искажение, но преображение – тайна, чудо. Чудотворец, он и нас приближал к вечности и бессмертию. Вот почему для меня он Божественен – единственный в русской истории, он – один. В мире таким еще был Моцарт. Других я не знаю, после Пушкина самый любимый русский писатель для меня Лев Толстой. После Пушкина самый великий и самый любимый. Но я никогда не назову его Божественным. Он – человек, гений, духовный богатырь, человечище. Но и только, но и все. А Пушкин небесен, Пушкин Божествен. Я люблю его и любуюсь им. Он прекрасен и добр, и любить его, любоваться им – добро и счастье.

Пытаясь как-то охладить мою восторженность, мне говорят о слабостях и проступках Пушкина. И все одно и то же: известная непочтительная фраза об Анне Керн в дружеском письме, кощунственная «Гавриилиада», стансы Николаю, два стихотворения о польском восстании. Вот как будто и все. Нам бы всем такие грехи и вины. А я и эти грехи считаю прекрасными и любуюсь ими. Не потому, что я их разделяю или сочувствую им, а потому, что он не мог иначе, он же Пушкин, а не кто-нибудь другой. У него такой путь, такая

судьба. В нем же африканская кровь и русская душа – взрывчатая смесь. Да и так ли уж смертельно кощунственна «Гавриилиада»? Я иногда перечитываю ее, и всегда с доброй и нежной улыбкой. По-моему, чувственность и эротизм этой юной поэмы овоздушены, одухотворены изяществом и влюбленностью, да и не мог он иначе, с его добротой и любовью к прекрасному и высокому. И, слава Богу, он не святой, он земной, как все мы. Потому для меня он и есть идеал поэта и человека, что в нем нет ничего идеального. Потому для меня он и Божественен, что он человек, что он с людьми, с нами, так же слаб, так же грешен ⟨...⟩ Не было на русской земле за всю ее историю человека лучше и прекраснее, чем Пушкин. И в трудную, в страшную годину, если мы не спасемся Пушкиным, мы ничем не спасемся.

1988

«ВСЕХ ЖИВУЩИХ ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДРУГ»

Жизнь – кому сыто, кому решето:
всех не помилуешь.
В осыпь всеобщую Вас-то за что,
Осип Эмильевич?

За что – было. Дважды в жизни, дважды в своем поэтическом творчестве Мандельштам, великий поэт, человек небольшого роста, непоседливый, задиристый, с гордо вскинутой головой и длинными ресницами, в молодости жизнерадостный и легкомысленный, самой природой как будто предназначенный для счастья, но уже к сорока годам сильно постаревший и как-то сказавший спутнице жизни: «Наденька, а почему мы должны быть счастливы?» – дважды в жизни этот неприкаянный странник, чувствующий себя как дома в мировой культуре и бесприютный и бездомный на родине, далекий от текущей политики и гражданских страстей, отважился на гражданский акт жертвенного мужества, ожидать которого от него было как бы даже и невозможно. В 1918 году, через несколько месяцев после Октябрьской революции, героической и мудрой классической одой он прославил эту революцию и ее вождя Ленина. В 1933 году стихами же убийственной силы заклеймил и осмеял наследника и палача революции, ее продолжателя и исказителя, всемогущего «кремлевского горца» Сталина.

Стихи его были изъяты из обращения на несколько десятилетий. Страшно подумать, что несколько поколений русских читателей не слышали этого имени. В 30-е годы в школе, где я учился, в районном, как теперь говорят, русскоязычном городе на Украине была хорошая библиотека, где были и Есенин, и Пастернак, и Ахматова, и даже Хлебников: этих поэтов хотя уже и не переиздавали, но не запрещали, не изымали из библиотек, – Мандельштама

не было. Стихи его, перепечатанные на машинке из каких-то старых, а скорее всего из зарубежных, «тамиздатовских» книг, попали в мои руки уже после школы, после войны, после лагеря, в конце 50-х, и сразу наполнили меня удивлением, восторгом и счастьем. Чудо можно пережить, но рассказать о нем, поделиться чудом с теми, кто сам его не пережил, невозможно, – а стихи Мандельштама были чудом.

По не очень надежным источникам (а надежных нет и, вероятно, не будет), творец этого чуда умер от голода в пересыльном лагере под Владивостоком 27 декабря 1938 года. А в написанных за год до этого «Стихах о неизвестном солдате», в самом вершинном своем стихотворении, самом глубоком и многозначном, но и самом сложном и таинственном, в заключительных строках он указал точную дату своего рождения: «Я рожден в ночь с второго на третье / Января в девяносто одном / Ненадежном году– и столетья / Окружают меня огнем». По новому стилю это 15 января 1891 года. Он родился в еврейской мелкобуржуазной семье в Варшаве, но детство и молодость его связаны с Санкт-Петербургом и его царственными окрестностями: Павловском, Царским Селом, с возвышенной и бессмертно прекрасной архитектурой этих городов, без которой невозможен был бы необыкновенный классицизм его поэзии. Осип Мандельштам – именно Осип, а не Иосиф, так значится во всех документах, – окончил Тенишевское коммерческое училище и в 1907–1909 годах несколько месяцев провел за границей: во Франции, Италии, Швейцарии и Германии – этого хватило ему на всю жизнь.

В 1911 году он крестился в протестантской церкви в Выборге и поступил на филологический факультет Петербургского университета, где учился не очень прилежно и откуда выбыл в 1915 году, провалившись на экзамене по латинской литературе.

Стихи он писал, наверное, с детства, во всяком случае, в училище он уже был известен как поэт. Это были годы расцвета русской культуры, так называемый ее «серебряный век», а Петербург был законным и законодательным центром этой культуры. В 1910 году в журнале «Аполлон» были впервые опубликованы стихи Мандельштама, вскоре знакомится он с Блоком, Гумилевым, Ахматовой, входит в новое литературное течение – акмеизм, в противовес символизму утверждающее реальные жизненные ценности, конкретность и ясность земного, исторического, материального мира со значимостью и прелестью его милых подробностей в реальном времени и пространстве. Вместе с Гумилевым и Ахматовой, ставшими ему друзьями на всю жизнь (у Гумилева она оборвалась через несколько лет, а Анна Андреевна пережила обоих на много лет, оставаясь верной хранительницей этого чудесного поэтического братства), Мандельштам был участником этого течения с момента его возникновения и вместе с ними же самым значительным его представи-

телем. В 1913 году за счет автора вышла его первая книга «Камень», в 1919 году также за свой счет он выпустил второе издание этой книги.

К 1916 году относится знакомство и кратковременная, но оставившая певучий след в творчестве обоих поэтов дружба Мандельштама с Мариной Цветаевой. Дружба, роман, увлечение, может быть, все вместе? Невозможно представить две более разные, диаметрально противоположные натуры, двух более разных поэтов, антагонистических в самом творчестве, а вот надо же – встретились. С годами Мандельштам постарался забыть об этом своем увлечении, стихов Марины не любил, он и не мог, и не должен был их любить, называл себя антицветаевцем, но остались чудесные стихи и ее, и его в память об этой мгновенной то ли дружбе, то ли любви, осталась прекрасная цветаевская мемуарная проза, и сегодня мы, читатели, благодарны судьбе за эту такую беглую и такую для нас многозначительную встречу двух великих поэтов, двух великих душ XX века.

Тогда же в жизни Мандельштама произошло еще одно знаменательное событие: .он открыл для себя Крым, оказавший на его мировоззрение и творчество влияние не меньшее, чем Петербург и Европа. «Петербуржец и крымец» – назвала его Марина. Так оно и было: в Крыму, в Коктебеле, Мандельштам обрел свою классическую, христианизированную, вечно любимую Элладу. На любви к ней, на коктебельских, судакских, феодосийских впечатлениях настояна значительная часть второй книги Мандельштама «Tristia», которая из-за грозных событий на родине вышла в свет в Берлине.

Сегодня среди части моих соотечественников появилась тенденция отрекаться от Октябрьской революции, выскабливать ее со страниц русской истории как ошибку, вкравшуюся туда извне и навязанную народу. А вот Мандельштам, по характеру своего дара никогда не писавший так называемых гражданских стихов, но чувствовавший себя в истории как рыба в воде, помнивший, что в России были декабристы, Герцен, народовольцы, давший в стихах клятву на верность «четвертому сословию», то есть народу, приветствовал эту революцию классической одой «Сумерки свободы». К сожалению, тот читатель, на которого надеялся, о котором мечтал поэт, этой оды не прочел и не услышал. Ее оценили немногие близкие друзья, поэты, литературоведы, любители поэзии, и в последующие годы она была забыта, и о ней не вспоминали. Не собираясь никому навязывать своего суждения, я нахожу в этой небольшой четырехстрофной оде больше чутья, достоинства и смысла, чем в знаменитых «Двенадцати» Блока. Это не восторг, не надрыв, не мистические пророчества, это мужественное и трагедийное приятие событий, мрачных, грозных и непредсказуемых: «Прославим, братья, сумерки свободы, / Великий сумеречный год!/... Восходишь ты в глухие годы, / О солнце, судия, народ!/ Прославим роковое бремя, / Которое в слезах народный вождь берет./... Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, / Скрипучий поворот

руля,/... Мужайтесь, мужи,/... Мы будем помнить и в летейской стуже,/ Что десяти небес нам стоила земля».

О дальнейшем рассказывать грустно и больно. Мандельштам не собирался покидать своей родины и остался с ней навсегда. Спасаясь от голода, несколько лет он провел в скитаниях по стране, терзаемой братоубийственной войной: Харьков, Киев, Феодосия, где он чуть не был расстрелян врангелевской контрразведкой, Батум, Тифлис, опять Харьков, Киев, опять Крым с постоянными возвращениями в Москву и любимый Ленинград. Во время этих скитаний он встретил свою Наденьку, Надю Хазину, ставшую на всю уже недолгую жизнь неразлучным и верным спутником, другом, возлюбленной, душеприказчицей, Надеждой Яковлевной Мандельштам, автором одной из великих прозаических книг нашего времени, герценовской силы воспоминаний о великом поэте и о страшном, убившем его времени. Уже умер Ленин, уже начинается триумфальное шествие к власти Сталина через реки крови и горы трупов, уже закладываются основы новой сталинской империи. И суматошно, судорожно летят годы обреченной, бездомной жизни поэта, с отвращением и ужасом отстраняющегося от безумия и лжи удушливых лет. На какое-то короткое время возникают просветы и передышки; случайно, чудом выходят несколько книжек, в том числе сборник стихотворений, в который, помимо стихов из «Камня» и «Tristia», входят и новые, написанные в 20-е годы, изредка удаются журнальные публикации, совершается поездка в Армению и влюбленное открытие этой родственно-трагической, казнимой страны. Редеет круг друзей, единомышленников, читателей. Мандельштам как-то вдруг постарел, его не отпускают тревоги и страхи. И вот этот затравленный, маленький, совершенно не предназначенный для политической борьбы человек совершает невозможный гражданский подвиг: он пишет и распространяет среди друзей и знакомых страшное стихотворение о Сталине: «Мы живем, под собою не чуя страны...». Конечно, его арестовывают, но пока что (такова жестокая прихоть Сталина, играющего со своими жертвами, как кот с мышью) только ссылают сначала в Чердынь, где он совершает попытку самоубийства, выбросившись из окна больницы, потом в Воронеж. В мае 1937 года истекает срок ссылки, но в Москве жить не разрешено, он мечется по городам, Литфонд дает ему путевку в дом отдыха где-то между Москвой и Мурманском. Там его и арестовывают второй раз 2 мая 1938 года, а через три месяца тройка ОСО приговаривает его за контрреволюционную деятельность к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Дальше – темнота.

Что сказать о Мандельштаме-поэте? Мандельштаме-мастере? Я уже признался в том, что стихи его воспринимаю как чудо и что о чуде невозможно рассказать словами. Я знаю, что всякий большой поэт не похож на других больших поэтов, что каждый большой поэт единствен, особен и неповторим,

и все-таки, когда речь идет о Мандельштаме, мне хочется, в нарушение всякой логики, сказать, что он еще больше непохож и особен, чем все другие русские поэты, что он единственнее и неповторимее всех остальных. Наверное, что-то подобное чувствовала и имела в виду Ахматова, когда объявила, что Мандельштам единственный, у кого не было учителей. Все большие русские поэты XX века при всей их разности пошли путем «обмирщения» поэтического языка, приближения к живому, естественному, доверительному языку, к обиходному интонационному словарю улицы, дома, службы, дружбы, любви. Мандельштам сохраняет высокую поэтическую речь, но каким-то удивительным образом эта высокая речь оказывается не просто современной, но и новаторской, речью нашего времени, того дня, в котором мы живем, или даже того, который еще не наступил. Лучшие стихи Мандельштама – это классические оды и элегии, но это не возрождение классицизма Эллады и Рима, или Франции XVII века, или державинской или пушкинской России. Это на наших глазах, на нашем слуху заново творимый новый классицизм, классицизм XX века, классицизм времени Хлебникова и Пастернака, классицизм революции, после революции и, очень может быть, классицизм будущего. Я не могу опомниться от свежести и точности необыкновенных образов Мандельштама: «Волосяная музыка воды», «Я – трамвайная вишенка страшной поры», «Мне на плечи кидается век-волкодав, / Но не волк я по крови своей: / Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей...» А есть наивно-простые, как будто ребенком сложенные стихи: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», или «Мы с тобой на кухне посидим», или о еврейском музыканте Александре Герцевиче.

Когда на одном из воронежских выступлений Мандельштама спросили, что такое акмеизм, от ответил: «Тоска по мировой культуре». Это – больше о собственном творчестве, чем об акмеизме. Культура – стихия Мандельштама, стихия его поэзии, в которой он живет так же, как другие поэты в природе или любви. Но Мандельштам меньше всего начетчик и книжник. Мне он напоминает мальчишку, который влюбился в историю не по ученым исследованиям, а по романам Вальтера Скотта и Дюма. Культура для него что-то живое, предстающее в ярких и звонких деталях. Его великолепные стихотворения о тех или иных явлениях или персонажах мировой культуры, о декабристе, о Батюшкове, об Ариосте, о Ламарке – не иллюстрации к истории, не информационно-философские сообщения об этих героях, а лирические откровения, полные ассоциаций, открытий, неожиданностей, выдумки и любви. Стихи эти и от читателя требуют культуры, внимания, духовного труда. Скажем, если в стихотворении упоминается «эрзерумская кисть винограду», этот образ рассчитан на то, что читатель вспомнит «Путешествие в Арзрум», встречу Пушкина с арбой, везущей мертвого Грибоедова, и задумается о судьбах поэтов. Но это один из самых простых ассоциативных обра-

зов. Часто у Мандельштама они оказываются еще более сложными и темными, и я должен признаться в том, что некоторые, и притом самые любимые, стихотворения Мандельштама – «Грифельная ода», «Нашедший подкову», «Стихи о неизвестном солдате» – остаются для меня наполовину тайной за семью печатями, и, может быть, поэтому я люблю их еще больше.

И Ахматова, и Надежда Яковлевна вспоминают: Мандельштам жаловался на то, что его читают «не те, кто надо». Я уверен, что он мечтал о всенародном прочтении своих книг. Приветствуя и прославляя революцию, он видел, что она разрушает культуру, но верил, что она создаст новую, более высокую и человечную культуру. Он мечтал (и писал об этом), что искусством революции будет новый классицизм, классицизм в его, мандельштамовском, понимании, классицизм будущего. Истинная свобода невозможна без чувства ответственности и без уважения к культуре. Свободный человек и культурный человек – понятия-синонимы. С клятвой на верность «четвертому сословию» и с тоской по мировой культуре Мандельштам мечтал о таком человеке, который и должен стать его будущим читателем.

Не надо забывать, что в последний год свободной жизни он в прекраснейших стихах назвал себя так, как мечтал, чтоб называл его читатель: «Всех живущих прижизненный друг». Постараемся быть достойными этой обогащающей нас дружбы.

1990

ПРИЗНАНИЯ О МАРИНЕ

Ответы на вопросы анкеты «Литературной газеты»
к 100-летию со дня рождения Марины Цветаевой

1. *В каком ряду имен стоит для вас имя Марины Цветаевой?*
2. *Кто вам ближе: Ахматова или Цветаева?*
3. *Менялось ли ваше отношение к стихам Цветаевой? К ней самой? Если менялось, то когда и как?*
4. *Что из написанного ею вы считаете лучшим?*
5. *Ощущаете ли вы влияние Цветаевой на русскую поэзию?*
6. *Испытываете ли сами ее влияние?*
7. *Какой вопрос вы хотели бы задать самой Цветаевой?*

1. Не могу мысленно поставить Марину в какой-нибудь ряд, мне представляется, что это было бы невыгодно и неудобно и для нее самой, и для этого ряда. В любом ряду, по-моему, она была бы посторонней и лишней, и любой ряд, в какой ее попытались бы запихнуть, не выдержав ее присутствия, расплавился бы и распался. Действие ее личности на мою душу огромно, чудесно и необъяснимо. В стихах я люблю гармонию, меру, ясность,

а в Марининых строчка заходит за строчку и все безудержно, неостановимо, как стихийное бедствие. И, казалось бы, столько ненужного мне, чужого, чуждого, неприемлемого в завихрениях и выкаблучиваниях ее пути, в рискованных и сомнительных духовных приключениях и творческих экспериментах. Не могу же я сочувствовать ее любви к Наполеону, Казанове, Стеньке Разину. Но зато как безоглядно-щедро, жертвенно-щедро дарит она себя! Все в ней – не мое, чужое, зато вся она – своя, родная, даримая, Марина. Как это может быть – не знаю. Недаром же она Марина. Единственный на свете поэт, которого мы, с покаянной и благодарной любовью принимающие ее дары, называем запросто по имени. Так называют царей и святых. И так зовут любимых и близких – друга, сестру. Скажешь: Марина, услышишь: Марина – и не нужно ни отчества, ни фамилии, каждый русский знает, о ком это.

Если сказать «по-детски, по-дурацки», как я иногда люблю, то единственный ряд, в который я мог бы поставить это имя, должен был бы открываться именем Иисуса Христа. Я вижу в этом ряду святых, героев, поэтов, одержимых духом дарителей, нежалельщиков себя, мучеников, вестников света – Пушкина и Моцарта, Жанну д'Арк и святого Франциска, Микеланджело и Бетховена, Альберта Швейцера и Александра Меня. Из русских писателей, близких по времени к Марине, я вижу там Льва Толстого и Александра Блока. Она – такая же, они вместе. И как спасительно нужны нам сегодня.

2. Слава Богу – и какое неправдоподобное счастье, что в России и в одни и те же годы существовали и творили два этих великих поэта. Они противоположно, несовместимо разные (тоже до неправдоподобия), и каждая из них своим, по-своему близка и необходима мне, читателю. За исключением Пушкина, не было в русской поэзии такого гармонического, совершенного, величаво-прекрасного мастера, как Ахматова, и не было (даже среди мужчин) такой героически-громадной личности, такого кровоточащего и щедрого сердца, такой могучей и ликующе-отдающейся души, как у Марины. Среди людей, пишущих стихи, бытует мнение (я слыхал его не раз от больших поэтов), что Ахматова – обыкновенная женщина, но великий поэт, Цветаева же – великая личность, но никакой не поэт. Я никогда не соглашался с этим. Для меня обе они – великие поэты, но великие по-разному, с разной поэтикой. Свои собственные стихи я рад был бы, если бы мог, представить на суд Ахматовой и не знал бы большего счастья в жизни, чем то, какое испытал бы, если бы что-то в них ей понравилось. Но общаться с ней я не мог бы и не хотел бы. Мою провинциальную неотесанность подавляли бы ее царственность, дамскость, эстетическое высокомерие. Они не восхищают, а отталкивают меня. Марина, насколько я представляю ее по воспоминаниям о ней, по ее собственным письмам, а главное, по ее стихам, родственней мне, роднее, дружить я хотел бы с ней. Знавшие ее люди говорят, что это было бы

тяжело и трудно, но я бы рискнул и думаю, что мне бы удалось. И все-таки повторю: какое счастье, какое чудо, что обе они есть у России! В ближайшие столетия такого не предвидится и не повторится.

3. Бывают периоды (они бывают всегда, были раньше, случаются теперь, будут еще), когда после долгого и влюбленно-внимательного перечитывания Ахматовой мучительно трудно сразу тут же читать стихи Марины. Нужно подождать, переключиться, настроиться. Если не считать этих естественных и временных состояний, то с тех пор, как я открыл для себя эти стихи – а узнал я их поздно, гораздо позже ахматовских, с уже сформировавшимся вкусом и слухом, – мое братское, жаждущее, любящее отношение к ним никогда не менялось. Уверен, что и не изменится.

4. Я отвечаю на эту анкету в Волошинском Коктебеле, в Маринином Коктебеле, любимом ею, понятном ей, на веранде служебного помещения, в двух шагах от дома, где звучали когда-то ее юные и быстрые шаги. У меня нет под рукой ее книг, поэтому отвечаю, как помнится. Из поэм – «Крысолов» и «Поэма горы», стихов так много, что их перечень занял бы всю анкету. Не меньше стихов очень люблю всю цветаевскую прозу, считаю ее великим, гениальным русским прозаиком.

5. О несомненном, очевидном, огромном влиянии Цветаевой на русскую поэзию, влиянии таинственном, не произвольном, часто подспудном и незаметном (когда заметно – это уже не влияние, а эпигонство, и оно не интересно), написано и сказано так много, что нет никакой нужды в повторениях и примерах.

6. Не мне судить. Мне не хотелось бы ее поэтического, профессионального, ремесленного влияния и очень хотелось бы влияния человеческого, личностного, духовного.

7. Ни о чем бы я не спрашивал Марину: кто я такой, чтоб спрашивать ее? Просто сказал бы, что люблю.

1992

МЫСЛИ О МАЯКОВСКОМ

Ответы на вопросы анкеты «Литературной газеты»
к 100-летию со дня рождения Владимира Маяковского

1. *Менялось ли ваше отношение к Маяковскому? Если менялось, то когда и как?*
2. *Что из написанного Маяковским не оставляет вас равнодушным?*
3. *В чем бы вам хотелось его поддержать? От чего удержать?*
4. *Можете ли вы представить себе Маяковского после 1930 года?*
5. *Что бы он делал сегодня?*
6. *Есть ли у него будущее?*

1. Из всех великих русских поэтов Маяковский тот поэт, отношение к которому не у меня одного менялось явственно, резко и контрастно-существенно. Сегодня я вряд ли скажу, что люблю его – если люблю, то сам не знаю, не думаю, не помню. Уже давно, лет 25, я его не читаю, не могу, не хочу брать в руки его книг. А в моем давнем школьном детстве – я родился в 1923 году – он был самым любимым поэтом, вместе с Пушкиным единственным, и я хотел, чтобы все любили его так, как я. Я любил не только его стихи, но и его самого, как человека, как личность, любил его внешний облик, рост и голос, поведение, походку, мне хотелось быть хоть в чем-то похожим на него. Даже то, что он мало читал и мало задумывался, его явная и чуть ли не враждебная непричастность к мировой и русской культуре мне, книжнику и думателю, казалась, да, вероятно, так оно и было, его достоинством, непременным условием и качеством его особости и гениальности. Вместе с ним я любил то, что любил он: революцию, Ленина, мечту о коммунизме как о будущем всеобщем братстве без вражды и розни, без насилия и унижения, без купли-продажи, – и ненавидел то, что ненавидел он: власть денег, обывательско-мещанскую пошлость, богатых, начальников и бюрократов. До сих пор среди стихов, какие я знаю наизусть, больше всего стихов Маяковского. Я читал их с клубной сцены на зэковских вечерах самодеятельности в лагерной зоне, куда попал сразу после войны, хотя там, в те пять лагерных лет, при свете иных книг, иных мыслей душа моя уже не отзывалась на эти стихи и я уже начинал понимать заблуждения его роковой и страшной слепоты. С особенной и новой силой и верой моя любовь к Маяковскому проявилась и прозвучала в начале 60-х, в заманчивые годы хрущевской оттепели; может быть, никогда еще я не любил его так, как в те годы, но зато уже и в последний раз. После 1968 года как спутник жизни он перестал существовать для меня, я живу с другими поэтами и ни разу не открыл его книг, не заглянул в них. Но когда случайно – со старой пластинки, с чужого голоса – я снова слышу его стихи, эти необыкновенные речевые ритмы, где каждое слово звучит как будто только что, первый раз в жизни придуманное и выговоренное, не смешанное с другими, отдельное от других, таких же «весомых, грубых, зримых», слышимых, державински-державных слов, ничего не могу с собой поделать, откликаюсь всем слухом, всей душой, с невольным восторгом думаю: какой поэт, какой человечище!

2. Много. Помимо моей воли, очень много. Прежде всего почти все без исключения стихотворения первого тома, в первую очередь поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек». Но и многое-многое другое: поэма «Про это», разговор с солнцем, разговор с лошадью, разговор пароходов на одесском рейде, разговор с Пушкиным, разговор на Тереке с лермонтовской Тамарой, всякие другие разговоры – с фининспектором о поэзии, с Костровым о любви, с Теодором Нетте, с Есениным, с Горьким, последний разговор с потомками. Всего не вспомнить. Легче ответить, что оставляет

равнодушным. В собрании сочинений Маяковского – много, примерно две трети всего написанного им – стихов несвободных, не выдышанных, не выстраданных, не продиктованных чувством, а сделанных намеренно и отстраненно, заказанных и приуроченных – плакаты, агитки, газетные выступления к датам и событиям, вот они-то оставляют равнодушными. Зато остающаяся треть не может оставить равнодушным никакого читателя и сегодня, даже если с этим не соглашаешься и внутренне споришь, даже если над этим смеешься или этому ужасаешься.

3. У Григория Соломоновича Померанца я нашел образ, запавший мне в душу: дьявол часто начинается с пены гнева на губах у ангела. Ангел всем своим существом восстает против явного, безбожного, царящего зла на защиту попранного и униженного добра, за правое, доброе, Божье дело. В процессе борьбы им овладевает ярость, ослепляющая и оглушающая, у него на губах появляется пена ненависти и бешенства, он уже не внемлет Богу и на наших глазах превращается в беса, в дьявола, одержимого страстью разрушения и убийства, крушащего все налево и направо, не щадящего ни виноватого, ни безвинного. В революции мне видится дьявол, который был некогда ангелом. Мы сегодня судим наше прошлое, праведно и строго судим революцию за ее преступления перед людьми и Богом, за ее непростимые, смертные грехи. Но я уже вижу, как у некоторых судей выступает на губах бесовская пена, и брызжет им в глаза, и застит взор. Нам не дано сегодня ни увидеть, ни понять, что бесовщина и дьявольщина революции начиналась с ангельского порыва, с прекрасной и светлой мечты, с боли за униженных и угнетенных, с жажды свободы, справедливости, братства, бескорыстия, любви, с того благородного и святого чувства, которое уже в наши, совсем недавние дни двигало и Солженицыным, и Сахаровым, и семеркой смельчаков, которые вышли на площадь, протестуя против оккупации восставшей Чехословакии. Но не дано человеку удержаться в ангельском, не впустить в себя бесовское. Правда, был поэт Максимилиан Волошин, в годы гражданской войны укрывавший в своем коктебельском доме белых от красных, красных от белых и молившийся «за тех и за других». Но в доме том скульптурный лик египетской царевны, и посмертные маски великих сынов России, и вон какая библиотека из книг на разных языках. А в квартире Маяковского книг не было. Позиция Волошина большинству людей не свойственна и не присуща, и вот уж ни при каких обстоятельствах Маяковский не смог бы ее ни принять, ни понять. Вот почему мне хотелось бы, если бы я мог, если бы это вообще было возможно, поддержать его в ангельском порыве – а он же был в нем, перечитайте, вспомните многие его стихи, его готовность принять на себя все грехи мира, все кары и муки ради счастья обездоленных и сирых, его «за всех расплачу́сь, за всех распла́чусь», – и удержать его от бесовского, от дьявольского, ослепившего и заполонившего его в революционные и послереволюционные годы.

4. Конечно, Маяковский, останься он жив, менялся бы с временем, должен был бы меняться. Но мое воображение не представляет его живым после 1930 года. Он из другого времени. В сталинской империи ему нечего было бы делать, незачем было бы жить. Как это ни горько, его выстрел был естественным и закономерным выходом, достойным концом его честного и слепого, заблудившегося и обреченного пути.

5. Если бы Маяковского, как он мечтал и просил, удалось воскресить в наши дни и при этом, самое главное, не дать ему снова убить себя, ибо не о таком времени для своего воскрешения он мечтал, он остался бы, по-моему, верен «социалистическому выбору» и оказался бы, как и свойственно и должно поэту, «один противу всех». Он не принял бы нашей сегодняшней «демократии» с двуглавым орлом, дворянским собранием, казачьим кругом с атаманской плеткой и американской жвачкой, уголовщиной, выдаваемой за рынок, роскошными спонсорскими презентациями и празднествами посреди всенародной бедности и всеобщего бескультурья, как не принял бы ни безнаказанного разгула звериного национал-патриотизма и антисемитизма, ни трогательных объятий вчерашних коммунистов с православной церковью и безмозглым монархизмом, ни церковно-астрологического мракобесия, ни телевизионного бесстыдства, рассчитанного на кретинов, ни чернухи, ни порнухи. На всю эту бесовщину он обрушился бы всей мощью своего поэтического голоса и заставил бы услышать себя – и думаю, что это было бы здорово и прекрасно.

6. Я не боюсь того, что Маяковского сейчас не читают, я и сам, как признался, не читаю его. Для такого поэта, как Маяковский, временное забвение, временная ненужность ничего не значат. Поэтом для поэтов и литературоведов, как кое-кто предрекает, он никогда не станет – не тот голос. Он дождется долгого и дружественного будущего. Как всякий великий поэт, своими лучшими и, слава Богу, многими стихами он принадлежит вечности и, как это ни покажется неправдоподобным, служит Богу. Во всяком случае, больше служит Богу, чем политики и бизнесмены с непривычными свечечками в руках на показываемых по телевидению пышных богослужениях. Я в это верю. Я знаю это. Не представляю себе России без Маяковского, мира без Маяковского, будущего без Маяковского.

1993

СЛОВО О ЛЮБИМОМ ПИСАТЕЛЕ

Столетнюю годовщину рождения Константина Георгиевича Паустовского мы отмечаем в искусительно тревожное, испытательно тяжелое время. Стало нечем дышать. Человеческая душа, обреченно тоскующая по разуверенным и для многих уже недоступным святыням любви, красоты, добра, болит и задыхается во всеобщей вражде, повальном оглуплении и цинизме, среди смуты и чернухи. Но, если мучается и болит, может быть, это еще не

конец. Достанем где-нибудь одну из последних книг Паустовского, раскроем на любой открывшейся странице, прочтем первые попавшиеся фразы. И, по себе знаю, в наш темный, отравленный, удушливый мир словно вольется откуда-то живительный, осязаемый, неправдоподобно-свежий воздух, полный забытых и уже не существующих, поди, на нашей загубленной земле ароматов, луговых, речных, лесных, стряхнет, растормошит предсмертную оцепенелость. И душа вспомнит о великом, о милом, потянется к чистому воздуху и свету.

Константин Георгиевич Паустовский – писатель в русской литературе необыкновенный. Это бросается в сердце, инстинктивно чувствуется каждым читателем, полюбившим или только еще впервые влюбляющимся в его благоуханно-певучую, светящуюся прозу, но в чем заключается эта необыкновенность, для большинства читателей остается непонятым, непроявленным, необъяснимым. Да и нужно ли объяснять чудо? Само всепризнанное мастерство Паустовского, полученное в чудный дар и усовершенствованное непрестанным трудом, его непревзойденно-волшебный, выработанно-естественный русский язык, его, ни в ком не вызывающая сомнений, высокая художественность представляются традиционными для великой русской прозы. Необремененная и незамутненная дыхательная воздушность слога, ясность и легкость при чтении воспринимаются как нечто привычное и должное. Он все время кажется на кого-то похожим; литературоведы и критики вспоминают дружных ему писателей «южной школы» – Бабеля, Олешу, Катаева, называют дальних и близких классиков – Тургенева, Бунина, Зайцева. Наверное, для этого есть основания, литературоведам лучше знать. Тем не менее традиционность Паустовского условна и обманчива, и настаивание на ней приводит к недоразумениям, сходство его с другими писателями-реалистами поверхностно и относительно, а место, занимаемое им в русской литературе, совершенно особенно и единственно.

Похоже, что он и сам этого толком не знал и, безусловно считая себя хранителем и развивателем классической русской традиции, обманывался в своем даре. Правда, его первая книга, которую он писал долго, как пишут в юности, и которую я люблю со школьных лет, называется «Романтики», и с той поры все знают и повторяют, что Паустовский – романтик. Но и романтик-то он совсем особенный. Многие годы он собирался написать книгу, какой в русской литературе еще не было. В «Начале неведомого века», третьей книге «Повести о жизни», он признается в этом такими словами: «Если бы я мог сбросить со счетов еще лет десять, то мне хватило бы времени, чтобы написать еще и вторую повесть, может быть, более интересную, чем первая, – вторую книгу о своей жизни. Но не о той жизни, какая была на самом деле, а о той, какой она должна быть и могла бы быть, если бы создание собственной жизни зависело только от меня, а не от ряда внешних и зача-

стую враждебных обстоятельств. Это была бы повесть о том, что не сбылось, о всем, что властвовало над моим сознанием и сердцем, о той жизни, что вобрала в себя все краски, весь свет, все волнение мира.

Я вижу многие главы этой книги так ясно, будто я пережил их несколько раз». Кажется, такую книгу Константин Георгиевич начал писать, помнится, где-то было опубликовано ее начало, какие-то заготовки к ней. Десяти лет у него не набралось, и того впечатления на читателя, на которое он рассчитывал, это не произвело, «более интересной» повести не получилось. Думаю, что и не могло получиться, думаю, что соблазн этой книги, как все соблазны мира, был от лукавого и не соответствовал истинному дару и духу писателя, был для него заблуждением ⟨...⟩

Паустовскому незачем было думать об этой книге, потому что он и без того всю свою жизнь писал книгу, какой в русской литературе еще не было. Это была повесть о жизни, протекавшей по всем законам реалистического повествования, в конкретной обстановке точно названных лет, в какие жил писатель, в точно обозначенных местах Украины и России, где он тогда жил, но в то же время и о жизни не совсем такой, «какая была на самом деле». Это была проза поэта, который во многом, как это свойственно поэтам, сам создает собственную жизнь, не особенно считаясь с «внешними и зачастую враждебными обстоятельствами», и который сам поэтому иногда не знает, вспоминает он или придумывает. Мир и жизнь, люди и события виделись Паустовскому сквозь воздух мечты и вечности, он просто не мог иначе видеть, иначе дышать. Господи, как нам сегодня всем не хватает этого воздуха! В этом воздухе пропадало или, уж по крайней мере, съеживалось, тускнело все безобразное, злобное, пошлое, все противоречащее этому воздуху, недостойное его и самому поэту чуждое, ненужное, неинтересное – и яснее и влекуще вырисовывалось, ярчало, усиливалось все высокое и непреходящее, красота, благородство, осмысленность, одухотворенность, «все краски, весь свет, все волнение мира», все, что «властвует над сознанием и сердцем». И уже неудивительно, что в этом воздухе точно названные и описанные географические места – Кара-Бугаз, Колхида, Мещорский край – при всей влюбленно-безукоризненной верности изображения приобретают заманчивое сходство с краями, придуманными Александром Грином. Известно, что Паустовский очень любил этого писателя и, может быть, завидовал ему. Сам-то он был поэтом, романтиком, выдумщиком ничуть не меньшим, чем Грин, до самой смерти оставался юношей, по-юношески радовался, когда моряки дарили ему предметы, связанные с морем, с кораблями, но при этом он все-таки «другой» и на Грина похож еще меньше, чем на писателей-реалистов. В этом-то и состоят тайна и чудо Паустовского, что воздух мечты и вечности, сквозь который он смотрит и которым дышит, не отрывается от земли, на которой живет и трудится писатель вместе со своими читателями,

не расстается с ней. Описанные им места Украины и России не становятся страной Паустовского, как, мы знаем, есть страна Грина. Севастополь, увиденный и многократно рассказанный Паустовским, похож на гриновский Зурбаган, и все-таки хорошо, что это не Зурбаган, а Севастополь. Мещора – это Мещора, Ильинский омут – это Ильинский омут. Зрение Паустовского, зрение поэта сквозь воздух мечты прибавляет красоты этим местам, но, преображая их внимательной любовью, ничуть не искажает их. Нет страны Паустовского – есть зрение Паустовского, воздух Паустовского, мир Паустовского.

Этот мир открыт для всех, но вхож в него не всяк. При отсутствии возможности или готовности понимания и приятия естественные особенности воздуха и зрения могут быть и бывали сочтены за писательский умысел, прием или недостаток. В 60-е годы, в еще досолженицынские, досахаровские времена, у думающего населения тогдашней страны два имени были эталонами порядочности и поведения – Паустовский, который, обойденный всеми государственными премиями и наградами, не герой труда, не лауреат, оказался самым читаемым, авторитетным и любимым прозаиком, живым классиком, и Твардовский, редактор самого честного, самого нужного тогда журнала. Как радостно и хорошо было бы видеть их рядом как единомышленников и соратников. Но вот переданная Паустовским в этот журнал рукопись четвертой книги «Повести о жизни» отклоняется редакцией и возвращается автору с письмом, написанным Твардовским. «По-прежнему в ней, – пишет он о рукописи,– нет мотивов труда, борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море и всяческие красоты природы, самоценность искусства, понимаемого очень, на наш взгляд, ограниченно... И, главное, во всем... пафос безответственного, в сущности, глубоко эгоистического “существовательства”, обывательской, простите, гордыни, коей плевать на “мировую историю” с высоты своего созерцательского, “надзвездного” единения с вечностью». Вразумленные зрением Паустовского, умудренные его опытом, не станем сегодня ни ужасаться, ни укорять, тем более задним числом. На совести Твардовского много грехов, но цитируемое письмо писалось цельным и честным человеком. Не им одним мучительно близко к сердцу были приняты не помню кем из западных мудрецов запальчиво выкрикнутые слова о том, что после Освенцима невозможно писать стихи. Каюсь, в те годы и я на какое-то время охладел к Паустовскому. Не моя заслуга, что я осознал свою неправоту перед любимым писателем, и не вина Твардовского, помнившего голодомор 30-х годов, репрессии 37-го, отказавшегося от «раскулаченных» и высланных родителей, прошедшего войну, что он так и не примирился с Паустовским, так и не понял его. Примем это разногласие как частный пример вечного спора прозы, каковую в данном случае представлял поэт, и поэзии, чью опасную свободу отстаивал прозаик.

Через несколько лет спор этот был вынесен на мировую арену. Паустовский оказался претендентом на самую высокую и славную для писателя всемирную Нобелевскую премию по литературе, а прозу на этот раз представлял Шолохов, официально выдвигаемый на эту премию уже много лет подряд. «Тихий Дон», несомненно, великий эпический роман, и премия его создателю была присуждена заслуженно, а все-таки жаль, что не Паустовскому, которому, как уже было сказано, с премиями вообще не везло. Вскоре после этого он умер, а посмертно Нобелевская премия не присуждается. Если бы выбор между ними двумя в какой-то мере зависел от меня, я бы все-таки задумался. Конечно, у Шолохова есть свои очевидные преимущества. Таких живых людей, как у него, такой многоцветно-цветущей, многоголосо-шумящей, пахнущей, кровеносно-дышащей земли и плоти у Паустовского нет и в помине. У него сам воздух скрадывает, развоплощает, отбрасывает многие неприятные для зрения, бытовые, подробно-пластические, тем более физиологические черты и стороны жизни. Но ведь Нобелевская премия присуждается писателям всего мира, одна на весь мир, и она должна присуждаться не просто за высокую художественность, но за такую, какая открывает новые горизонты, прокладывает новые пути. Меня не тянет перечитывать «Тихий Дон». В отличие от «Войны и мира», с которым его часто и, по-моему, безосновательно сравнивают, этот трагедийно-живописный, добротно-подробный, язычески-стихийный эпос представляется мне несколько устарелым, этнографически-архаическим, принадлежащим и интересным скорее минувшему, чем настоящему и будущему. Поэтическая проза Паустовского с графически-бегло набросанными героями, но освещенными светом вечности, заставляющая читателя думать, воображать, мечтать, кажется мне более современной и перспективной. Будь я в Нобелевском комитете, я проголосовал бы за Паустовского.

Он еще и тем современен нам, сопричастен нашим сегодняшним тревогам и страхам, что у него было два бога – русская природа и мировая культура, – а им обоим приходится плохо. И та и другая сегодня, как никогда раньше, нуждаются в заступничестве и защите. Но если природа губится большей частью втихомолку и крадучись, то с культурой уже не церемонятся. Мало того, что на наших глазах она унижается и разрушается оголтелым, суматошным, диким нашим русским, нецивилизованным так называемым «рынком», над которым – вон еще когда – смеялся, который – вон еще когда – с отвращением и презрением отвергал Паустовский. Но в последнее время, в наше несчастное, больное, сумасшедшее время, появилась и усилилась безумная тенденция опорочивания культуры, возжигания вражды к ее представителям и носителям, к русской интеллигенции, к русской литературе, на которые возлагается вина за все ужасы русской истории. Между тем если в этой истории, во всей нашей жизни есть какой-то смысл, – а должен же он быть, –

если во имя этого смысла и ради него наша жизнь действительно подчинена вечным и нерушимым нравственным и духовным законам, если в мире воистину проявляется то, что верующий человек называет Божией волей, то эта воля, этот смысл находят свое очевидное и действенное воплощение именно в культуре, и только в культуре. Губить природу и ненавидеть культуру могут или невежды, или тупые и злобные мироненавистники, как сказал бы верующий, одержимые дьяволом, потому что гибель природы и гибель культуры означали бы гибель человечества, конец света. Об этом тоже писал Паустовский, но он-то думал, что это зло ушло и никогда не вернется, – ан нет! Как-то неловко даже заикаться об этом, это знают все люди во всем мире, знает каждый свободный человек, но этого не хотят знать переполненные бессмысленной и самоубийственной ненавистью рабы. Попадут ли когда-нибудь к ним в руки книги Паустовского, прочтут ли они их, прислушаются ли к ним, просветят ли они их темные, отчаявшиеся души?

По роду своей деятельности я привык вслушиваться в звучание слов. Слова для меня – как живые существа. Это знает каждый писатель, каждый поэт, каждый настоящий читатель, чуткий и чувствующий. Есть слова, звучание которых неприятно, омерзительно, страшно, – липкие, мохнатые, склизкие. Раньше их не было хотя бы в книгах, сейчас они полезли и в книги, и в стихи. Недавно появилось слово «совок». Безграмотное, идиотское слово – «совок», вероятно, означающее «советский», в смысле глупый, нелепый, абсурдный. Я не знаю, кто его придумал, – наверное, невежда, дурак, завистливый и злобный раб, который никак не может перестать быть дураком и рабом и которому поэтому хочется, чтобы и все кругом были такие же дураки и рабы, как он сам. Вот он и пустил в обиход это слово «совки», называя им всех нас, живших в те годы, при Сталине, при Брежневе, в 60-е. Он ничего не знает про те времена и сочиняет про них анекдоты и небылицы, не знаю, верит ли он сам, но сочиняет. Ему и в голову не приходит, что во все времена были свободные люди, внутренне свободные, и в тюрьме, и в лагерной зоне свободные. Он не понимает, что в те времена жил Паустовский, что из тех времен пришли Сахаров и отец Мень, что читатели Паустовского не были «совками», а их были миллионы. Да Бог с ними, с дурными словами. Не нужно слушать, не нужно повторять. Зато как звучит «Паустовский», «Таруса». «Мы были у Паустовского в Тарусе». Здесь и хрустальный воздух, и хруст осенней листвы, и снежный хруст, и светлая грусть, без которой, по словам Паустовского, невозможно счастье. И Россия, Русь.

Чудесный писатель Паустовский. Я много говорил о том, что он ни на кого не похож, один, особенный, единственный. Но есть писатель, на которого он очень похож, и писатель этот Пушкин. Конечно, кто только ни утверждал свое родство с ним, свое восприемничество. Но Паустовский – самый очевидный, самый близкий, «наследник по прямой». И лаконизмом,

и простотой, и точностью слога, и своим жизнелюбием, жизневерием, когда и грусть – светлая, и страдания – желанны, как проявление жизни. И еще, и больше всего, редкостным даром превращать жизнь в красоту, прозу в поэзию.

Пушкин оставил русской литературе всем известное завещание: пробуждать чувства добрые, восславлять свободу, призывать милость к падшим, равнодушно принимать хвалу и клевету, – но, главное, ни в чем, ни перед чем не поступаясь своей безграничной, дерзкой, веселой свободой, быть послушным велению Божию, исполниться волей Его. Это завещание, каждый в меру своих дарований, свято исполняли все настоящие русские писатели, и поэтому русская литература приобрела в своей стране невозможную для литератур других стран власть над умами и душами. Когда началась Первая мировая война, а с ней-то и начался весь апокалипсис нашего века, кто-то на Западе, помнится, воскликнул: «Если бы жив был Толстой, этого не могло бы случиться!» И непроверенная наивность этого восклицания не случайна. Даже безграмотная и злобствующая чернь, даже бездарная правящая номенклатура вынуждены были считаться с авторитетом и обаянием писателей. Оттого-то так много погибло их в застенках и лагерях.

Перед писателями было стыдно. Это сразу почувствовалось после смерти Паустовского. Я не верю, не допускаю, что постоянный читатель Паустовского, воспитанный на его книгах, смог бы унизить чье-то человеческое или национальное достоинство, обидеть слабого и незащищенного, оскорбить женщину, сломать дерево или куст, поиздеваться над животным, надругаться над святыней, сподличать ради карьеры или выгоды. Не могу представить себе с книгой Паустовского в руках манкурта, хама, черносотенца, антисемита, как, впрочем, не могу представить с ней и почетного героя нынешнего времени – брокера, бизнесмена, спекулянта, наживающегося на чужой беде. Меня не оставляет мысль, что, если бы Паустовский был сегодня среди нас, живой и неравнодушный, мы бы не допустили такого разлада и развала всей нашей жизни и культуры, особенно в писательской среде.

Сегодня люди, именующие себя русскими писателями, насмешничая и хулигански сквернословя, справляют поминки по великой русской литературе, исповедующей и исполняющей пушкинские заветы, пренебрежительно отвергают эти заветы как устарелые и непригодные, малодушно и небескорыстно отказываются от завоеванной Пушкиным духовной власти ради скоровянущего и дурнопахнущего венца площадной, рыночной, базарной популярности. Паустовский до этого, слава Богу, не дожил. И его действенная и добрая светлая власть все еще, слава Богу, сохраняется над пусть немногими, но верными и стойкими душами. Узнать это и для меня было радостью неожиданной: я уж думал, что в наше время его никто не читает. Оказалось, читают, оказалось, помнят, оказалось, любят. Лишний

раз я удостоверился в этом на торжествах 100-летия со дня рождения Паустовского, которые во многом оказались возможными, состоялись, сбылись, увы, не стараниями писательской организации, которая «подключилась к мероприятию» слишком поздно, а как раз любовью и энтузиазмом читателей Паустовского, кучкой чудаков и мечтателей, которых он всю жизнь так любил.

Именно эти чудаки и романтики несколько лет назад создали в Москве «народный музей Паустовского». Большинство их, может быть, даже все они не были лично знакомы с Паустовским, не встречались с ним в жизни, да и в том месте, которое они нашли для музея, Паустовский никогда не жил. Но их любовь к писателю, их фантазия и воображение подсказали им выбор: место, которое они отыскали на окраине Москвы, среди живых деревьев и трав, напоминает тот среднерусский пейзаж, который так любил Паустовский. Я рад, что я знаю этих прекрасных, милых и добрых людей, дружу с ними. Я был там и могу с полной уверенностью засвидетельствовать, что у них обрела свое пристанище, бродит, грустит, радуется душа Паустовского: этого нельзя не увидеть, не почувствовать. Приходите к ним в гости, сами убедитесь. Именно эти одержимо-бескорыстные работники небывалого музея, назвать фамилии которых не могу, потому что сам не знаю или не помню, сделали все возможное и невозможное для того, чтобы собрать нас на праздник Паустовского. Назову одного из них, их признанного возглавителя, застрельщика, веселого и энергичного директора музея – Илью Ильича Комарова. Спасибо ему, спасибо всем им, неназванным!

Если правда, а это правда, это не может быть неправдой, что время Пушкина для России никогда не пройдет, не может пройти, что если пройдет когда-нибудь время Пушкина, то, значит, с ним и время России прошло навеки; если это правда, то правда и то, что самый верный, самый прямой наследник Пушкина – Константин Георгиевич Паустовский еще дождется своего времени. Он очень нужен нам сегодня, он пригодится будущему. В нашей читательской благодарной любви, в нашей памяти, в наших душах, задыхающихся, изнемогающих, страдающих, но надеющихся, но верующих, но живых, в нашем настоящем и будущем, на нашей земле, которую он видел такой любимой и прекрасной и которую мы обязаны сделать любимой и прекрасной, во всем мире, которому он был по-пушкински открыт и который он по-пушкински любил и приветствовал,– пусть всегда живет Паустовский.

1991

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПИСАТЕЛЕ ШАРОВЕ

Вы прочитали книгу прозы* грустной и горькой, мудрой и светлой. Для кого-то из вас книга эта станет непременным участником и спутником вашей духовной жизни. Кто-то запомнил имя автора Александра Шарова (1909–1984) и, узнав, что физически, материально его уже нет среди живых, испытает чувство тоски и боли, оттого что не сможет обратиться к нему за советом, помощью, поддержкой или со словами поздней благодарности, разделенности, любви. Но у вас останется эта книга, к которой вам обязательно – я по себе это знаю – не раз захочется вернуться, которую потребуется перечитывать, дополнять другими книгами писателя Шарова.

Мне предстоит сказать несколько слов об этом человеке. Из всех людей, с которыми мне выпало общаться, дружбой которых я дорожил, никого никогда я не любил так, как люблю его, а такая любовь есть, конечно же, чувство несказанное: рассказать ее словами, передать ее другим нельзя, но и умолчать о ней невозможно. Вот почему, приступая к своей задаче, я так волнуюсь, исполненный сложным и мучительным чувством – сразу счастья и смятения, необходимости и обреченности. Ну вот, например, я совершенно точно знаю, что писатель Шаров, – друзья и близкие никогда не называли его Александром, а всегда почему-то Шерой, так и на могильной плите на переделкинском кладбище написано: Шера Шаров, – что Шера Израилевич Шаров был самым прекрасным человеком в моей жизни, самым прекрасным из всех, кого я знал, но как передать словами эту мою уверенность в духовной прекрасности человеческой личности? Мне остается надеяться на то, что вы, только что прочитавшие эту книгу, еще не отошедшие далеко мыслями и чувствами от ее страниц, пойдете мне навстречу, откликнетесь умом и сердцем, поможете мне в моем несвязном и сбивчивом рассказе.

Впервые фамилия Шарова вошла в мое читательское сознание со страниц «Нового мира». В 60-е годы я, вместе с миллионами людей нашей изголодавшейся по правде страны, был благодарным читателем этого журнала. Каждый новый номер мы ожидали с нетерпением и набрасывались на него с жадностью. И вот там-то, среди блестящей, уже легендарной «новомирской» прозы, я прочитал и на всю жизнь запомнил несколько публицистических статей, подписанных этой фамилией. Это были прекрасные, неожиданные статьи или эссе, и мне по-детски обидно, что они не вошли в настоящую книгу. Это были размышления о человеческом детстве, о его бескорыстном, таинственном и поэтическом мире, о так называемых «трудных» детях, о великом педагоге Януше Корчаке. И размышления эти, что и было в них неожиданно и прекрасно, были не злободневными, а вечными, они и были

---

* *Шаров А.* Окоем. М.: Сов. писатель, 1990.

о самом главном, о вечном: о жизни и смерти, о постижении мира и благоговении перед его тайной, о добре и зле и их вечном противостоянии, о жестокости и бесконечной доброте. И в этой прозе горели и бились живое, мучащееся и любящее сердце, живая, свободная, неостанавливающаяся мысль. Это всколыхнуло душу, вызвало в ней отзыв, оказалось неправдоподобно, небывало родным и близким, моим. И захотелось познакомиться с автором этой удивительной и родной прозы, для того чтобы сказать ему слова благодарности и духовного родства.

Вскоре, оказавшись совершенно случайно в ресторане ЦДЛ (у меня вышла первая книжка стихов, и поэт Григорий Левин знакомил меня с «литературной жизнью» столицы), я увидел там привлекательно-странного человека: он был очень длинного роста, задумчивый, печальный, одинокий, отрешенный. «Донкихотский человек», – подумалось мне по-детски, и я спросил у моего провожатого об этом странном и почему-то уже родном, уже готовом быть полюбленным мной человеке, кто это. «А, это Шаров», – сказал Левин. «Как Шаров? Автор статей в “Новом мире”?» И я, уже не помня себя, подошел к этому человеку и пролепетал ему какие-то бессвязные слова моего уважения и восхищения. Вряд ли он что-то понял из моих слов и вряд ли вообще запомнил этот случай – хотя потом, когда мы были уже знакомы и дружны, уверял, что запомнил: он был добр и деликатен, – но тогда он достал откуда-то, из каких-то немыслимых карманов свою фотографию и подарил ее мне, сделав на обороте надпись таким неразборчивым почерком, что я так никогда и не сумел ее прочитать.

А познакомились мы по-настоящему еще по прошествии нескольких лет.

...Я был в восторге от песен Александра Галича и знал, что он любит мои стихи. Когда, набравшись смелости, я позвонил ему, он сказал, что сегодня поет у Шаровых и приглашает меня. Я вспомнил «донкихотского» человека в ресторане ЦДЛ, мы с Лилей, моей женой, пришли к Шаровым, где в тот вечер пел Галич и я читал стихи, и остались ночевать у них, и с тех пор их квартира в Москве стала нашим постоянным пристанищем, родным домом, а они – самыми дорогими и родными людьми.

В глухое и стыдное время безгласности и безликости мы оказались единомышленниками, нас многое соединяло. С удивлением и восторгом я узнал, что писатель Шаров, помимо тех, запомнившихся, любимых «новомирских» статей, является автором чудесных сказок для детей и взрослых, сохранивших в себе лучшее от детства, – может быть, последним замечательным сказочником в русской литературе, – и великолепных, острых фантастических повестей, и печальных, горьких и страшных рассказов, автобиографических, исповедальных, психологических – о детстве, о войне, о времени. Но главное было в том, что он все больше и больше открывался нам как «самый прекрасный человек на свете», по крайней мере на «нашем с Лилей свете», в нашей жизни.

Шаров написал о Корчаке, что он «был одновременно взрослым и ребенком, то мудрой старостью мира, смертельно усталой от войн, горя, несправедливостей, то детством, все видящим впервые». Вот таким был и сам Шаров, таким он был в своей прозе и таким он был в жизни. В завершающих эту книгу недописанных, недовершенных воспоминаниях о Василии Гроссмане есть замечательное место: «...Для Василия Семеновича так приниженное у нас слово “писатель” звучало почти всегда как «пророк», но без гордости этого слова, вообще без его значительности, мягко». Господи, до чего же эта характеристика подходит к самому Шарову! Я всегда это чувствовал, но никогда не сумел бы найти слова. Да, писатель, настоящий русский писатель, всевидец, мудрец, учитель, пророк, но без гордости этих слов, вообще без их значительности. Нечто противоположное Толстому и Достоевскому, зато родное Пушкину и Чехову. Пророк, в силу своей человечности, своей причастности к человеческому со всеми грехами и заблуждениями не хотящий быть пророком, не могущий им быть. Что-то милое, трогательное, смешное, прекрасное... Но о нашей дружбе, о нашей взаимной духовной близости я никогда не смогу рассказать, потому что это было Чудом, а Чудо рассказывать невозможно. Я не могу рассказать о долгих часах, проведенных нами в его кабинете, где он читал нам свою только что написанную прозу – сказки, рассказы, повести, из которых большая часть и сейчас еще не опубликована, а тогда об этом и мечтать не приходилось, или на кухне за утренним или вечерним кофе, когда он вспоминал о событиях и людях своей жизни или делился раздумьями о жизни, о литературе, о том, что происходило тогда в стране и в мире и отзывалось в душах наших тревогой, тоской, безнадежностью...

Принадлежит ли писатель Шаров к мастерам прозы, чье имя останется – навсегда или надолго – в большой литературе? Я много думаю об этом, когда с обидой и тоской убеждаюсь, что множество читателей, любящих книги, не знают или не помнят этого имени. Я спрашиваю сам себя, не преувеличивает ли моя любовь к нему как к человеку, другу, личности, вырастившей в себе великую и прекрасную душу, его значения как мастера, как писателя. Но я думаю, что никто не знает, что такое великий писатель: оказывается, что такие вещи, как стиль, мастерство, художественность, не являются решающими критериями в этом определении, гораздо важнее величие духа, невозможность солгать или промолчать, болящая за человечество совесть, ответственность за все, что происходит в мире и с миром. Есть писатели, талант которых безоговорочно очевидно превосходит их человеческие качества; и как бы ни старалось официальное, казенное литературоведение возвеличить этих писателей, читатель отвергает от них звание великих. Валентин Катаев небрежно обмолвился в частной беседе: «Андрей Платонов? Ну какой же он стилист?»

Между тем в большой литературе от таких стилистов, как сам Катаев или Алексей Толстой, если что и останется, то разве что превосходные книги о

детстве, «Детство Никиты», «Белеет парус», – рассказывая о детстве, трудно соврать, – и никому в голову не придет сопоставлять этих великолепных стилистов с действительно великими прозаиками этого времени – Михаилом Булгаковым, Андреем Платоновым, Василием Гроссманом. Нужно ли объяснять, почему именно они остаются в нашем потрясенном читательском сознании как подлинно великие писатели великой русской литературы?

И место писателя Шарова – по честности, выстраданности, человечности, значительности всего им написанного – где-то в этом достойном и мученическом ряду. Я убежден в этом. Нужно опубликовать все, что еще не опубликовано, а такого немало, нужно переиздать массовыми тиражами лучшие вещи. Они наполнены таким духовным светом, такой братской любовью к людям, что не могут не вызвать ответной любви в миллионах читательских сердец. Таковы и вещи, составляющие эту книгу, – и «Повесть о десяти ошибках» с примыкающим к ней «Окоемом», который только сейчас приходит к читателю, и одна из самых правдивых и человечных вещей о войне – «Жизнь Василия Курки», и любимые самим автором и тоже только сейчас выходящие на свет Божий «Поминки», и замечательные воспоминания о замечательных писателях Олеше и Гроссмане.

Он любил говорить, что Парнас не пик, а плоскогорье, что на нем хватит места для всех и незачем спихивать друг друга. Он любил говорить, что мир не погиб, не пропал, не кончен, пока в нем есть женщины и дети. Он был естественно и непоколебимо терпим, доброжелателен, честен, благороден. Никого на свете мы с Лилей не любили так, как его.

1990

«В СЕРДЦЕ МОЕМ БОЛИТ АРМЕНИЯ»

Сказать: «Армения – любовь моя» – слишком недостаточно, слишком мало для того, чтобы выразить всю исключительность и незаменимость этой любви, несказанную тайну связей и отношений с этой страной и ее народом моего сознания, моих чувств, моей жизни, моей души. Как у всех, как у каждого, у меня есть свои любимые люди, любимые книги, любимые города, есть с десяток любимых мест на земле, куда всегда влечет и тянет, куда хочется без конца возвращаться и где пожить с любимой было бы радостью и счастьем, – но это совсем не то, Армения – не одна из нескольких, пусть даже самых немногих, а просто одна, Армения – единственная на всю жизнь. Как родина, как судьба. И она не похожа на радость и на счастье. Может быть, кто знает, она и есть моя духовная родина, может быть, незапамятно давно, сотни и тысячи лет назад, в одном из своих рождений я был сыном этой земли и жил на ней, может быть, она назначена мне Богом для любви и муки, не знаю. В моем восприятии Армении, в моих чувствах к ней, в моем чувстве Армении есть что-то мистическое, религиозное, для чего нет слов в словарях.

Как я встретился с Арменией? Впервые в жизни я увидел ее из окна железнодорожного вагона. Накануне проезжал по Грузии, по ее Черноморскому побережью, где все цвело и сияло под ярким и добрым солнцем, с одной стороны – море, с другой – освеженная этим морем богатая, изобильно-плодоносная, ликующе-красивая земля с роскошной природой, с пышной зеленью, с чинарами, магнолиями, пальмами, с апельсинами и лимонами. И так было до самых сумерек, до полной темноты. Сон застал меня в естественной уверенности и завтра увидеть, если не то же, то что-нибудь близкое, похожее, такое же блистание и цветение под тем же праздничным солнышком, такую же лазурь и зелень, щедрость и красоту, – ведь не могло же быть иначе, ведь это же совсем рядышком, в том же Закавказье. Но, проснувшись утром, я увидел в окне землю совсем другую, непредвиденную, почти голую, почти пустынную, библейскую. Богом выбранную и отмеченную, в скудных и сухих травах, в бедных кустиках, всю заваленную камнями, и где-то вдали невысокие, невеличественные, ненарядные горы. Земля, по которой мы ехали, была материализовавшейся, воплотившейся, зримой трагедией проживающего на ней и возделывающего ее народа, и я, прежде чем вспомнил все, что я знал об истории Армении, прежде чем вспомнил и осознал, воочию увидел, ощутимо, как удар, почувствовал эту трагедию, и сразу узнал, как узнают свое, родное, заветное, и принял в сжавшееся и защемившее сердце.

Вот так это было со мной и осталось на всю жизнь. Конечно, и до этой первой «материальной» встречи на армянской земле я что-то знал об Армении. Я даже и встречался с ней, только не на ее территории, а в других местах. Во многих городах нашей страны есть армянские церкви, и я любовался их святой и светлой прелестью и во Львове, и везде, где доводилось бывать. Но самые памятные встречи с Арменией – до Армении – были в Крыму, где даже природа, земля, воздух чем-то приближаются к армянским: в Феодосии Айвазовского, – там я, наверное, в первый раз и увидел знаменитые хачкары, – в Ялте, где уже в начале нашего века была выстроена великолепная армянская церковь, и недалеко от гриновского Старого Крыма, старинного татарского Солхата, где сквозь всю заброшенность и загаженность светится нетленной красотой большой старинный армянский монастырь. Я знал, что еще до расцвета Эллады и Рима и потом наравне с ними и пережив их, Армения была великим, обширным и могучим государством, что она стала первой страной в мировой истории, утвердившей христианство как государственную религию. Я знал о великой и древней армянской культуре, о великой армянской духовности, о том, что Армения – страна святых и героев, страна великих просветителей, зодчих, историков, поэтов, страна Нарекаци, страна Наапета Кучака и Саят-Новы, страна Туманяна и Исаакяна. Я знал о леденящей кровь трагедии армянского геноцида, когда десятки миллионов армян были физически, мученически убиты, истреблены, уничтожены, а тысячи и миллионы изгнаны с родной земли и рассеяны по всему миру. Перед самой поездкой в Армению мы с женой перечитали путевые

заметки о ней мудрого и прекрасного Василия Гроссмана и Андрея Битова. Но одно дело – читать, знать, помнить, и совсем другое дело – увидеть воочию, хотя бы даже так, в первый раз, из окна вагона. Не нужно было ничего знать, ничего помнить: все сказала сама земля, пустынная, горькая, вся в камнях (как после землетрясения, как после погрома), требующая неслыханных трудов и подвигов. Сама земля была образом и подобием своей истории, судьбы народа. И это чувство и сейчас во мне.

Приехавшего из России, меня ошеломило в Армении то, что в ней не оказалось «мертвых», музейных, охраняемых, почитаемых, но недействующих, неживых храмов: у нас в то время их были сотни. Любой храм в Армении, постройки XIV, XII, X веков, обожженный, полуразрушенный, но чудом уцелевший – действующий, живой. В него каждый может войти, поставить зажженную свечку, помолиться. Это совершенно удивительно, непривычно, небывало – и, конечно, прекрасно. И прекрасно, что в любви армян к своей истории, к своей культуре нет, по-моему, никакой замкнутости, отгороженности, тем более заносчивости и надменности. У меня сложилось впечатление, что они молчаливо говорят всему миру: «Узнайте нас, полюбите нас», – что они тоскуют по этой любви и щедро делятся с миром всем, чем богаты сами. Не знаю, как сейчас, а в тот первый приезд в Армению меня радостно поразило то, что многие музеи в Европе, в том числе Дом-музей Сарьяна, были открыты для посетителей бесплатно. Мне по душе такой «национализм». А открывать миру, дарить миру Армении есть что. Из Еревана в хорошую погоду виден Арарат, куда, согласно Библии, причалил после Всемирного потопа Ноев ковчег. Но и во многих других местах Армении есть что-то священное, светлое, ветхозаветное, евангелическое. Нигде в мире нет второго Севана, высокогорного озера, широкого и синего, как море, с великолепным монастырским храмом, к которому надо подниматься, и с зарослями облепихи на одном из его берегов. Нигде в мире нет второго Гарни, второго Эчмиадзина, второго Гегарда. И никогда не пил я такой вкусной и свежей воды, как из ереванских фонтанов. Армянская архитектура – одна из самых прекрасных и великих в мире.

Душа моя болит за Армению и за ее народ, в сердце моем болит Армения, земля-трагедия, земля-мученица, пережившая недавнее землетрясение и кровавые бакинские погромы, отлученная дьявольской волей не только от священного Арарата, но и от родного Карабаха. Всей моей болью, печалью, любовью, душой – я с вами, мои армянские сестры и братья, с тобой, Армения. Во всех трудах, испытаниях, странствиях, бедах мы вместе, – и да поможет нам Бог, и да будет воля Его, а не наша!

1991





Дополнения





АХМАТОВСКАЯ АНКЕТА

Печатается по публикации в журнале «Вопросы литературы» (1997, янв.–февр., с. 280–288)

ИЗ ПИСЬМА Е. ОЛЬШАНСКОЙ Б. ЧИЧИБАБИНУ

С 1982 по 1992 год я проводила анкетирование известных писателей об их отношении к Анне Ахматовой и ее творчеству – для моего ахматовского собрания, которое составляю почти тридцать лет.

Почти все авторы указывали дату заполнения анкеты, но у Бориса Чичибабина она отсутствует, как и на большинстве его писем. Предполагаю, что заполнена она была в 1983 году.

Нужно было ответить на следующие вопросы:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Ваше нынешнее отношение к творчеству Анны Ахматовой.
3. Какие стихи Анны Ахматовой Вам особенно нравились в юности?
4. Какие стихи наиболее близки Вам теперь?
5. Считаете ли Вы правомерным делить творчество Анны Ахматовой на «раннее» и «позднее»? Какой период ее творчества Вам ближе?
6. Ваше отношение к «Поэме без героя».
7. Чьи литературоведческие работы об Анне Ахматовой Вам кажутся наиболее интересными?
8. Чьи воспоминания считаете наиболее достоверными?
9. Назовите поэтов, чьи стихи об Анне Ахматовой нравятся Вам.
10. Оказала ли Ахматова влияние на Ваше творчество?
11. Встречались ли Вы с Анной Ахматовой? Если встречались, то когда и где? Написали ли Вы воспоминания об этих встречах?
12. Писали ли вы о ней стихи, литературоведческие работы?
13. Сформулируйте основные черты Ахматовой-человека, привлекающие Вас к ней.

Несмотря на давнюю дружбу с Борисом Чичибабиным, я не сразу решилась предложить ему ответить на анкету, зная, что он терпеть не может анкетирования. Это я особенно почувствовала через несколько лет, в 1986 году, хотя и до своей ахматовской анкеты по просьбе Л.А. Мнухина[1] просила Бо-

риса Алексеевича ответить на анкету о Марине Цветаевой, и он выполнил мою просьбу с большим трудом.

В 1986 году по просьбе Владимира Леоновича[2] предложила Чичибабину ответить на некрасовскую анкету, явившуюся как бы продолжением той, на которую в конце 10 – начале 20-х годов отвечали Блок, Волошин, Сологуб, Ахматова и другие известные поэты. Борис Алексеевич, так не любивший огорчать друзей, сначала в письме категорически отказался отвечать на анкету. Но после того как я ему напомнила, какой замечательный человек Владимир Леонович и как его огорчит этот отказ, Борис Чичибабин прислал интереснейшие ответы, которые были опубликованы в книге «Некрасов вчера и сегодня. Путеводитель по выставке» (М., 1988). Потом, при встрече, он признался, что отвечать на анкеты ему очень трудно, и вспомнил, что на анкету об Анне Ахматовой ответил, преодолевая себя, чтобы не огорчить меня отказом. Как хорошо, что эта анкета есть у нас теперь!

Е. Ольшанская[3]

ИЗ ПИСЬМА Б. ЧИЧИБАБИНА Е. ОЛЬШАНСКОЙ

Дорогая Дусенька! Когда я получил Вашу ахматовскую анкету, я сразу решил, что отвечать на нее не буду: ну кто я такой, чтоб отвечать на такие вопросы? Мне сразу вспомнился Бунин: «...Какой характерный вопрос: “Каково ваше отношение к Пушкину?” В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика: – Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе? – И мужик отвечает: – Никак они не смеют относиться ко мне. – Вот вроде этого и я мог бы ответить: – Никак я не смею относиться к нему...»[4]. Так ведь то Бунин, который все-таки не удержался и после такого вступления написал много о своем отношении к Пушкину. Да и не мудрено: речь-то шла о Пушкине, который, как земля и воздух, стал частью нашей жизни и к кому у каждого из нас, от великого поэта до «первого встречного», есть какое-то отношение. Но Ахматова!.. Сами вопросы Дусиной анкеты (между ними 10-й, о влиянии на собственное творчество, 11-й, о личных встречах, и 12-й, о своих писаниях о ней) предполагают какое-то, страшно подумать, чуть ли не равенство отвечающего на эти вопросы и Анны Андреевны, предполагают, во всяком случае, право отвечать на них. Я представляю себе, кто отвечал, и могу только завидовать и мечтать о том, что мне когда-нибудь будет позволено прочитать их ответы, – но, Дусенька, Вы же должны понимать, что я – и это без всякого кокетства, без всякого самоумаления – действительно не могу считать себя вправе отвечать на вопросы Вашей анкеты наравне с Лидией Корнеевной[5] или Арсением Александровичем[6]: «не дорос», не смею. В правах уравнивает или права дает любовь, но любовь моя к Ахматовой, – Вы, наверное, это знаете, потому что, хотя специально об этом мы никогда

не говорили, но я, как мне кажется, и не скрывал этого никогда, – не носит того характера исключительности, одержимости, «культа», который присущ Вашей любви к ней и который мог бы дать мне смелость отвечать на вопросы Вашей анкеты при отсутствии оснований и прав. Ваша анкета застала меня врасплох: после главного, первого чувства, что я просто не имею права отвечать на такие вопросы, вторым было чувство и сознание моей неготовности, чувство, что я не смогу, не сумею ответить – ну, хотя бы на основной вопрос об «отношении к творчеству». Тут или одним словом – люблю, которое вряд ли Вас устроит и которое не передает всей сложности «моего отношения», или сто слов, которые тоже ничего не разъяснят. Вот поэтому, «по всему поэтому», как говорил Маяковский, моим первым и долгим решением было не отвечать на вопросы Вашей анкеты. Но потом я передумал, что то, что я не отвечу на Ваши вопросы, проигнорирую вашу анкету, Вас огорчит и обидит, что, при Вашей любви к Анне Андреевне, посланная Вами мне анкета является актом дружеского доверия, даром любви и дружбы и мое уклонение может сказаться, в свою очередь, актом недружественной неблагодарности. Вот почему, оставляя в силе все, что я попытался выразить в вышенаписанных словах, я попробую, насколько сумею и смогу, ответить на вопросы анкеты на этом отдельном листике, который Вы сможете употребить по Вашему усмотрению.

Фамилия, имя, отчество – Чичибабин (по паспорту Полушин – фамилия усыновившего меня отчима) Борис Алексеевич. Год рождения – 1923-й. Профессия – ну, это тоже на Ваше усмотрение: работаю старшим мастером отдела материально-технического снабжения в Харьковском трамвайно-троллейбусном управлении, но ведь это не профессия. Пишу стихи, но в анкете об Ахматовой говорить об этом как-то не столько стыдно, сколько несерьезно. Но даже и в анкете об Ахматовой и именно в такой вот анкете хочется написать почему-то о себе, что я – поэт, хотя это тоже ни для кого никогда не было профессией.

1. Впервые в своей жизни стихи Ахматовой я прочитал в 9-м или 10-м классе средней школы, когда мне было 16 или 17 лет, в каких-то старых сборниках и сразу почувствовал, что это великие стихи, что это стихи великого поэта, что «об этом», – о чем «об этом»?, ну, наверное, о любви, но не только ж о любви – о жизни, о смерти, о печали, о Музе, – никто до нее и кроме нее так по-русски не писал. Я не мог в то время полюбить Ахматову, я любил тогда совсем другое, любимым поэтом моего школьного детства и всей моей затянувшейся – лет до 40 – юности был Маяковский, я любил его стихи, все, и «Окна РОСТа», и плакатные надписи, любил его интонацию, его поведение, его жизнь, хотел быть похожим на него; в то же время как раз в эти годы – 16 или 17 лет – я открыл Пастернака и, не зная, как совместить его и Маяковского, носился с его стихами из «Сестры моей жизни», которые сами

лезли в голову и заучивались наизусть на всю жизнь. Но мое впечатление о прочитанных стихах Ахматовой как о великих стихах, о великих – при наличии Маяковского и Пастернака, – я помню очень хорошо и точно. Какие-то прекрасные строчки остались жить в моей памяти именно с той поры. Я их помнил и четыре военных года, когда книги Ахматовой в мои руки не попадали.

Зато в первый послевоенный, – и в последний в моей юности свободный, студенческий, последний перед арестом и лагерем, – год, с июня 45-го по июнь 46-го, я читал стихи Ахматовой за все прожитые годы и «на всю оставшуюся жизнь». Я был влюблен, девушка, которую я любил, – Марлена Рахлина[7] – писала стихи и любила Ахматову. Правда, как-то она сказала, что, «говорят», есть женщина-поэт, которая еще лучше, чем Ахматова, и прочитала мне цветаевское «Идешь, на меня похожий», которое я помню с тех пор, но Цветаевой мы тогда не знали и вряд ли поверили тому, что «говорят». Во всяком случае, Ахматову мы читали в тот год без конца. В мои руки попала тогда чудесная книжечка Эренбурга «Портреты русских поэтов». Я и по сей день считаю написанное там об Ахматовой одним из самого лучшего, что писалось о ней и вообще о поэзии: такова сила впечатлений юности. В горьковской «пересылке», где, по счастливой случайности, подобралась «хорошая компания» пересыльных зэков, я удивил своим знанием Ахматовой старого русского интеллигента, специалиста по античности – моряка и поэта Егунова[8]. В наших тюремных «литературных чтениях» Ахматова занимала немалое место.

2. За исключением того счастливого, студенческого, первого после войны памятного года, я никогда не любил Ахматову любовью особенной, единственной, исключительной, но и никогда не переставал любить ее как одного из самых великих – и любимых – русских поэтов. Стихи Ахматовой – чудо, не только в том смысле, в каком всякая великая поэзия – чудо, но и в каком-то еще более особенном и буквальном. Великое не всегда совершенно. В мировом искусстве гениев совершенства, гениев гармонии можно перечислить по пальцам руки: Моцарт, Пушкин, говорят, Данте, может быть, Гёте – никак не Шекспир, никак не Бетховен. Ахматова – после Пушкина, самый совершенный, самый гармонический поэт. Она сказала о Пушкине, что он – автор незаменимых слов. Она сама – мастер незаменимых слов, мастер точности, мастер простоты, которая упорядоченная, гармонизированная сложность, а не что-то другое. У любого поэта, кроме Пушкина, есть неудачные стихи, есть стихи, за которые становится неловко читателю. У Ахматовой таких стихов, таких строк просто не может быть. Сразу после Ахматовой невозможно читать других поэтов XX века: они покажутся многословными, неточными, косноязычными. Это не значит, в моих, по крайней мере, глазах, на мой, по крайней мере, слух, что все они меньше или хуже

ее, а она – самый великий после Пушкина русский поэт. Это не значит так, потому что для меня, да думаю, что и для всех, великое и совершенное – не одно и то же. Межиров ошибается, когда говорит, что Цветаева, в отличие от Ахматовой, великая личность, но никакой поэт. Они обе – великие и разные, несравнимые поэты.

Мне так же дорога Маринина безмерность, безудержность, неостановимость, как и ахматовские гармония, чувство меры, умение вместить софокловскую, шекспировскую, цветаевскую трагедию в несколько или даже в одно четверостишие. При этом Ахматова – ничуть не анахронизм, никак не отставшая звезда пушкинской плеяды, чудом залетевшая в чуждый ей век. Она вся из XX века, со сложностью, муками и утонченностью, незнакомыми Пушкину. Любовь – это судьба, это наваждение, это тайна: по независящим от моих сознания и воли и необъяснимым причинам я не перечитываю Ахматову так часто, как некоторых других, немногих поэтов – Пушкина, Тютчева, Пастернака, – но каждый раз, когда я заново открываю ее, мне уже долго не хочется читать никого другого и кажется, что она самый великий поэт на земле (после Пушкина, конечно), и невероятно, как это я так долго мог жить без нее.

3–6. Мне кажется, – может быть, я придумываю и невольно ошибаюсь, но с этим уже ничего не поделаешь, – что я всегда любил всю Ахматову. Почти все пишущие о ней подчеркивают, что у Ахматовой не было ученического периода, что с первых же опубликованных стихотворений она заявила себя как мастер, как автор незаменимых и вечных слов. Этим она тоже отличается от других великих поэтов. В сравнении с ними, может быть, кроме Тютчева, у нее ведь просто мало написанных стихов и каждое стихотворение – шедевр и чудо. Конечно, если специально открыть и полистать полное собрание, то отыщется десяток стихотворений, которые не захочется перечитывать, мимо которых всегда проходил, не задерживаясь на них, но поэтому я и не могу их назвать. Как все люди на земле, Анна Андреевна с годами менялась, росла, становилась мудрее, и мне, наверное, сейчас ее поздняя лирика, «Северные элегии» например, не то что «ближе», но сочувственнее, что ли, нужнее, но, в общем-то, я читаю и перечитываю ее «без дат». Мне почему-то кажется, что она и сама так хотела – «без дат». Литературоведы могут делить ее творчество на «раннее» и «позднее», и, наверное, в этом будет какой-то смысл, вероятно, с годами ее лирика становилась философичнее, историчнее, и это можно будет доказать примерами – но мне как читателю Ахматовой (в отличие от меня же как читателя Пушкина, Блока, Пастернака, Цветаевой, да почти всех других поэтов) это неважно и ненужно, – потому что уже в 12-м году было написано «Помолись о нищей, о потерянной...», а в 13-м «Вижу выцветший флаг над таможней...», а в 15-м «Нам свежесть слов и чувства простоту...», а в 16-м «Прозрачная ложится пелена...», а в 22-м «Не с теми

я, кто бросил землю...», а в 24-м «Когда я ночью жду ее прихода...» – и все даты я высмотрел только сейчас, потому что все эти стихи написаны одной Ахматовой, одним почерком, в одном духовном возрасте. Как это так – не знаю, говорил же: чудо.

До «Поэмы без героя» я, откровенно говоря, еще не дорос. Может быть, дорасту. Хочется. Чувствую, что это – вершина ахматовского творчества, вершина ее духовного и поэтического восхождения. Но читать тяжело, пока еще мне приходится читать ее «с комментариями», а так читать любимые стихи нельзя. Кроме всего, я не уверен, что я читал окончательный вариант. В конце концов, это не так важно, потому что гениальные места есть во всех читаных вариантах, но немножко обидно, потому что хочется прочесть так, как ей хотелось быть прочитанной. Но, может быть, в этой гениальной поэме – я это очень осторожно говорю, с полной готовностью увериться в противном и отказаться от своих слов – есть какой-то авторский «просчет», мешающий мне, не просто любящему, но и культурному, квалифицированному читателю, принять ее сразу и безоговорочно.

7–9. Я не знаю и половины всех посвященных Ахматовой стихотворений, я не знаю, вероятно, и четверти всех написанных о ней литературоведческих работ, я не знаю и одной десятой всех воспоминаний об Ахматовой. Из известных мне литературных работ мне было интересно читать Эйхенбаума[9] и Жирмунского[10], то немногое и разрозненное, что писала о ней Лидия Гинзбург, из более поздних работ – замечательный, по-моему, «литературный портрет» Добина[11]. Из воспоминаний, по-моему, особняком и вне всяких сравнений великая книга Лидии Чуковской[12]. После нее всего остального можно, наверное, и не читать. Но, поскольку книга эта вряд ли в скором времени станет книгой для читателей, которую всегда можно взять в руки для того, чтобы перечитать, из того, что перечитывать можно, я с удовольствием перечитываю воспоминания Виленкина[13] и не с таким уж удовольствием, но с интересом – Ильиной[14]. Да, наверное, все-таки напрасно я забыл Павловского[15]: он по-прежнему любит Ахматову.

Никогда не любил блоковского посвящения[16] Ахматовой: насколько лучше ее ответ[17] – правдивее, точнее. Простите меня, но опубликованные стихи Тарковского[18] из ахматовского цикла кажутся мне холодными и «не доходят» до меня. Самым лучшим, что было посвящено Ахматовой в поэзии, считаю все посвященные ей стихи Цветаевой[19] и стихотворение Пастернака[20]. Из известных мне стихотворений на смерть Ахматовой очень люблю стихотворение Самойлова[21] и гораздо меньше, но тоже люблю – Смелякова[22].

13. Самый трудный, самый сложный вопрос. Речь идет о человеческих чертах, о чертах Ахматовой – человека. Но для меня, как я ни напрягаюсь, нет Ахматовой – человека. Есть Ахматова – поэт – и только. Я читаю ее стихи, я вспоминаю воспоминания о ней – и ничего не могу увидеть. Я могу предста-

вить себе влюбленного Пушкина, балующегося Пушкина, ревнующего, задумчивого, разъяренного. Я могу представить в жизни любого из любимых поэтов – и нелюбимых тоже: Блока, Есенина. Мне кажется, я все знаю о них, и в этом нет ничего удивительного: они мне сами все о себе рассказали. Ахматова – и это необыкновенно и единственно – всю жизнь рассказывала о себе, говорила от себя – и ничего не открыла в своей жизни. Столько влюбленных признаний, любовных исповедей, но кто может представить за ними живую женщину, возлюбленную, любимую, любящую, капризную, меняющуюся, с какими-то заботами, поступками, поведением? Волшебные, прекрасные, незаменимые строки ограждают от быта, от бега времени, от жизни. Поэт заслоняет человека, не дает увидеть и всмотреться в человеческие черты. Зачем это вам? Зачем вам видеть во мне человека, когда я дарю вам великую и вечную поэзию? Во всех без исключения воспоминаниях сразу же, как самое характерное, как самое первое, оказывается ахматовская царственность. Мария Петровых, которая знала ее лучше многих, говорит об ахматовской кротости[23]. Мне почему-то не очень верится, в стихах я не чувствую этой кротости, но не могу же я не верить Петровых. Значит царственная кротость или кроткая царственность. Но ведь этого так мало, чтоб говорить о чертах человека. Я не знаю о ней главного, была ли она добра? Да, я помню: рассказывают о чуткости к чужому горю, о способности отдать последний и лучший кусок. Но поделиться последним в тяжелое для всех время, быть естественно чуткой, отзывчивой, деликатной – это не доброта, это – другое: интеллигентность, духовность, тонкость, благородство души. Странно было бы, если бы этого не было в великом русском поэте. Все это общие, родовые качества русского интеллигента, русского поэта, аристократа духа. Но была ли она доброй? С друзьями, с любящими, с разлюбленными? Судя по стихам – скорее нет. А какой она была с ними, какой она была в радости, в горе, в домашних хозяйственных трудах, в очередях? Повторяю, столько лирических признаний, личных исповедей – а индивидуального, вот этого человека, Анны Андреевны, со своими странностями, привычками, причудами, нет. Все крупно: Время, Человек, Поэт, Женщина. И, наверное, это и есть главная черта Ахматовой – человека. В этом ее суть, ее единственность, ее неповторимость. Ведь во всех воспоминаниях все вспоминающие говорят больше всего и лучше всего о стихах. Как она пишет стихи, как читает стихи, как вспоминает стихи, как дарит стихи. И то, что вдруг вспомнилось, – сами собой или с помощью друзей, – старые и бесповоротно забытые стихи, сочиненные и не записанные 10, 20, 30 лет назад, бесконечно важнее того, что происходит сейчас на улице, откуда только что [она] пришла, всего того, что было в жизни вчера, было сегодня и будет завтра. Это прекрасно. Мне бесконечно дорога эта черта Ахматовой – человека. Когда я читаю воспоминания о ней, многое в них мне не нравится. Все вспоминатели меньше ее, мельче

ее, и каждый вспоминает в меру своего уровня: это не о ней воспоминания, это их воспоминания о ней. И в этих воспоминаниях я не могу принять многое: мне не нравятся ее вкусы, ее симпатии, ее мнения и суждения. Чаще не нравятся, чем нравятся. Она не любила Чехова, она обожала Пруста. Это ее дело. В некоторых воспоминаниях я чужими глазами вижу в ней неприятное мне дамское, бабье. Бог с ним! Но вот эта основная, главная, безусловная черта, та, о которой я попытался рассказать, бесконечно любима мной, бесконечно дорога мне. Это не целомудрие, не скрытность, это Божий дар. Такой она и была в жизни. Такой хотела быть и осталась в прекрасных, вечных, незаменимых строках. На всю русскую поэзию – одна такая. Мне хорошо и радостно все знать – о моих любимых поэтах как о людях, о Пушкине, о Марине. Мне хорошо и радостно, оттого, что я так много знаю об их жизни, и для меня праздник узнавать о них еще что-то новое, что-то большее. Но я не меньше радуюсь, не меньше благодарен Анне Ахматовой за то, что она – единственная из всех – дала мне знать о себе только то, что есть в ее стихах. Я никогда не узнаю из них, какой же была, как поступала, как вела себя в жизни Анна Андреевна Горенко-Ахматова в период с девятисотых по девятьсот шестидесятые годы, сколько было у нее мужей и любимых и как их звали. Я узнаю из них, как жил, как жила во времени среди Добра и Зла Человек, Женщина, Поэт Анна Ахматова. Завидовать и учиться этому невозможно, но преклоняться перед этим для меня естественно и прекрасно.

НЕКРАСОВСКАЯ АНКЕТА

Печатается по книге «Некрасов вчера и сегодня: Путеводитель по выставке». (М., 1988)

1. Перечитываете ли Вы стихи Некрасова?

Перечитываю. Люблю. Никогда не ставил под сомнение его место среди великих русских поэтов. Вряд ли поверю человеку, который скажет, что он любит русскую литературу и не любит Некрасова. И *все-таки,* если бы я жил во времена Некрасова, я любил бы его больше и он был бы мне нужнее. И *все-таки*, если бы мне надо было назвать самых любимых русских поэтов, я не назвал бы Некрасова. Просто не пришло бы в голову. Думаю, что это случилось бы со многими. Он – какой-то другой поэт. Он – единственный среди великих русских поэтов реалист в самом полном смысле этого слова. Каждое его стихотворение можно переписать, пересказать, объяснить прозой. Это непривычно. Он – реалист и эпик. У него и лирика эпична. У него нет того «романтического», а на самом деле поэтического, лирического безумия, которого требовал от поэзии Фет. Но в этом – и его неповторимость, его особость, его величие в русской поэзии. Более правдивого поэта не было. Когда он пишет, что «хлеб полей, возделанных рабами», нейдет ему впрок, я

представляю его таким, каков он на портрете Крамского, и знаю, что это не стихи, а буквальная правда. И так всегда. Он никогда не лгал в стихах.

2. Можете ли сказать «Мой Некрасов»? Каков он в отличие, скажем, от «нашего» или даже «ихнего»?

Конечно же, у меня есть «мой» Некрасов. Это Некрасов – поэт, т.е. в первую очередь поэт, а не гражданин, не соратник Чернышевского и Добролюбова, влагающий в стихи их идеи, а просто поэт, художник. Самое любимое стихотворение Некрасова – «Зеленый шум». Если бы мне пришлось составлять антологию самых великих русских стихотворений, ограничив их количество, скажем, всего 20, я бы обязательно включил это великое стихотворение. Очень люблю «Тишину», «Крестьянских детей», «Надрывается сердце от муки», «Власа», «Рыцаря на час» и многое, многое другое. И конечно, некрасовский эпос: «Коробейников», «Мороз, Красный нос», гениальное «Кому на Руси жить хорошо». Есть у него отрывок, написанный белыми стихами, называется, кажется, «Детство», от лица женщины. Это тоже, по-моему, великая поэзия. Это не значит, что я не люблю другого Некрасова, скажем, таких поэм, как «О погоде» или «Современники», или таких стихотворений, как «На смерть Шевченко», особенно дорогое мне тем, что оно о моем Шевченко. Но по-настоящему «мой» Некрасов – это Некрасов, в стихах которого есть религиозный свет, дыхание и свет вечности. В тех стихотворениях, которые я назвал, это есть.

3. Многое мучило Некрасова при жизни. Что, на Ваш взгляд, не дает ему покоя на его нынешнем пьедестале? Или он счастлив наконец?

Я не думаю, что Некрасов в настоящее время стоит на каком-то пьедестале, и мне кажется странным, если не бестактным, спрашивать, счастлив ли он, о человеке, хотя бы и великом поэте, давным-давно умершем. Но, если бы покойники могли чувствовать, Некрасов как чуткий к народным страданиям поэт пришел бы в ужас, увидев, что осуществление тех идей, которые, как он верил, принесут освобождение и счастье народу, на самом деле принесло не только новую несвободу и новое горе, но и уничтожение самого народа.

4. Достоевский называл Некрасова загадочным человеком. Существует ли для Вас загадка или тайна Некрасова?

Я не перечитывал, что писал Достоевский о Некрасове, и не помню, почему он называл его загадочным человеком. Скорее всего, речь шла о человеческих качествах, связанных с тяжелой юностью и деловыми способностями. В Некрасове-поэте я, может быть, по своей ограниченности, никаких загадок и тайн не вижу.

5. Одно время Корней Чуковский считал болезненной склонность Некрасова к изображению «мрачных» явлений жизни. Баратынский величал скорбь – животворной. Как Вы относитесь к этим эпитетам?

Ничего болезненного в том, что Божьей милостью поэт откликается на «чужую» боль, на «чужое» горе (а в случае с Некрасовым – на боль и горе подавляющего большинства соотечественников), на зло, на ложь, на несправедливость, я не нахожу. Это абсолютно естественно. Действительно болезненным, и, кажется, в наше время это медицински доказано, было отстранение Фета от больных вопросов своего времени, его раздвоение личности на великого лирического поэта и хозяйственного, делового помещика. Но мне кажется натяжкой как-то «увязывать» или сопоставлять «склонность к изображению мрачных явлений жизни», пресловутую «гражданскую скорбь», социальность Некрасова и философичность Баратынского, его философскую «мировую скорбь». Мы знаем, что Некрасов заново открыл Тютчева, но вряд ли он любил и перечитывал Баратынского. Это очень разные поэты и очень разные люди – и слава Богу! Тем более, что и космическая, философская, мировая скорбь одного и гражданственная, социальная, мирская скорбь другого оказались животворными для русской поэзии. Думаю, что они животворны и для человеческой души.

6. Как Вы понимаете некрасовскую традицию? Существовала ли таковая... до Некрасова? В ком и в чем явлена она сегодня? Что может быть с ней завтра?

Вопрос явно предполагает соединение с именем Некрасова этой способности поэта откликаться на зло и несправедливость жизни, на боль и горе современников, соотечественников, живых людей. Но это неправильно. Это не некрасовская традиция. Это традиция порядочности и благородства. Для меня это, как и все лучшее в русской литературе, традиция пушкинская, традиция «Деревни», «Пророка», «Памятника». Эта пушкинская традиция живет во многих стихах Марины, в «Реквиеме» и «Стрелецкой луне» Ахматовой, в «Душе» Пастернака. И как раз я не слышу ее у поэтов, которые считали себя сами и считаются наследниками и продолжателями некрасовской традиции по видимости, по форме. Ни Твардовский – до последних дней жизни – ни Исаковский, ни Смеляков не откликнулись на боль и горе народа, из которого они вышли, не сказали той правды, которую они обязаны были сказать (потому что, если не они, поэты народа, то, Господи, кто же?). Конечно, «Василий Теркин» – великая книга, но это другое дело. Правду о войне говорить легче, потому что во время войны забываются, снимаются все остальные боли и ужасы. Самое страшное это то, что в том, что именно поэты некрасовской школы, некрасовской традиции оказались неспособны к правде, которую они принесли в жертву идее, я вижу историческую закономерность. Мне кажется, что и сам Некрасов не был способен ко всей правде, к той правде, которую знали Пушкин и Кольцов. Но это уже не для анкеты; это требует додумывания и развития. Пушкинская же традиция правды, тра-

диция возмущения злом и несправедливостью, сочувствия страданию и горю в русской литературе, в том числе и в поэзии русской, прерваться не может.

7. «...Иль нет людей, идущих дальше фразы?»

Я не знаю, что отвечать на этот вопрос.

8. Посылаем Вам ответы известных писателей на анкету Корнея Чуковского. Не располагает ли Вас этот материал – шестидесятилетней давности – к каким-либо размышлениям и заметкам в дополнение к сегодняшней нашей анкете?

Отвечая на вопросы настоящей анкеты, я вероятно, помнил и о той, давнишней.

Март 1986 г. Борис Чичибабин





СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЗИМА В КАХЕТИИ

Где недавно осень пировала
Посреди застольной кутерьмы,
За крутым Гомборским перевалом
Я заслышал шорохи зимы.

Стала тьма протяжней и кромешней.
В этой тьме и повстречали мы
Первый день, нелепый и нездешний,
Закавказской чертовой зимы.

И уже сияет, и сквозит мне,
И грозит метелицей лихой
первый день таинственный и зимний,
Ледяной, звенящий и сухой.

Из России, пахнущей морозом,
Волчьим калом, хвоей и огнем,
Он пришел, как стыд горяч и розов,
Он пришел, и я пишу о нем.

Стоит только пристально вглядеться
В этот день, прозрачный, как стекло,
И увидишь родину и детство,
Все, что было, все, что протекло...

Как бы край наш ни был живописен,
Как бы дома вьюгам ни звучать, –
Мне теперь оттуда даже писем
Не придется больше получать.

Эх, вздохнуть с нечаянной досады,
Свысока плечами повести,
Затянуться крепким самосадом,
В матерщине душу отвести...

Здесь чужие и язык и округ,
Лица женщин, жесты, имена,
И мороз на камнях и на стеклах
Здесь чужие чертит письмена.

Но кого б на свете ни спросили,
Где б судьба ни стлала нам приют,
Всюду зимы пахнут нам Россией
И по-русски вьюги нам поют.

[*1942–1945*]

* * *

То отливая золотом, то ртутью,
А то желта, как старая слюда,
За гранью гор и за метельной мутью
Скользит, журча, куринская вода.

Изборожденной трещинами грудью
К ней берег слег, не причинив вреда,
И, вся сверкая ересью и жутью,
Скользит, журча, куринская вода.

Давным-давно, в минувшие года
Веселый Пушкин брел по сухопутью,
Играя жизнью, заглянул сюда.

Он вкус ее похваливал тогда.
И, памятью горда, под дымной мутью
Скользит, журча, куринская вода.

[*1942–1945*]

* * *

И вот дарован нам привал:
Сидим и почиваем.
Здесь в прошлом Лермонтов бывал,
И мы теперь бываем.

Возможно, этот вот гранит
И этот вот песчаник
О нем предание хранит
В таинственном молчанье...

Однако ж, лютая жара.
Смотрю и вижу еле:
Стоит высокая гора,
Над ней века шумели...

...Трава, желтея и шурша,
Сгорит от зноя скоро...
На той горе лежит Шуша –
Великолепный город.

Как солнцем выжженный скелет,
В колеблющемся зное,
Она белеет на скале
Могильной белизною.

В ее глазницы заглянуть
Лишь звездочкам падучим.
Ах, до нее невесел путь:
Карабкаться по тучам.

Скажи, скажи мне, камень гор,
Единственному в свете,
Не здесь ли Лермонтова взор
По-доброму стал светел...

А на заре иных времян
Кровавым страшным летом
Здесь турки резали армян
По вражеским наветам.

Враги, сердечные, секлись
Калеными клинками,
И кровь с горы бежала вниз
И капала на камень.

[*1942–1945*]

* * *

Вечер в белых звездах был по праву
Обалдело горд самим собой.
Ветер стих, и онемели травы,
Пала пыль на плиты мостовой.

Докурил, и потушил, и сплюнул,
Подошел к окну – и обомлел.
Надвигалась ночь. И лунно-лунно
В этот вечер было на земле.

И таким он был тогда хорошим,
Что мгновеньем стал я дорожить,
Что казалось: как я много прожил, –
Так хотелось мучиться и жить...

Над росою стен Степанакерта
Ночь текла, как музыка и бред.
Горы были вырезаны кем-то
На холодном лунном серебре.

Запахи тропических растений
Растворялись в белой полумгле.
Вперемежку отсветы и тени,
Воплотясь, бродили по земле.

И воспоминанием о детстве –
Бабушкины сказки про зверей –
Плакали шакалы по соседству,
Будто дети плачут у дверей.

Остывали от дневного жара
Плиты улиц. Просыхала грязь.
Под окошком целовалась пара,
Никого на свете не стыдясь.

Он пальто накинул ей на плечи,
Обнимал, на грудь свою клоня...
Я стоял, и я смотрел на вечер,
И они не видели меня.

Отошел, ругнувшись по привычке –
Шепотом, замечу между строк, –
Завернул цигарку, портил спички
О сырой и стертый коробок.

Мне не жаль, я в зависти не чахну,
Не горюю, старчески бубня.
Пусть для них сегодня травы пахнут,
Как когда-то пахли для меня.

Только жаль, что время слишком грузно,
Что ничем не в силах я помочь,
Что когда-нибудь им будет грустно
Вспоминать сегодняшнюю ночь.

[*1942–1945*]

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

1

С чего мне начать и с чего подступиться?
С того ль, что в декабрьскую стужу беда –
влюбиться? С того ль, что бездомною птицей
болтливый мороз на заре щебетал?

С того ль, что прозрачные звонкие латы
одели деревья? С того ль, что сама
в те ночи в серебряном пепле была ты
Снегурочка, Вьюга, Царевна-Зима?

С того ль, что явилась ты славы случайней,
с того ль, что покамест в глазах не темно,
ни людям, ни далям, ни счастью, ни тайне
тебя у меня отобрать не дано?

Ну, как мне подъехать? Ну, как описать
те снежные ночи, что в сердце дымятся?
Причина становится притчей, пейзаж
в насмешку мне странные строит гримасы.

А может быть, будет удобней и проще,
пейзаж и причину отринув к чертям,
опять за тобою бросаться на площадь,
пропащую голову враз очертя?

И громко шептать: Это я, Неизвестный.
Пусть новым Петраркой мне в жизни не быть,
я – юный и гордый, я – чуткий и честный,
попробуй за это меня полюбить.

Трудись и шали, и безумствуй, и празднуй,
пока не сорвусь и пока не паду,
хочу тебя видеть веселой и властной,
куда б ни послала, послушный, пойду.

И снова смешить тебя словом и видом,
и снова смешаться в стотысячный раз,
по хрупкому снегу хрустя деловито,
заглядывать в щелки смеющихся глаз.

И снова, над уханьем вьюги возвысясь,
с заждавшихся губ поцелуи срывать
и нашу короткую нежную близость
еще не придуманным словом назвать.

И снова, напившись почти допьяна
той близостью, в темень врываться с туману,
с воды – и святых Александра и Анну
в веселых молитвах своих поминать.

2

В ресницах твоих – две синих звезды,
а ты смеешься, и ты – со мною.
Белая вьюга в ушах свистит.
Что я скажу про счастье земное?

Взоры твои заблудились во мне,
волосы – ночи весенней темней.
Белая вьюга, как белая птица,
в ноги твои отдыхать садится.

В ресницах твоих – две синих звезды,
голос звучит, как сама поэзия...
Страшно мне говорить Вам «ты»
и целовать в голубом подъезде.

3

Ну, расскажи, ну, каково тебе,
что с камнем шепчется капель?
Не о тебе ль вздыхает оттепель,
и дождь шумит не о тебе ль?

Ну, каково тебе, что́ в лепете
тумана, влаги и тепла
сугробы плещутся, как лебеди,
и в ночь оттаивает мгла?

Скажи сама, чем очарована
зима. С чего, – скажи сама, –
впотьмах под март замаскированный,
декабрь, сводящий всех с ума?

С чего весною пахнут улицы
и ходят слухи о ворах
и безнаказанно целуются
во всех подъездах и дворах?

Мне не в чем лгать и не в чем каяться,
и горечь не с чего срывать,
и в строки странные слагаются
мои случайные слова.

[*1945–1946*]

АННА АХМАТОВА

Нахохлившись, стоит в очередях,
и видно, как над старою авоськой
. . . .
ее лицо, отлитое из воска.
. . . .
Ну вот и все: ни ямбов, ни статей...
Но как взревнуют праведные леди
к трепещущей и строгой простоте
в четверостишья стиснутых трагедий.

[*1946–1948*]

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Какой пассаж:

Со стеклышком в глазу
и с пафосом пророка,
под реквием сестер и реплики папаш,
как будто бы в давно
желанное Марокко,
отправился к чертям
«великолепный паж»...

Туда и дорога!

Я ненавижу Вас,
авантюрист и денди,
«изысканный жираф»,
но и в последний час
не побоюсь сказать,
что, хоть куда ни деньтесь,
мы все ведем свой род от Вас
и через Вас!

[*1946–1948*]

* * *

Что-то мне с недавних пор
на земле тоскуется.
Выйду утречком во двор,
поброжу по улицам,
погляжу со всех дорог,
не видать ли празднества.
Я – веселый скоморох,
мать моя посадница!

Ты не спи, земляк, не спи,
разберись, чем пичкают:
и стихи твои, и спирт –
пополам с водичкою.
Хватит пальцем колупать
в ухе или заднице –
подымайся, голытьба,
мать моя посадница!

Не впервой нам выручать
нашу землю отчую.
Паразитов сгоряча
досыта попотчуем.
Бюрократ и офицер,
спекулянтка-жадница –
всех их купно на прицел,
мать моя посадница!

Пропечи страну дотла,
песня-поножовщина,
чтоб на землю не пришла
новая ежовщина.
Гой ты, мачеха-Москва,
всех обид рассадница:
головою об асфальт,
мать моя посадница!

А расправимся с жульем,
как нам сердцем велено,
то-то ладно заживем
по заветам Ленина!
Я б и жизнь свою отдал
в честь такого празднества,
только будет ли когда,
мать моя посадница?!

1946

* * *

Моей весны последнюю главу
Я в памяти своей перебираю...
Но звуки тают, рифмы удирают
И строки расползаются по шву.

А мгла кружится, мутная, сырая,
К окну прильнет – и меркнет наяву.
...В такие ночи люди умирают.
Зачем же я, дурак, еще живу?

Смотрю во мглу, смотрю на мир сквозь слезы.
Идут с востока проливные грозы,
И ночь хрипит простуженной трубой,

На струнах ливня молнии играют...
...В такие ночи люди умирают...
Но надо жить. И я живу тобой.

[*1946–1951*]

* * *

Я отвык от хорошо одетых женщин,
Пахнущих нездешнею весной.
Светел месяц, путь мой неуменьшен,
Он печален, путь великий мой.

Завтра снова встану по подъему.
Будет дождь: недаром вечер сер.
Все на свете просто и знакомо.
Так о чем задумываться, сэр?

С жизнью я знаком не понаслышке.
У нее колючие рога.
В каждой грозовой тревожной вспышке
Мне ее походка дорога.

Я люблю ее не как платоник,
Как девчонку, мну ее собой,
Удержав навек в своих ладонях
Все, что мне ниспослано судьбой.

По каким ни шляться мне дорогам,
Из каких ни напиваться рек, –
Никогда не быть мне одиноким, –
Потому: веселый человек.

И пока еще заснуть нам рано,
В мире ночь и все мы влюблены,
Подымайте мутные стаканы
За мое здоровье, пацаны.

[*1946–1951*]

КАЙ

Названье будто римское,
О сладостный обычай.
По лесу волки рыскают
За чуемой добычей.

Гуляют девки по лесу,
Галдят у ополонок,
У вод, дыханьем полюса
Певуче опаленных.

Болота да овражины,
Овражины, болота...
А девки те отважные
Еще зовут кого-то.

Свежо березке тоненькой,
Дрожит без полушалка.
В моем дощатом домике
И то ничуть не жарко.

Как будто мыши белые
В моей унылой келье,
У ног по полу бегая,
Шершмя шуршат метели.

Тружусь, читаю Пришвина,
Не плачу, не бушую...
Зачем была ты призвана
На грусть мою большую?

[*1948–1951*]

СЕВЕР

Край родной, лесной, звериный, птичий,
полный красок, светлый от росы,
по тебе немало бродит дичи,
сердце мрет от мощи и красы.

Там – колосья спелые, литые,
тут – лесов колючие рога,
в темных водах зори золотые,
на болотцах пестрые луга.

До людского логова не близко.
Лес под ветром иглами шумит,
не смолкая, смолкою обрызган,
небесами белыми облит.

Низом шелест стелется осенний,
от берез исходит аромат,
и под их благоуханной сенью
отдыхают звери, задремав...

Затрещит валежник под ногами –
запоет в охотнике азарт...
А про ночи белые на Каме –
никому про то не рассказать.

Хорошо от всех рабочих мытарств,
от жары и пыли городской
в этих чащах досвежа умыться
золотой крестьянскою росой.

Я прошел по Северу веселый,
улыбался людям по пути,
полюбил леса его и сёла,
тишину осенних паутин.

И когда состарятся ладони,
и когда, утихнув и сомлев,
оплошает сердце молодое,
отгуляют ноги по земле,

помутятся очи – и шабаш им, –
я последним взором подыму
те озера с плёскотом лебяжьим
и деревья в дреме и дыму...

На земле не жал я и не сеял,
но душа взойдет на небеса,
к Богу в гости, если Юг и Север
хорошо я людям описал.

Не позднее 1952

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОСТОКЕ

Чуть слышно пахнут вяленые дыни.
У голубых и призрачных прудов
поет мошка. В полуденной пустыне
лежат обломки белых городов.

Они легли, отвластвовав и канув,
и ни один судьбой не пощажен,
и бубенцы беспечных караванов
бубнят о счастье мнимом и чужом.

Верблюды входят в сонную деревню –
простых людей бесхитростный приют.
Два раза в год беременны деревья,
плоды желтеют, падают, гниют.

Мир сотворен из запахов и света,
и верю я, их прелестью дыша,
что здесь жила в младенческие лета
моя тысячелетняя душа.

Не позднее 1952

* * *

О человечество мое!
Позволь бездомному вернуться
домой, в старинное жилье,
где все родное, все свое,
где можно лечь и не проснуться,
позволь глубин твоих коснуться,
в твое глухое бытие
душой смиренной окунуться.

Чтоб где-нибудь, пускай на дне,
познать паденья и победы,
ласкать подруг, давать обеты
и знать, что в новом сонме дней
еще шумней, еще мутней
клубятся страсти, зреют беды.

Там, на метельных площадях,
под золотым универмагом,
живет задумчивый чудак,
знакомый Богу и бродягам.
Проголодавшись и устав,
он бредит сладостной добычей:
к его истерзанным устам
струится розовый, девичий
пылающий и нежный стан.

Он знает: сто ночей подряд
одно и то же будет сниться.
Он – солнца сын, он бурям рад,
он проходимец, он мне брат,
но с тем огнем ему не слиться,
но, грозным вызовом заклят,
он поднимает жаркий взгляд
на человеческие лица.
Проходит ночь. Химера длится,
кружится вечный маскарад.

Там отличен бандит и плут,
они сидят у сытых блюд,
они потеют и блюют
и говорят одно и то же,
и тушат свет, и строят рожи,
морализируют и лгут,
и до рассвета стонет Блуд,
полураздавленный на ложе.

А между тем, внизу, вдали, –
чей дух живет в речах невнятных,
чей облик в саже и в пыли,
в рубцах стыда, в бессонных пятнах?
Не девочки, но и не жены,
не мальчики и не мужи,
проходят толпы отверженных,
их души просятся в ножи.

Дела идут, контора пишет,
кассир получку выдает.
Какой еще ты хочешь пищи,
о тело бедное мое?
За юбилеем юбилей

справляй, сутулься и болей,
но сквозь неправые проклятья,
скитаясь в зелени полей,
тверди, упрямый Галилей:
«А все-таки все люди – братья!..»

Так я, песчинка, я, моллюск, –
как ни карайте, ни корите, –
живу, беспечный, и молюсь
святой и нежной Афродите.
В губах таится добрый смех,
и так я рад, и так я светел,
как будто сам родил их всех,
что только есть на белом свете.

Не позднее 1952

СНЕГ НА КРЫШАХ И ВЕРШИНАХ

Ко мне города оборачивались крышами.
Из окон моих даже днями морозными
мне улицы были сырыми и рыжими,
а крыши в снегу – как торт неразрозненный.

Прямо ешь этот снег, соси да похрустывай,
да хрустальные капли роняй на лацканы.
Я помню, я видел, шатаясь по Грузии,
такой же белый, чистый, неласканный.

Внизу он лежит завшивленным рубищем,
а там, рассверкавшись алмазными иглами,
горит по ночам, заменяя любящим
лисицу небес, если та не выглянет.

Его, как корону, на темя воздев, звенеть
любо вершинам, светлеть – румяниться...
А почему он чем выше, тем чище и девственней?
А потому, что люди туда не дотянутся.

Не плюют на него и не мочатся,
не скребут его дворники совками-метелками...
Мне там, на вершинах, замерзнуть хочется
под вечнозелеными елками.

Не позднее 1952

* * *

А! Ты не можешь быть таким, как все, –
вертеться с веком белкой в колесе,

пахать надел, мять молотом металл,
забыв о том, что смолоду летал,

валить леса, где плачет соловей,
да морды бить тому, кто послабей,

да дело знать, да девок обнимать,
да страшным байкам весело внимать?

Не можешь так? Чего ж бы ты хотел?
Низвергнуть плоть? Перелететь предел?

Нет на земле меж городов и сел
того клочка, откуда ты пришел.

Он на звезде, что ты назвал Душой,
а ты везде последний и чужой.

Не хватит в мире горя и тоски,
чтоб ты узнал, как жить не по-людски,

и как роптать, что дал тебе Господь
со дней Адама проклятую плоть.

Мир состоит из женщин и мужчин,
а ты забыл свой мужественный чин.

Им внемлет Бог, как травам среди трав,
а ты меж ними жалок и не прав.

Сокрой свой рай в таилищах лесных
и жизнь отдай за худшего из них.

Пусть светлый дождь зальет твой темный след.
Все остальное – суета сует.

[*Начало 1950-х*]

* * *

Ни черта я не пришелец,
Не страдалец никакой,
Плотью слушал леса шелест,
Запах рек, полей покой.

Воды сонные синели,
Лик румянился земной,
Кошки, птицы, пчелы, ели
Крепко ладили со мной.

В седине и в блеске Север
Обступал меня вокруг,
Он на землю вьюги сеял,
Елки выросли из вьюг.

Я любил плоды и зерна,
Пыль дорог и даль над ней,
В глубине воды озерной
Видеть камушки на дне.

И в хохочущем полете,
Свечи вечера задув,
До зари дышал у плоти
В бело-розовом саду.

Щеки жалил холод зимний,
Были весны хороши.
Заползая под трусы мне,
Копошились мураши.

Я пугал веселых белок,
Нюхал зелень, Берендей,
Капал сок с березок белых,
Тек, липуч, по бороде.

Что мучения, Иосиф?
Что обман очей иных?
Шел я в шелесте колосьев,
Был веселья ученик.

Солнце – брат мой, звезды – сестры.
Хорошо громам под стать
Шумной шуткой, солью острой
Хлеб насущный посыпать.

Чтобы сердце не скудело,
Не седела голова,
Нам давай живое дело,
А не мертвые слова.

Нам побольше пыла, жара,
Чуда жизни, чуда ласк,
Чтобы плоть не оплошала,
Чтобы радость удалась!

Пой, лесная Лорелея,
Низость смерти отрицай,
Что улыбка дуралея
Стоит грусти мудреца.

Не позднее 1952

МОЛОДОСТЬ

1

Ты – неистовая моя
хвала и ругань,
перелистываемая
далеким другом, –

если станет ему невмочь
на белом свете,
то не только беда и ночь –
и ты в ответе.

Чтоб не ладана сладкий дым,
а свет несла б им –
ясным, яростным, молодым,
вовек не слабым.

Чтоб лилась по полям, свежа,
по хлебной рати,
по цехам заводским, служа
добру и правде...

2

Ах, как молодость хороша!
Ах, как молодость знаменита!
Нараспашку – моя душа,
и ничем голова не покрыта.

В изумительных городах
под высоким и чистым небом
я отроду не голодал,
я ни разу печальным не был.

Как ты пахнешь, моя трава!
Как роса над тобою клубима!
Ввек бы взора не отрывал
от смеющихся губ любимой.

Жадно вижу полет земли –
в зорях, в бурях, в румяных звездах.
С добрым утром, друзья мои –
человечества свежий воздух!

Не позднее 1952

* * *

И мне, как всем, на склоне лет дано,
Забыв, как песни вольные поются,
По выходным жену водить в кино,
Копить рубли и обрастать уютцем.

Привыкну пить какао по утрам,
Жирок – ей-ей – появится на морде,
Душа, заснув, излечится от ран,
И за тактичность поднесут мне орден.

И буду жить в уюте и тепле,
И свежий ветер горла не простудит.
Любимых много будет на земле,
Зато друзей не так уж много будет.

Но вдруг, однажды, в собственном авто
Под вечер мчась из города на дачу,
Я вспомню юность, распахну пальто
И – даже очень может быть – заплачу.

Не позднее 1952

* * *

А я не стал ни мстителен, ни грустен,
Люблю веселье, радуюсь друзьям.
По золотым и затхлым захолустьям
Звенит моя блестящая стезя.

За каждый день, что мне судьбой подарен,
За боль потерь, что я на них учусь,
Я, благодарный, жизни благодарен,
И это чувство – лучшее из чувств.

Блаженных крох у жизни не воруя,
Мы с ней корнями свиты и слиты.
За Вашу дружбу жизнь благодарю я,
За чудный праздник Вашей красоты.

Навстречу счастью подыму ресницы,
На братский пир полмира позову.
И ничего во сне мне не приснится:
И ад, и рай – все было наяву.

Не позднее 1954

* * *

Любить, влюбиться – вот беда.
Ну да. Но не бедой ли этой
дух человеческий всегда
пронизан, как лучами – лето?

К лучам стремящийся росток
исполнен творческого зуда.
Любимым быть – и то восторг.
Но полюбить – какое чудо!

Какое счастье – полюбить!
И это счастье, может статься,
совсем не в том, чтоб близким быть,
чтоб не забыть и не расстаться.

Когда полюбишь, то, ища
и удивляясь, ты впервые
даешь названия вещам,
творишь открытья мировые...

Дыши, пока уста слиты!
Не уходи, о дивный свет мой!..
И что за горе, если ты
любви не вызовешь ответной?

Идя, обманутый, во тьму,
ты все отдашь и все простишь ей
хотя б за музыку одну
родившихся четверостиший.

Не позднее 1957

ГЕОРГИЮ КАПУСТИНУ

1

Простые, как бы хрустальные,
до смеху и ласк охочие
хорошие люди – крестьяне,
хорошие люди – рабочие.

Задумчивые на севере
и бешеные на юге,
хорошие люди – все вы,
друзья мои и подруги.

И сад вашей плоти пышен,
и радость в нем бьет ключом...
А мы свои книги пишем,
как воду в ступе толчем.

А мы зато знаем лучше
в дни боя и в ночи ласк,
что главная революция
на свете не началась.

До старости не остынем,
до смерти душа юна,
пылающим и настырным
не будет покою нам.

Не будет нам крова в Харькове,
где с боем часы стенные, –
а будет нам кровохарканье,
вражда и неврастения.

Неприбранных и неизданных,
с дурацкой мечтой о чу́де,
нас скоро прогонят из дому.
Мы – очень плохие люди.

2

Дружище Жорка,
поэт Капустин!
Какого черта
ты зол и грустен,
тяжел от жёлчи,
болтлив, издерган?..

А ты – позорче,
а ты – с восторгом –
на даль, на близь ли
хоть лет, хоть весен,
как солнце брызнет
сквозь бронзу сосен,
и вздрогнет встречный
от ветра всхлипа,
и в сонной речке
проснется рыба,
и, куртки скинув,
ряба от пота,
нагие спины
нагнет работа,
и, выйдя в сенцы
с лукавым жестом,
повеет в сердце
ночным и женским.
Задышут травы,
заплещут воды.
Слова корявы
в ушах природы.
Попробуй, молви,
чудес искатель,
о блеске молний,
о лете капель.
По лесу лазить,
на лодке мчаться, –
ведь ты ж согласен,
что это счастье.
Взгляни-ка зорко
под каждый кустик,
дружище Жорка,
поэт Капустин.
До зорь по рощам
броди и топай,
будь прост и прочен,
как дуб и тополь.
Уж если есть нам
чему молиться,
то птичьим песням
в лесах смолистых.

Октябрь 1959

* * *

Не то добро, что я стихом
дышу и мыслю с детства, то бишь
считаю сущим пустяком
все то, что ты, вздыхая, копишь.

Не то добро, что, опознав
в захожем госте однодумца,
готов за спором допоздна
развеселиться иль надуться.

Не то добро, что эта дурь,
что этот дар блажен и долог,
что и в аду не отойду
от книжных тумбочек и полок.

И если даже – все в свой час –
навеки выскажусь, неведом,
строкой случайной засветясь, –
добро опять-таки не в этом.

Добро – что в поле под лучом,
на реках, душу веселящих,
я рос, ничем не отличен
от земляков ли, от землячек.

Что – хоть и холоден очаг,
что, хоть и слова молвить не с кем, –
а до сих пор в моих вещах
смеется галстук пионерский.

Что в жизни, начатой с азов,
с трубы, с костра, с лесного хруста,
не токмо Пришвин и Бажов
меня учили речи русской.

Что, весь – косматой плоти ком,
от бед бесчисленных не хныча,
дышал рекой, как плотогон,
смолой и солнцем – как лесничий.

Что, травы горькие грызя,
и сам горячий, как трава, я
в большие женские глаза
смотрел, своих не отрывая.

Что, вечно весел и здоров
(желая всем того ж здоровья),
не терся у чужих столов я
и не выклянчивал даров.

Что, всей душой служа одной,
о коей сызмала хлопочем,
я был не раз и буду вновь
ее солдатом и рабочим.

Конец 1950-х

АВТОБИОГРАФИЯ

Поэты были
большие, лучшие.
Одних – убили,
других – замучили.

Их стих богатый,
во взорах молнии.
А я – бухгалтер,
чтоб вы запомнили.

В гурьбе горластых –
на бой, на исповедь, –
мой алый галстук
пылал неистово.

Побит, залатан,
шального норова,
служил солдатом,
работал здорово.

Тружусь послушно,
не лезу в графы я.
Тюрьма да служба –
вся биография.

И стало тошно –
стара история –
страдать за то, что
страды не стоило.

Когда томятся
рабы под стражею,
какой кто нации,
у них не спрашиваю.

Сам с той же свитой
в безбожном гулеве
брожу, от Свифта
сбежавший Гулливер.

Идут на убыль
перчинки юмора,
смеются губы,
а сердце умерло...

Пиша отчеты,
рифмуя впроголодь,
какого черта
читать вам проповедь?

Люблю веселых
да песни пестую,
типичный олух
царя небесного.

За счастье, люди!
Поднимем – сбудется.
За всех, кто любит!
За всех, кто трудится!

Начало 1960-х

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

1

Тридцатые годы, как вешние воды, –
раздолье для мыслей и чувств.
Страна моя строит полки и заводы,
а я еще в школе учусь.

А я на уроках девчонок щипаю,
в леса убегаю босым.
Мне душу тревожат бесстрашный Чапаев,
веселый подпольщик Максим.

Великая Родина вся под парами,
по рельсам составы гремят,
в сибирской тайге и на древнем Урале
возводятся стены громад.

И детскому сердцу, как праздник, отраден
дороги волнующий дым.
На школьном дворе ль, в пионерском отряде ль
никто из нас не был один.

Еще улыбаются веку и людям
и Постышев, и Косиор...
Мы – летом в палатках. Мы Ленина любим.
И я зажигаю костер...

2

Тридцатые годы – как воды в разливе.
Советская власть молода.
В бараках живет половина России
и строит себе города.

На полюсе белом знамена алеют,
и летчики в небе парят,
и Горький стоит на крыле Мавзолея
и смотрит на майский парад.

Мальчишечьи годы проносятся быстро.
Сады обрастают листвой.
Красавица города Ира Цехмистро
терзает мое существо...

Октябрьская буря! О как нам легко с ней!
О как ее слава свята!
И в жизнь нашу входит трибун Маяковский,
оставшийся в ней навсегда...

О если б добро и кончалось добром бы!..
Пока мы свой мир узнаем,
герр Гитлер готовит гремучие бомбы.
И – точка на детстве моем.

3

Тридцатые годы – весенние воды,
веселый набат вечевой.
Нас учат, что в жизни дороже свободы
и Родины нет ничего.

Над Азией – гулы военного грома,
старушка Европа мудрит,
и небо Мадрида темно и багрово,
врагу не сдается Мадрид.

Испания снится седым ветеранам
и грезится школьным дворам.
О, как по душе приходилось вчера нам
испанское «No pasaran!»

А мы никакому не верим подвоху,
какой бы ни вышел подвох,
и знаем, что делают нашу эпоху
не царь, не герой и не Бог.

Красавица города Ира Цехмистро
сквозь юность мою пронеслась,
но алого жара хоть малая искра
в душе у любого из нас...

Мы трудимся летом в колхозах подшефных,
и стих закипает во мне,
и я обнимаю друзей задушевных,
которых убьют на войне.

[*1960-е*]

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭРЕНБУРГЕ

От нечестивых отмолчится,
а вопрошающих научит
Илья Григорьевич, мальчишка,
всему великому попутчик.

Ему, как пращуру, пращу бы –
и уши ветром просвистите.
Им век до веточки прощупан,
он – озорник и просветитель.

Чтоб не совела чайка-совесть,
к необычайному готовясь,
чтоб распознать ихтиозавра
в заре светающего завтра.

Седьмой десяток за плечами,
его и жгли и запрещали,
а он, седой, все так же молод –
и ничего ему не могут.

Ему сопутствуют, как видно,
едва лишь путь его начался,
любовь мазил и вундеркиндов
и подозрительность начальства.

Хоть век немало крови попил,
а у жасмина нежен стебель,
и струйки зыблются, и тепел
из трубки высыпанный пепел.

И мудрость хрупкая хранится,
еще не понятая всеми,
в тех разношерстных, чьи страницы
переворачивает время.

И чувство некое шестое
вбирает мира темный трепет.
Он знает более, чем стоит,
и проговариваться дрейфит.

Я все грехи его отрину
и не презрю их по-пустому
за то, что помнит он Марину
и верен свету золотому.

Таимой грустью воспаривши
в своем всезнанье одиноком,
легко ли помнить о Париже
у хмурого Кремля под боком?

Чего не вытерпит бумага!
Но клятвы юности исполнит
угомонившийся бродяга,
мечтатель, Соловей-разбойник.

Сперва поэт, потом прозаик,
неистов, мудр, великолепен,
он собирает и бросает,
с ним говорят Эйнштейн и Ленин.

Он помнит столько погребенных
и, озарен багряным полднем,
до барабанных перепонок
тревогой века переполнен.

Не знаю, верит ли он в Бога,
но я люблю такие лица –
они святы, как синагога.
Мы с ним смогли б договориться.

1960

ПУШКИН – ОДИН

А личина одна у добра и у лиха,
все живое во грех влюблено, –
столько было всего у России великой,
что и помнить про то мудрено.

Счесть ли храмы святые, прохлады лесные,
Грусть и боль неотпетых гробов?
Только Пушкин один да один у России –
ее вера, надежда, любовь.

Она помнит его светолётную поступь
и влюбленность небесную глаз,
и, когда он вошел в ее землю и воздух,
в его облик она облеклась.

А и смуты на ней, и дела воровские,
и раздолье по ним воронью, –
только Пушкин один да один у России –
мера жизни в безмерном краю.

Он, как солнце над ней, несходим и нетленен,
и, какой бы буран ни подул,
мы берем его там и душою светлеем,
укрепляясь от пушкинских дум.
В наши сны, деревенские и городские,
пробираются мраки со дна, –
только Пушкин один да один у России,
как Россия на свете одна.

Так давайте доверимся пушкинским чарам,
сохраним человечности свет,
и да сбудутся в мире, как нам обещал он,
Божий образ и Божий завет.
Обернутся сказаньем обиды людские
на восходе всемирного дня, –
только Пушкин один да один у России,
как одна лишь душа у меня.

[*1960, 1990*]

ГАРМОНИЯ

Гармония бывает разная.
Еще чуть-чуть пожившим мальчиком
я знал, что знамя наше – красное,
что жизнь добра, а даль заманчива.

С тех пор со мной бывало всякое –
бросало в жаркое и в зябкое,
вражда не отличалась логикой,
да и любовь была не легенькой...

Сказать ли пару слов об органах?
Я тоже был в числе оболганных,
сидел в тюрьме, ишачил в лагере,
по мне глаза девчачьи плакали.

Но, революцией обучен,
смотрел в глаза ей, не мигая,
не усомнился в нашем будущем
и настоящего не хаял.

Пусть будет все светло и зелено.
Ведь, если солнце и за тучами,
его жара в росе рассеяна,
в осанке женщины задумчивой,

в чаду очей, что сердцем знаемы,
в ознобе страсти, в шуме лиственном,
ну, и, конечно, в нашем знамени,
в том самом, ленинском, единственном.

Я знаю в ранах толк и в лакомствах,
и труд, и зори озорные.
О нет, на жизнь не стоит плакаться,
покуда в землю не зарыли.

В беде и в радости ни разу я
доспехи не таскал картонные.
Гармония бывает разная.
Я выстрадал тебя, Гармония.

[*1962–1965*]

НА СУМЕРЕЧНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

В вечерний час на сумеречной лестнице
стою, плечом о стенку опершись.
Где был – там нет. По лестнице не лезется.
В кармане руки. Злобен и ершист.

Ну что, приятель? – думаю. – Держись.
Все трын-трава, пусть сердце перебесится.
А на душе – хоть в пропасть, хоть повеситься.
Ночь, никого – и лестница. Эх, жизнь!

Ни добрых слов, ни красного денька.
Все – ничего, водилась бы деньга.
Была б деньга – пожить бы хоть с полмесяца.

Найти б себя, поверить бы другим.
Смертельно грустно, как там ни прикинь,
в вечерний час на сумеречной лестнице.

1960-е

* * *

Зову тебя, не размыкая губ:
– Ау, Лаура!..
Куда ни скажешь, в пекло и в тайгу
пойду понуро.

Мне свет твой снится в дымке снеговой,
текуч и четок.
Я никогда, нигде и никого
не звал еще так.

Давным-давно, веселый и земной,
я верил в чудо,
но разминулось милое со мной.
Мне очень худо.

И не страшна морская круговерть,
не дорог берег.
Не на крутых камнях я встречу смерть,
а в добрых дебрях.

Исполню все, чего захочешь ты,
правдив и целен,
хоть наши судьбы розны и чужды,
как юг и север.

Прими ж привет от бывшего шута
и балагура.
И пусть звучит у времени в ушах:
– Ау, Лаура!..

[*1962*]

* * *

Сколько б ни бродилось, ни трепалось, –
а, поди, ведь бродится давно, –
от тебя, гремящая реальность,
никуда уйти мне не дано.

Что гадать: моя ли, не моя ли?
Без тебя я немощен и нищ.
Ты ж трепещешь мокрыми морями
и лесными чащами шумишь.

И опять берешь меня всего ты,
в синеве речной прополоскав,
и зовешь на звонкие заводы,
и звенишь – колдуешь в колосках.

Твой я воин, жаден и вынослив.
Ты –моя осмысленная страсть.
Запахи запихиваю в ноздри,
краски все хочу твои украсть.

Среди бед и радостей внезапных,
на пирах и даже у могил
не ютился я в воздушных замках
и о вечной жизни не молил.

Жить хочу, трудясь и зубоскаля,
роясь в росах, инеем пыля.
Длись подольше, смена заводская,
свет вечерний, добрые поля.

Ну, а старость плечи мне отдавит,
гнета весен сердцем не снесу, –
не пишите, черти, эпитафий,
положите желудем в лесу.

Не впаду ни в панику, ни в ересь.
Соль твоя горит в моей крови.
В плоть мою, как бешеные, въелись
ароматы терпкие твои.

Ну так падай грозами под окна,
кровь морозь дыханием «марусь», –
все равно, покуда не подохну,
до конца, хоть ты мне и не догма,
я тебе – малюсенький – молюсь.

Не позднее 1965

* * *

Я по тебе грущу, духовность,
не робот я и не злодей,
тебе ж, духовность, охо-хо в нас,
и ты уходишь из людей.

Весь Божий свет сегодня свихнут,
и в нем поэзия одна,
как утешение и выход,
слепому времени дана.

Да не разнюхает начальник,
а и, разнюхав, не поймет,
о чем очей ее печальных
над повседневностью полет!

Эй, кто не свиньи и не волки,
кто держит небо на плечах,
давайте выпьем рюмку водки
за землю в травах и лучах,

за моря плеск и счет кукушкин,
за человеческую честь,
за то, что есть у сирых Пушкин
и Мандельштам у кротких есть!

Се аз храню на свете белом
свободных лириков союз,
не покорюсь грядущим бедам,
грядущей лжи не убоюсь.

Берите впрок мои тетрадки:
я весь добра и света весть,
не потому, что все в порядке,
а потому, что в мире есть
ПОЭЗИЯ.

[*1965*]

МОЛИТВА

Не подари мне легкой доли,
в дороге друга, сна в ночи.
Сожги мозолями ладони,
к утратам сердце приучи.

Доколе длится время злое,
да буду хвор и неимущ.
Дай задохнуться в диком зное,
веселой замятью замучь.

И отдели меня от подлых,
и дай мне горечи в любви,
и в час, назначенный на подвиг,
прощенного благослови.

Не поскупись на холод ссылок
и мрак отринутых страстей,
но дай исполнить все, что в силах,
но душу по миру рассей.

Когда ж умаюсь и остыну,
сними заклятие с меня
и защити мою щетину
от неразумного огня.

[*1963–1964*]

СЕРЕДИНА ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Я за участь свою ни слезы не пролью –
все, что есть, за Россию прольются.
Я крамолу кую в том безмерном краю,
на горючей земле революций.
От небренных ее октябрей и маёв
проложилась багряная веха
через сердце твое, через сердце мое –
середина Двадцатого века.

Я рожден в том аду в двадцать третьем году
и не в книгах прочел про такое,
а живу на виду, позовете – приду:
наши судьбы в одном протоколе.
Нам досталась одна то ль беда, то ль вина –

лжи державной соблазн и опека,
зоревая волна, мировая война –
середина Двадцатого века.

Сколько зим, сколько лет мы за павшими вслед!
Ложь и зло разбиваются об век –
ни тирана портрет, ни урановый бред
не затмят человеческий облик.
Людям горе сулит лютый антисемит
и судьбу проклинает калека,
но горит и звенит моей жизни зенит –
середина Двадцатого века.

Я, как с судна на бал, – в яркий сумрак попал,
а и я в нем сумел пригодиться,
и мой дух не упал от разрух и опал,
от опричников и проходимцев.
Пусть приходит за мной несвобода с сумой –
я в обиду не дам человека:
у меня за спиной – синий шарик земной,
середина Двадцатого века.

Начало 1960-х

ТАРАС

От стихов безликих ум зашел за разум,
а поэта жребий темен и тяжел.
Я призванье наше меряю Тарасом,
справедливей меры в мире не нашел.

Из тюрьмы Лубянской, из тенет застенка
возносили дух мой Гете и Бодлер,
только самый кровный был один Шевченко –
мне огонь и посох, образ и пример.

Над хромым шедевром млея от восторга,
парой парадоксов кто не козырял?
Ну, а ноздри жгло вам воздухом Востока,
а тюрьмою был вам душный Кос-Арал?

А плетьми вас драли панские сатрапы,
а случалось много ль в детстве голодать?
А за край свой ридный, за поля, за травы
на распятье душу сможете отдать?

Рифмачей продажных, Господи, отринь их!
Я ж воочью знаю, сам изведал встарь,
как в селянских хатах, в заповедных скрынях
с Библией хранился дедовский «Кобзарь».

В небе Украины шапки его клочья,
горем всех народов волос побелен.
Не поэт в крылатке, а холопский хлопчик
мыкался по свету вечным бобылем.

И, бунтарским духом высветлен и тепел,
над примолкшим станом хряков и проныр
в землю врос корнями, как могучий тополь,
молнии возмездья с неба обронил.

Тысячи вельможных шишек и каналий –
царь и шаромыжник, пентюх и фискал –
за прямую правду гения гоняли
по тюремным дырам, по сухим пескам.

Но не дался тлену, ни душевной травме –
в оттепели звонкой, в свежести лесной
с марта и до мая, с березня до травня
шествует Шевченко грянувшей весной.

Судится мятежно с панством окаянным,
словом путеводным побеждает тьму,
и народ рабочий аж за океаном
кланяется земно батьку своему.

Время – гордым думам, время – добрым чувствам
воплощаться в дело, праздником дарясь.
Поплывем, громада, морем Кременчугским
до горы Чернечей, где лежит Тарас.

Светом его сердца вся земля повита,
жаром его мысли мир весь озарен,
слышат все народы строфы «Заповита»,
головы склоняя перед Кобзарем.

[*1964, 1990-е*]

* * *

Не мучусь по тебе, а праздную тебя.
И счастья не стыжусь, и горечи не помню.
Так вольно и свежо, так чисто и легко мне
смотреть на белый свет, воистину любя.

За радостью печаль – одной дороги звенья.
Не слышимый никем, я говорю с тобой.
В отчаянье и тьме я долго жил слепой
и праздную тебя, как празднуют прозренье.

Туманы и дожди над городом клубя,
осенняя пора ничуть не виновата,
что в сердце у меня так солнечно и свято.
Как чудо и весну, я праздную тебя.

У милой лучше всех и волосы, и губы,
но близостью иной близки с тобою мы.
Я праздную тебя. Вновь помыслы юны –
сверкают, и кипят, и не идут на убыль.

Я праздную тебя, и в имени твоем
я славлю холод зорь, и звон бездольных иволг,
и вязкий воздух рощ, так жалобно красивых.
В назойливых дождях твой облик растворен.

Теперь не страшно мне, что встречи той случайной
могло бы и не быть. Врагов моих злобя,
как дивные стихи, я праздную тебя
и в нежной глубине храню свой праздник тайный.

Конька моей души над бедами дыбя,
я буду долго жить, пока ты есть и помнишь.
Ликую и смеюсь, спешу добру на помощь.
На свете горя нет. Я праздную тебя.

[*1967*]

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Изрезан росписью морщин,
со лжою спорит Солженицын.
Идет свистеж по заграницам,
а мы обугленно молчим.

И думаем: «На то и гений,
чтоб быть орудием добра, –
и слава пастырю пера,
не убоявшуся гонений!..»

В ночи слова теряют вес,
но чин писателя в России
за полстолетия впервые
он возвеличил до небес.

Чего еще ему бояться,
чьи книги в сейфах заперты,
кто стал опорой доброты
и ратником яснополянца,

кто, сроки жизни сократив,
раздавши душу без отдарства,
один за всех – на государство,
казенной воле супротив?

Упырствуют? А ты упорствуй
с ошметком вольности в горсти
и дружбой правнуков сласти
свой хлеб пророческий и черствый.

Лишь об одном тебя молю
в пылу, боюсь, что запоздалом:
не поддавайся русохвалам,
на лесть гораздым во хмелю.

Не унимайся, сын землицын,
во лбы волнение вожги!
В Кремле артачатся вожди.
Творит в Рязани Солженицын.

И то беда, а не просчет,
что в скором времени навряд ли
слова, что бременем набрякли,
Иван Денисович прочтет.

[*1969*]

СОЖАЛЕНИЕ

Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев –
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.

Мне жаль их пышных дней
и суетной удачи:
их сущность тем бедней,
чем видимость богаче.

Их сок ушел в песок,
чтоб, к веку приспособясь,
за лакомый кусок
отдать талант и совесть.

Их светом стала тьма,
их ладом стала заметь,
но им палач – сама
тревожливая память.

Кто знает, сколько раз,
возвышенность утратив,
в них юность отреклась
от воздуха и братьев.

Как страшно быть шутом
на всенародных сценах –
и вызывать потом
безвинно убиенных.

В них роскошь языка –
натаска водолея –
судила свысока
Платонова Андрея.

(О нем, чей путь тернист,
за чаркою растаяв,
«Какой же он стилист?» –
обмолвился Катаев.)

Мне жаль их все равно.
Вся мера их таланта –
известная давно
словесная баланда.

Им жарко от наград,
но вид у них отечен,
и щеки их горят
от призрачных пощечин.

Безжизненные пни,
разляписто-убоги,
воистину они –
знамение эпохи...

Я слезы лью о двух,
но всем им нет предела,
чей разложился дух
скорей, чем плоть истлела

и умерло Лицо,
себя не узнавая,
под трупною ленцой
льстеца и краснобая.

[*1969*]

* * *

Жизнь кому сыто, кому решето, –
всех не помилуешь.
В осыпь всеобщую Вас-то за что,
Осип Эмильевич?..

1969

* * *

Стою за правду в меру сил,
да не падет пред ложью ниц она.
Как одиноко на Руси
без Галича и Солженицына.

1974

ИЗ СОНЕТОВ ЛЮБИМОЙ

* * *

За чашей бед вкусил и чашу срама.
Я жил на воле, нем и безымян.
У ног моих раскручивалась яма,
и дни мои засасывал туман.

Пятнадцать лет тянулся мой роман
с идеей лживой. Жалко и упрямо
я мнил себя привратником у храма,
чей бог – вражда, насилье и обман.

Пятнадцать лет я веровал в народ,
забыв про то, что он ворует, врет,
стращает жизнью нищенски-утробной.

Был стыд прозренья вызовом судьбе,
и я, не смея думать о тебе,
живой молил о милости загробной.

* * *

А ты в то время девочкой в Сибири
жила – в тайге под Томском – за семью
ветрами – там, куда еще четыре
военных года заперли семью.

Едва оставив школьную скамью,
ты всей душой прислушивалась к шири,
но лиственницам темным, а не лире
несла тайком застенчивость свою.

Никто не знал про тайную печать,
зачем ты любишь думать и мечтать,
в кругу друзей грустишь, а не хохочешь.

И все тебе в те годы нипочем:
бродить в горах, ладони жечь мячом
и в поездах лететь, куда захочешь.

* * *

Иду на зов. Не спрашивай откуда.
На сердце соль. Тропа темна, трудна.
Но, если жар, ты и в аду остуда,
а близ тебя и смерть не холодна.

Ты в снах любви, как лебедь, белогруда,
но и слепым душа в тебе видна.
Все женщины прекрасны. Ты одна
божественна и вся добро и чудо,

как свет и высь. Я рвусь к тебе со дна.
Все женщины для мига. Ты одна
для вечности. Лицо твое на фресках.

Ты веришь в жизнь, как зверь или цветок,
но как духовен каждый завиток,
любовь моя, твоих волос библейских.

* * *

Тебе в то лето снилась Лорелея,
и боль настигла, по сердцу скребя,
когда, безумным личиком мертвея,
звала отца, об умершем скорбя.

Земля Сибири приняла в себя
всю грусть и жалость пасынка-еврея,
телесный прах сугробинками грея
и о душе метелицей трубя.

Преодолевши материну нехоть,
ты в дальний путь заторопилась ехать,
сменив на риск сиротское жилье.

В те дни мы были оба одиноки,
но я не знал, что ты уже в дороге,
уже в пути спасение мое.

* * *

Не встряну в зло, не струшу, не солгу.
Есть карточка, где ты в горах на юге...
Учи меня мучительной науке,
как сладко быть у губ твоих в долгу.

Мне трын-трава проказы и разлуки,
но я забыть до смерти не смогу,
как ты, раскинув ласковые руки,
лежишь, как жар, нагая на снегу.

В любовной выси облачком соблазна.
И, если ты с влюбленным не согласна,
прости восторг, за радость не гневись,

и я, прощенный, нежностью наполнюсь.
В тебе ж, как сестры милые, духовность
и чувственность, грудь с грудью, обнялись.

* * *

И мы укрылись от сует мирских
в скитах любви, где нежность – настоятель,
где ты, прижавшись, в небе ли, в объятье ль,
плыла сквозь жар в завороженный стих…

Вот сон другой: мы были в мастерских
у Эрнста Неизвестного. Ваятель
был с нами прост, как давнишний приятель,
но Бог дышал в мироподобьях сих.

И здесь был дух деянию опорой.
Не знали мы, ни день, ни час который,
и вышли в мир с величием в крови.

А там Москва металась и вопила,
там жизнь текла, которой сроду было
не до искусства и не до любви.

* * *

Эрнст Неизвестный, будь вам зло во благо!
Моя ж хвала темна и бестолкова.
В сведенных мукой скалах Карадага
был тот же мрак, такая же Голгофа.

Кричат, как люди, глина и бумага,
крылатый камень обретает слово,
и нам, немым, вдвойне нужна отвага
живьем вдышаться в гения живого.

В его мозгу, что так похож на Дантов,
болят миры, клубится бой гигантов.
Биндюжник Бога, вечный работяга,

один как перст над ширью шквальной дали,
скажите, Эрнст, не вы ли изваяли
из лавы ада чудищ Карадага?

* * *

Какая ты – не ведает никто:
твои наряды жалки и случайны.
Ни волшебства, ни прелести, ни тайны
не распознать под стареньким пальто.

И так всю жизнь, и где ни обитай мы,
для благ земных дыряво решето.
Но без одежд, о, светлая, зато
как все черты твои необычайны.

Очей и губ святыня и услада,
кем любовалась мудрая Эллада,
чья чара ласк для нежных налита,

любовь бездомных, ласточка надежды,
когда в раю с нее сняты одежды,
о, как твоя ликует нагота!

* * *

В чем нет души, не может быть прекрасно.
Я весь в долгу у рук твоих, у рта.
Про чары зла слепцы твердят напрасно,
я в силу их не верил никогда.

О, как свята Эллады нагота,
с добром в ладу и с истиной согласна,
что и в лукавой прелести соблазна,
как белый Бог, нетленностью горда.

Тот светлый хмель окутал облик твой.
Он веет небом, травами, Литвой,
в нем дремлет рек высокогорный рокот.

И больно мне, и эта боль сладка.
Ты – Мандельштама лучшая строка
в тетради той, что отыскать не могут.

* * *

Услышь мое заветное условье.
Когда умру, зарой мой прах в глуби
моей Руси, где гульбища коровьи,
где небо землю молит «Не убий».

Поэтов русских помни и люби,
клади их сны в ночное изголовье, –
они полны духовного здоровья,
как русский лес и лето на Оби.

Храни наш рай во свете и в тиши,
но то, что есть, былым не заглуши
и новых дружб тоской не охлади ты.

Люби живых, с кем жизнь тебя свела,
и будь сама любима и светла,
с душой Христа и телом Афродиты.

* * *

Издавнилось понятье «патриот».
Кто б не служил России, как богине,
и кто б души не отдал за народ?
Да нет ни той, ни этого в помине.

Прошли как жизнь. Дурак о них не врет.
Колокола кладбищенской полыни
поют им вслед, печалясь, как о Риме,
грустит турист у вырытых ворот.

Народ – отец нам и Россия – мать,
но их в толпе безликой не узнать,
черты их стерлись у безродной черни.

Вот что болит, вот наша боль о чем, –
к моей груди прильнувшая плечом, –
а время все погромней, все пещерней.

* * *

Когда уйдешь, – а рано или поздно
ведь ты уйдешь, затем что молода,
затем что рощи никнут в холода
и сухомять расшатывает десна, –

душа пребудет памятью горда,
и пусть проходит чисто и бесслезно
тех лет осиротелых череда,
что нам дано прожить с тобою розно.

О, будь счастливой в жизни без меня!
Возьми на память эти письмена,
что в дни любви душа моя кропала.

Как все живое – воду и зарю,
за все, за все тебя благодарю,
целую землю там, где ты ступала.

[*1969–1975*]

ГЕНРИХУ АЛТУНЯНУ

I

Стоит у меня на буфете
над скопищем чашек и блюд
с тоской об утраченном свете
стеклянный ногастик – верблюд.

– Скажи мне, верблюдик стеклянный,
с чего ты горюешь один?
– С того, что пришел я так рано
на праздник твоих именин.

Твой брат, что меня приготовил,
со мною к тебе не пришел.
Еще я от рук его тепел,
да крест его крив и тяжел.

– Мой бедный стеклянный верблюдик,
зачем ты не рад ничему?
– Затем, что любимый твой братик
попал вместо пира в тюрьму.

Меня сотворили двугорбым
накапливать умственный жир,
а он был веселым и гордым
и с детства по-рыцарски жил.

Его от людей оторвали
и потчуют хлебом с водой,
а он, когда вы пировали,
всегда был у вас тамадой.

Какое больное мученье,
какая горбатая ложь,
что вот он сидит в заточенье,
а ты на свободе живешь...

Выслушивать жалобу эту
не к радости и не к добру,
и я подбегаю к буфету,
верблюдика в руки беру.

Каким ты был добрым, верблюдик,
и как оказался суров!..
Затем, что уже не вернуть их,
мне грустно от сказанных слов.

И он своей грусти не прячет,
и стены надолго вберут
те слезы, которыми плачет
стеклянный сиротка – верблюд.

II

У нас, как будто так и надо,
коли не раб ты,
платись семью кругами ада
за каплю правды.

Теперь не скоро в путь обратный
из н е т и круглой.
Прости, прости мне, лучший брат мой,
прости мне, друг мой.

Придется ль мне о днях ненастных
твой лоб взъерошить?
Где меч твой, рыцарь курам на смех,
где твоя лошадь?

Уж ты-то, гордый, не промямлишь,
что ты не молод.
А праведниками тремя лишь
спасется город!

III

А знать не знаю ничего я:
беда незряча.
Возможно ли, чтоб дом героя
стал домом плача?

Ах, Дон Кихоту много ль счастья
сидеть на месте
и не смешно ли огорчаться,
что он в отъезде?

Отравы мерзостной и гадкой
хлебнув до донца,
ужель мы чаяли, что как-то
все обойдется?

Пока живем, как при Батые,
при свежей крови,
как есть пророки и святые,
так есть герои.

IV

Когда наш облик злом изломан
и ложь нас гложет,
на то и рыцарь, что рабом он
пребыть не может.

Что я рабом, измучась, рухну
в пустыне смрадной,
прости, прости мне, лучший друг мой,
прости мне, брат мой...

Вся горечь выпитой им чары
пойдет в добро нам.
Годны быть лагерные нары
Христовым троном!

Хоть там не больно покемаришь
без муз и граций,
но праведниками тремя лишь
спасется град сей!

[*1980*]

ЛЕСЯ В ЯЛТЕ

Солгали греки, заповедав
«здоровый дух в здоровом теле», –
а в мире не было поэтов,
покамест люди не болели.

И затвердившим с детства сгусток
и перл языческой морали
где брать пророков златоустых,
когда б страдальцы не хворали...

На краткий срок на диких скалах,
горюя осторонь от мира,
сложила два крыла усталых
над синью волн сестра Шекспира –

больная женщина с Волыни.
Ей даль нашлась и отозвалась,
где горечь хвои и полыни
с морскою музыкой мешалась...

В Крыму ютились караимы,
заблуды-греки и татары,
туда ж слетались побратимы
на звон студенческой гитары.

И дальний гул казацкой славы,
как будто дань добру и силе,
его кустарники и травы
в своем дыханье доносили.

С зеленых гор сползала дымка,
сияло море отовсюду,
и чутко Леся Украинка
сквозь боль прислушивалась к чуду.

В краю, где Пушкин и Мицкевич
лучились музыкой недавней,
ее застенчивая девичь
цветком таинственным цвела в ней.

Распятая туберкулезом,
от волн ждала добра и лада
и кротко радовалась лозам
налившегося винограда.

Но, как цветы на сеновале,
у чатырдагского подножья
заброшенная сыновьями
лежала слава запорожья.

И сердце задыхалось в полночь,
рвалось на родину немую:
«Зачем зовешь меня на помощь?
Тебя ль в судьбе моей миную?

Я тем горжусь, интеллигентка,
что с детства девочкой степною
живу заветами Шевченко
и кровной близостью с тобою».

В ней пел напев, как степь, широкий,
стих возникал, певуч и четок.
В любви рождались эти строки,
и только любящий прочтет их.

Полям Волыни и Подолья
неслись в ночи ее молебны.
Во славу русского подполья
плела венок великолепный...

А мир был свеж, а жар был жесток,
и Крым был временной нирваной
для нервных ран, а самый воздух
шептал о вольности желанной.

Когда поэты занесутся
в своей провидческой замашке,
их почитают за безумцев
и запирают в каталажки.

Но Бог в душе, а не в железе.
Душа ж вотще в отчизну врыта...

За дар воздушный нашей Лесе
спасибо, южная Таврида.

[*1983*]

ЗА НАДСОНА

Друг человечества...
Пушкин

А и слава, и смерть ходят по свету в разных обличьях.
Тяжело умирать двадцати пяти от роду лет.
Заступитесь за Надсона, девять крылатых сестричек,
подтвердите в веках, что он был настоящий поэт.

Он не тратил свой дар на безделки – пустышки мирские,
отзываясь душой лишь на то, что важнее всего,
в двадцать лет своих стал самым нужным певцом у России,
вся Россия в слезах провожала в могилу его.

Я там был, я там был, на могиле его в Ленинграде...
О, верни его, Родина, в твой героический круг,
возлюби его вновь и прости, и прости, Бога ради,
то, что не был пророком, а был человечества друг.

Я люблю его стих и с судом знатоков не согласен.
Заступись за него, галилейская девочка-Мать:
он, как сын твой Исус, так мучительно юн и прекрасен,
а что дар не дозрел – так ведь было ж всего двадцать пять.

Ведь не ждать же ему, не таить же врученный светильник,
вот за это за все и за то, что по паспорту жид,
я держу его имя в своих заповедных святынях
и храню от обид, как хранить его всем надлежит.

1984

ЕЩЕ О ПЕТРЕ

Чудом вырос, телом крепок и душою бодр, .
на Руси, как дуб меж репок, император Петр.
Вырос чудом, да недобрым, хоть за Прут уйти б:
и доныне больно ребрам от царевых дыб.

Этот бес своей персоной, злобой на бояр
да заботушкой бессонной всех пообаял –
оттого и до сегодня, на обман щедра,
врет история, как сводня, про того Петра.

Был он ликом страховиден и в поступках лют
и на триста лет обидел православный люд,
воля к действию была в нем велика зело,
да не Божеским пыланьем мучилось чело.

То не он ли для России, оставляя трон,
мнил, что смуты воровские кончены Петром?
Не с его ль руки разросся в славе и молве
по мечтам Растрелли с Росси город на Неве?

Не за то ль к нему хранится в правнуках любовь,
что свободных украинцев обратил в рабов?
Не его ль добра отведав, посчитай возьми,
русских более, чем шведов, полегло костьми?

Как обозами свозили мертвые тела,
так горой на том верзиле добрые дела, –
вот уж подлинно антихрист – и в шагу тяжел:
уж какие свет и тихость там, где он прошел!

А народ от той гнетущей власти-суеты
уходил в лесные пущи, в темные скиты,
где студеная водица, сокровенный мрак,
ибо зло от зла родится, а добро – никак.

От петровского почина, яростно-седа,
не оставила пучина светлого следа:
дух в разладе, край в разрухе, а как помер он,
коронованные шлюхи оседлали трон.

Я, конечно, у России даже не пятак,
но когда б меня спросили, я сказал бы так:
– Наше время – слава зверю, клетка для тетерь.
Я ж истории не верю, и никто не верь.

Все дела того детины, славе вопреки
я отдам за звук единый пушкинской строки.
Я отдам, да и не глядя, все дела Петра
ради в пушкинской тетради росчерка пера.

[*1989*]

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЛГЕ

Отпевший память Стенькам и Емелькам,
в зените дней пред горем не смирясь,
я видел Волгу жаждая, но мельком,
давным-давно, единый в жизни раз, –

когда, в прозренье болестном и горьком
и никого за участь не коря,
я ждал этапа в пересыльном Горьком,
а путь мой был на север, в лагеря.

В те дни еще я не дорос до старца,
в крови не смолк горячечный порыв,
и Волги лик в душе моей остался,
на крестный путь ее благословив.

Я слушал сны, лицо в ладони спрятав,
меня томила яви нагота,
и снились мне Самара и Саратов,
которым я не снился никогда.

Свет волжских вод вбирал из-под угара, –
нам век с лихвой за вольность отплатил:
ведь Волга тоже с горя подыхала
под злым дерьмом каналов и плотин.

Заря во мрак спустила коромысло,
у мертвых вод застыли времена, –
как стать могло, что ум лишился смысла,
стихи в тюрьме и Волга пленена?

В безумный час душа ожглась о строчки
и в скорбной думе вымокла от слез:
по той ли шири странствовал Островский,
свою «Грозу» отсюда ли привез?

Смещался мир, спуск начинался в ад мой,
смыкалась тьма и не было кругов,
и думал узник с грустию невнятной,
что Ленин родом с этих берегов...

Добро, мой дух, что не сошел с поста ты
о той поре над рябью золотой,
а жаль – сгубили Волгу супостаты:
была царицей, стала – сиротой.

[*1988–1989*]

ДУМА О КАРАБАХЕ

Апшеронская нефть оплатила безвинные смерти.
В президентских ушах не гремит сумгаитский погром...
Я солдатом служил в бедном городе Степанакерте
в приснопамятном сорок втором.

В том горячем краю, марширую под небом орлиным,
в деревенской молве я армянские слышал слова ж
и с тех пор полюбил, будто от роду был армянином,
на камнях испеченный лаваш.

Изнемогший, дремал под армянских шелковиц листвою,
с минометным стволом на армянские выси взбежав.
Я там жил наяву, – как же мне согласиться с Москвою,
что земля эта – Азербайджан?

Пусть Армении стон отдается в сердцах, как укор нам.
Как Христу на кресте, больно кронам ее и корням:
в закавказской дали, в том краю, в Карабахе Нагорном
каждый день убивают армян.

Перед крестной землей преклонюсь головою и сердцем.
Как там други мои? Сколько лет как ни вести от них.
И не все ли равно, кто грешней – Горбачев или Ельцин? –
все мы предали наших родных, –

не по крови родных, а по духу, по вере, по сути,
по глубинному свету евангельских добрых надежд.
Упаси нас, Господь, от немудрых и взбалмошных судей,
от имперских лжецов и невежд.

Чтоб за нашу вину нас в аду не замучили черти,
в каждой русской душе, стон Армении, будь повторен...
Я солдатом служил в бедном городе Степанакерте
в приснопамятном сорок втором.

[*1988–1989*]

* * *

О, злые скрижали,
чей облик от крови румян!
Всегда обижали
и вновь обижают армян.

Звериные страсти
и пена вражды на губах.
Безглавые власти
на смерть обрекли Карабах.

Там дети без крова,
там села огнем спалены,
а доброго слова
ни с той, ни с другой стороны.

От зла содрогнулись
старинные храмы в горах.
Дрожа и сутулясь,
над жертвами плачет Аллах.

От пролитой крови
земля порыжела на треть.
Армянам не внове,
да как нам в глаза им смотреть?

С молитвой о чуде
чего мы все ждем, отстранясь?
Ужель мы не люди,
и это возможно при нас?

Там души живые,
там лютого ада круги...
Спаси их, Россия,
и благом искупишь грехи.

[*1988–1989*]

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ЛЮБИМЫМ АРТИСТОМ И СКРОМНЫМ АВТОРОМ В УГЛУ

По голосу узнанный в «Лире»,
из всех человеческих черт
собрал в себе лучшие в мире
Зиновий Ефимович Гердт.

И это нисколько не странно,
поскольку, не в масть временам,
он каждой улыбкой с экрана
добро проповедует нам.

Когда ж он выходит, хромая,
на сцену, как на эшафот,
вся паства, от чуда хмельная,
его вдохновеньем живет.

И это ни капли не странно,
а славы чем вязче венок,
тем жестче дороженька стлана,
тем больше ходок одинок.

Я в муке сочувствия внемлю,
как плачет его правота,
кем смолоду в русскую землю
еврейская кровь пролита.

И это нисколько не странно,
что он той войны инвалид,
и Гердта старинная рана
от скверного ветра болит.

Но, зло превращая в потеху,
а свет раздувая в костер,
он – выжданный брат мой по цеху
и вот уж никак не актер.

И это ни капли не странно,
хоша языка не чеша,
не слушая крови и клана,
к душе прикипает душа.

Хоть на поэтической бирже
моя популярность тиха,
за что-то меня полюбил же
заветный читатель стиха.

В присутствии Тани и Лили
в преддверье бастующих шахт
мы с ним нашу дружбу обмыли
и выпили на брудершафт.

Не создан для дальних зимовий
воробышек-интеллигент,
а дома ничто нам не внове,
Зиновий Ефимович Гердт.

1991

АБХАЗИЯ – ПЕЙЗАЖ С РАСПЯТИЕМ

Лежит и видит сны
над морем в кукурузке
Абхазия, Апсны –
страна души по-русски.

Ее здесь отковал
кузнец под жар и сырость,
чтоб в ней десятка два
народов разместилось.

От зла отторжена,
в рай двери отперевши,
небрежно тишина
стоит на побережье,

чтоб мы с тобой могли
часами слушать вдоволь
пальмоголовых лир
многоязычный говор,

чтоб хмелем тем дыша,
любовью не скудела
счастливая душа
Фазиля Искандера.

В сверкающих садах
грузина ли, абхазца
обрадованным как
глазам не разбегаться?

То тучками ягнясь,
то в ясное уставясь, –
такой с тобою в нас
Абхазия осталась...

Вдруг там стрельба и кровь,
и ярость перед схваткой,
и рушащийся кров
над детскою кроваткой,

и, кто был брат и друг,
с тем больше нет житья вам, –
и в человеке вдруг
проснулся зверь и дьявол.

Певучих лет хрусталь
страданьем лиц наполнен.
Да это те края ль,
что мы с тобою помним?

Как душами мертветь
живым над тем, что любим?
Скажи, Фазиль, ответь,
зачем все это людям?

Какой у них мотив,
чтоб убивать друг друга?..
А я совсем один,
лишь дум на мне дерюга.

С пристрастием молвы
как разобраться в шуме?
Не видно из Москвы,
что деется в Сухуми.

Мы ж видеть не хотим,
как распято добро там,
что делает один
народ с другим народом.

Кем считан трупов ряд,
растерзанные груди?
И это все творят
не кто-нибудь, а люди.

Зачем же я живу
в безжизненное время,
по смертному жнитву
вздымая смерти бремя?

Покуда я несу
распятие с пейзажем,
никто за ложь-посул
не снят и не посажен.

Да что ни говори,
а целы остаются
бесовства главари,
болталы-властолюбцы.

Где ж слово мне найти,
в какой словарь вопхаться,
чтоб словом тем спасти
грузина и абхазца?

Меж трупов и калек
взываю, неопознан:
опомнись, человек!
Опомнимся, да поздно.

Один я, и ничем
не рознюсь я со всеми.
Скажи, Фазиль, зачем
нас распинает время?

1992

* * *

Мне чужд азарт невежд и краснобаев,
цвета знамен сменивших на очах,
в чьих святцах были Ленин и Чапаев,
а стали вдруг Столыпин да Колчак.

Забыв, что сами родом из холопов,
рядятся скопом в бары да в князья,
по кудрям плачут, головы снеся,
царя сулят, империю прохлопав.

Во мне ж иной задаток повторен.
Я был хохлом, холопом, бунтарем.
Под цвелью царств – народа первозданность.

Тот крестный путь вменив себе в устав,
я красным был и, быть не перестав,
каким я был, таким я и останусь.

[*1991–1992*]

* * *

История давеча вскрыла следы
Григория Саввича Сковороды,
и правда воспряла из праха,
что люди огадились в детском раю
и рай променяли на волю свою,
на землю корысти и страха.

В бессмыслице жизни, что сами творим,
дано ль нам пробиться к началам своим, –
придет ли при жизни пора нам
встрадаться в ту глубь, чей закон – доброта,
где в рай всененужный раскрыты врата, –
к прощенья пчелиным полянам?

[*1992*]

ОРЛИНЫЕ ЭЛЕГИИ

1

Чьи над миром крылья распростерты?
То ль безумны, то ли во хмелю вы –
снова пущен в лёт орел двумордый,
когтелапый и кровавоклювый.

И одна башка его на запад,
на восток таращится вторая, –
он убийством выкормлен и занят,
зенки вдаль прожорливо вперяя.

Тень его отечество покрыла.
Сто полей тревогу всколосили.
У меня ж всего рогатка – лира –
дар страдальный беженской России...

Оживлен охраною и свитой,
взмыл стервец, зловонный и зловещий,
как дракон из пьесы знаменитой,
вечно алча крови человечьей.

Ждет и бдит, злопамятлив и хищен,
мстлив и жирен, этакая нечисть!
Мы ж героя меж себя не сыщем,
да и вряд ли на такого меч есть.

Где ни сядет выходец из ада,
там все травы кровию кропимы,
и одна у несыти досада –
что достать не может Украины.

У него имперская закваска,
в желтых жорнах жалость не жилица,
он кружит над бездной закавказской,
жадно зырит, чем бы поживиться.

Чует кровь, черны его повадки...
Я шепчу меж тем, уж это слишком,
и в злодея целюсь из рогатки,
как дано лишь бардам да мальчишкам.

2

Волоса фелицат
величались иным грамотеем
я ж и сам волосат
и лежу травяным прометеем

пошумим поорем
поглядим ан хвалиться-то нечем
прилетает орел
и клюет мою певчую печень

его крылья тяжки
и клевала кровавей железа
у него две башки
и обое не слуги зевеса

не в империи зла
а при демократическом строе
его наглость взросла
и учуяла мясо сырое

византийский старик
в чьей крови не согласен стареть я
он владычить привык
залетев из чужого столетья

страшно думать не из
моего ли подполия вырыт
не оттуда ль без виз
происходит губительный вылет

а с имперских колонн
каплет кровь или сыплется тырса
то ль взаправдушку он
в моем темном уме угнездился

мне ль погибель принес
сам ли тужится к смерти готовясь
и пройдет ли гипноз
и проснется ль в отечестве совесть

еще грозный иван
с тем уродом любил целоваться
демократами вам
не пристало при нем называться

спокон веку казнят
тех кто божию весть принимает
кровопивец космат
и как дьявол из пекла воняет

был когда-то велик
да века поубавили спеси
в оба клюва двулик
расклюет меня в пыль поднебесий

ну и клюй ну и пусть
лучше нет для стихов матерьяла
лишь бы грусть наизусть
эти строки потом повторяла.

3

Хоть меня и не спросили,
не жалел и не журюсь,
что рожался не в России, –
Украина – тоже Русь,

имя чье по Божьей воле
у славянства не отнять:
Киев, дети учат в школе,
городов российских мать.

Та же честь и та же чара
в хрустале и серебре
и берет свое начало
от крещения в Днепре.

Та же Русь в росе и сини,
слово Игорево в ней –
расцарившейся России
первозданней и древней.

Для меня ж в любой из жизней,
что пред Богом не лгала,
нет злодея ненавистней
двухголового орла,

чей разбой, что от России
страх имперский нагнетал,
снова где-то водрузили, –
хорошо, что я не там!

Русский сроду и доныне,
с тем двухглавцем не в связи,
я живу на Украине,
правды пращурской вблизи.

Мне иных героев ближе
враг орлам, а людям друг,
капли крови не проливший
вольнолюбец Кармелюк.

Русский я душой и речью,
русский кровью и судьбой,
но и с Запорожской Сечью,
с волей желто-голубой.

Всем орлам смеется в усладь
слобожанский воробей.
Украина – тоже Русь ведь,
только все же потеплей.

С Русью Русь, а не поладят,
не сведут никак концы:
был один у братьев прадед,
спанталычились отцы.

Но во мне Оку и Сороть
не затмит разрыва дым,
и Тараса не поссорить
с духом Пушкина святым.

По живому, братья, рубим –
до добра не дорастем,
что одно, а порознь любим,
под одним кряхтя крестом.

В час креста от злых орлов нас,
безголовых и с двумя,
да спасет единокровность,
жизнью в жилушках шумя!

[*1992*]

СКАЗАНО В КИЕВЕ

Сильней глаза раскрой,
не нужно звать провидца:
все чувствуют, что кровь
вот-вот должна пролиться.

Нас, может, то спасет
в борьбе живого с мертвым,
что с киевских высот
мы в поднебесье смотрим.

Не сгубит сей красы
ни патриот, ни деспот:
крещение Руси
происходило здесь вот.

1990-е

* * *

А как же ты, чей свет не опечалю,
кому я друг, возлюбленный и брат?
«Живи, живи!» – твои мне говорят
глаза и я «не бойся» обещаю.

Налей мне лучше водки вместо чаю
(хотя и водке я уже не рад) –
и улыбнусь, и жить не заскучаю:
не собран вклад для поминальных трат.

Прозреть бы смысл, отринув злую чушь бы,
а там и ты, глядишь, уйдешь со службы
и поживем, весь свет растеребя.

Вся жизнь до сих прочлась, как телеграмма,
и в мрак уйти мне, в самом деле, рано:
так мало в жизни радовал тебя.

1993



Приложения





Л.Г. Фризман

ЛИЧНОСТЬ И ПОЭЗИЯ БОРИСА ЧИЧИБАБИНА

Я сблизился с Борисом Алексеевичем поздно, в начале 1992 г., и наше дружеское общение, хоть и сразу стало близким, продолжалось очень недолго, можно сказать, что и виделись-то мы считанное количество раз. Но за это время у меня сложилось о нем незыблемо твердое мнение. Он был по натуре человеком необыкновенно добрым, расположенным ко всем, с кем сводила его жизнь. Он всегда был готов и рад помочь, стремился никому и ни в чем не отказывать, одобрительно отзывался о весьма посредственных стихах, мог дать рекомендацию для вступления в Союз писателей человеку, не потому что он был писателем, а потому что вызывал к себе жалость.

Но когда дело касалось убеждений, моральных устоев, политических принципов, он оказывался тверд, как кремень. Из-за идейных расхождений или поведения, которое он считал непорядочным, он был способен расстаться с человеком, с которым его связывали многие годы, даже десятилетия, расстаться, конечно, без конфликтов, упреков и выяснения отношений. Просто чувства, которые он прежде испытывал, гасли в его душе безвозвратно.

Я позволил себе это мемуарное предисловие, потому что правильное представление о личности Чичибабина для людей, которые сами с ним не общались, очень важно для понимания его стихов, потому что его творчество несет на себе полный и достоверный отпечаток его личности, оно отражает и его доброту, мягкость, душевность и неуступчивую, бескомпромиссную верность тому, что он считал истиной. Совершенно невозможно себе представить, чтобы он написал хоть строчку из тактических соображений, из угодничества властям, в надежде на получение каких-то выгод или во избежание невзгод.

Разумеется, я весьма далек от недооценки того бесспорного факта, что в поэзии Чичибабина перед нами лирическое «я», которое шире, масштабнее биографического «я» ее создателя. Но важнейшая часть изучения любого поэта именно и состоит в проникновении в то всегда неповторимое соотношение, в которое именно у него и только у него вступают эти две сущности, определяя его подход к действительности и ее творческое преображение. И, присматриваясь к стихам Чичибабина, соотнося их с тем, что он писал в

своих статьях и говорил в своих интервью, с тем, каким он остался в памяти людей, которые с ним общались, мы увидим, что важной особенностью его таланта была более достоверная соотнесенность обеих этих сущностей, чем это можно видеть у других поэтов, большая непосредственность в процессе претворения бытийного в поэтическое.

Я высоко ценю его любовную лирику и по-читательски люблю ее, знаю, что она запечатлела важные стороны и его творческого облика, и жизненного пути, и намерен в дальнейшем уделить ей должное внимание. Но я убежден в том, что место, которое Чичибабин занимает и будет занимать в литературе, в первую очередь определяют его стихи на общественно значимые политические, этические и философские темы. Из-за этих стихов он оказался за решеткой, за эти стихи он был исключен из Союза писателей, а когда в так называемую пору гласности состоялось его «возвращение», он эти стихи читал на творческих вечерах, эти стихи печатались в журнальных подборках, они составили сердцевину тех поэтических сборников, которыми он вернулся к читателю, – «Колокол» и «Мои шестидесятые».

История литературы знает писателей, которые умели комфортно устроиться при любой власти и всегда оказывались и в чести, и в достатке. Это и Алексей Толстой, и Сергей Михалков, и Валентин Катаев, и еще немало им подобных. Но наряду с ними были и такие, как Зощенко, Булгаков, Платонов, которые, не умея, не желая лакейстовать, всегда оказывались не ко двору, которых затирали, поносили, запрещали, подвергали преследованиям.

Чичибабин был из этой породы. Правду сказал он о себе:

...уж я-то при любой системе
Останусь лишний и чужой.

И еще:

Но перед тем как сесть за стол
и прежде чем стихам начаться,
я твердо ведаю, за что
меня не жалует начальство.

Его близкий друг М.И. Богославский проницательно озаглавил свою статью о нем двумя словами из его стихотворения – «Всуперечь потоку». И эти два слова в самом деле вобрали в себя и присущий ему нонконформизм, органическую тягу мыслить, жить и писать по-своему, подчиняясь только велениям своей души, как он сам любил говорить, своего Бога, органически игнорируя и отношения с властями, и отношение к нему властей.

С юношества и до конца дней он жил и писал «всуперечь потоку». До середины 80-х он считался антисоветчиком, стихи которого не имели доступа в печать. А после распада СССР, при всей своей любви к Украине и неизбывным чувством родства с ней, отказался быть певцом украинской «незалежности», слезно горевал о потерянной «большой» Родине, продолжал считать

и называть себя гражданином России, ненавидел границу, разделившую два государства и два братских народа, защищал русский язык и русскую культуру от развернувшейся украинизации и, конечно, опять оказался не ко двору. Его уже начали покусывать, но пока сдержанно. Однако зная его принципиальность, бескомпромиссность, неуступчивость, можно не сомневаться, что неприязнь к нему разлилась бы во всю ширь и что только безвременная кончина предотвратила его открытый конфликт с чуждой ему идеологией.

* * *

Борис Алексеевич Чичибабин родился 9 января 1923 г. в Кременчуге. Он носил фамилию своего отчима, Алексея Ефимовича Полушина, а стихи подписывал фамилией матери, Натальи Николаевны Чичибабиной. Его дед по материнской линии, Николай Евгеньевич, был родным братом знаменитого химика, академика АН СССР Алексея Евгеньевича Чичибабина, по учебникам которого училось не одно поколение советских студентов. В 1930 г. Алексей Евгеньевич уехал в зарубежную командировку и на родину не вернулся. Родство с эмигрантом, да еще таким известным, стало первым пятном на репутации будущего поэта, жизнь и деятельность которого будет потом десятилетиями «на контроле» у советских репрессивных органов.

И.Н. Челомбитько, одноклассница и многолетний друг Чичибабина, вспоминает о том, как у него, еще школьника, однажды спросили: «“Боря, скажите, фамилия химика Чичибабина имеет к Вам какое-то отношение? В гимназии я изучала химию по его учебнику”. Борис очень смутился, покраснел, но ответил утвердительно. Тогда было непонятно, почему он так отреагировал на этот вопрос. Казалось, гордиться бы внуку таким дедом. Но мы не знали, что двоюродный дед его, покинув Родину, эмигрировал за границу, проживал во Франции. Потом-то вряд ли кому-то из нас осталось неведомым, как страшно было иметь родственников за границей. Это граничило с преступлением»[1].

К поэтическому творчеству он пристрастился рано: по его собственному позднейшему признанию, «я стихом дышу и мыслю с детства». Его стихи регулярно появляются в школьной стенгазете «Смена» с подписью «Борис Рифмач». А одно из них, видимо, при содействии его учителя литературы С.И. Залесского напечатала районная газета «Путь к социализму».

Уже в школьные годы в Чичибабине складываются качества, которые будут определяющими его личность на всю последующую жизнь: твердость позиций в отстаивании своей точки зрения, принципиальность и бескомпро-

---

[1] *Челомбитько И.* Школьные годы // Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Харьков: Фолио, 2013. С. 427–428.

миссность. Как рассказывает та же И. Челомбитько, «он никогда не скрывал своей неприязни к людям, которых по той или иной причине не любил, и эта черта в его характере сохранилась на всю жизнь. Я отмечала это и в более поздние годы общения с ним. Он был абсолютно бескомпромиссным человеком, ни на какие сделки со своей совестью никогда не шел»[2].

Окончив школу в 1940 г., Борис поступил на исторический факультет Харьковского университета. Хотя учиться там ему довелось недолго, этот полузабытый момент его биографии заслуживает внимания. История, которая позднее займет такое значительное место в его творчестве, как мы видим, интересовала его с юности и лишь в силу стечения обстоятельств не стала его специальностью.

В начале войны он был призван в армию и до мая 1945 г. служил механиком по авиаприборам в разных частях Закавказья. Хотя это был действующий Закавказский фронт и военные аэродромы постоянно подвергались бомбежкам, он вспоминал о годах своей службы предельно скромно: «В окопах не сидел, врага перед собой не видел, не стрелял... Участником войны не считаюсь»[3]. Когда в последние годы его жизни участников войны стали окружать вниманием и одарять всевозможными благами, он избегал ими пользоваться, разговаривал об этом неохотно и большей частью в шутливой тональности.

После демобилизации Чичибабин поступает на филологический факультет Харьковского университета. Из многих сохранившихся свидетельств о том, каким он тогда был, самыми ценными представляются воспоминания учившейся одновременно с ним М.Д. Рахлиной. В 1995 г., оценивая события и их участников с высоты минувшего полувека, она прежде всего акцентирует в облике Чичибабина то, что было присуще ему не только в студенческие годы, но и на протяжении всей жизни: «Удивительно, ни годы, ни несчастья не изменили его: он был таким же, как потом ⟨...⟩ Никогда Бориса не интересовало *ничто* бытовое, такое важное для большинства людей ⟨...⟩ Книги, искусство, стихи – вот чем был он действительно одержим ⟨...⟩ Борьба с сильными мира сего не входила в его сознание, он не умел и не хотел отстаивать написанное, легко сдавался на цензурные запреты, обходя их как попало или не обходя, если не получалось. Но зато *ничто в мире* не могло остановить его, когда стихи были написаны. Он их немедленно обнародовал: одному человеку или двадцати, и первому попавшемуся тоже. И так было всегда: и после лагеря, когда были написаны гораздо более сознательные и серьезные стихи, чем полудетское "Мать моя посадница", а ведь он уже знал, чем такие

---

[2] *Челомбитько И.* Там же. С. 428.

[3] *Чичибабин Б.* Мои шестидесятые. Киев: Дніпро, 1991. С. 5

вещи кончаются, и в этом смысле ничего у нас не изменилось. Нет, он все равно читал свои стихи всем и без малейших колебаний»[4].

«Полудетское», по выражению М. Рахлиной, стихотворение «Что-то мне с недавних пор», более известное под заглавием «Мать моя посадница», сыграло в судьбе поэта такую роль, что на нем стоит остановиться подробнее. Конечно, назвать это стихотворение «антисоветским» в том смысле, в каком это определение применялось к позднее созданным стихам А. Галича или Ю. Кима, было бы преувеличением. По всей своей тональности оно шутливое, озорное. Осуждается в нем «ежовщина», осужденная и официально, и как будто в духе партийных установок звучит призыв:

А расправимся с жульем,
как нам сердцем велено,
то-то ладно заживем
по заветам Ленина!
Я б и жизнь свою отдал
в честь такого празднества...

И все-таки подозрения, которые вызвала эта «невинная» песенка в соответствующих органах, были отнюдь не беспочвенны. Тоталитарный характер советской власти в том и состоял, что любое отклонение от предписанных догм представляло для нее угрозу. Как формулировалось это в анекдоте тех времен, у нас «ничего нельзя, даже того, что можно». А в стихотворении Чичибабина неудовлетворенность происходящим «на просторах родины чудесной» и даже примесь известного бунтарства прозвучали неприкрыто.

Все советские люди переполнены благодарными чувствами к родной партии и другой такой страны не знают, где так вольно дышит человек, а ему, видите ли, «на земле тоскуется», он «не видит празднества» и сомневается, будет ли оно когда. Зато он выискал здесь каких-то «паразитов», «бюрократов» и «спекулянтку-жадницу». «Дорогая моя столица» для него «мачеха-Москва, / всех обид рассадница». А как можно было вытерпеть пронизывающие все стихотворение призывы:

Ты не спи, земляк, не спи:
разберись, чем пичкают ⟨...⟩
Не впервой нам выручать
нашу землю отчую,
паразитов сгоряча
досыта попотчуем ⟨...⟩
проперчи страну дотла,
песня-поножовщина...

[4] *Рахлина М.Д.* Я хочу, чтобы все видели его живым // Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. С. 204, 205.

Так что ничего необычного для сталинских времен в аресте Чичибабина не было. Можно даже сказать, что он относительно легко отделался, чем был, по-видимому, обязан энергии и самоотверженности своего отчима Алексея Ефимовича. Тот был к тому времени в чине полковника, имел немало орденов и медалей, занимал высокую командную должность и сумел открыть двери высоких кабинетов. Сначала ему удалось даже добиться того, что Бориса отпустили «на поруки», «под личную ответственность» отца. Но вскоре юношу арестовали снова. Рискуя собственным положением, Алексей Ефимович продолжал хлопоты, и их результатом стало то, что обвиненный в антисоветской агитации и пропаганде Чичибабин был приговорен к пяти годам лишения свободы, хотя меньше десяти по этой статье практически не давали. Он и сам позднее называл свой срок «смехотворным». Как «везение» можно рассматривать и то, что он отбывал наказание не на Колыме и даже не в Сибири, а в Вятлаге, в Кировской области. Сводная сестра Бориса Лидия Алексеевна вспоминала, что за время борьбы за смягчение его участи отец весь поседел и получил первый инфаркт.

Еще до пересылки в Вятлаг, находясь в одиночной камере на Лубянке, Чичибабин написал одно из наиболее известных и действительно лучших своих стихотворений – «Кончусь, останусь жив ли». Не секрет, что одним из уязвимых мест чичибабинской лирики бывала порой склонность к длиннотам. Поэтому первое, что хотелось бы отметить в стихотворении, о котором идет речь, это его лаконизм, который всегда был отличительной чертой русской поэтической классики. Второе, что также должно быть оценено по достоинству, это благородная скупость выразительных средств. Понятно, что из всех тягот и лишений, которые приносят тюрьма и лагерный барак, отказ от красных помидоров – далеко не самое страшное. Нужно было проявить безупречный вкус, чтобы воздержаться от живописания ужасов и невыносимых страданий, а ограничиться будничной зарисовкой, предоставив воображению читателя додумать то, что поэт переживал, но не высказал:

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

В письмах, которые Борис слал из лагеря родителям и близким, светится его юношеский, кристально чистый душевный мир, они заполнены просьбами о присылке ему книг, суждениями о писателях и литературе. 20 сентября 1949 г. он писал отчиму: «Папа, читал ли ты “Кола Брюньона” Роллана? Если не читал, то непременно прочитай, только ее нужно читать помалу, как будто вкусное вино пьешь, наслаждаясь каждым словом»[5].

[5] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. Харьков: Фолио, 2002. С. 312.

Впоследствии Чичибабин не раз говорил, что лагерь вспоминает редко, что воспоминания эти ему неприятны, что лагерь не оставил в его памяти никаких следов. «У меня не осталось никаких лагерных воспоминаний ⟨...⟩ мой юношеский идеализм был надежной защитой от зла и мерзости лагерного быта, сущности моей они не коснулись ⟨...⟩ Мои мечты, книги, стихи, моя духовная свобода, этим я и жил, а не страшным лагерным бытом, – не в лагере, а в Вечности»[6].

Это, конечно, правда, но не вся правда. Не от него ли мы много лет спустя услышим поэтическое признание:

В моей больной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.

Другая сторона правды заключалась в том, что, как мы опять-таки знаем из неоднократных свидетельств самого поэта, и в лагерной зоне именно стихи помогали ему выжить:

...где солнцу обрыдло всходить в небесах адодонных,
где лагерь так лагерь, а если расстрел, ну и пусть,
где я Маяковского чуть ли не весь однотомник
с восторгом и завистью в зоне читал наизусть.

Письма, которые он слал родным из Вятлага, буквально насыщены просьбами о присылке книг и особенно стихов: «...обязательно поэтов: Тычину, которого я очень люблю ⟨...⟩ Максима Рыльского – украинского Пушкина, Леонида Первомайского и, конечно, классиков: Франко, Лесю Украинку, а из прозаиков – Юрия Яновского. Но самое главное: Тычину и Рыльского ⟨...⟩ Рыльский, между прочим, замечательный переводчик, если будут его переводы – Пушкина, Мицкевича, “Орлеанской девы” Вольтера, их обязательно нужно купить»[7].

Когда у Чичибабина спрашивали, когда он начал писать стихи, он отвечал: «Я писал стихи всю жизнь, но те стихи, которые я не стыжусь читать и для самого себя рассматриваю всерьез, – с 1946 года»[8]. Сорок шестой – это первый лагерный год, тот год, когда было написано «Кончусь, останусь жив ли», которое по его центральному образу часто называют «Красные помидоры», и «Махорка», также принадлежащая к лучшим образцам его ранней лирики. Известный писатель, в юности участник литературной студии Чичибабина, Ю. Милославский, говоря, что «сама виртуозность его поэтической техники, сама его лексика, она по степени проработанности “бенвенуто-чел-

[6] Там же. С. 185.
[7] Там же. С. 314.
[8] Там же. С. 229.

линиевская"», приводит в подтверждение строфу не из позднейших зрелых стихотворений, а из юношеской «Махорки».

В дальнейшей истории этого стихотворения имел место красочный эпизод, который нельзя обойти молчанием. Это случилось намного позднее. Стихи Чичибабина стали привлекать к себе растущее внимание и завоевывать признание. По свидетельству самого Чичибабина, первым, кто помог ему установить контакты с московскими литературными журналами и издательствами, был Б. Слуцкий. При его содействии в одиннадцатом номере журнала «Знамя» за 1958 г. появилась первая подборка стихов Чичибабина. За ней последовали публикации в «Юности», «Новом мире», «Радуге».

Но советская власть продолжала оставаться советской властью, и Чичибабин, каким он был, пришелся ей не ко двору. По свидетельству Ф. Рахлина, «поэта принялись "редактировать", т.е. причесывать под среднеарифметического "соцреалиста"». И как наиболее характерный пример такого «редактирования» мемуарист приводит именно стихотворение «Махорка». Он пишет: «Родилось оно в тюрьме и принадлежит к не слишком многочисленным у Чичибабина произведениям на тюремно-лагерную тему». В нем были строки: «А здесь, среди чахоточного быта, / где номера зловонны и мокры, / все искушенья жизни позабытой / для нас остались в пригоршне махры». Редактор потребовал снять тюремный колорит – и получилось: «А здесь, где все заманчиво и ново, / где холод лют, а хижины мокры, / все ароматы быта городского / для нас остались в пригоршне махры». «Не мудрено ли, что в окружении таких строк читатель не запомнил ни тревожный зачин, ни горестную концовку, хотя они и не подверглись кастрации»[9].

Результатом подобного да и еще более грубого нажима было появление в его сборниках стихов типа «Быть как Ленин», «Я хочу быть таким, как Ильич», «Думайте о коммунизме», и т. п. Чичибабин эти сборники не любил и стыдился их. Позднее он писал Г. Померанцу и З. Миркиной: «Чувство панели я испытал сполна, причем без всяких оправдывающих мотивов, ибо я продавался с удовольствием и упоением: как-никак у меня вышли четыре омерзительнейших книжки»[10]. С особенной неприязнью он отзывался о книге «Плывет "Аврора"», говорил, что она «совсем не моя, совсем плохая»[11]. Зато стихи, которые он не мог напечатать, он охотно и щедро читал на литературных вечерах. Они размножались, ходили по рукам. Помню, как я печатал их на папиросной бумаге, чтобы одна закладка давала побольше экземпляров, раздавал знакомым, ученикам школы рабочей молодежи, в которой тогда работал.

---

[9] *Рахлин Ф.* О Борисе Чичибабине и его времени: Строчки из жизни. Харьков: Фолио, 2004. С. 58, 60.

[10] *Чичибабин Б.* Письма. Харьков: Фолио, 2002. С. 94.

[11] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 233.

Мой друг со студенческих лет, ныне живущий в Москве известный историк и публицист Л.М. Баткин, который в те годы преподавал эстетику в Харьковской консерватории, организовал в ней Клуб любителей искусств консерватории, сокращенно – КЛИК. На одном из заседаний этого клуба я впервые в жизни увидел Чичибабина, который заворожил зал чтением своих лучших стихотворений: «Крымские прогулки», «Клубится кладбищенский сумрак», «Клянусь на знамени веселом».

Гражданственность всегда была и определяющей чертой личности Чичибабина, и сквозной темой его творчества. Из стихов, написанных им на политические темы, есть два, которым принадлежит центральное место. Все другие, близкие им по темам и установкам, как бы группируются вокруг них. Можно назвать их и душевными исповедями, и общественными манифестами – ни одно из подобных определений не будет содержать преувеличения. Они были написаны с большим хронологическим промежутком, но каждое из них отразило свое время и ответило на его запросы. Первое – это созданное в 1959 г. «Клянусь на знамени веселом», воспринимавшееся как отзвук надежд, пробужденных XX съездом КПСС. Второе, появившееся спустя четыре с лишним десятилетия, – «Плач по утраченной родине».

На заседании КЛИКа я впервые услышал в авторском исполнении «Клянусь на знамени веселом», Чичибабин прочел его с купюрами, соединяя третью и четвертую строфы и пропуская наиболее крамольные упоминания об «антисемитских кретинах» и «подонках», которые «травят пастернаков». Впрочем, я, как и многие сидящие в зале, знали эти строки наизусть.

Когда в мае 1987 г., при первых проблесках едва нарождавшейся «гласности», Чичибабина пригласили в Москву на празднование 110-летнего юбилея Н.А. Некрасова, он только и прочел одно это стихотворение. Присутствовавшая в зале Лилия Семеновна вспоминает, что она «замерла – в те дни подобные темы все еще оставались опасными и рискованными. Надо было видеть, как он читал, как гневно звучал его голос на обличающем рефрене, как “аввакумовски” ткнул себя пальцем в грудь на строках: “А в нас самих, труслив и хищен, не дух ли сталинский таится...”»[12].

Конечно, стихотворение Чичибабина было порождено атмосферой, возникшей в стране после XX съезда КПСС, когда впервые за всю советскую историю стало возможным говорить о злодеяниях Сталина. Но надо в полной мере отдавать себе отчет в том, что концепция чичибабинских стихов резко расходилась и с содержанием засекреченного доклада Хрущева, и тем более с постановлением ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», и с действиями властей, которые были испуганы огромным резонансом, вызванным чтениями этого доклада, и бросились его гасить.

---

[12] Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. С. 178.

Доклад Хрущева потряс советских людей тем, что в нем вслух говорилось о страшных фактах, за одно упоминание о которых прежде безжалостно карали и которые даже не были известны обществу в полном объеме. Но объяснение причин, породивших длившуюся десятилетиями чреду злодеяний, оказалось не просто убогим и примитивным, но и очевидно лживым. XX съезд открыл плотину, он вызвал жгучие вопросы, но не ответил на них. Все сводилось к «некоторым индивидуальным качествам» Сталина, его «неправильным действиям», которым «ленинское ядро Центрального комитета» и радо было бы противостоять, но в данных исторических условиях не смогло этого сделать, ибо «было бы не понято народом».

Чичибабин знал цену и «индивидуальным качествам» Сталина, и тому, во что обошлись народу его «неправильные действия». Он еще не раз напишет о бедственном состоянии страны, «где пестовал стадо рябой и жестокий пастух», он напомнит ей, что именно «генералиссимус рябой / довел тебя до точки». Но в стихотворении, о котором сейчас идет речь, заложена другая, более глубокая мысль. Оно не столько о Сталине, сколько о политической ситуации, сложившейся в стране после смерти и так называемого разоблачения Сталина. Оно направлено против новой лжи, которую утверждал ЦК своим постановлением, ставя ее на место лжи прежней, лжи сталинских времен. Главное и самое неприятное для тогдашнего советского руководства поэт вложил в повторяющийся громовой рефрен:

Однако радоваться рано,
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.

Кто он, этот оракул? Не то ли он орет, что написано в постановлении ЦК? А кто «подонки», которые «травят Пастернаков»? Личное участие Хрущева в этой травле и уж во всяком случае его санкция на действия ее участников ни для кого не подлежали сомнению.

Вина Сталина – не только «в убитых, в безвестно канувших на Север». Нисколько ее не умаляя, Чичибабин говорит о другом: о зле, которое Сталин посеял в сердцах, о том, что по старой, т.е. сталинской привычке «невежды стали наготове / навешать всяческие лычки / на свежее и молодое». Сталин в ответе не только за собственные деяния, но и за тех, кого он породил, кто ему наследовал.

Но Чичибабин не был бы самим собой, если бы оказался способен в какой-либо форме повторить сентенцию известного чеховского героя: «виноват не я, а все прочие». Нет, поэт берет вину на себя. Сталин посеял зло в

сердцах, в том числе и в его собственном сердце:

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Но, признавая, что он, как и другие, изуродован сталинским наследием, Чичибабин полон решимости с этим наследием порвать, как и с нынешними наследниками мертвого вождя.

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

Первый стих этой завершающей строфы поэт вынес в заглавие стихотворения. И можно понять почему. Главным для него было именно это «Клянусь...». Прочитав стихотворение, он говорил чуть смущенно, но с нескрываемой гордостью: «Этой клятве я не изменял никогда».

Примерно тогда же, когда и эта «клятва», предположительно в начале 60-х годов, было написано стихотворение «Молитва». Оно тоже носит программный характер и, конечно, не случайно, открывает сборник «Колокол», о котором поэт говорил: «Это первая и единственная *моя* книга, это я, Чичибабин»[13]. «Молитва» выполнена в совершенно другой тональности, в ней нет ни ораторских конструкций, ни гневных инвектив, а есть тихий, задушевный, даже смиренный разговор со Всевышним, но разговор о том же – о готовности пожертвовать любыми благами, об отказе от материального и внутреннего комфорта, пока вокруг царит зло.

Доколе длится время злое,
да буду хвор и неимущ.
Не поскупись на холод ссылок
и мрак отринутых страстей,
но дай исполнить все, что в силах,
но душу по миру рассей.

---

[13] Вопросы литературы. 1994. Вып. 4. С. 193.

На уже упоминавшемся заседании КЛИКа я услышал из уст Чичибабина его «Крымские прогулки». Помню, что мороз драл по коже, когда он читал, да нет, не читал, а кричал:

Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, – кричал, – татары?»
Нет никаких татар.

И как прямое продолжение главного гражданского манифеста, стихов «Клянусь на знамени веселом» –

Умершим – не подняться,
не добудиться у́мерших...
но чтоб целую нацию –
это ж надо додуматься...

В той редакции, которую я тогда слышал, последний стих был: «это же что-то немыслимое». И далее уже прямо о том, что «не умер Сталин»:

А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.

Если так воспринимал и так переживал эти стихи я, то как же их воспринимали и переживали те, о ком они были написаны! Передо мной книга Эшрефа Шемьи-Заде «Къавал», вышедшая в 1965 г., задолго до того, как дожившие татары получили «прощение», с надписью: «Лучшему другу многострадального крымско-татарского народа Борису Алексеевичу Чичибабину от автора».

Как известно, гражданственность проходит красной нитью сквозь историю русской поэзии. Но каждая эпоха и индивидуальность каждого поэта накладывали отпечаток на то, как реализовалась в его творчестве идея гражданского долга и служения интересам общества. Одно дело – гражданственность Рылеева, сердцевина которой – свободолюбие и борьба с самовластьем, другое – гражданственность Маяковского. Для многих русских поэтов гражданственность предполагала отказ от интимной тематики, от любовной лирики. Чичибабин так никогда не считал. Он постоянно писал вдохновенные любовные стихи и создал немало шедевров исповедальной, глубоко интимной лирики. Тем не менее его гражданственность была самой высокой пробы.

Он был убежден, что в жизни общества, в жизни страны бывают периоды, когда уход от политики, отстранение от нее означали бы измену нравственным устоям, всему, что для него как для поэта и человека оставалось Главным. В одной из своих статей он оставил глубокое и чрезвычайно важ-

ное для рассматриваемой нами темы изложение своей позиции. Культура, говорил он, «не должна, не может быть политизирована», «но ведь смотря что разуметь под политикой. Вот семь человек выходят на площадь, протестуя против ввода наших войск в Чехословакию, – это политика? Но ведь прежде всего это акт совести, не мирящейся со злом и ложью. А декабристы? А народовольцы? А лейтенант Шмидт? Вся гражданская деятельность Сахарова – это политика. И что, по-вашему, с большей несомненностью принадлежит культуре: его наука, физика, изготовление водородной бомбы или его политические выступления, защита диссидентов, все то, за что его знают и любят во всем мире?

Когда писатель, поэт, интеллигент поднимает свой голос против явной социальной несправедливости, против тирании и насилия, лжи и беззакония, когда он выступает против крепостного права, против тяжелого положения рабочих, против национального угнетения, против еврейских или армянских, или негритянских погромов, против заключения в тюрьмы и лагеря инакомыслящих, против помещения в психушки здоровых людей – это политика, это политизация культуры? Если да, то, значит, всегда, во все времена культура была, и есть, и обязана быть политизированной»[14].

Обязана быть! В этих словах – объяснение того, почему Чичибабин не мог отойти от гражданской лирики, от стихов на политические темы. Когда «клубится кладбищенский сумрак», когда не слышно стало «разумных, простых и напутственных слов», когда «поэты уходят в изгнанье, а с нами одни холуи», когда исчезла «смешная девчонка Правдивость», когда «кесари наши пузаты и главный их козырь – корысть», тогда «художник бежит от здоровья, от нежностей и кутежей», тогда он обязан задаться вопросом:

Немея от нынешних бедствий,
и в бегстве от будущих битв,
кому ж быть в ответе за век свой? –

и осознать:

А надо ж кому-нибудь быть.

Это написано в 1961 году. А через восемнадцать лет Чичибабин создает стихотворение «Покамест есть охота...», где проблема долга гражданина вообще и поэта в частности поставлена с такой прямотой, четкостью и страстностью, что даже в его творчестве этому поэтическому манифесту трудно подыскать аналоги. «Давайте что-то делать», – раз за разом вновь и вновь повторяет он. И даже: «Что-то делать надо, хоть неизвестно что». Атмосфера, окружающая нас, невыносима: «ни смысла и ни лада, и дни как решето», «глумится челядь», «кичится власть», «наша плоть недужна / и безысходна

[14] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 185–186.

тьма», но нельзя, невозможно остаться безучастным к происходящему, ибо «за Божйй свет в ответе мы все вину несем»:

Решай скорее, кто ты
на чьей ты стороне, –
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.
Давайте что-то делать,
опомнимся потом, –
стихи мои и те вот
об этом об одном.

И хотя в действительности его стихи были не только «об этом об одном», но ясно, что именно «это» было для него самым важным, самой сердцевиной его гражданского и творческого долга. Он знал психологию своих современников и понимал, что «с устатку что-нибудь такое / приходит в головы и нам». И восставал против всего «такого» и напоминал: «Но есть же совесть в человеке / и творчества веселый зуд».

И стихи Чичибабина, и восхищение, которое они вызывали, и все его поведение, широта круга, с которым он общался, откровенность, с которой он делал общим достоянием и свои взгляды, и свои произведения, естественно, не могли не привлечь внимания соответствующих органов. Особенно пагубно сказалось на политической репутации Чичибабина руководство литературной студией при Харьковском ДК связи. К слову сказать, именно в этом здании находится сейчас «Чичибабин-центр», руководимый вдовой поэта Лилией Семеновной Карась-Чичибабиной и ставший излюбленным местом встреч и культурных контактов цвета харьковской интеллигенции.

Студия быстро снискала себе в глазах властей дурную славу. Откровенные дискуссии, недозволенные тексты, неосторожные мероприятия приводили в ярость партийных сановников и охранителей. Чичибабин опять попал в немилость, точнее сказать, дополнительно усугубил подозрительное отношение к себе. В 1966 г. студию закрыли, и на протяжении многих лет поэт работал в Харьковском трамвайно-троллейбусном управлении экономистом, товароведом, мастером-комплектовщиком.

Ко всему добавился семейный разлад. Жена Чичибабина Матильда Федоровна оказалась человеком ему духовно чуждым, и в конце концов он от нее ушел, лишившись не только квартиры, но и библиотеки, драгоценных книг, рукописей, писем. Потеря книг, которые он собирал всю жизнь, была для него тяжелейшим ударом. Все это вместе – и закрытие студии, и негласный запрет печататься, отсутствие надежд на публикацию стихов, которыми он наиболее дорожил, в которых изливал душу, неудавшаяся семейная жизнь – повергло поэта в глубокое отчаяние. Позднее он вспоминал: «Наступил кризис, который я перенес очень тяжело, думал о самоубийстве, боялся сойти с

ума. В это время написано стихотворение “Сними с меня усталость, матерь Смерть”». (Выбрал сам)

Может быть, я субъективен, но всю жизнь, сколько я знаю это стихотворение, оно ассоциируется в моем сознании с самым прославленным и самым трагическим из сонетов Шекспира – 66-м. Этот сонет наиболее широко известен в переводе С.Я. Маршака, где первый стих звучит так: «Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж». Но А.М. Финкель перевел его точнее: «Устал я жить и умереть хочу» (в оригинале: «Tired with all these, for restful death I cry»). Утерянное Маршаком слово «устал» в стихотворении Чичибабина станет стержневым. Короткая фраза «Я так устал» повторяется трижды. Ею же начинается завершающее двустишие, а последний стих повторяет первый:

Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.

Весь шекспировский сонет насыщен рядом обвинений существующего порядка вещей, при котором добро угнетено, а зло торжествует. У Чичибабина они вмещены в две строки:

Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.

Но верх взяло все-таки благо. О том, как это случилось, рассказал сам поэт: «От самоубийства или помешательства меня спасла любовь к женщине, которую зовут Лиля и с которой я с тех пор не расстаюсь». Любимая женщина, вошедшая в жизнь, подарила ему не только личное счастье, но и некое духовное воскресение: «И когда появился в жизни свет и спасение, я подумал: а для чего, собственно, я издаю плохие книжки, в которых читатель не видит моего главного, моей сути? И я решил, что буду свободным человеком, что не буду связывать себя мыслями о том, напечатают это стихотворение или нет, не буду писать с оглядкой на цензуру, а буду писать так, как диктует мне Бог, буду писать для себя. Я стал счастливым, я стал свободным человеком. Я перестал зависеть от конъюнктуры, от издательских планов, от критики»[15].

Эти слова подтверждаются многочисленными свидетельствами тех, кто видел отношения Лилии Семеновны с Чичибабиным и изменения, произошедшие благодаря ей в его душевном мире и всей его жизни. М.И. Богославский вспоминает, что новый, 1968 год влюбленная пара встречала в его доме. «В тот новогодний вечер Борис был в состоянии радостного испуга. Не сводил глаз с Лили, осторожно притрагивался к ней, словно еще и еще раз хотел убедиться, что то, о чем он мечтал все эти годы, на самом деле пришло. Ему было тревожно-хорошо. Начиналась новая эпоха жизни»[16].

---

[15] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 233.
[16] Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Харьков: Фолио, 2013. С. 217.

О том же писал и Г.С. Померанц: «Перед встречей с Лилей было одиночество, хлещущее реками. Вдруг, в середине жизни, к нему пришла счастливая любовь. Она была несравнима со всем, что он до этого знал, и лучше всего на свете... Он в сорок и пятьдесят лет любил, как в восемнадцать, со всем удивлением красоте, как будто в первый раз увидел женщину, в первый раз испытал радость от ее радости... Бог подарил Борису Лилю... И поэт радовался дару, как язычник, и благодарил Бога, как христианин»[17].

Это была редкая любовь и даже больше, чем любовь. Это было полное взаимопроникновение. В письмах Бориса Алексеевича отныне всегда звучит «мы с Лилей»: «Когда мы с Лилей перечитываем Баратынского, Тютчева, Фета, после них уже Пастернака читать трудно: так у тех, старых, все прекрасно, точно, незаменимо...»; «Сегодня мы с Лилей слушали – с пластинки – стихи Антокольского о “Чудном мгновении”, читал Козаков, и думали с ней о Пушкине, и я плакал, как, впрочем, плачу всегда, когда слышу – в человеческом исполнении – стихи Пушкина или хорошие слова о Пушкине». И так всегда.

В первом письме ко мне, когда мы были еще совсем не знакомы, ни разу друг другу руки не пожали, он сообщал: «Мою жену зовут Лиля. *Мы оба* (выделено мной. – *Л.Ф.*). поздравляем Вас и всех Ваших близких с Новым годом.»[18] и т.д. Их совместной жизни минуло к тому времени уже с четверть века, но он был так переполнен ощущением своего счастья, того богатства, обладателем которого он стал, что не хотел упустить случая поделиться своей радостью даже с совсем еще посторонним человеком.

Можно ли удивляться, что ее образ, обращения к ней, ее зримое или незримое присутствие проходят через его стихи? Одно из ранних, может быть, первых в этом ряду начинается такой строфой:

На сердце красится боль и досада.
Милым лицом твоим весь озарясь,
только с тобою изыду из ада,
Лиля Карась.

Этой строфой задан канон дальнейшего построения: в каждой из шести последующих строф последний стих, контрастируя с напевностью предшествующего дактиля, будет состоять лишь из двух слов – ее имени. Очень важно и упоминание об аде, избавление от которого она ему принесла. Правда, он говорит о своем избавлении как о будущем, но, похоже, потому, что еще боится поверить в свое счастье. Ведь здесь же утверждение: «Ты во спасенье мое родилась».

---

[17] Там же. С. 276.
[18] Борис Чичибабин. Письма. С. 451.

А «милое лицо» станет непременным предметом его любования и восхищения. В этом стихотворении – «лик твой иконный». Лицу любимой целиком посвящен сонет 6-й в «Сонетах любимой». Вот его первая строфа:

Люблю твое лицо. В нем каждая черта –
от облачного лба до щекотных ресничек –
стесняется сказать, как ландышно чиста
душа твоя, сестра деревьев и лесничих.

И далее:

Перед лицом твоим не страшно ни черта.
Люблю в него смотреть с наивностью сектанта.

В других сонетах: «Лицо Любимой излучает свет», «Твое лицо светло, как на иконе», «Стыжусь себя перед лицом твоим», «Моим глазам, твое лицо нашедшим, / после тебя тоска смотреть на женщин».

Одно из обращенных к любимой стихотворений Чичибабина начинается строфой:

Возлюбленная! Ты спасла мои корни!
И волю, и дождь в ликовании пью.
Безумный звонарь, на твоей колокольне
в ожившее небо, как в колокол, бью.

Оно и о любви, и о том спасении, которое принесла поэту любимая женщина. Но обратим особое внимание на то, что называется оно «Колокол», как называлась первая настоящая, в каком-то смысле главная, во всяком случае бывшая таковой в свое время, книга стихов. И это не только название – это вторая тема стихотворения, органически слитая с первой: бью в колокол на твоей колокольне.

Хотя Чичибабин озаглавил подборку, включенную в данное издание «Из сонетов любимой», не следует делать из этого вывод, что в нее вошли исключительно любовные стихотворения. «Как властен в нас бессмысленного зов», «У явного злодейства счет двойной», «Еще не весь свободен от химер я» – стихи философские. В сонетах «Ответьте мне, Сервантес и Доре», «Бессмертна проза русская. И благо» «Какое счастье, что у нас был Пушкин», «Не льну к трудам. Не состою при школах» налицо литературная проблематика. Но в каждом из них находится место для слов о любви и любимой женщине, и именно они внутренне скрепляют их, делают их составными частями единого целого: «Мне рай с тобой», «...счастлив тем, что в рушащемся мире / тебя нашел – и душу сохранил». Повторив в предпоследнем стихе начальный: «Какое счастье, что у нас был Пушкин», завершает так: «У всей России. И у нас с тобой».

Строкой «Бессмыслен русский национализм» Чичибабин выразил одно из своих самых коренных убеждений. Знавший, понимавший, чувствовав-

ший его, как немногие, Г.С. Померанц свидетельствует: «Для Чичибабина национализм – ругательное слово. Всякий национализм. Достается и русским, и украинским националистам. Нет даже оговорки о различии умеренного национализма (цивилизованного предпочтения национальных интересов) от национального экстремизма. В этом (как и во многом другом) его мысль очень прямолинейна»[19]. Эта черта его духовного облика заслуживает специального внимания, и мы к ней вернемся. Но здесь Чичибабин помнит и пишет преимущественно о той стороне дела, которая связана с его любимой женщиной. Она еврейка, он русский, и его не оставляют мысли о трагедии еврейского народа, об ответственности, которую, по его мнению, несут за это русские, и о вине, которую он, русский, готов принять на себя.

Мне стыд и боль раскраивают рот,
когда я вспомню все, чем мой народ
обидел твой.

Ты слышишь вопль, напыщенно-зловещий?
Пророк-погромщик, осиянно-лыс,
орет в статьях, как будто бы на вече,
и тучами сподвижники нашлись.

«Всех бед, – кричат, – виновники евреи,
народа нет корыстней и хитрее –
доколь терпеть иванову горбу?»

Я с детских лет не чту родства по крови ⟨...⟩
Я стану всех одной любовью мерить,
и только с ней я братьев обрету.

До сих пор предметом нашего внимания были 23 сонета, сведенные Чичибабиным в рубрику «Из сонетов любимой». Но необходимо иметь в виду сборник, в котором его любовная лирика представлена значительно полнее. Он назывался «82 сонета и 28 стихотворений о любви» и был выпущен в Москве издательством «ПАN» в сентябре 1994 г.

Стихи в нем были разделены автором на четыре рубрики: «Сонеты к картинкам», «Политические сонеты», «Сонеты любимой» и «28 стихотворений о любви». И неожиданно выявился интересный и поучительный факт. Точная классификация не состоялась, проявилось «сопротивление материала», границы дали трещины, присущее Чичибабину единство авторского сознания взяло верх и обусловило появление в тех или иных разделах стихов, не соответствующих названиям этих разделов. Не без натяжки можно назвать политическими сонеты «Ты мне призывных писем не пиши», «А жаль, что Бог со мной не совещался». А такое чисто политическое стихотворение, как

[19] Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. С. 280.

«Кто – в панике, кто – в ярости», попало в «стихотворения о любви», хотя оно скорее о ненависти. Кроме того, сама любовь понимается очень широко: не только любовь к женщине, но и любовь к городам, к природе, к историческим памятникам. Собственно любовных стихотворений здесь раз и обчелся. И совсем уж странно называть любовным «Сними с меня усталость, матерь Смерть».

С другой стороны, во включенных в «Сонеты любимой» стихах «Как властен в нас бессмысленного зов», «У явного злодейства счет двойной», «За чашей бед вкусил и чашу срама», «В краю, чье имя – юности синоним», «За певчий бунт, за крестную судьбу», «Уже бежать за поездом готов», «Эрнст Неизвестный, будь вам зло во благо!», «И у меня желание одно», «Издавнилось понятье "патриот"», «Ты, братец, враль. В тебе играет брага», «Еще не весь свободен от химер я» в центре внимания проблемы литературы, искусства, политические, этические. Повторим, это не следствие недосмотра: в тщательности, с которой Чичибабин относился к строению сборника, можно не сомневаться – это отражение своеобразия его творческого мира и творческого мышления.

В раздел «Сонеты к любимой» вошел 51 сонет, и среди них есть стихи, дополняющие важными штрихами и деталями те 23, которые были отобраны для сборника, воспроизводимого в нашем издании. Обратим внимание на те, в центре которых – литература и искусство, писатели и художники. Здесь перед нами «седым моржом наморщенный Маршак», с которым автору случилось говорить, «смутясь до слез и в трепете сыновнем», и песни Окуджавы, пришедшие «во все концы моей державы», и Марина, «Божия раба» и «Божий пророк» в сопровождении ее любимых прозаиков – Аксакова и Лескова, и «блаженный Мандельштам». В другом сонете поэт не найдет высшей похвалы для любимой, чем назвать ее: «Ты – Мандельштама лучшая строка». Но и здесь не все просто.

Чичибабин в 1962 г. пишет стихотворение «Ода». Случаи, когда он давал своим стихам заглавия, обозначающие название жанра, нередки, и во многих случаях такие обозначения имеют полемический характер: «Московская ода» – совсем не ода, а «Дельфинья элегия» – не элегия. Но к тому стихотворению, о котором идет речь, общепринятые характеристики этого жанра – «стихотворение восторженного характера в честь какого-либо лица или значительного, торжественного события», «похвальное, торжественно-патетическое стихотворение» – вполне подходят, по крайней мере по настроению и тональности. Вот только объект восхищения и восторга совсем не традиционно-одический – женские колени, «округлы розовы хрустальны, / соблазна плод и парус тайны». И пишет он о них потому же, почему пишет и обо всем другом, потому что душа его поэзии – полная искренность, и он стремится излить в стихах всю полноту своих ощущений: «счастье мне

дарила зрячесть, / и я о том не умолчал»:

Они мне рай, они мне Русь,
волчонком добрым льну и лащусь,
уж сорок лет на них таращусь,
а все никак не насмотрюсь.

Сегодня эти стихи могут показаться шутливыми, невинными и безгрешными. Но в те времена они заключали в себе не менее, чем явный вызов устоям «общественной морали». Когда «братья-писатели» собрались, чтоб исключить Чичибабина из Союза, то наряду с гневными политическими инвективами, вроде «молчит народ, дерьма набравши в рот», поставили ему в вину и «Оду»: «Читаю стихи о женских коленях. Я вижу несопоставимое: женские коленки и Русь. В стихах Чичибабина – лжефилософия ⟨...⟩ Вот почему творчество Чичибабина несовместимо со званием советского писателя»[20].

А как патетически возвышена постель:

...жар ее священней:
на ней любить, на ней околевать,
на ней чем тела яростней свеченье,
душе темней о Боге горевать.

Его обращения к женщине реальны и материальны: «Ты вся, как тишина, – / телесная, лесная», «дымящейся весной / твои ладони пахнут», «Я губ твоих желал / как простоты и света». В стихах на чисто политическую тему, обличающих «национальную вражду», также возникает образ постели:

Когда ко мне, как жар, нагая,
ты льнешь, ласкаясь и любя,
я разве думаю, какая
национальность у тебя?

Одна деталь, одно слово «нагая» переносит нас в мир интимной, щемящей искренности, по-своему убеждая, как это противоестественно – думать кто какой национальности. Как большой художник, Чичибабин не ощущал для себя запретных тем, но касался он их с безупречным тактом, во всяком случае в произведениях, предназначенных для обнародования. Потому чувственные его стихи целомудренны. В подтверждение этого еще два стихотворения, создание которых разделено значительным временным интервалом. Первое «Женщина у моря» – написано в 60-х годах:

И женщина, пришедшая на берег,
в напевах волн стоит голым-гола,
как хрупкий храм. И соль на бедрах белых,
и славят ночь ее колокола.

---

[20] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 340.

Это намеренное сближение интимного с церковным призвано как бы освятить первое вторым. И то же – в написанном спустя примерно четверть века – в 1989 г.:

Без движенья, без желанья
мы лежим обнажены.
То ли ласковая дрема,
то ли зов молитвоклонный,
то ли нежное касанье
невесомой тишины.

Кроме «Оды» о женских коленках он написал и еще одну оду, такую же страстную и пронзительно искреннюю, где к неподдельному восторгу примешана доля самоиронии. Здесь тоже характерная для одического жанра возвышенная тональность, но совершенно не характерен предмет восхваления. Это «Ода русской водке». Слово «русская» здесь очень значимо. Чичибабин поет хвалу нашему национальному напитку, достоянию «славянской души» и «всех трудящихся людей». Это «светлое питво» (неологизм, который встречается в стихах Чичибабина не раз) согревает «невосполнимым теплом» скудный стол.

Сие народное питье
развязывает языки,
и наши думы высоки,
когда мы тяпаем ее ⟨...⟩
Любое горе отлегло,
обидам русским грош цена,
когда заплещется она
сквозь запотевшее стекло.

Не выпивку славит Чичибабин, а общение, застолье. Этот же подтекст присутствует и в другой его «оде», которая называется «Приготовление борща». Еда – еда на столе, еда на прилавке, приготовление еды – обширная и, если позволить себе такое выражение, аппетитная, вкусная тема, восходящая к прославленному стихотворению Державина «Евгению. Жизнь Званская» и нашедшая себе поистине блистательное продолжение в поэме Д. Самойлова «Цыгановы». В нее внесли свой вклад многие поэты XX в.: Э. Багрицкий, В. Нарбут, Н. Заболоцкий, А. Кушнер, А. Васильев, Е. Винокуров, Е. Рейн, Л. Лосев, А. Тарковский, Б. Окуджава, Ю. Мориц и другие. Не последнее место в этом списке принадлежит и Чичибабину. Его описание того, как его подруга варит борщ, подкупающе материально и вещно, в нем присутствуют не только продукты, но человек, так способный воспринимать чудодейства, творящиеся на его глазах.

Капуста валится плеща,
и зелень сыплется до кучи,
и реет пряно и могуче
благоухание борща.

Но, глядя, как работают «ладони ловкие» умелой поварихи, он не забывает и о своей профессии, сравнивает плоды ее и своего собственного труда: «О, если б так дышал в стихи я, / как ты колдуешь над борщом!» Сегодня странно себе это представить, но и этим, казалось бы, на что уж невинным стихотворением Чичибабин тоже не угодил начальству, и областная газета откликнулась на него раздраженной заметкой «Наборщували». Стоит отметить, что и в этой «оде борщу», как и в «Оде русской водке», выпивка и закуска помогают отделить хороших людей от плохих. С водкой «не всяк дружить горазд», благодаря ей разоблачат себя «отпетые врали», а борщ выявит предателя: «иуда... подавится борщом». Мысль о совместной трапезе как свидетельстве близости духовной звучит в стихотворении, которое Чичибабин обратил к одному из самых любимых своих друзей – «Посошок на дорожку Леше Пугачеву»:

А я и в праздничном хмелю –
покличь меня, покличь –
ни с кем другим не преломлю
коричневый кулич.

На протяжении всей творческой биографии Чичибабина постоянным и неизменным источником его вдохновения была природа. Это и естественно: редкий русский поэт не оставил своего следа в пейзажной лирике. Но нужно видеть то своеобразие, которое получила эта тема в его поэзии. Картины природы у Чичибабина не похожи на те, которые мы видим у Есенина и тем более у Фета. У него не найдешь таких описаний, как «Тиха украинская ночь» или «То не ветер бушует над бором». Особенность чичибабинской природы в том, что она всегда как бы очеловечена. Это человек в природе, это описание не только и не столько картин природы самих по себе, сколько передача их восприятия, анализ тех чувств, которые она вызывает в душе и прежде всего в душе поэта. Чичибабин ведет нас не только в мир природы, но и в свой собственный душевный мир.

Он много ездил по республикам бывшего Союза, по разным местностям, городам и весям, а когда Союз перестал существовать, он с тоской вспоминал об этих поездках: «...как вела любовь, / я приезжал к себе домой / в ее конец любой». И куда бы он ни приезжал, он видел природу принимавших его местностей и вдохновенно писал о ней. А когда открылись дороги в Германию, в Израиль, в его поэзию вошли пейзажные зарисовки и этих стран. Нелегко и перечислить те города, которым Чичибабин посвящал свои стихи: Ленинград, Таллинн, Рига, Вильнюс, Псков, Горький, Суздаль, Киев, Львов, Полтава, Чернигов, Мариуполь, Феодосия, Судак, Батуми, Иерусалим, Фрайбург... И в каждом из них мы видим какие-то черточки «портрета этого города». Ведь городской пейзаж – это тоже пейзаж!

Поэт открывает нашему взору «старинные стены / ветряного Кремля», «жестяные переулки, / домов ореховый раскол / в натеках смол и стеарина / и шпиль на ратуше старинной», «деревня – жаровня. А что там акаций! Каменья, маслины, осот», «шашлычных углей лакомый угар, / заросших кладбищ надписи резные», «покой и тайна в каменных молельнях, / в дворах пустых», «зеленые скверы / да фонтаны со свежей водой», «буддийский храм на берегах Невы», «от наших глаз неотделима / холмистость Иерусалима / и огнедышащая синь».

Но, конечно, родная природа, окружавшая постоянно, вызывала особенно многообразные эмоции.

Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою нагорий?
Помолюсь облакам, чтобы дождик прошел полосой.
Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий,
сердце радо ромашке простой.

«Брат одуванчик», «минутный цветок», «всего лишь трава среди трав» вдохновляет поэта на оду, возвеличивает настолько, что быть на земле таким цветком, оказывается, лучше, чем человеком, и сам цветок сравнен с поэтом и поставлен в пример людям:

Как поэт, на просторе зеленом
он пред солнышком ясен и тих,
повинуется Божьим законам
и не губит себя и других ⟨...⟩

говорят, что он знает и слышит
то, что чувствуют Моцарт и Бах.

В «Элегии февральского снега» – восторженное любование картинами зимы:

Вышел срок метелицам полночным,
и к заре, блистая и пыля,
детски чистым, райски непорочным,
снежным снегом устлана земля.

Не цветок, не музыка, не воздух,
но из той же выси, что и сны,
эти дни о шлейфах звездохвостых
в обновимом чуде белизны.

А наступит март – и весна вызовет у поэта столь же вдохновенный порыв нежности и восхищения:

Сосулинки залепетали,
попались, звонкие, впросак,
и голубыми лебедями
сугробы плещутся в ручьях

Я никуда отсель не съеду.
Душа до старости верна
хмельному таянью и свету,
твоей волшебности, весна.

А вот уже другая весна, когда тепло набирает силу, когда «колокола голубизне / рокочут медленную кару», и этой весне можно пожаловаться «на то, что холод не уходит» и поэт «зябнет зябликом в росе».

Вслед за весной приходит лето, и с ним новая волна сладостных ощущений:

А хорошо бы летом закатиться
в лесную глушь – подальше от греха.
В сосновых рощах воздух золотистый.
Из пней прогнивших сыплется труха.

Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная...

Так же, как прежде весна, набирает силу и лето, принося с собой жару:

Жаркий ветер высот разметал бесполезные тучи.
Известковая скудь, мое сердце принять соизволь.
Эти блеклые степи предсмертно сухи и пахучи,
к их земле и воде примешалась азовская соль.

И снова приходит зима, и снова радует поэта то, что «земля в снегу»: «Пусть он лежит – скажи ему, подруга, – / я не хочу, чтоб таял белый снег».

Присесть к столу, погреться бы не худо,
земную стужу стаивая с век,
но не хочу, чтоб так кончалось чудо,
нельзя никак, чтоб таял белый снег.

Ему трудно примириться с тем, что близкий человек уедет в страну, где не бывает снега: «откочует брат мой Саша Верник, / как он там без снега проживет?» Его «приветствует природа» даже в «этакий мороз». И хоть «в декабре в Одессе жуть: / каплет, сеет, брызжет, мочит ⟨...⟩ В голове плывут слова. Гололедица и слякоть», но встреча со знаменитым памятником, ставшим одним из символов города, вызывает удивленно-восторженное восклицание: «Что за черт? Да это ж Дюк!».

Как уже говорилось, чичибабинская природа воспринята и обрисована человеком, пронизана исповедью о чувствах, ощущениях, ассоциациях, которые она вызывает в душе. Она делает нас чище и лучше. Благодаря ей «доносам и войнам / прядется предел». Оттого у Чичибабина так зыбка и трудноуловима грань между лирикой пейзажной и философской. Но мало того, он ни на минуту не дает нам забыть, что человек этот – поэт, в его

строках постоянно возникают напоминания о других поэтах и о восприятии ими этих же пейзажных картин. Ему «читают сосны по утрам / стихи Некрасова», «царь блаженных Максимилиан», «карадагской шествует грядой», а по улочкам Феодосии «рыскает» Мандельштам.

В годы, когда спасенный Лилей от смерти или сумасшествия Чичибабин переживал возрождение и творческий подъем, враждебное отношение к нему со стороны властей не только не уменьшалось, но и нарастало. Они ждали лишь подходящего повода для расправы с неблагонадежным поэтом, и в 1973 г. эта расправа состоялась. В январе Борису Алексеевичу исполнилось 50 лет. По этому поводу был устроен вечер, на котором он читал свои стихи. Тогда ходили слухи, что кто-то «настучал» в партийные инстанции, и по их указанию 25 апреля было собрано правление писательской организации для исключения крамольного поэта из Союза. Главным обвинительным материалом были стихи, прочитанные Чичибабиным на злосчастном вечере. К ним добавили еще какие-то списки и магнитофонные пленки.

Я всегда был далек от Харьковского отделения ССП, а в то время целиком погружен в завершение своей докторской диссертации и о происходившем знал немного, только то, что мне рассказывал входивший тогда в правление поэт Л.И. Болеславский, с которым у меня были приятельские отношения. К слову сказать, он оказался единственным, кто вел себя достойно и пытался, хоть и безуспешно, защищать Чичибабина и возражать против его исключения. По прошествии времени я пришел к выводу, что дело было не в том, что кто-то «настучал». Сам вечер с чтением его стихов был продуманной провокацией. Все знали, что Чичибабин – человек неосторожный, неосмотрительный, готовый читать свои стихи кому попало, и такой вечер обещал дать против него свеженький и к тому же совершенно достоверный материал. И расчет оправдался.

Протокол заседания сохранился. Найти удалось протокол и другого заседания, на котором Чичибабина восстанавливали в членах ССП и где вчерашние безжалостные хулители превратились в его страстных почитателей.

Сам же поэт, великодушный, всепрощающий, всепонимающий, отзывался об этом событии вполне по-чичибабински – без тени обиды, злопамятности и тем более мстительности.

И не надо думать, что такое отношение появилось позднее, когда время ослабило остроту опущений. Он и в самый день расправы был способен почти сочувственно относиться к тем, кто эту расправу творил. «Помню, – рассказывал он, – “приговор” мне читала строгая такая партийная дама, читала долго и нудно. А я все смотрел на нее и думал: “Бедная ты, бедная. Ну какая же ты некрасивая... И никто тебя, наверное, не любит...”»[21].

---

[21] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 228.

В конце 1980-х годов стихи Чичибабина получают наконец беспрепятственный доступ к читателю. То, что переписывалось и распространялось тайком, появляется на страницах столичных журналов, При этом не обошлось без курьезов. Так, когда «Дружба народов» публиковала стихотворение «Памяти А. Твардовского», которое заканчивается строками: «на отпеванье потаенном, / куда пускали по талонам, / на воровских похоронах» – в редакторах, видно, воскрес дух их далекого предшественника, когда-то «правившего» чичибабинскую «Махорку», и последний стих выглядел так: «на горьких тех похоронах»[22].

В 1989 г. Чичибабин за свой счет издает сборник «Колокол», а годом позже киевское издательство «Дніпро» выпускает еще один сборник – «Мои шестидесятые». «Колокол» был удостоен Государственной премии СССР, это был единственный случай, когда столь высокую награду получила книга, выпущенная за счет автора. В 1993 г. литературно-общественное движение «Апрель» присудило поэту премию им. академика А.Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя».

Чичибабин не без основания связывал перемены в своей судьбе с деятельностью М.С. Горбачева и свое понимание его деятельности высказал вскоре после его устранения от власти в стихотворении «В бессонную ночь думаю о Горбачеве». Концепцию, сформулированную в этих стихах, можно, разумеется, принимать, можно оспаривать, но игнорировать ее нельзя, потому что и мысли, и вся тональность этого произведения для Чичибабина очень характерны.

Как и все полвека своего творческого пути, с юности и до конца дней, Чичибабин и здесь идет «всуперечь потоку». Первое, что он считает необходимым подчеркнуть, – что он «бесовством общим не задет». Много лет назад он писал: «Кому ж быть в ответе за век свой? / А надо ж кому-нибудь быть». И теперь его подход тот же: для Горбачева миновала пора добрых слов. «Всем не до них, но надобно ж кому-то». И поэт берет этот долг на себя. Намерения Горбачева были, как он считает, прекрасны, он хотел «не разрушенья, а преображенья», «мир от войн уберечь», «превратить империи в собратства», «он выдал нам хоть толику добра, / а большего ему не дали сделать».

Горбачев надеялся разжечь в сердцах революционный дух, «меж тем как дух в соратниках протух / и стал, как смерть, всем россиянам тошен». А главное – эту мысль Чичибабин не раз повторял и в стихах, и в прозе – обреченность перестройки в том, что она делалась без Бога, хотя «на холм и то без Бога не забраться». В одном из интервью 1992 г. он так и сказал: «Опять все делалось без Бога, без желания добра каждому отдельному че-

[22] Дружба народов. 1988. № 4. С. 198.

ловеку»[23]. Позднее Чичибабин существенно разовьет и детализирует эту мысль, напомнив, что беда горбачевских преобразований «не в том даже, что они осуществляются не так, как о них мечталось, как они задумывались, а в том, что они и задумывались-то без мыслей о Главном ⟨...⟩ Великое дело – освободить души сотен миллионов людей от казенной лжи, от государственного насилия, от ненужных, смешных и нелепых запретов; еще важнее, наверное, наполнить товарами полки магазинов, приблизить материальный уровень нашей жизни к тому, как живут люди во всем мире, но ведь не может же быть, чтоб это было исполнением того, что верующий называет Божьей волей. Ведь надо же когда-то подумать о Главном, о душе, о духе...».

Неудачу Горбачева предопределили все мы: «чего же было и ждать в неразберихе и бессмыслице нашей жизни, при нашей несвободе, некультурности и бездуховности». В его деяниях, по мнению поэта, «нет особенной вины, скорее уж виноваты мы, которым «суждено невзлюбливать вождей / и от святынь кровавых отрекаться». Горбачев, каким изображает его Чичибабин, зримо перекликается с образом Дон Кихота, который многократно упоминается в его стихах и притом в большинстве случаев в единой, устоявшейся трактовке: неоцененный, незаслуженно покаранный носитель добра. Вспомним:

Бродяга и шут из Ламанчи
кто нес на мече доброту,
все ребра о жизнь изломавши,
дал дуба и где-то протух.

Вот скачет Дон Кихот – и хлоп с лошадки наземь!
Зачем же он смешон? Затем, что он прекрасен.

Ответьте мне, Сервантес и Доре,
Почто так жалок рыцарь из Ламанчи...

... поставим Дон Кихота
уму в поводыри.

И возьму я с собой
в свой последний отъезд из Ламанчи
вместо хлеба и книги
лохматой лазури ломоть.

Хоть люб нам Дон Кихот, но кто он –
сам автор путался порой:
дразнящий разум псих и клоун
или всамделишный герой.

---

[23] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 199.

Постоянство и напряженность интереса Чичибабина к Дон Кихоту, неизменная симпатия, которой пронизаны все упоминания о нем, думается, характеризуют и самого поэта и наталкивают на предположение, не было ли здесь и автобиографической подоплеки, не виделось ли ему в герое Сервантеса некое подобие его самого...

Как уже говорилось, в 1960-е годы Чичибабин, находившийся в цензурных тисках, вынужден был наводнять свои тогдашние сборники стихами, о которых позднее отзывался весьма пренебрежительно. Среди них были восторженно уважительные стихи о Ленине и Октябрьской революции, как их тогда называли, «паровозики», без которых книга не могла выйти в свет. По признаниям, сделанным Чичибабиным в многочисленных интервью, его отношение к революции и ее вождю существенно изменилось.

Так, на вопрос о стихах о Ленине, поэт ответил: «Стихи эти написаны давно. Сегодня я о Ленине написал бы иначе. Мое отношение к нему не было ровным на протяжении всей жизни... Сегодня Ленин для меня – фигура трагическая». Позднее он вернулся к этим размышлениям в статье «Просто, как на исповеди»: «Окончательная правда о Ленине, вероятно, сказана будет нескоро. За семьдесят с лишним лет нашей народной жизни накопилось столько зла, которое в нашем сознании, справедливо ли, несправедливо ли, связано с этим именем, что разобраться с этим очень непросто».

Менялось и отношение поэта к Октябрьской революции. «Сегодня, – писал он, – уже невозможно славить революцию, прощать ей ее преступления не в человеческих силах. Когда читаешь обо всех ужасах красного террора, да и белого тоже, когда пробуешь представить, как живых в паровозные топки бросали, как живых пилами распиливали, кажется, с ума сойдешь, сердце не выдержит – разорвется или остановится».

И все-таки он включил в сборник «Мои шестидесятые» такие стихи, как «Плывет Аврора», «Как я видел Ленина», «Ленину больно». Это был честный и мужественный поступок. Чичибабин отказался задним числом выпрямлять пройденный путь, замалчивать прошлые заблуждения и даже вынужденно сделанные идеологические уступки. Он как бы говорил: да, в мои шестидесятые я так думал, я был таким.

Руководило им, видимо, и другое побуждение, состоявшее в том, что «революционное сознание, революционное чувство, сама революция со всем, что ею порождено и ей сопутствовало, – это тоже наше наследие, к тому же самое близкое и прямое, самое кровное, самое живое, и не все в этом наследии – зло и грех, есть и добро, и подвижничество». Углубление в прошлое, его беспристрастная и справедливая оценка несовместимы для Чичибабина

с шараханьем из стороны в сторону и охаиванием того, что вчера было предметом поклонения. Такому он возражал резко и страстно:

Мне чужд азарт пьянчуг и краснобаев,
цвета знамен сменивших на очах,
в чьих святцах были Ленин и Чапаев,
а нынче вдруг – Столыпин и Колчак ⟨...⟩
Тот крестный путь вменив себе в устав,
я красным был и, быть не перестав,
каким я был, таким я и останусь.

За двадцать лет, минувших со времени, когда были написаны эти строки, мы узнали столько нового о Столыпине и Колчаке, разнузданно оболганных при советской власти, что сегодня трудно разделить то раздраженное и односторонне негативное отношение к этим деятелям, которое питал к ним Чичибабин. Но нам ведь важны не отдельные политические характеристики, а этическая позиция поэта и гражданина.

Конечно, он не оставался таким, каким был, и не раз говорил об этом. Мало того, он неустанно и страстно призывал к покаянию, убеждал в том, что все, кто жили в такое время и в такой стране «не могут быть непричастны ко всему, что творилось тогда, да и по сей день творится, не могут не разделять вины и ответственности за все, что делалось и делается, было и есть. Да так всегда и велось на свете: чем душа праведней, тем она сама себя считает грешней и виноватей, тем больше ей есть в чем покаяться...».

Он был убежден, что в жизни общества бывают периоды, когда уход от политики, самоустранение от его политических болей означало бы измену нравственным устоям, всему, что для него как поэта и человека оставалось главным. Вот почему главной составляющей поэзии Чичибабина всегда оставались стихи на политические темы. В них находила выражение не приверженность той или иной «политической линии», а глубинное понимание своего нравственного долга, осознание невозможности стоять в стороне от происходящего рядом, от тех процессов, которые волнуют общество, от тех болей, которые оно испытывает. В напоминание и себе, и другим он воскрешал образы художников, которые были носителями тех нравственных качеств, в которых особенно велика нужда в наше время:

Но к о г д а закручивался узел
и к о г д а запенивался шквал,
Александр Сергеевич не трусил,
Николай Васильевич не лгал.

Вряд ли стоит напоминать о том, что Чичибабин прожил нелегкую жизнь. Бедствий и кар ему даже по нашим временам выпало больше среднего. «И меня обижали безвинно, взахлеб, не однажды». Но самая большая, самая

безвозвратная утрата пришлась на 1991 г., когда у него отняли родину, когда страну, которую он любил беззаветной, сыновней любовью, разорвали на куски, каждый из которых кровоточил в разной степени. Прошло время призывов вроде «Давайте что-то делать». Больше делать нечего. «Рассыпался наш дом... / Бог весть теперь куда мы / несемся и бредем». И он неустанно продолжал «бить тревогу», напоминал, что «наше дело – выручать / из беды отечество».

Перед смертью он подготовил книгу «В стихах и прозе» – книгу итогов, о которой, кажется, тоже мог бы сказать: «Это я, Чичибабин». В издательском предуведомлении к ней сказаны справедливые слова: «В ней собрано все лучшее, что автор хотел донести до своего читателя. К сожалению, книга вышла в свет, когда его не стало. "В стихах и прозе" – продолжение вечного диалога о Главном, духовное завещание поэта, его последнее слово, обращенное к современникам». Сразу после ее выхода я получил экземпляр с дарственной надписью: «Леониду Генриховичу в память о Борисе Алексеевиче. С благодарностью Лиля Чичибабина. 21.03.96 г.».

Книга открывается вступительной статьей Чичибабина. В первой редакции она имела заглавие «Просто, как на исповеди», которое акцентировало прежде всего ее искренность. Но теперь автор назвал ее «Мысли о Главном». Через всю статью, от первой ее страницы до последней, проходит объяснение, толкование молитвенного постулата, воспринятого им от Зинаиды Миркиной: «Да будет воля Твоя, а не моя!» Правильно понять смысл, который заключали в себе для Чичибабина эти слова, можно лишь в контексте других, пронзительно искренних признаний поэта. Стихотворение «Меня одолевает острое...» он завершает признанием:

Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

Бог – собеседник поэта, и их беседа – такая же обыкновенная вещь, как беседа с человеком. Бог и человек ставились им в один ряд:

Мне нужен Бог и Человек,
себе оставьте остальное.

Так же в один ряд он ставил «исповедь перед Богом» и «перед людьми, которым, как я понимаю, нужны мои слова». «Когда я говорю "Бог", – объясняет он, – я имею в виду не церковного Бога, в которого я не верю. Мой Бог начинается не "над", а "в", внутри меня, в глубине моей». «У каждого должен быть и есть свой Бог, особый, личный». Вся поэзия Чичибабина – это призыв вверить себя Богу, не утрачивая при том и свободы перед Богом. Он так и говорил: «счастье начинается с внутреннего, со свободы перед Богом». Это сочетание, может быть, противоречивое, но для него глубоко органич-

ное, определило место и смысл религиозной символики в его стихах, его восприятие и понимание «зининой молитвы».

Думается, однако, была и другая причина, объясняющая, почему эта молитва так волновала Чичибабина или, лучше сказать, давала ему возможность выразить самое сокровенное, самую основу своих убеждений. Очевидно, формула «Да будет воля Твоя, а не моя» может наполняться разным содержанием. Она может выражать смирение, самоограничение, осознанное подчинение себя Богу, отказ от своей воли во имя торжества Его воли. Но лишь для того, для кого Бог – это иная сущность в сравнении с ним, для кого Бог – вне его самого.

А у Чичибабина все не так. Он многократно и настойчиво повторял, что для него Бог не «над», а «в», внутри него, что Бог – это часть его самого и он не мыслит подчинения Его воле как чему-то иному в сравнении со своей волей, какого-то ограничения своей свободы. Здесь нужно обратить особое внимание на то, что, очередной раз повторив формулу «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи», поэт добавляет: «Так может молиться только свободный человек».

Отдаваясь Его воле, Чичибабин в действительности возвышает то лучшее, разумное и благородное, что есть в *нем самом,* над другим, преходящим, второстепенным. Человек «не может быть свободен от земных, повседневных, житейских забот. Никакой Бог не может этого требовать. Но, живя сегодняшним, люди должны помнить о Вечном. У них должны быть непреходящие ценности и святыни, которыми они и будут мерить свою жизнь». Если в душе Главное и Вечное возобладает над преходящим и мнимым, это и значит, что исполнится сознательная молитва свободного человека: «Да будет воля Твоя, а не моя».

Как уже говорилось, самая большая, самая безвозвратная утрата, понесенная Чичибабиным в его нелегкой жизни, пришлась на 1991 год, когда у него отняли родину. Ни в один период его творчества гражданская тема не звучала в стихах Чичибабина так громко и страстно, как в последние четыре-пять лет. Он неустанно звал «бить тревогу», для него, поэта, жившего на Украине, самым горестным из всего случившегося было именно то, что «русский с украинцем спасаться разошлись», что Украина и Россия «разорвали свой союз».

Гражданская лирика Чичибабина создавалась на протяжении более чем тридцати лет. Менялись времена, менялась ситуация в стране, и он, чутко воспринимавший происходящее, конечно, тоже менялся. Рылееву было в чем-то проще. Усмотрев для себя одного врага, он с ним и боролся, пока не погиб. У Чичибабина в разное время были разные враги или, лучше сказать, разные объекты неприязни. Одни сходили со сцены, их место занимали новые. Сначала «генералиссимус рябой», потом «антисемитские кретины» и

«государственные хамы» хрущевского десятилетия, когда создавалась видимость борьбы с «культом личности», но все происходившее на глазах поэта убеждало его в том, что «не умер Сталин». Потом брежневское безвременье, обрекавшее мыслящих и граждански ответственных людей на невыносимо-мучительное бездействие, породившее отчаянный призыв: «Давайте делать что-то...».

И, наконец, худшее из всего, что ему довелось увидеть, – «кара Божья, национальная вражда». Отчаяние, которое овладело тогда Чичибабиным, выразилось в стихотворении «Плач по утраченной родине», в котором правомерно видеть не только одно из самых сильных его произведений, но и замечательный образец русской гражданской лирики. Здесь нет призывов вроде «Давайте что-то делать». Происшедшее непоправимо.

Стихотворение «Плач по утраченной родине» появилось в «Литературной газете» 22 апреля 1992 г., спустя четыре с лишним месяца после беловежских соглашений. Когда вечером 9 декабря возбужденные дикторы теленовостей радостно сообщили, что Советский Союз прекратил существование, мало кто осознал подлинные масштабы и трагизм произошедшего, мог себе представить, что Смоленск станет пограничным городом, что появятся таможни между Харьковом и Белгородом, что москвичи будут оплачивать визы в загранпаспортах, чтобы побывать в Каунасе или Пярну, что десятки миллионов русских окажутся в новосозданных государствах чужими.

Вероятно, не представлял себе это в первые послебеловежские месяцы и Чичибабин, во всяком случае в полной мере. Но чутье безошибочно подсказывало ему, что произошла катастрофа. Он был охвачен горем и тревогой.

Какой нас дьявол ввел в соблазн,
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.

Он ощущал свое состояние как сиротство: «ведь родина – она как мать, она и мы – одно». Он не идеализирует ее. Он помнит: «она глумилась надо мной», он знает: ее «не зря / назвали, споря с немотой, / империею зла». Но было в ней и другое, за что «мы отдавали жизнь».

Ее судили стар и мал,
и барды, и князья,
но, проклиная, каждый знал,
что без нее нельзя.

Когда Чичибабин горестно восклицает: «...я с родины не уезжал, / за что ж ее лишен», то скорбь его прежде всего о том, что безжалостная граница пролегла между ним и Россией. В стихотворении «Россия, будь!» он повторяет те же слова и, называя Россию «отечеством», не может смириться с

тем, «что выбыл... не уезжав, из твоего гражданства». Чичибабин потрясен и возмущен тем, что был произведен «раздел страны ради раздела». В одном из своих интервью он вновь вернулся к той же наболевшей мысли: «Я всегда жил в Харькове и никуда из него не уезжал. Но стал человеком без Родины. Потому что моя Родина – это большая страна, по крайней мере та ее часть, что говорит и пишет по-русски»[24]. Это указание на язык как на определитель границ «большой страны», в которой Чичибабин видел свою Родину, для него чрезвычайно существенно и характерно.

Он не может видеть свою родину в «содружестве независимых государств», потому что убежден: это одна страна и населяет ее один народ: «Из века в век, из рода в род / венцы ее племен / Бог собирал в один народ», и «того народа, той страны / не стало в миг один». И не кто-то, а мы, не сумевшие сберечь родину-мать, – виновники происшедшей трагедии:

При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.
К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.

Он, конечно, помнил, что «мачеха-Москва / всех обид рассадница», и признавал, что «сам приложил руку к ее разрушению. Но, видит Бог, не такого разрушения я хотел. Если угодно, я хотел преображения...»[25].

Очень интересно восприятие этого стихотворения и состояния, в котором находился поэт, французским литературоведом и переводчиком стихов Чичибабина на французский язык Жоржем Нива. По его признанию, из всех встреч, которые он имел с писателями во время поездки «в потерянную Россию», эта была самой волнующей. «Вдруг появилась высокая фигура раненой птицы – это был Чичибабин. Он сразу начал читать поэму “Плач по утраченной родине”. Я был взволнован». К тому моменту со времени ликвидации СССР прошло не менее полутора лет. Но боль была еще так сильна и рана настолько кровоточила, что Чичибабин сразу стал читать именно это стихотворение.

«...Я понял, – продолжает Нива, – всю тревогу этого русского поэта, отделенного вопреки его желанию границей от России. Его слова тяжелы: “Вот и опять мы все разрушили, в том числе и эту огромную страну, которую я бы хотел видеть не разрушенной, а реформированной. И вот снова мы пытаемся построить на пустом месте самый нечеловеческий вариант буржуазного

---

[24] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 198.
[25] Там же. С. 197–198.

государства. И опять одно и то же: революция ради революции, реформа ради реформы. Не покаявшись, не смыв своего греховного позора, нисколько не заботясь о людях... Страну режут по живому. Я всегда жил в Харькове, и теперь я – человек без Родины, потому что моя Родина – это все те, кто говорит и пишет по-русски. Ей я посвящал свои стихи. Я был свободным и в ГУЛАГе, и во времена диктатуры. Теперь в свободном мире я лишен свободы. Ненависть возвратилась..." Я не говорю, что Чичибабин был абсолютно прав, я думаю совсем иначе, но я его понимаю, и этот долгий плач по России выворачивает душу»[26].

Мы видим в «Плаче по утраченной родине» одно из главных, определяющих гражданский и творческий облик произведений Чичибабина не только потому, что это был самый острый и эмоциональный отклик на наиболее значимое событие своего времени, но и потому, что в нем с особой силой воплощены, сфокусированы мысли и чувства, которые можно видеть и во многих других его стихах. Родина, по которой он горевал, была страной, где жили в дружбе и любви люди разных национальностей, где «рад был украинский хлеб / молдавскому вину», где «были думами близки / Баку и Ереван» и «как вела любовь, я приезжал к себе домой / в ее конец любой».

Когда пограничные заставы отделили поэта от прибалтийских республик, он остался верен тому, что чувствовал раньше, и отношению к ним как к частям своей родины.

Латвия моя, моя Эстония
и моя медвяная Литва...
вы сошлись во мне, и никогда я вас
не отрину и не разлюблю.

Восхищением и нежностью проникнуты все четыре чичибабинских «псалма Армении». Армения для него – это «Божья любовь, в горах сораспятая с Богом». «В моем восприятии Армении есть что-то мистическое, религиозное, для чего нет слов в словарях... – писал он. – Армения не одна из нескольких, пусть даже самых немногих, а просто одна. Армения – единственная на всю жизнь. Как родина, как судьба».

Развитие карабахского конфликта побудило Чичибабина увидеть в нем прежде всего трагедию армянского народа.

Всегда обижали
и вновь обижают армян...

От пролитой крови
земля порыжела на треть.
Армянам не внове,
да как нам в глаза им смотреть.

---

[26] Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. С. 304.

Но высокий гуманизм и здесь уберегает поэта от односторонности. Он не забывает и о жертвах, понесенных мусульманской частью населения Карабаха: «Дрожа и сутулясь, / над жертвами плачет Аллах». Когда он клеймит «безглавые власти», которые «на смерть обрекли Карабах», то это, конечно, власти и Баку, и Еревана.

Чичибабину было чуждо и даже ненавистно многое происходившее и происходящее на Украине. А ведь любил он ее не меньше и уж во всяком случае глубже и разумнее, чем иные ретивые поборники ее независимости. За много лет до того как они развернули свою бурную деятельность, он писал:

С Украиной в крови я живу на земле Украины
и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
на лугах доброты, что ее тополями хранимы,
место есть моему шалашу.

Он слушал пенье «соловьев запорожских времен», был одарен «блаженной прохладой от источника Сковороды», он «не жив ни часа без Тараса, Сковороды, Кармелюка». Но живя на Украине, он «стих выплакивал по-русски», «двойным причастием дыша». Он видел «у двух народов разномовных / одну печаль, одну любовь». Он был убежден, что «у русского и украинца / одна судьба, одна земля».

К этой мысли Чичибабин возвращается вновь и вновь, она проходит красной нитью сквозь многие стихотворения, каждое из которых – «плач по утраченной родине». Как было ему примириться с тем, что «с Украины в Россию уже не пробраться без пошлин», когда жила в нем кажущаяся кому-то несовременной, но нерушимая и благородная вера:

Мы пили плеск одной криницы,
вздымали хлеб одних полей, –
кто б думать мог, что украинцы
возненавидят москалей?

Но, как слепцы б нас ни разнили,
в той розни выплывет не раз,
что лучшими людьми России
из рабства вызволен Тарас.

Чичибабин прозорливо, можно сказать, пророчески говорил о том, что одними недооценивается, другими замалчивается, о различиях в менталитете и языковой ситуации на востоке и западе Украины: «Для нас, славян, русская, украинская, белорусская культуры неразрывно соединены в истории настолько, что их можно назвать одной культурой. Противопоставление их невозможно. Это противопоставление идет от Западной Украины, которая исторически была разъединена с нашей великой Украиной. Львов никогда не был русским городом. Западная Украина действительно была отделена от

русской культуры»[27]. Тонкое, чуткое понимание ситуации в Украине нашло отражение и в поэзии Чичибабина. Вспомним два стихотворения, написанные в разное время о двух украинских городах. Их сопоставление позволяет видеть нечто глубинное, сокровенное в образе мыслей поэта. Одно из них «Киев», другое – «Львов».

Без киевского братства
деревьев и церквей
вся жизнь была б гораздо
безродней и мертвей.

Киев Чичибабина – не столица независимой Украины, но город, где «подуло Русью древней / от Золотых ворот», где «от врубелевских фресок / светлеет голова», где «не может светлой не быть / славянская душа». Не украинская – славянская! Киев Чичибабина – это колыбель общей культуры и общей религии: «Крещение Руси происходило здесь вот».

Совсем иные чувства вызывал у поэта Львов. Стихи об этом городе он написал задолго до того, как Львов из-за некоторых националистических объединений приобрел свою нынешнюю одиозную репутацию. Но как же велика была прозорливость поэта, если сегодня его строки воспринимаются как зловещее пророчество! Да, он видит холодную и величественную красоту Львова: «Твой лик жесток и пышен. / Грозны твои кресты. Державна красота». Но красота эта – не близкая, не своя! Город устремлен на Запад и потому чужд поэту. «Нет у нас родства / с надменной, набожной и денежной Европой». У нас родство – с Россией. А у Львова его нет, и потому он для Чичибабина был и остается не своим:

Я дань твоим ночам не заплачу ничем.
Ты праздничен и щедр, – но что тебе Россия?
Зачем ты нам – такой? И мы тебе зачем?

Нигде, ни разу, ни в гневе, ни в тоске, ни в отчаянии Чичибабин не призывал к восстановлению Советского Союза. Он понимал необратимость происшедшего, и его политическая трезвость оказалась более высокой пробы, чем у иных профессиональных политиков. Его «Плач по утраченной родине» – конечно, плач по исчезнувшей стране, но и плач по России. Когда он, живший на Украине, говорил: «Я с родины не уезжал – / за что ж ее лишен?», не вызывает сомнения, что лишился он именно России.

Говорил он об этом много и подробно: «Я себе не мыслю Украины вне России, без России, понимаете? Когда-нибудь мы обязательно будем вместе. Я не знаю, что это будет – государство, собратство или какое-то другое объединение, например по типу Британского содружества наций. Но мы должны быть вместе,

---

[27] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 257.

поскольку мы одна вера, почти один язык (украинская мова и русский язык очень близки, и человеку, живущему на Украине, не нужно переводить Шевченко на русский язык, а Пушкина на украинский; украинский интеллигент всегда понимал русскую поэзию, русскую душу, русский язык), мы будем вместе, но только в отдаленном будущем, до которого я не доживу»[28].

Россия – постоянный, неизбывный предмет раздумий Чичибабина. «Я дышал историей России...». Не познавал, не изучал, а дышал ею. Не мог примириться с тем, что в этой истории «все листы в крови – куда ни глянь». Он слал «проклятье Петру», «плотнику саардамскому» в «немецких штанах» за боль и обиды, причиненные им народу. В горький час прощания с Твардовским восклицал: «О есть ли где-нибудь на свете Россия – родина моя?» Когда «с устатку» появляется сомнение: «что проку добрым быть и честным, / искать начала и концы» – спасает вера в то, что я – Россия, «земля, судьба и сам народ». «Я за участь свою ни слезы не пролью – / Все, что есть, за Россию прольются».

Но любя Россию, Чичибабин никогда не становился рабом этой любви, никогда она не застилала ему глаза, не умаляла трезвости и беспощадности взгляда. Жестокость к чадам своим, погибель достойных – вот чего не прощает сын матери, которой он молится, но не верит. Беспощадно обвиняющие слова, с которыми он обращается к России, исполнены гнева и горькой иронии.

Скучая трудом, лютовала во блуде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди –
бахвалы, опричники и палачи.

А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит – и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.

Гневные обвинения российских правителей звучали во многих стихах Чичибабина. Может быть, зверства времен Ивана Грозного и Петра I так волновали поэта потому, что, по его убеждению, они не ушли в прошлое: то, что происходит сейчас, он воспринимает как продолжение былого:

У мира прорва бедолаг. О сей минуте
кого-то держат в кандалах, как при Малюте.
Там где-то Грозный радуется казням,
горит в смоле свирепый Аввакум.
О, что уму небесные законы,
что град Петра, что Царскосельский сад,
когда на дыбе гибнут миллионы
и у казнимых косточки хрустят?

---

[28] Там же. С. 252.

Творящееся на Руси «не привидится злыдню во сне»:

Так и пляшет топор, без вины и без смысла карая,
всюду трупы да гарь, да еще воронье на снегу,
и князь Курбский тайком отъезжает из отчего края, –
и отъезд тот во грех я помыслить ему не могу.

Это читаешь и не поймешь, про историю ли ведет речь поэт или про сегодняшний день. И не потому, что мы непонятливые, а потому, что так оно и написано.

Чичибабин зримо продолжает одну из сквозных традиций русской литературы. Из многих, кого можно было бы назвать как его предшественников, вспомним хотя бы одного – Максимилиана Волошина: его обращение к «святой Руси», которой «сыздетства были любы» «самозванцы, воры да расстриги», которая отдала «власть – холопам, силу – супостатам, смердам – честь, изменникам – ключи». Как и Чичибабин, Волошин напоминал о гибели Пушкина («Неисповедимый рок ведет / Пушкина под дуло пистолета...»).

Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца, – Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луже поскользнусь, –
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.

Эти строки коктебельского отшельника отзываются у Чичибабина:

Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит, –
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.

В сходном с волошинским контексте поминает Чичибабин и Голгофу. Обращаясь к тем соотечественникам, которые решили «уйти в заграницы», он предрекает и их, и собственную участь.

Уходящему – Синай,
Остающимся – Голгофа...

Когда по России катились кровавые волны гражданской войны, когда мыслями и действиями ее участников правили «гнев, жадность, мрачный хмель разгула», Волошин писал:

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

Когда ожесточенно противостояли друг другу Молдова и Приднестровье, когда стонала под гусеницами танков и разрывами снарядов многострадальная земля Нагорного Карабаха, Чичибабин писал:

Душа, свергая в перегрузках
шовинистический дурман,
болит за молдаван и русских,
азербайджанцев и армян.

Незадолго до смерти Чичибабин написал стихотворение «Россия, будь!». Многое в нем перекликается с тем, что он говорил прежде, но некоторые существенные акценты расставлены по-иному. Он и сейчас предъявляет России суровый счет: она «валяет дурака, / не верит в прорицанья», повывелась ее «хваленая духовность», ее «особенная стать» (здесь, конечно, скрытая полемика с тютчевским «Умом Россию не понять...»).

Отвращение вызывают и нынешние черты российского быта: животная жизнь, заслонившая небо, и особенно смешение «ликов и крестов с насилием и сексом». Но главный эмоциональный стержень стихотворения – пронзительная, неизбывная, сыновняя любовь к России. Она и побуждает поэта звать свою страну к очищению, к приверженности подлинным ценностям: «да будут помыслы твои / светлы и бескорыстны», «но остаются дух и речь, / свобода и культура». «Россия, будь, как ты была / при Пушкине и Блоке».

Поскольку для самого Чичибабина покинуть родину было немыслимо и, даже видя, что «наточен топор, и наставлена плаха», он говорит: «я не уйду в заграницы, как Герцен», не обойти молчанием его стихи, обращенные к тем, кто «уходил». Стихи эти непростые, ибо непростым было отношение к друзьям, навсегда покидавшим родную землю. Одно из самых совершенных в этом ряду – «Дай вам Бог с корней до крон...». Именно здесь Чичибабин наиболее проникновенен и наиболее терпим. Высокая грусть и по уходящим, и по остающимся пронизывает это стихотворение, его печальные и мудрые рефрены:

Уходящему – поклон,
остающемуся – братство...

Уходящего – пойму,
остающегося – знаю...

«Уходящие» – это близкие друзья поэта, эмигрировавшие в Израиль, и здесь к месту сказать о непродолжительных, но очень важных для его характеристики отношениях Чичибабина с этой страной. Корни их уходят в далекий 1946 год, когда было написано стихотворение «Еврейскому народу». Его восхищает мужество, проявленное евреями во время тяжких испытаний («Завтракал ты славой, ужинал бедою, / слезной и кровавой запивал водою»). Они прошли муки гетто, казни, погромы, и «всех родней поэту те,

кто здесь гоним был». И завершается этот взволнованный монолог двадцатитрехлетнего поэта признанием, которое, хоть и может показаться неожиданным, органично вытекает из всего предыдущего: «Я б хотел быть сыном матери-еврейки».

Судьбы еврейского народа возникают, как мы помним, в стихах, обращенных к любимой. И наконец, в 1992 г. Чичибабин совершает поездку в Израиль, вызвавшую появление двух стихотворений – «Земля Израиль» и «Когда мы были в Яд-Вашеме». Они составляют как бы дилогию, скрепляемые общим чувством, порождающим повторение тех же слов. Первое заканчивается признанием, что, вернувшись с этой земли, «только одно и почувствую дома – / то, что Святая». А в первой же строфе второго – «земля трагически-святая / у Средиземного ковша».

Уже в первом стихотворении возникает Яд-Вашем, причем именно в том контексте, который будет развит во втором – сопричастность поэта к страданиям, символом которых стал знаменитый музей:

Я их печаль под сады разутюжу,
вместе со всеми
муки еврейские приняв на душу
здесь, в Яд-Вашеме.

О том же говорится и во втором: «Я сердцем всем прирос к земле той, / сердцами мертвых разогретой...». И последняя строфа, которая не может не вызвать в памяти пожелание, высказанное поэтом четыре с половиной десятилетия назад, – «быть сыном матери-еврейки»:

Я, русский кровью и корнями,
живущий без гроша в кармане,
страной еврейской покорен –
родными смутами снедаем,
я и ее коснулся таин
и верен ей до похорон.

Если кто-то подумает, что эти строки отразили всплеск эмоций, овладевший поэтом под влиянием впечатлений от посещения «святой» страны, ему стоит уделить внимание прозаически деловому комментарию к этим стихам, содержащемуся в письме, которое Чичибабин тогда же отправил своему близкому другу Михаилу Копелиовичу. В нем есть такие слова: «Страшно быть евреем. И тот мир, в котором так интересно жить, так хорошо чувствовать себя его гражданином, не защитит евреев – ни Россия, ни Украина, ни Германия, ни даже, я думаю, Америка. А государство Израиль защитит, обязалось защищать, подтвердило это обязательство материально, вещественно, наглядно ⟨...⟩ Если придется и мне уезжать из России (теперь уже с Украины), а это будет, наверное, скорее, чем я сейчас думаю об этом, я уеду

не в Америку (которую не люблю) и не в Германию или Италию (которые полюбил), а в этот маленький, замкнутый, не очень радующий глаза, чувства и мысли Израиль. Вот так-то»[29].

Надо сказать, что отношение Чичибабина к Израилю не осталось без взаимности. В небольшом городке Бней-Аише установлен монумент в честь выдающихся борцов с антисемитизмом, и наряду с именами Эмиля Золя, Владимира Короленко, Андрея Сахарова, Виктора Некрасова, Дмитрия Шостаковича, Анатолия Кузнецова, Рауля Валленберга и Оскара Шиндлера там есть и имя Бориса Чичибабина.

Многие русские поэты оставили стихи, призванные запечатлеть их представление о сущности поэзии, о долге поэта. «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт и толпа», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Пушкина, «Поэт», «Журналист, читатель и писатель» Лермонтова, «Художник» Блока, «Разговор с фининспектором о поэзии» Маяковского, «Стихи о поэте и романтике», «Стихи о соловье и поэте» Багрицкого, «Определение поэзии» Пастернака, «Творчество» и «Поэт» Ахматовой – этот перечень можно многократно увеличить.

Каждое такое стихотворение открывает особую, в чем-то неповторимую и незаменимую возможность постичь его создателя. Нам предстает то особенное, что характеризует его взгляд на мир и на свое место в мире. Мы узнаем, как он оценивает современное ему состояние жизни и литературы, в чем видит свои задачи. Он раскрывает нам тайники своей творческой лаборатории. В этих стихах и оценка сделанного, и тоска по недостигнутому, и самоутверждение, и покаяние, и завет наследникам. Неповторимость каждого большого поэта с особой силой и ясностью проявляется именно в творческих декларациях. Только Маяковский мог написать вступление к поэме «Во весь голос», только Тютчев мог написать «Silentium».

Хотя раздумья о поэзии, о своем творчестве проходят красной нитью сквозь стихи Чичибабина, произведений, которые можно назвать творческими декларациями в полном смысле этого слова, у него сравнительно немного. Тем большего внимания заслуживает каждое из них. Одно из первых в этом ряду – «Без всякого мистического вздора...». Оно было вызвано очевидным и значительным подъемом интереса к поэзии, которым были отмечены первые годы после смерти Сталина, годы так называемой «оттепели», когда идеологический зажим был ослаблен, стихи стали человечнее и искреннее и количество их любителей стремительно росло. Чичибабин с радостью отметил: «по-моему, добро и здорово, / что люди тянутся к стихам».

---

[29] Борис Чичибабин. Письма. С. 381. См. также: *Фризман Л.* Чичибабин и Израиль // Ноев Ковчег. Харьков: Каравелла. 2002. № 1. С. 284–286.

Он напомнил, что и «в годы памятного зла», т.е. в годы сталинского террора, «на колья лагерей натыканная», «поеживалась Поэзия, – а все-таки жила!» А теперь она «поворачивает к Великому человеческие сердца...». «Бездушию политиканства / Поэзия – противовес...».

Годом позднее Чичибабин пишет стихотворение «Поэт – что малое дитя». В нем звучат несколько мотивов, которые позднее будут развиты, найдут более глубокое и детализированное воплощение. Что поэзия – это священное таинство («Стих, написанный шутя, как жизнь, священ и неосознан», «У древней тайны вдохновенья напрасно спрашивать резон»). В строках «То громыхает, как пророк, а то дурачится, как клоун» – предвестье той оппозиции, которая станет центральной в стихотворении «Защита поэта». Но стих, хоть и «от быта отрешен», вызван к жизни способностью и стремлением поэта выразить боль, и свою, и тех, кого он видит вокруг себя.

Я б не сложил и пары слов,
когда б судьбы мирской горнило
моих висков не опалило,
души моей не потрясло.

Тогда же, в 1960 г., он создал один из своих несомненных шедевров – стихотворение «До гроба страсти не избуду...». Здесь тоже истоки мысли, к которой Чичибабин будет впоследствии неоднократно возвращаться – что он не такой поэт, как другие. Этих других он будет называть «пророками», «провидцами», «кликушами», «пустомелями», «профессионалами», «мастерами», «рифмачами». Здесь подобного нет. Но уже первыми стихами Чичибабин утверждает: «Я не был сроду и не буду, / каким пристало быть поэту».

Поэту пристало возращиваться «в игрищах литературных», «на пирах», «в дачных рощах». А «мой дух возращивался в тюрьмах / этапных, следственных и прочих». «Поэты прославляли вольность, / а я с неволей не расстанусь». Поэт внушает к себе «доверье издателей и незнакомок». О себе Чичибабин не может этого сказать. И все же, у него есть право на повторяющийся рефрен:

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.

Потому что он «был одно с народом русским», с которым делил все, что выпало на его долю, «был простой конторской крысой, / знакомой всем грехам и бедам». Он не был, «каким пристало быть поэту», но поэтом был и более «взаправдашним», чем те, которые были такими, как пристало.

В стихотворении «Я по тебе грущу, духовность...» Чичибабин продолжает и развивает мысли, высказанные в уже упоминавшемся «Без всякого мистического вздора...»:

Весь Божий свет сегодня свихнут,
и в нем поэзия одна,
как утешение и выход,
слепому времени дана...

Главная мысль, красной нитью проходящая сквозь стихотворение «Я слишком долго начинался...», – об остро ощущаемом одиночестве поэта, о том, что его голос не доходит до тех, к кому он обращен. Он стремится «не слова бросать на ветер, а дело людям говорить», «к заветному пробиться», «до сокровенного дойти». Но он не услышан, не понят: «Мои стихи, мое дыханье / не долетело до людей...». Ему кажется, что его «младые поколенья опередили, обскакав». Он скорбит о том, что его пот и опыт «пойдет не в пользу молодым», что им не видно его святынь. Но неуслышанный, неузнаваемый, неведомый, он хранит гордое убеждение в правильности и ценности пройденного пути, что его святыни подлинные, что его так тягостно добытый опыт мог бы еще послужить тем, кому остался неизвестен.

Особое место в ряду творческих деклараций Чичибабина принадлежит стихотворению «Защита поэта». Оно было написано вскоре после его исключения из Союза. Уже само его заглавие вызывает вопрос: от кого автор защищает поэта? Может быть, от тех, кто незадолго перед тем изгнал его из Союза? Нет, их он не хочет ни знать, ни помнить. На первый, поверхностный взгляд может показаться, что от Пушкина. Стихотворению предпослан пушкинский эпиграф:

И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

На эти строки следует ответ Чичибабина:

Но, чтоб я был ничтожнее всех,
в том и гений быть правым не может.

Но, спросив себя, у кого Чичибабин мог воспринять эту непреклонную убежденность в том, что истина, свое убеждение в ней выше преклонения перед любыми авторитетами, мы уверенно ответим: конечно, у Пушкина. Более того, если пристальнее присмотреться к тексту, окажется, что полемика эта – мнимая, хотя Чичибабину она могла казаться подлинной. Необходимо вернуть оба двустишия в контекст пушкинского и чичибабинского стихотворений. Поэт Пушкина «ничтожней всех» лишь до тех пор, пока его не требует «к священной жертве Аполлон», пока «молчит его святая лира» и «в заботах суетного света / Он малодушно погружен».

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

И тогда он не только не ничтожнее, а выше всех.

Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы.
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы...

Но ведь то же противопоставление – поэта, пока он в миру, и поэта, исполнителя своей священной миссии, налицо и в стихотворении Чичибабина:

Тяжек труд мне и сладостен грех,
век мой в скорби и праздности прожит...

...Я из тех самых зануд...

Пусть я ветрен и робок в миру,
телом немощен, в куче бессмыслен,
но, когда я от горя умру,
буду к лику святых сопричислен.

Почему же он будет сопричислен к лику святых? Потому что все, что он говорит о себе в приведенных строках – не главное, не определяющее для его характеристики. А важно другое:

Я – поэт. Этим сказано все.
Я из времени в Вечность отпущен.

Он пророк, устами которого «возвещает Господь». Он, когда его призывает к священной жертве Аполлон, становится «светлым рыцарем» и от его губ «отрешенное слово / в воскрешенных сердцах зазвенит / до скончания века земного».

Спустя год после «Защиты поэта» Чичибабин написал стихотворение «Нехорошо быть профессионалом...». Оно не принадлежит к числу самых популярных и прославленных его произведений. Но в нем воплотились существенные и характерные черты его творческого облика.

Подступом к разбору этого стихотворения могут послужить два высказывания поэта. Одно из них – слова, сказанные в интервью, данном Татьяне Бек: «Все, связанное с творчеством, остается для меня тайной и чудом. Я не знаю, что такое талант, я не знаю, что такое дар. А кто знает? Для меня в этом есть нечто религиозное»[30].

---

[30] *Чичибабин Б.* Раннее и позднее. С. 248.

Второе – фрагмент из статьи «Выбрал сам»: «Для меня процесс писания – это тайна... Не я пишу стихи, мне их кто-то диктует... Если стих пойдет – он пойдет, если его нет, его ничто не заставит быть. Стихи – это чудо...»

В стихотворении «Нехорошо быть профессионалом...» поэт раскрывает перед читателем мир своего поэтического творчества. Именно творчества, а не ремесленничества. Чичибабин сравнивает себя с «мастерами-профессионалами», находит отличия и анализирует их, выдвигает свои «опорные точки», и из совокупности этих сравнений, отличий и «опорных точек» в итоге образуется цельный фундамент, на котором зиждется его индивидуальное творческое кредо.

Нехорошо быть профессионалом.
Стихи живут, как небо и листва.
Что мастера? Они довольны малым.
А мне, как ветру, мало мастерства, –

звучит первая строфа стихотворения. На первый взгляд, эти фразы-изречения кажутся обособленными. Однако при более глубоком подходе становится очевидным, что каждая из них отражает тот или иной аспект творческого кредо поэта. Выраженная в них мысль взаимоувязывается с глубинным смыслом, авторским подтекстом и, сливаясь воедино, трансформируется в одно целое – в творческую позицию поэта-творца.

Аспекты эти можно определить так: это – негативное отношение к ремесленничеству, к «мастерам-профессионалам», к бездуховности их «выспренных трудов»; это – понимание поэзии как таинства, божественного дара, ниспосланного свыше; и, наконец, – утверждение собственных позиций в творчестве, своих «опорных точек», главные из которых – вдохновенность, неординарность, непосредственность восприятия окружающего мира, любовь к природе, родным местам, близким и друзьям, высокая духовность, трепетное отношение к своему призванию поэта.

Мастера-профессионалы, давно оторвавшиеся от земли и облюбовавшие поднебесье, по разнарядке сочиняющие свои плановые стихи к юбилейным датам, органически отторгаются Чичибабиным. Ремесленничество губит поэзию, лишает ее вдохновения, «искры божьей». «Стихи живут, как небо и листва», – говорит поэт. Такая поэтическая концепция в немалой степени обусловлена всем складом «нематериальной» личности Чичибабина как человека. Не зря он сам о себе говорил, что он «от быта отрешен».

Но эта отрешенность – не «звездная» недосягаемость мастеров-профессионалов. Не замечая мелких деталей быта, как бы воспаряя над ним, Чичибабин тем острее замечает все то, мимо чего мы проходим, не взглянув. Окрашенное высокой духовностью, поэтическое, возвышенное восприятие окружающего, особое видение преломляется в чичибабинском сознании

через земную жизнь, и этот сплав «возвышенного и земного» и определяет главнейшие жизненные ориентиры и ценности поэта.

Зачарованная душа поэта живет в своем особом мире, где «много тайн ... блужданий в городах», где шум «леса детского» и «дождь шумит на множество ладов». Многие ли из нас способны услышать дождь, шумящий на множество ладов? И шум «леса детского» – слова, которые у каждого читателя, обладающего хоть небольшим воображением, воссоздают сказочное ощущение особого полузабытого детского мира, в котором побывал каждый из нас и который со щемящей ностальгией вспоминается с годами. Чичибабину удалось сохранить этот мир в своей душе, и, смеем думать, он и являлся источником его неиссякаемого вдохновения.

Стихотворение «Нехорошо быть профессионалом...» при всей его кажущейся простоте произведение сложное, многоаспектное. В нем налицо многочисленные переклички с другими чичибабинскими стихами о долге поэта и природе поэтического творчества. Только в таком контексте оно может быть правильно понято и полноценно объяснено.

В уже цитированном интервью Татьяне Бек Чичибабин сказал, что его любимые поэты Пушкин и Пастернак. Думается, что отзвуки влияния именно этих двух поэтов слышатся в разбираемом стихотворении явственнее, чем в любой другой творческой декларации Чичибабина. Когда Пушкин писал, что его памятник – «нерукотворный», он очевидно противопоставлял свои стихи произведениям «рукотворным» – тем, которые пишут «профессионалы», «мастера», если воспользоваться терминологией Чичибабина. Подлинная поэзия послушна «веленью Божию» – эта мысль не просто близка нашему поэту, но и выражает самое сокровенное в его понимании подлинного творчества.

Не менее очевидны и переклички с Пастернаком. Уже первый стих «Нехорошо быть профессионалом...» не может не вызвать в памяти пастернаковский – «Быть знаменитым некрасиво». И для Чичибабина «цель творчества – самоотдача», и у него стремление «почувствовать любовь пространства, / услышать будущего зов».

Эти сопоставления позволяют услышать не только отзвуки стихов Пушкина и Пастернака, но и свое, вносимое в трактовку темы Чичибабиным, в частности демонстративные прозаизмы (любовь к умным дворнягам, признание – «мне вставать мученье под будильник» и даже «житье душе, когда я во хмелю»). На тональность стихотворения наложила неизгладимый отпечаток пронзительная искренность всего поэтического монолога, без которой Чичибабин не был бы самим собой. Стихотворение «Современные ямбы», конечно, нельзя отнести к числу его творческих деклараций. Оно многопланово, многопроблемно, и о поэзии в этом стихотворении сказано, в сущности, лишь несколько слов, но они настолько важны, что без их учета наше

представление об эстетическом кредо Чичибабина было бы неполным. Он с горечью восклицает:

Зачем мне дан был дар певучий
и светопламенные муки,
когда повсюду мрак паучий
и музы, мрущие, как мухи?

Он иронически советует «духу словесности российской» погнуться, попроситься: «авось уважут коммерсанты». Но понимает, что для подлинных поэтов этот выход неприемлем, исключен. А в заключительных строфах возвращается к этой теме и еще более категорично формулирует вывод:

Еще не спала чешуя с нас,
но всем соблазнам вопреки,
поэзия и буржуазность –
принципиальные враги.

Как ни убедителен материал, содержащийся в этих стихотворениях, ограничиться им, уясняя эстетический смысл поэзии Чичибабина, его понимание природы и функций поэзии, было бы недостаточно, необходимо обратить специальное внимание на стихи и статьи, которые он посвятил другим писателям – своим предшественникам и современникам.

Не может быть двух мнений о том, кому из них он отводил не просто первое, а особое место. Это, конечно, Пушкин. В автобиографической заметке «Выбрал сам» он писал: «Для меня нет более любимого человека, живой личности, живой души ⟨...⟩ Перечень любимых поэтов, если он будет открываться именем Пушкина, – для меня это кощунство. Это унизительно для Пушкина, потому что Пушкин – вне всяких списков, он совершенно отдельно». В его книге «В стихах и прозе» стихам с полным основанием отведено около девяти десятых издательской площади. Вся включенная в книгу проза – это статьи о писателях, и первая из них называется «Любовь к Пушкину».

Пушкин, писал он, «для всей России не только самый великий, но и самый любимый. И наша любовь к нему больше, теплее, живее, таинственней почитания и благоговения. Отважусь сказать, что наша любовь к Пушкину является одной из черт нашего национального характера ⟨...⟩ Бывает любовь неразделенная и напрасная, бывает любовь трудная, мучительная, больная, темная. Любить Пушкина легко и сладостно».

«Мой Бог Пушкин», – читаем мы в автобиографии Чичибабина. «Бог Пушкин» и «Бог и Пушкин» – эти сочетания пронизывают его поэму «Пушкин», бóльшая часть ее была написана в юности, позднее автор, видимо, отнесся к ней критически и в итоговый сборник не включил. Но в дальнейшем появятся стихотворения «Пушкин – один» (1960-й, с корректировкой в

1990-м), «Экскурсия в Лицей», «Пушкин и Лермонтов», дорогое имя будет возникать во многих стихах. Особого внимания заслуживают случаи, когда имена других поэтов ставятся в один ряд с именем Пушкина. Пушкин – это высшая санкция. Так Чичибабин упоминает имя Блока:

И вы не верьте в то, что плохо вам,
перенимайте вольный дух
хотя бы Пушкина и Блока,
хоть этих двух.

Мне опорою Пушкин и Блок.
Не равняйте меня с рифмачами.

Так упоминается Рильке:

Был бы Пушкин, да был бы Рильке...

Так упоминается Пастернак:

И мстил за зло улыбкой Пушкина
непостижимый Пастернак.

Так упоминается Мандельштам:

За то, что есть у сирых Пушкин
и Мандельштам у кротких есть.

К любимым поэтам Чичибабина, бесспорно, принадлежал Шевченко и не только потому, что, живя на Украине, он был способен глубже осознать и правильнее оценить наследие классика украинской литературы. Он мерял судьбу Шевченко собственной судьбой, учился у него стойкости и силе духа. Именно поэтому проникнуты такой страстностью его стихи «Тарас» и «Поэты».

От стихов безликих ум зашел за разум,
а поэта жребий темен и тяжел.
Я призванье наше меряю Тарасом,
справедливей меры в мире не нашел.

Из тюрьмы Лубянской, из тенет застенка
возносили дух мой Гете и Бодлер,
только самый кровный был один Шевченко –
мне огонь и посох, образ и пример.

Почему же «самым кровным» ощущался именно он? Думается, по нескольким причинам. Чичибабин остро сопереживал тяжкую судьбу Шевченко. Да, «всем поэтам в мире этом жизни не хватило»: «были сроду одиноки Гельдерлин и Рильке», «вот и Пушкин на дуэли кем-то укокошен», но «не было судьбы страшнее той, что у Шевченко». Он поминает и «суку-розгу», и

«суму сиротскую», и голодное детство, и ссылку «в пустыне Аральской», и плети панских сатрапов, и все, что выпало на его долю.

Но он оказался сильнее. Он стал победителем, он «не дался тлену, ни душевной травме», он «судится мятежно с панством окаянным, / словом путеводным побеждает тьму», «Слышат все народы строфы “Заповіта”, / головы склоняя перед Кобзарем». Потому-то настойчиво, несколько раз Чичибабин повторяет, что «нет душе родней и ближе кобзаря Тараса», «на всю жизнь примером стал он и благословеньем».

Не задумавшись, а сразу,
как с войны до дому,
я иду вослед Тарасу –
никому другому!

Обратим внимание на то, с каким вкусом, с каким чувством меры Чичибабин вводит в свои стихи о Шевченко украинские слова: «край свой ридный», «селянски хаты», «с марта и до мая, с березня до травня / шествует Шевченко грянувшей весной», «и народ рабочий аж за океаном / кланяется земно батьку своему». С этими словами входит в чичибабинские стихи ни с чем не сравнимый аромат поэзии Шевченко, становится ощутимее, как глубоко чувствовал и воспринимал ее Чичибабин.

Вернемся еще раз к стихотворению «Искусство поэзии». Утверждая преимущество поэзии перед прозой, Чичибабин апеллирует именно к Шевченко:

Лишь избранных кресту Поэзия поит,
Так скорби не унизь до стона попрошаек
и, если мнишь, что ты беднее, чем прозаик,
отважься перечесть Тарасов ЗАПОВІТ.

К самым упоминаемым Чичибабиным поэтам принадлежат Мандельштам и Цветаева. Оба поэта получили воплощение и во втором, прозаическом разделе книги. Под заглавием «Признания о Марине» в него включены ответы на вопросы анкеты к столетию со дня ее рождения, а «Всех живущих прижизненный друг» – статья о Мандельштаме. В «Сонете Марине» звучит признание:

Люблю Марину – Божия пророка
с грозой перстов, притиснутых ко лбу,
с петлей на шее, в нищенском гробу,
приявшу честь от родины и рока.

А в интервью говорит, что влияние ее личности на его душу «огромно, чудесно и необъяснимо 〈...〉 Все в ней – не мое, чужое, зато вся она – своя, родная, даримая, Марина. Как это может быть – не знаю. Недаром же она Марина. Единственный на свете поэт, которого мы, с покаянной и благодарной любовью принимающие ее дары, называем запросто по имени.

Так называют царей и святых».

В стихотворении «О, дай нам Бог внимательных бессонниц» Чичибабин сводит оба дорогих ему имени и к обоим обращает одно и то же признание:

О брат мой Осип и сестра Марина,
спасибо вам за судьбы и слова ⟨...⟩
Сестра моя Марина, брат мой Осип,
Спасибо вам, сожженные мои!

Спасибо вам, о грешные, о божьи,
в святых венцах веселий и тревог!
Простите мне, что я намного позже
услышал вас, чем должен был и мог.

И в статье о Мандельштаме несколько раз упоминается Цветаева и говорится, что их знакомство и кратковременная дружба оставила «певучий след» в творчестве обоих поэтов. Что же касается своего отношения к его стихам на протяжении всей жизни Чичибабина, с первого знакомства с ними, произошедшего после лагеря, в конце 50-х и до последних дней, то оно выражено одним, не раз повторяющимся словом – чудо. «Чудо можно пережить, но рассказать о нем, поделиться чудом с теми, кто сам его не пережил, невозможно, – а стихи Мандельштама были чудом ⟨...⟩ Творец этого чуда умер от голода в пересыльном лагере под Владивостоком ⟨...⟩ Я уже признался в том, что стихи его воспринимаю как чудо и что о чуде невозможно рассказать словами ⟨...⟩ Наверное, что-то подобное чувствовала и имела в виду Ахматова, когда объявила, что Мандельштам единственный, у кого не было учителей».

Если у кого-то сложится впечатление, что слова Чичибабина о Мандельштаме – «его стихи были чудом» – свидетельствуют о том, что он подходил к их оценке лишь в эстетическом аспекте, оно будет глубоко ошибочным. Как явствует уже из первого абзаца его статьи, он видел чудо и в том, что «этот неприкаянный странник», «далекий от текущей политики и гражданских страстей, отважился на гражданский акт жертвенного мужества, ожидать которого от него было как бы даже и невозможно. В 1918 г., через несколько месяцев после Октябрьской революции, героической и мудрой классической одой он прославил эту революцию и ее вождя Ленина. В 1933 г. стихами же убийственной силы заклеймил и осмеял наследника и палача революции, ее продолжателя и исказителя, всемогущего “кремлевского горца” Сталина».

В том, какое значение имел в глазах Чичибабина «гражданский акт» Мандельштама отчетливо и рельефно проявила себя его собственная гражданственность. Органичное сочетание обоих критериев – и эстетического, и гражданского – налицо в поэтическом некрологе Твардовскому. Создание этого стихотворения в самые мрачные годы брежневского безвременья, последовавшие за подавлением Пражской весны, отмеченные озверелым пре-

следованием инакомыслия, травлей Сахарова и Солженицына, расправой с «Новым миром», приблизившей кончину его редактора, без преувеличения может быть названо гражданским подвигом Чичибабина. Неудивительно, что стихотворение «Памяти А. Твардовского» было в числе главных обвинений, фигурировавших в ходе расправы, произведенной над поэтом в 1973 г. Он бросил в лицо властям гневные слова:

И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?

Верный себе, Чичибабин превознес Твардовского и как великого поэта, который «в рифмы Теркина оправил, / как сердце вынул из себя», и как мужественного и мудрого редактора, который сделал все, что мог, «затем чтоб нам хоть слово правды / по-русски выпало прочесть».

До кома в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном –
и вот, унижен, слеп и наг,
лежал в гробу при орденах,
но с голодом неутоленным, –
на отпеванье потаенном,
куда пускали по талонам,
на воровских похоронах.

На те же годы приходится создание еще двух значительных стихотворений Чичибабина – «Солженицыну» и «Галичу». Первое из них он начинает с напоминания о том, что «со лжою спорит Солженицын». Именно это было ему, по-видимому, особенно близко: он ведь и сам бесстрашно спорил «со лжою» и воздавал славу «пастырю пера, не убоявшуся гонений!». Как ни любил, как ни ценил Чичибабин других современных ему писателей, которым посвящал стихи, но ни о ком из них он не сказал, как сказал о Солженицыне, что «чин писателя в России / за полстолетия впервые / он возвеличил до небес».

С Солженицыным Чичибабин, насколько нам известно, знаком не был, но с Галичем ему довелось встречаться, их объединяли и дружеские связи, и взаимные симпатии. Думается, что слова «я мало знал его» продиктованы не столько действительным характером их отношений, сколько скромностью Чичибабина, его боязнью создать преувеличенные представления о мере близости отношений между обоими поэтами.

Стихотворение «Галичу» было написано в 1971 г. (эта дата проставлена Чичибабиным в «Колоколе»), когда Галич стал объектом все усиливавшихся репрессий: 29 декабря 1971 г. он был исключен из Союза писателей. Второе стихотворение – «Посмертная благодарность А.А. Галичу» – появилось

17 лет спустя, когда в пору гласности имя опального барда перестало быть запретным, журналы охотно печатали подборки его стихов, готовился к выпуску первый сборник «Возвращение», вышедший в 1989-м. Но Чичибабин в «Колоколе» напечатал оба стихотворения рядом, образовав своеобразную поэтическую дилогию. И действительно, их тональность, оценки песен Галича, совершенного им гражданского подвига очень сходны, как бы подтверждая, что отношение, которое сложилось у Чичибабина к Галичу, оставалось неизменным.

С какой глубиной и масштабностью надо было осознать значение его творчества, чтобы, опираясь на это понимание, обратить к современникам и предшественникам слова:

Спасибо, русская поэзия:
ты не покинула в беде нас.

В разгар всемирного угарища,
когда в стране царили рыла,
нам песни Александра Галича
пора абсурдная дарила.

В его песнях – «всей родины судьба», «он сеет светлую Россию в испепеленные сердца». Чичибабин почти не писал поэтических миниатюр – это был не его жанр. Но одну из них здесь нельзя не вспомнить. Поэт сводит в ней имена обоих писателей, в которых видел бестрепетных борцов с ложью и которым стремился следовать:

Стою за правду в меру сил,
да не падет пред ложью ниц она.
Как одиноко на Руси
без Галича и Солженицына.

Задолго до того, как они оба покинули Русь, Чичибабин писал в стихотворении «Клубится кладбишенский сумрак»: «Поэты уходят в изгнанье, / а с нами одни холуи». И вот он повторяет то же, только ушедшие в изгнанье названы по именам. Такие «повторы» для Чичибабина характерны, в них выразилось единство его творческого облика и творческого пути, которые определялись единством его личности. Конечно, в чем-то он менялся, иначе и быть не могло. Но главное, наиболее существенное в его личности и воплощенное в его поэзии оставалось неизменным на протяжении всего пройденного им пути.

Как, будучи школьником, он заслужил репутацию человека бескомпромиссного, не способного на сделки с совестью, таким он был до конца дней. Как тогда написанное клокотало в нем и он безоглядно обнародовал свои стихи, читая их всем налево и направо, так и на своем 50-летии раскрыл душу недругам и провокаторам и сам облегчил им возможность расправы

над собой, так аввакумовски гремел еще запретными обличениями: «Не умер Сталин!», приводя этим в ужас любящую жену.

О единстве личности Чичибабина, единстве пройденного им духовного и творческого пути, полного непрерывных, напряженных, порой мучительных исканий трудно сказать лучше, чем он сделал это сам, когда незадолго до смерти написал стихотворение «Я родом оттуда, где серп опирался на молот...» и решил открыть им наиболее полное и, можно сказать, итоговое собрание своих произведений, воспроизводимое в нашем издании.

Лилии Семеновне Карась-Чичибабиной запомнилось, каким был Чичибабин в дни работы над этим стихотворением: как-то особенно сосредоточенным, немногословным, целиком погруженным в себя. Можно только догадываться, какая огромная, может быть, мучительная энергия тогда клокотала в нем, требуя самых точных слов для выражения самых важных мыслей.

Цепкая память вдовы поэта дает возможность уточнить время, когда стихотворение было завершено, и это, как станет ясно из дальнейшего, имеет немалое значение. В письме ко мне она рассказывает: «Останкинский режиссер Ионас Мисявичюс предложил Б.А. устроить его творческий вечер в концертном зале студии “Останкино”, что и состоялось 17 октября 1993 года. Я теперь точно чувствую, что к этому вечеру он и написал “Я родом...” как “отчетный доклад” о своем жизненном пути и прочитал его следом за “Красными помидорами”. Вот почему он его вынашивал “внутренне”, готовясь к такому важному для него событию. Он его, по-моему, никому не читал (разве что Борису Ладензону), и я не смогла даже ему подсказать, когда он запнулся. (Я стихи его не учила, конечно, а запоминала с голоса, когда он читал)».

Прошло чуть больше года, и, как вспоминает Кирилл Ковальджи, он «провожал Бориса Алексеевича до метро после его выступления в киноконцертном зале “Октябрь”. Вдруг он, после недолгого молчания, сказал негромко:

– Я уже хочу умереть...»[31].

«Я родом оттуда...» принадлежит к числу самых несомненных шедевров Чичибабина. Оно настолько цельно, что его трудно цитировать, и эта цельность предопределена авторским замыслом. В нем одиннадцать четырехстишных строф, и десять из них – это одно предложение: лишь сороковой стих завершается первой точкой, а предыдущие намеренно однотипны и анафоры: «где... где... где...» повторены 26 раз, притом в большинстве строф – трижды в каждой строфе.

Такого композиционного построения ни в каком другом стихотворении не найдешь, и оно имеет глубокий смысл. Чичибабин добивался того, чтобы все происходившее в стране, «где серп опирался на молот», воспринималось

---

[31] Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. С. 290.

как единое целое. Обвинение, брошенное поэтом, беспощадно: он воссоздает картину мира,

> где старых и малых по селам выкашивал голод,
> где стала евангельем «Как закалялася сталь»,
> где шли на закланье, но радости не было в жертве,
> где милость каралась, а лютости пелась хвала,
> где цель потерялась, где низились кроткие церкви
> и, рушась, немели громовые колокола...

Упоминание романа Островского тоже достаточно красноречиво: нет сомнения, что такой глубоко верующий человек, как Чичибабин, предпочел бы другое «евангелье». И дальше сплошным рядом: «шумно шагали знамена портяночной славы», «судьбы мильонов бросались, как камушки в небо», «плакала мама по дедушке, канувшем в небыль, / и прятала слезы, чтоб их не увидел сексот».

Панорама, воссозданная в этих строфах, однозначно беспросветна и даже как бы хвалебное упоминание о том, что «пела Орлова и Чкалов летел через полюс», воспринимается как ширма, за которой кроются леденящие кровь картины действительности: оно тут же перечеркнуто следующей строкой: «а в чертовых ямах никто не считал черепов». Воспоминания о своем пребывании в лагере переходят в более масштабную картину: вся страна была лагерем, «где утро барачное било о рельсу кувалдой / и ржавым железом копало заре котлован».

После смерти Сталина Чичибабин почти сорок лет прожил в стране, «где серп опирался на молот». Но нет в его стихотворении и намека на «волюнтаризм» Хрущева или брежневский «застой». Все оно – о временах голода, репрессий, доносов, лагерей, «бездумия» народа и всевластия «вождя», о том, как «пестовал стадо рябой и жестокий пастух».

Может показаться, что однозначность отрицания, которым пронизана каждая строка, противоречит многому, о чем не раз говорил Чичибабин: что «собственную историю нельзя переделать, от истории нельзя отказываться», что мы были правы, когда все поголовно были «красные», любили Гайдара, потрясались фильмом о Чапаеве, собирали в своих библиотеках лучшие книги из серии «Пламенные революционеры», что идеи социализма будут жить на земле, пока живо человечество. Почему же в строфах «Я родом оттуда...» – одна беспросветность?

Потому что истинное содержание этого стихотворения, его глубинный смысл не в изображении и разоблачении ужасов сталинских времен. Он – в *покаянии*, заключенном в двух последних строфах. Здесь Чичибабин принимает на себя ответственность за все творившееся там, где «серп опирался на молот», «винится» перед ровесниками, считает, что он перед ними в долгу: «все это было моими любовью и верой, / которых из сердца я выдрать еще

не могу». Он продолжает нести свой крест, он «еще с поля брани в пустыню добра не ушел».

Эти мысли звучат во многих стихах Чичибабина и особенно в написанных в последние годы.

...когда погибло пол-России
в братоубийственной войне, –
и эта кровь всегда на мне.

... и не возмездия хочу, а покаянья...

...вольный крест вины и покаяния
перед вами на душу беру.

Из этого и проистекает беспощадность воссозданных им картин жизни страны, где «серп опирался на молот». Смягчив в них хоть что-то, он тем самым уменьшал бы и меру своей ответственности, а это было для него не просто неприемлемо, но невозможно. Ведь покаяние стояло для него в одном ряду с «искуплением» и «воскрешением», было одним из начал его морали, всего его душевного облика.

Все мы знаем, как общее правило, что лирическое «я» всегда шире биографически конкретного автора. Но Чичибабин как бы наполняет эту школярскую формулу историческим содержанием. Строфы его стихотворения звучат как бы от имени всех, кто «родом оттуда, где серп опирался на молот», всех, кто не снимает с себя вины за зло, за ложь, за все грехи своего времени и своего государства. Потому он и перечисляет это зло, ложь, грехи и вколачивает этот перечень в наше сознание с помощью искусно созданной им синтаксической конструкции.

Если свести воедино все, что мы знаем об этом стихотворении, и все, что способны в нем понять: и его место в итоговом сборнике произведений – непосредственно за вступительной статьей, значимо озаглавленной «Мысли о Главном», и повторение в стихотворении именно этих мыслей, и обстоятельства его создания, и, наконец, горькую краткость того срока, который отделял это создание от кончины автора, то не усомнимся в праве видеть в нем поэтическое завещание Чичибабина.

Я начал с того, что в поэзии Чичибабина запечатлена его личность и что только при таком подходе она может быть правильно понята и справедливо оценена. Но, пожалуй, ни к одному из его стихотворений это не приложимо в такой степени, как к тому, о котором идет речь. Оно открывает нам возможность постичь не только высокое поэтическое мастерство и глубину исторического мышления его создателя, но и его силу духа, самоотверженность и незыблемость его моральных устоев и закономерно воспринимается как завещание Чичибабина.

Л.С. Карась-Чичибабина

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Б. ЧИЧИБАБИНА

09.01.1923. Родился в Украине, в г. Кременчуге Полтавской области. Мать поэта, Наталья Николаевна Чичибабина (1903–1975), жила в Харькове; рожать первенца поехала к своим родителям в Кременчуг. Ее отец, Николай Евгеньевич Чичибабин (дедушка поэта), до революции учительствовал, некоторое время служил помощником полицмейстера г. Кременчуга. Известен такой факт. В архиве Полтавского управления Службы безопасности Украины (бывшем КГБ) сохранился на него донос от «законопослушных граждан» о том, что он предупреждал еврейское население о готовящихся погромах. Его родной брат, академик Алексей Евгеньевич Чичибабин, был выдающимся ученым-химиком. В 1938 г. Николая Евгеньевича арестовали якобы за участие в контрреволюционной военно-белогвардейской повстанческой организации; казнен в октябре того же года. Бабушка поэта по линии матери, Надежда Ивановна Скитская, была дочерью действительного статского советника Ивана Ивановича Скитского. (*Коротенко В.* О родословной Бориса Чичибабина // ВСВ. С. 494–503; *Коротенко В.* Полтавский род Чичибабиных // Кто есть кто: российский журнал биографий. 2002. № 2 (29). С. 56–59.)

1923–1928 (1929?). Брак Натальи Николаевны Чичибабиной с отцом поэта, Иваном Павловичем Авдеевым (даты жизни неизвестны), начальником строевой роты Харьковской пехотной школы, оказался непрочным. В семейном архиве хранится его фотография, с подписью, сделанной его рукой о служебном положении, но больше никакой информации не сохранилось. Наталья Николаевна вышла замуж вторично за Алексея Ефимовича Полушина (1899–1976), военнослужащего, усыновившего Бориса в полуторагодовалом возрасте и ставшего для него настоящим отцом. В 1926 г. в семье пополнение: родилась дочь Лидия (1926–2013). В это время Полушины жили еще в Харькове, затем переехали в Кировоград. Благодаря воспоминаниям Лидии Алексеевны, опубликованным в книге «Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях» (ВСВ, с. 411–419), восстанавливается картина жизни семьи Полушиных. Воспитанием внука в раннем возрасте занималась бабушка, так как его часто оставляли на ее попечении в Кременчуге. Она много читала внуку, рассказывала сказки (о чем впоследствии он упомянет в поэме «Пушкин»). Наталья Николаевна окончила курсы медсестер и работала в воинских частях, где служил А.Е. Полушин, занималась общественной работой. В Кременчуге жил родной брат матери – Николай Николаевич Чичибабин (1905–1970 (?)). Сам книжник, собравший хорошую библиотеку, он и племяннику привил любовь к чтению. По специальности он был бухгалтером и рабо-

тал на заводе в г. Крюкове, расположенном на противоположном берегу Днепра. (В дальнейшем племянник, хотя и вынужденно, пойдет по стопам дяди.)

1928 (1929?)–1930. Семья жила в Кировограде. Как вспоминает сестра, Лидия Алексеевна Полушина-Гревизирская, стихи Борис начал сочинять в возрасте 6—7 лет. Ей удалось частично сохранить детский и юношеский архив брата, который дает представление об интересах и кругозоре юного поэта (юношеский архив поэта хранится в РГАЛИ).

Лидия Алексеевна училась в институте иностранных языков, но после ареста брата была вынуждена уйти, так как почувствовала отчуждение студентов и преподавателей. Получила техническое образование и работала техником-конструктором в СКБ на релейном заводе в Харькове.

1930–1935. Из Кировограда А.Е. Полушина перевели по службе в Роганское авиационное училище, расположенное на «Военведе» в пос. Рогань Харьковской области, где Борис в 1930 г. пошел в школу. К этому времени относится попытка напечатать стихотворение «Ленинградские партизаны»: в архиве сохранился ответ литконсультанта с подробным разбором стихотворения. На «Военведе» в 1935 г. с Борисом произошел несчастный случай: во время игры баллончик с горючей смесью взорвался у него в руке. Харьковские врачи с трудом спасли правую руку.

1935–1940. В связи с новым назначением А.Е. Полушина (начальником штаба эскадрильи летного училища), семья в 1935 г. переехала в г. Чугуев Харьковской области. С 5-го по 10-й класс Борис учился в школе № 1, бывшей до революции показательной гимназией. Среди одноклассников выделялся начитанностью, участвовал в литературном кружке (см.: ВСВ, с. 426–429). Стихи появлялись в школьных газетах за подписью «Борис-Рифмач». Со школьных лет начал составлять рукописные сборники стихотворений (см.: *Егоров Б.Ф.* Раннее творчество Бориса Чичибабина // Вестник Междунар. Крымских чтений Б.А. Чичибабина. – 2012. Вып. 8). В 1940 г. окончил школу.

В память о школьных годах в 1960-е написал стихотворение «Тридцатые годы».

1940–1941. Поступил на исторический факультет Харьковского университета. Одно из стихотворений этого периода – «Проспект Ленина в Харькове», впоследствии опубликованное в сборнике 1963 г. «Мороз и солнце». В юношеском архиве сохранились стихи этого периода.

После окончания военной академии им. Фрунзе А.Е. Полушин получил назначение на должность начальника штаба Батайского авиационного училища, куда вслед за ним переехала семья. В июне 1941 г. началась война, и Алексей Ефимович прилетел в Харьков за сыном, чтобы собрать вместе всю семью.

06.1941–09.1942. Работал токарем в ремонтных мастерских Батайского авиаучилища. Семья эвакуировалась в г. Евлах Азербайджанской ССР, куда передислоцировалось авиаучилище. Именно там Борис узнал, что А.Е. Полушин, в то время воевавший на фронте, ему не родной отец (Наталья Николаевна поделилась семейной тайной с начальницей медсанчасти, с дочерью которой дружил Борис – она ему и рассказала об этом). Борис был потрясен, не хотел верить, требовал, чтобы Наталья Николаевна сказала, что это не так. Мать просила у него прощения, но факт оставался фактом. Борис сохранил к Алексею Ефимовичу сыновние чувства, всю жизнь называл его папой и по паспорту был Полушиным (*Гревизирская Л.* «Воспоминание о брате» // ВСВ, с. 378–386.)

1942–1945. В годы отечественной войны – солдат 35-го запасного стрелкового полка, курсант 49-й школы младших авиаспециалистов г. Гомбори (Грузинская ССР), механик по авиаприборам в разных авиачастях Закавказского военного округа в Азербайджанской ССР. С июня по сентябрь 1945 г. – механик по авиаприборам Чугуевского авиаучилища. В сентябре 1945 г. был демобилизован (ВСВ, с. 442–443.)

09.1945–06.1946. Поступил на филологический факультет Харьковского университета. В качестве литературного псевдонима взял фамилию матери – Чичибабин, что было довольно рискованно: в 1930 г. академик А.Е. Чичибабин (1871–1945), которому поэт приходился внучатым племянником, после трагедии в семье выехал в Париж для лечения жены и в Союз не вернулся. (В 1936 г. был «исключен» из академиков АН СССР, в 1990 г. восстановлен посмертно.) Однако по двухтомному учебнику А.Е. Чичибабина «Основные начала органической химии» обучались студенты естественных специальностей в вузах Советского Союза.

Во время учебы Чичибабина в университете в его стихах и в разговорах проявлялся бунтарский, вольнолюбивый характер. Литературовед В.Н. Турбин, учившийся на первом курсе вместе с ним, в письме 1990 г. вспомнил его стихотворение из университетской стенной газеты, оканчивающееся строчками: «Грустно мне: я ни во что не верю – / Ни в любовь, ни в жизнь, ни в коммунизм...». Но более крамольным было ходившее по рукам стихотворение «Что-то мне с недавних пор...» с рефреном «Мать моя, посадница...», сыгравшее роковую роль в судьбе поэта. В весеннюю сессию 1946 г. он сдавал экзамены за 1-й и 2-й курсы, чтобы продолжить учебу вместе с девушкой со 2-го курса, которую полюбил, Марленой Рахлиной (1925–2010), будущим поэтом. Этим планам не суждено было осуществиться: в июне 1946 г. Бориса Чичибабина арестовали.

06.1946–06.1951. При аресте предъявили стихотворение, упомянутое выше, «Что-то мне с недавних пор...» и другие крамольные высказывания, но, по-видимому, «хвост» тянулся еще с армии. Из Харькова Чичибабина

отправили в Москву на Лубянку, где он провел в одиночной камере около двух месяцев (там он написал получившее впоследствии известность стихотворение «Кончусь, останусь жив ли...»). Осужден «особым совещанием» за антисоветскую агитацию сроком на пять лет. После Лубянки около двух лет провел в тюрьмах – Бутырская, Лефортовская – и по этапу в марте 1948 г. прибыл в «Вятлаг» Кировской (ныне Вятской) области. Сначала был на общих работах, потом его перевели в контору учетчиком, что сохранило ему жизнь, так как здоровье было сильно подорвано. После тюрем лагерь представлял некую иллюзию свободы; многие стихотворения тех лет навеяны природой Севера. В тюремные и лагерные годы были написаны стихотворения, которые в дальнейшем поэт включал в свои книги: «Махорка», «Смутное время», «Еврейскому народу», «Битва», «Пока хоть один безутешен влюбленный...», «Север» и др. Сестра поэта сохранила письма Бориса из лагеря к родителям. Впервые письма были опубликованы в киевском журнале «Радуга» в 1999 г., № 8. Лагерь разлучил его с Марленой Рахлиной, хотя переписка между ними продолжалась (см.: РиП, с. 324–335). В конце срока начал симпатизировать вольнонаемной Клаве Поздеевой, которая не раз выручала его. (там же, с. 305). После освобождения хотел помочь ей в лечении тяжелого недуга – эпилепсии. Надеясь, что харьковские врачи сумеют вылечить ее, уговорил ехать с ним. Чтобы Клава могла оставаться в Харькове, заключил с ней фиктивный брак. Она устроилась чертежницей на завод и перешла жить в общежитие. Через некоторое время обрела близкого человека и вернулась на Север.

07.1951–09.1953. «И, пожалуй, самые тяжелые годы моей жизни были не лагерные, не тюремные, а эти вот несколько лет по выходе на волю...». Так писал Чичибабина в автобиографическом эссе «Выбрал сам». Освободился он в июне 1951 г. – еще при жизни Сталина. Не имея определенной специальности, устраивался на разные случайные работы. И наконец в 1953 г. закончил единственно доступные для него, как бывшего политзэка, бухгалтерские курсы.

В то же время продолжал писать стихи и составлять рукописные сборники. Наибольший интерес представляют два из них: «Ясная поляна. Реалистическая лирика», 1952 г., и второй, 1953 г., – название не сохранилось. В Чугуеве, где ему предписали жить, встретил одноклассницу Ирину Николаевну Челомбитько (1922–2006), вернувшуюся из ссылки. Она оставалась в Чугуеве в годы оккупации и по школьной привычке вела дневник. Некто нашел дневник и отнес его в НКВД. Ирине за откровенные мысли пришлось расплатиться свободой. Родство судеб сблизило их. Оба сборника с посвящением были подарены ей. Оказалось, что многие стихи, вошедшие позднее в книги 60-х годов, были написаны в период с 1942 по 1953 г.

Ирина сберегла рукописные сборники и после кончины поэта передала их на хранение в Харьковскую государственную научную библиотеку им. В.Г. Короленко (копии находятся в РГАЛИ). В настоящее время стихотворения из «Ясной поляны» и сборника 1953 г. частично опубликованы в книге «Собрание стихотворений» (Харьков: Фолио, 2009).

09.1953–1963. Работал бухгалтером в домоуправлении и автотаксомоторном парке. В домоуправлении сблизился с паспортисткой Матильдой Федоровной Якубовской и перешел к ней жить в чердачную комнатушку дома № 1 по ул. Рымарской. Они прожили в гражданском браке с 1954 (?) по 1967 г.

В середине 1950-х восстанавливаются прежние и появляются новые дружеские связи. Знакомится с московскими поэтами, бывшими харьковчанами, навещавшими родственников в Харькове: Б. Слуцким, Г. Поженяном, Г. Левиным.

При содействии Б. Слуцкого состоялась первая публикация стихов в журнале «Знамя» (1958, № 11) под фамилией Полушин. (Был огорчен, что не под фамилией Чичибабин, Б. Слуцкий потом извинился за оплошность.)

В Харькове формируется дружеский круг, в который входят поэты Марлена Рахлина, Марк Богославский, Зиновий Вальшонок, Роман Левин, Аркадий Филатов; актер, художник, бард Леонид Пугачев; актриса, мастер художественного слова Александра Лесникова; литератор Александр Басюк. Устанавливается определенный день для встреч – среда. «Кто только не побывал на “средах” у Бориса: Евгений Евтушенко, Юлий Даниэль, Леня Тёмин, Сергей Новожилов, Леонид Баткин», – вспоминает Марк Богославский. Вот как об этом времени написал сам Чичибабин: «...Я жил тогда в старом доме на углу Рымарской улицы и Бурсацкого спуска. В самом центре города в нежилой чердачной комнатушке, размером не более 10 м, с единственным маленьким окошком, выходившим прямо на крышу. Если бы сейчас кому-нибудь пришло в голову подняться по ветхой деревянной лестнице и заглянуть в эту комнату, в которой давно никто не живет, да и сам дом, наверное, скоро снесут, заглянувший туда ни за что не поверил бы, что в ней могло помещаться столько народу. А ведь – помещались, читали стихи, пировали, спорили, были счастливы своей молодостью, верой». (Правда, иногда появлялся и незваный гость в лице милиционера, спрашивающего документы у присутствующих.) За Чичибабиным велся негласный надзор со стороны КГБ, так как стихи его «антисоветского содержания», распространялись в машинописных списках. Одним из них было стихотворение «Клянусь на знамени веселом». Хотя культ личности Сталина был разоблачен, но поэт понимал, что ненавистный ему сталинский режим въелся в души людей и не скоро вытравится. Заклеймил вождя в упомянутом стихотворении 1959 г., больше известном по рефрену: «Не умер Сталин». В этом же ряду стихотворение «Крымские прогулки» 1961 г. После посещения Крыма, ближе позна-

комившись с трагической историей крымских татар, написал стихотворение о судьбе народа, подвергшегося депортации. Оно расходилось в списках и, по-видимому, прочитав его, классик крымско-татарской литературы Эшреф Шемьи-заде, будучи в Харькове, решил познакомиться с поэтом. Он подарил ему свою книгу с надписью: «Лучшему другу многострадального крымско-татарского народа Борису Алексеевичу Чичибабину. 31. VIII. 1966. От автора». (Книга передана на хранение в Ялтинский государственный объединенный историко-литературный музей в 1994 г.)

В Крыму же состоялось знакомство с Самуилом Яковлевичем Маршаком («Сонет с Маршаком»). Теплые отношения сохранились в дальнейшем. Одна из рекомендаций для вступления в Союз писателей дана Маршаком.

В 1962–1963 гг. некоторое время жил в Москве у Юлия Даниэля и Ларисы Богораз (близких друзей Марлены Рахлиной), готовил к изданию сборник «Молодость». Выступал на заседаниях литературного объединения «Магистраль», которым руководил Г. Левин. Он же познакомил Чичибабина с Эренбургом, Сельвинским, Шкловским.

В 1963 г. почти одновременно опубликованы два сборника стихотворений: в Москве – «Молодость», в Харькове – «Мороз и солнце». Стихи печатались в московских журналах «Знамя», «Новый мир», альманахе «День поэзии», в харьковской и киевской прессе.

После выхода первых поэтических сборников имя Чичибабина стало популярным в Харькове. Его приглашали выступать в НИИ, на заводах. Осенью 1963 г. в харьковском Центральном лектории состоялся большой поэтический вечер, запомнившийся многим харьковчанам. Выступление Чичибабина впечатляло авторским чтением и самими стихами: «Смутное время», «Пастернаку», «До гроба страсти не избуду...» и др. (см.: *Муха Р.Г.* О первом выступлении Бориса Чичибабина // Universitates. Харьков, 2013. № 1).

1964–1966. С выходом книг Чичибабин оставил бухгалтерскую работу. Около двух лет руководил литературной студией при ДК работников связи (ныне – Центр культуры Киевского района, где в 2001 г. открыт «Чичибабин-центр»). Литературная студия просуществовала недолго, но пользовалась успехом. Она сыграла важную роль в жизни писателей Юрия Милославского и Александра Верника, критика Михаила Копелиовича, киноведа Раисы Гуриной (Беляевой) и других студийцев. Вольнолюбивый дух студии не мог не привлечь к себе внимания идеологических надзирателей. Очередное занятие, посвященное Борису Пастернаку, решило судьбу студии. Ее внезапно закрыли, а руководителя уволили, якобы по сокращению штатов.

В 1965 г. опубликовал в Харькове сборник стихов «Гармония», начинавшийся «Сонетами коммунизму». Испытав на себе коварство режима, и предвидя новое его ужесточение, Б. Чичибабин все еще не расстался с верой в коммунистическую идею. В книгу удалось включить несколько важ-

ных для него стихотворений: «Махорка», «До гроба страсти не избуду...» и др., но цензурное вмешательство до неузнаваемости исказило отдельные строфы.

В том же году вышла подборка стихотворений в киевском журнале «Радуга» («Люди – радость моя»; «Когда весь жар, весь холод был изведан...»; «Федор Достоевский»; «Поэту»).

1966–1967. После закрытия студии в феврале 1966 г. Чичибабин остался без работы, и только с помощью друзей устроился в Харьковское трамвайно-троллейбусное управление на конторскую работу с минимальным окладом, правда, не отнимающую столько сил и времени, как бывшая бухгалтерская. Неожиданно для него самого через три года после подачи заявления в июле 1966 г. его приняли в Союз писателей СССР. Как служащий, проводящий на работе весь день, он не имел возможности посещать «спілку», но в июне 1967 г. все-таки получил от СП однокомнатную квартиру. В конце 1967 – начале 1968 г. вышел сборник стихов «Плывет “Аврора”», не принесший ему никакого морального удовлетворения. «Четыре книжки вышли у меня. / А толку?» – с горечью отметил в стихотворении «Уходит в ночь мой траурный трамвай». Параллельно рождались стихи, не предназначенные для печати: «Я слишком долго начинался...», «Живу на даче. Жизнь чудна...», «Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели...», «Когда трава дождем сечется...» и др. Позже, в автобиографическом эссе «Выбрал сам», охарактеризовал свое состояние: «Пришла переоценка ценностей, наступил кризис, который я перенес очень тяжело, думал о самоубийстве, боялся сойти с ума. В это время написано стихотворение “Сними с меня усталость, матерь Смерть...”». На душевном состоянии отразилась и семейная драма («Уходит в ночь мой траурный трамвай...»).

В конце 1967 г. случайная встреча с Лилией Карась, посещавшей его литературную студию, коренным образом изменила его жизнь.

1968–1969. Расстается с М.Ф. Якубовской. Чувствуя свою вину, оставляет ей полученную от Союза писателей изолированную квартиру с большой библиотекой и другим имуществом, по ее требованию переписывает на нее дачу, построенную отчимом. С небольшим узелком вещей, сборниками серии «Сокровища лирической поэзии» и двумя книгами (Цветаева и Пастернак из большой серии «Библиотека поэта») переходит жить к Лилии Карась.

Пересматривает отношение к своей писательской судьбе: «...перестал думать о печатании, стал писать, смею думать, лучшие мои стихотворения совершенно свободно, заранее зная, что они никогда не будут опубликованы...» («Выбрал сам»). Пишет цикл «Сонеты любимой», и одновременно с лирическими – стихи, диктуемые глубокими гражданскими чувствами. В апреле 1969 г. получает лестное для него письмо из Москвы от литературоведа Леонида Ефимовича Пинского, познакомившегося с его стихами. Маши-

нописную рукопись стихотворений принес ему поэт Леонид Тёмин, бывший киевлянин, друживший с Чичибабиным. Вот отрывок из письма Пинского: «...Сужу по таким стихам (из 38 наличных), как "Тебе, моя Русь..." (вершина того, что знаю), "Больная черепаха...", "Сними с меня усталость..." (тоже вершина), "Трепещу перед чудом...", "Достоевский", "В январе на улицах...", "Битва", "Махорка", "Живу на даче...", "Простые как бы хрустальные..." – в первую очередь ⟨...⟩ Меня поразили "Верблюд" ("абсолютные" стихи, которым позавидовали бы "парнасцы" от Леконта до Эредиа) и "Вечером с получки", "Паруса" – не знаю лучших сонетов (как таковых) во всей русской поэзии» (см.: П, с. 190–193; при публикации допущена ошибка в дате: вместо *IV* напечатано – *VI*)). С Л.Е. Пинским и его женой, замечательной переводчицей Евгенией Михайловной Лысенко устанавливаются теплые, дружеские отношения. Пинский – один из участников московского «самиздата» снабжает Чичибабина литературными новинками и хрониками текущих событий – крамольными материалами тех лет, расходившимися потом в Харькове по друзьям и знакомым.

1970-е–1980-е. Важную роль в жизни Чичибабина играют путешествия с женой по городам бывшего Советского Союза в отпускные месяцы и праздничные дни. Новые впечатления дают материал для стихов, раздумий, споров. Поэт впервые открывает для себя Прибалтику и посвящает ей ряд стихотворений. Часто бывает в Москве, Ленинграде, Киеве. В Москве возникают дружеские отношения с драматургом, поэтом А.А. Галичем, с семьей писателя А.И. Шарова. Особое значение для Чичибабина имело знакомство с философом Г.С. Померанцем (1918–2013) и его женой, поэтом З.А. Миркиной. В эссе «Мысли о Главном» напишет: «На протяжении нескольких лет они были моими духовными вожатыми».

Киев одаривает дружбой с поэтами и прозаиками: Е.М. Ольшанской, Ю.В. Шаниным, Г.А. Ароновым, М.Д. Руденко, Ф.Д. Кривиным.

В Ленинграде его всегда ждет харьковский друг Михаил Копелиович, с которым постоянно поддерживается переписка (см. П, с. 347–402).

Отпуск проводит в Крыму, Западной Украине, Одессе, и всюду читает стихи, расширяя круг своих почитателей. Знакомится в Одессе с Полиной Брейтор и ее друзьями, составившими с участием поэта два машинописных сборника его стихов. В дальнейшем между П. Брейтор и Б. Чичибабиным возникла переписка, продолжавшаяся много лет. Фрагменты из писем, касающиеся взглядов Чичибабина на творчество любимых им писателей подготовлены П. Брейтор для публикации в книге «Уроки чтения».

Друзьям, собравшимся эмигрировать в Израиль, посвящает стихотворение «Дай вам Бог с корней до крон...», поддерживающее их решение. Через несколько лет выразит свое наболевшее отношение к отъезду в стихотворение «Не веря кровному завету...».

На смерть А. Твардовского отзовется стихотворением «Памяти А. Твардовского»: от лица многочисленных читателей отдаст гражданский долг выдающемуся поэту. (Стихотворения «Дай вам Бог с корней до крон...» и «Памяти А. Твардовского» ему вспомнят при исключении из СП.)

Нельзя не отметить особое отношение Чичибабина к императору Петру I, озвученное в стихотворении «Проклятие Петру». Намного раньше, находясь в лагере, отвечая на вопрос «Ваша антипатия?» в присланной в письме анкете «Моя исповедь», написал: «Петр Первый» (см. РиП, с. 301–302). Отношение Б. Чичибабина к Петру I нашло отражение в переписке с Г.С. Померанцем (П, с. 36–40). Сознавая одностороннюю оценку деятельности Петра I, пообещал написать о «хорошем Петре», но так и не выполнил обещания (см. стихотворение «Еще о Петре»).

В 1972 г. в московском «самиздате» появляется машинописный сборник стихотворений поэта, отредактированный Л.Е. Пинским, и распространенный им же по каналам «самиздата» (этот факт сыграет свою роль при исключении Чичибабина из Союза писателей). Благодаря «самиздату» стихотворения, не публикуемые в официальной печати, становятся известными в читающей среде.

9 января 1973 г. Б. Чичибабину исполняется 50 лет. Приходят телеграммы от друзей, собирается приехать в Харьков А.А. Галич, но по семейным обстоятельствам не сможет. Присылает письмо, содержащее важные слова: «Хочу, чтобы вы знали, что есть у вас друг, который хотя и ленив на письма, но помнит о вас постоянно же, числит вас среди самых близких для меня на свете людей!». К письму приложен посвященный Чичибабину «Первый псалом» («Я вышел на поиски Бога...»). (О Галиче и Чичибабине см.: «Знамя». 2006. № 4. С. 136–143.)

В связи с юбилейной датой Б. Чичибабина приглашают выступить в харьковском отделении Союза писателей. Он читает стихотворения «Тебе, моя Русь...», «Проклятие Петру», «Больная черепаха...», «Памяти А. Твардовского».

25 апреля 1973 г. состоялось заседание правления Харьковского отделения Союза писателей, на котором вынесли решение об исключении Б. Чичибабина из членов Союза писателей (протокол собрания см.: РиП, с. 336–343.) В эссе «Выбрал сам» поэт напишет: «Исключение меня из Союза в 1973 году, в конце концов, даже справедливо – я давно потерял с ним всякую связь. А конкретным поводом для исключения были стихи о Твардовском, стихи “отъезжающим”, “С Украиной в крови я живу на земле Украины...”. То я – украинский националист, то я – сионист... Так и не разобрались, кто я на самом деле».

По-видимому, исключение из СП послужило поводом для появления стихотворения «Защита поэта»: «Я – поэт. Этим сказано все. / Я из времени в

вечность отпущен...». (В сентябре 1996 г. на школе № 1 г. Чугуева, где учился Б. Чичибабин перед войной, установили мемориальную доску, на которой выгравированы эти слова.)

В апреле 1974 г. Чичибабина вызывали в КГБ; он был вынужден подписать протокол, запрещающий распространять «самиздат» и читать свои стихи антисоветского содержания. В случае очередного доноса, ему мог грозить арест. Опасаясь обыска, поэт отдает часть самиздатской литературы и писем в надежные дома. Но чтение стихов запретить было нельзя. Возможно, наблюдение за ним усиливается в связи с его дружбой с харьковскими диссидентами: Генрихом Алтуняном, Владиславом Недоборой, Владимиром Пономаревым, Аркадием Левиным, подписавшими письмо в защиту крымских татар и генерала Петра Григоренко, прошедшими брежневские лагеря. Стихотворение «Благодарствую, други мои...» – о них. Когда посадили руководителя Хельсинкской правозащитной группы на Украине писателя Мыколу Руденко, незадолго до этого навестившего Чичибабина, посвятил ему стихотворение «Я плачу о душе, и грустно мне, и голо...». Воспоминания Генриха Алтуняна об этом периоде опубликованы в ВСВ (с. 246–248). В домах друзей, у себя дома чтение стихотворений было обязательным условием, поэтому корпус «главных», как Чичибабин их называл, стихотворений он всегда помнил.

Ежегодные отпуска и праздничные дни по-прежнему используются для встреч с друзьями, проживающими в разных городах. Впечатления от отпускных путешествий неоднократно служат поводом для создания стихотворений. Хронологически это выглядит, примерно, так:

1970–1973 – Прибалтийский цикл («Таллинн», «С далеких звезд моленьями отозван...», «Литва – впервые и навек», «Рига», «Бах в Домском соборе», «Улыбнись мне еле-еле...»); Москва («Церковь в Коломенском»); Полтава («Путешествие к Гоголю»); Львов («Львов»); Ужгород («Феликсу Кривину»); Ленинград («До могилы Ахматовой сердцем дойти не легко...»); Киев («Киев»).

1974, июнь – восточный Крым, Судак. Поездки в Коктебель, пешеходные прогулки в Новый Свет («Судакские элегии» (1-я и 2-я части));

1975, май – Крым («Херсонес», «Чуфут-Кале»);

1976, сентябрь – Чернигов, Одесса, Кишинев («Чернигов», «Ночью черниговской с гор араратских», «Моцарт», «Кишиневская баллада»);

1977, сентябрь – Псков, Михайловское («Псков» (написано позднее)); Ленинград («Печальная баллада о великом городе над Невой»);

1980, июнь – Владимир, Суздаль («Девочка Суздаль», «Церковь святого Покрова на Нерли» (написано позднее));

1981, сентябрь – Ереван («Псалом Армении», «Второй псалом Армении», «Третий псалом Армении»);

1983, июнь – Пущино («9 января 1984 года»);

1984, июнь – Коктебель («Коктебельская ода», «Дельфинья элегия», «Ежевечерне я в своей молитве...», «Феодосия», «Воспоминание», «Паустовскому»; «За Надсона»);

1985, сентябрь – путешествие по общесоюзному маршруту Ереван – Тбилиси – Батуми («Четвертый псалом Армении», «Непрощание с Батуми»);

1986, октябрь – Ленинград, Москва («Александру Володину», «Буддийский храм в Ленинграде», «Московская ода»).

Благодаря участию ленинградского друга М. Копелиовича в 1986 г. знакомится с драматургом А.М. Володиным, читает ему свои стихи. Володин настойчиво советует Чичибабину послать подборку в «Новый мир», обещает помочь с публикацией. После почти двадцатилетнего неучастия в официальной литературе, поэт с трудом соглашается на этот шаг.

Наступает перестройка, и журналы охотно печатают подборки стихотворений Чичибабина. Московский приятель Владимир Нузов выступает в роли посредника между автором и редакциями.

За годы отсутствия публикаций на родине несколько раз стихи Б. Чичибабина печатались за рубежом.

Наиболее обширные подборки – в альманахе «Глагол» (Анн Арбор (США): Ардис, 1977. Вып. 1) и в журналах «Двадцать два» (Тель-Авив, 1979. № 9) и «Континент» (Париж, 1983. № 35).

Биобиблиографический указатель произведений Б.А. Чичибабина и литературы о нем до 2002 г. опубликован в РиП (с. 403–473).

1987–1994. Последние семь лет жизни поэта представлены следующими событиями.

1987.

15 мая – выступление на вечере, посвященном 110-летнему юбилею Н.А. Некрасова, в Центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова в Москве;

2 октября – авторский вечер в Центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова в Москве;

1–2 октября – участие в вечерах журнала «Огонек» в киноконцертном зале «Октябрь» в Москве;

13 декабря – авторский вечер в Центральном доме литераторов в Москве;

30 декабря в харьковском отделении Союза писателей проходит собрание, на котором Б. Чичибабина восстанавливают в Украинском Союзе писателей (протоколы исключения и восстановления в СП см.: РиП, с. 336–346.).

Публикации:

«Лит. газета» 9 сент.; «Огонек» № 36; «Новый мир» № 10.

1988.

Выступления:

9–10 февраля – авторские вечера в Киеве (вел И.М. Дзюба);

5 марта – авторский вечер в клубе железнодорожников в Харькове;

24 апреля – авторский вечер в Доме медиков в Москве. Участвовал Е.А. Евтушенко, сообщивший о восстановлении Б. Чичибабина в Союзе писателей СССР и вручивший ему писательский билет.

25 апреля – участие в вечере памяти А.И. Шарова в библиотеке «Юго-Запад» в Москве;

28 апреля – авторский вечер в Доме писателей в Ленинграде;

27 мая – участие в вечере памяти А.А. Галича в Доме кино в Москве. Познакомился с Э.А. Рязановым.

18–20 сентября – авторские вечера в Донецке;

В декабре – участие в благотворительном вечере в Минске с выездной редакцией журнала «Дружба народов», посвященном Армянской трагедии (землетрясение).

Публикации стихотворений:

«Сельская молодежь» № 2; «Дружба народов» № 4; «Радуга» № 7 (Киев); «Лит. газета» 24 авг.; «Огонек» № 36; «Лит. Россия» 14 окт.; «Москва» № 10; «Искусство кино» № 10; «Лит. обозрение» № 11.

1989.

В январе по телевидению показан фильм студии «Останкино» «О Борисе Чичибабине»; вышла пластинка фирмы «Мелодия» – «Колокол».

Выступления:

4 марта – авторский вечер в Доме архитекторов в Москве;

В июне принимал участие в вечере, посвященном 100-летнему юбилею А.А. Ахматовой в Киеве;

сентябрь – поездка в Италию с делегацией московских писателей на церемонию вручения премии Монделло (Сицилия, Палермо).

Перед поездкой в Италию Б. Чичибабин начал чувствовать себя неважно, волновался, так как один давно никуда не ездил (в составе делегации должны были быть только писатели). В Москве жена поэта Владимира Корнилова, врач по специальности, определила, что недомогание связано с болезнью сердца и снабдила Чичибабина соответствующими лекарствами. По возвращении в Харьков лег на обследование: результаты неутешительные. Врачи и раньше предупреждали насчет курения и крепкого кофе, но обходиться без этого он не мог, особенно, когда работал над стихами. С начала 90-х состояние здоровья ухудшается.

Публикации:

Книга стихов «Колокол» (М: Известия; за счет средств автора), за которую выдвинут на Государственную премию СССР.

«День поэзии» (Москва; с. 41–42); «Юность» № 2,4; «Смена» № 3; «Моск. комсомолец» 5 марта; «Знамя» № 5; «Нева» № 5; «Дружба народов» № 7; «Радуга» № 6 (Киев); «Горизонт» № 7; «Новый мир» № 7; «Волга» № 8; «Лит. газета» 29 ноября.

1990.

27 сентября – выступление на фестивале авторской песни в Киеве;

9–19 декабря – поездка в Германию по приглашению профессора Кельнского университета Вольфганга Казака;

Декабрь – участие в вечере, посвященном 100-летнему юбилею Б. Пастернака в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина («Декабрьские вечера») в Москве;

8 ноября – сообщение в газете «Известия» о присуждении Государственной премии СССР в области литературы, искусства, архитектуры Чичибабину (Полушину) Борису Алексеевичу, поэту, за сборник стихов «Колокол».

Публикации стихотворений:

Книга «Мои шестидесятые» (Киев: «Дніпро»).

«Зона» (Пермь; с. 438–445); «Юность» № 1; «Моск. комсомолец» 30 сент.; «Лит. газета» 3 окт.; «Огонек» № 7; «Радуга» № 12.

1991.

Выступления:

19 января – участие в вечере памяти, посвященном 100-летнему юбилею О.Э. Мандельштама в ЦДЛ в Москве;

29 января – вручение Государственной премии в Кремле;

26 мая – участие в праздновании 99-летия со дня рождения К.Г. Паустовского в Тарусе;

21 октября – участие в работе I съезда российских писателей.

Публикации стихотворений:

Книга стихов «Колокол» (М.: Сов. писатель); «Апрель», вып. 4 (Москва) «Позиция» № 1 (Харьков); «Донбасс» № 1 (Донецк); «Сов. культура» 26 янв.; «Звезда» № 2; «Правда Украины» 13 апр.; «Республика Армения» 18 июня; «Кодры» № 8 (Кишинев); «Согласие» № 8, «Лит. Армения» № 9.

1992.

Выступления:

31 марта – авторский вечер в Доме архитекторов в Киеве;

20 апреля – авторский вечер в Доме актера в Санкт-Петербурге;

30, 31 мая – участие в праздновании 100-летия со дня рождения К.Г. Паустовского в Тарусе и в Центральном доме литераторов в Москве;

30 октября–6 ноября – поездка в Израиль в составе делегации украинских писателей на форум укрепления культурных связей между Украиной и Израилем (два авторских вечера).

Публикации стихотворений:

«Бурсацкий спуск» № 1 (Харьков); «Огонек» № 3; газ. «Общее дело» № 1—2 (Челябинск); «Эфир» № 2; «Звезда» № 2; «Независимость» 7 февр. (Киев); «Лит. газета» № 17, 27; «Новый мир» № 8; «Благотворительная газета» № 30 (Симферополь); «Вечерний Харьков» 29 окт.; «Алеф» № 456 (Тель-Авив).

1993.

Выступления:

29 января – авторский вечер, посвященный 70-летию в Киеве, в Доме учителя (вечер вела Л.В. Костенко);

6–10 июня – участие в Пушкинском празднике в Гурзуфе;

Июнь – международные чтения в Доме М.А. Волошина. Одновременно снимается документальный фильм о Борисе Чичибабине «Исповедь поэта». (режиссер Р. Нахманович, студия документальных фильмов, Киев);

17 октября – авторский вечер в концертном зале телецентра «Останкино», в Москве;

19 октября – награждение премией литературно-общественного движения «Апрель» им. академика А.Д. Сахарова в Центральном Доме литераторов в Москве.

Публикации стихотворений:

Факсимильный буклет к 70-летию, объединение «Круг» (Харьков); «Аврора» № 1; «Ренессанс» № 1 (Киев); «Дружба народов» № 1; газ. «Время» 11 янв. (Харьков); газ. «Вечерний Харьков» 11 янв.; газ. «Голос Украины» 13 янв. (Киев); «Лит. газета» 13 янв.; газ. «Независимость» 12 марта (Киев); «Дон» № 3–4 (Ростов-на-Дону); «Смена» № 4; «Знамя» № 7; «Пятница, прилож. к газ. «Наша страна» 13 авг. (Тель-Авив); «Сельская молодежь» № 11–12; «Работница» № 12.

В связи с популярностью поэта вырос его авторитет в родном городе. Его приглашают участвовать в разных общественных и культурных мероприятиях: как почетный член Учредительного совета общества «Мемориал» он представительствует на общесоюзной конференции в Москве; является почетным членом Фонда «Поддержки молодых дарований», возглавляемого мэром города Е.П. Кушнаревым; принимает участие в творческом объединении «Круг»; в связи с 70-летием Б. Чичибабина Центральный телевизионный канал Харькова приглашает его на часовую авторскую программу (ее регулярно показывают в памятные чичибабинские дни).

1994.

В периоды улучшения самочувствия участвует в интересных для него мероприятиях; ему трудно отвечать отказом на приглашения, но не всегда поездки идут на пользу: на Чеховских днях в Ялте в начале апреля простужается и начинает задыхаться. После лечения в Харькове состояние постепенно улучшается.

Выступления:

6–10 апреля – чеховские дни в Ялте. Выступление в городском театре им. А.П. Чехова; авторский вечер в Доме-музее А.П. Чехова;

Июнь – выступление на фестивале авторской песни и поэзии в Ростове-на-Дону;

1–3 июля – участие во Всероссийском Лермонтовском празднике (Пенза, Тарханы);

Июль – участие в праздновании 50-летия Тюменской области (выступление в областной библиотеке);

5 сентября – встреча в Москве с немецкими студентами Фрайбургского университета (руководитель Элизабет Шорре);

получает часть тиража изданной в Москве книги «82 сонета и 28 стихотворений о любви»;

28 сентября–6 октября – поездка в Израиль в составе украинской делегации на антифашистский форум. По состоянию здоровья хотел отказаться от поездки, но ради встречи с друзьями решил ехать. Это была прощальная поездка;

12 ноября – выступление на поэтическом вечере «Литературной газеты» «Автограф». В вечере приняли участие известные поэты – москвичи, и среди них один «не москвич», приехавший по приглашению газеты – Борис Чичибабин. Вечер проходил в киноконцертном зале «Октябрь». (Здесь же состоялось его первое выступление в Москве.) Перед поездкой в Москву состояние здоровья было нестабильным, но все-таки решился ехать («а вдруг в последний раз»). С болью, осипшим голосом читал «Плач по утраченной родине», хотел прочесть «еще одно ударное стихотворение», но забыл первую строку («Я почуял беду и проснулся от горя и смуты...»). Читал: «Когда я был счастливый...».

К.В. Ковальджи, главный редактор издательства «Московский рабочий», вручил Б. Чичибабину несколько авторских экземпляров его новой книги «Цветение картошки».

Публикации стихотворений:

Книги стихов: «82 сонета и 28 стихотворений о любви»; «Цветение картошки» (Москва); «22». Вып. 94 (Иерусалим); «Независимость» 12 янв.; «Время» 15 янв.; «Проталина» 19 февр. (Тюмень); «Новое русское слово» 26–27 февр. (Нью-Йорк); журн. «Русская филология. Укр. вестник» № 3; «Дон» № 6; «Лит. газ. – Досье» № 9; газ. «Частное дело» № 39 (Киев); «Время» 17 дек. (Харьков); «Веч. Харьков» 17 дек.; «Всеукраинские Ведомости» 26 дек.; «Голос Крыма» 28 дек.; «Крымская газета» 29 дек.; «Алеф» № 560 (Тель-Авив).

Собрал книгу «В стихах и прозе», которая была издана уже после его смерти. Именно эта последняя авторская книга представлена в настоящем издании.

15 декабря 1994 г. Борис Чичибабин скончался.

В 1996 г. одна из улиц Харькова, на которой жил Б. Чичибабин, вернувшись из сталинских лагерей, была названа его именем. В этом же году создан Фонд памяти поэта Б.А. Чичибабина.

Посмертные издания.

Чичибабин Б. В стихах и прозе. 2-е изд. Харьков: Фолио, 1998.

Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Харьков: Фолио, 1998.

Чичибабин Б. Экскурсия в лицей. Харьков: Фолио, 1999.

Чичибабин Б. Когда я был счастливый. Киев: Изд. Дом Дмитрия Бураго, 2001.

Чичибабин Б. В стихах и прозе («И, все-таки, я был поэтом...»): 3-е изд. Харьков: Фолио, 2002.

Чичибабин Б. Раннее и позднее («Кончусь, останусь жив ли...»). Харьков: Фолио, 2002.

Чичибабин Б. Письма («Благодарствую, други мои...»). Харьков: Фолио, 2002.

Чичибабин Б. Стихотворения. Харьков: Эксклюзив, 2003; переизд.: 2005, 2012.

Чичибабин Б. Собрание стихотворений. Харьков: Фолио, 2009.

Чичибабин Б. Уроки чтения. Из писем поэта. М.: Время, 2013.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Мол – *Чичибабин Б.* Молодость. М.: Сов. писатель, 1963.

МиС – *Чичибабин Б.* Мороз и солнце. Харьков, 1963.

Гар – *Чичибабин Б.* Гармония. Харьков: Прапор, 1965.

ПА – *Чичибабин Б.* Плывет «Аврора». Харьков: Прапор, 1968.

К89 – *Чичибабин Б.* Колокол. М.: Известия, 1989.

МШ – *Чичибабин Б.* Мои шестидесятые. Киев: Дніпро, 1990.

К91 – *Чичибабин Б.* Колокол. М.: Сов. писатель, 1991.

82 сонета… – 82 сонета и 28 стихотворений о любви. М.: PAN, 1994.

ЦвК – *Чичибабин Б.* Цветение картошки. М.: Моск. рабочий, 1994.

ВСВ – Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях. Изд. 2-е, доп. / Сост. М.И. Богославский, Л.С. Карась-Чичибабина, Б.Я. Ладензон. Харьков: Фолио, 2013.

ВСП – *Чичибабин Б.* И все-таки я был поэтом…: В стихах и прозе. Харьков: Фолио, 2002.

РиП – *Чичибабин Б.* Кончусь, останусь жив ли…: Раннее и позднее. Харьков: Фолио, 2002.

П – *Чичибабин Б.* Благодарствую, други мои…: Письма. – Харьков: Фолио, 2002.

ССт – *Чичибабин Б.* Собрание стихотворений. Харьков: Фолио, 2009.

ХГНБ – Харьковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленко.

ЯП – «Ясная Поляна». Реалистическая лирика. Рукописный сборник. Харьков, 1952.





ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание воспроизводит сборник «Борис Чичибабин в стихах и прозе», подготовленный автором, но изданный уже после его кончины, в 1996 г.

Раздел «Дополнения» открывают два прозаических текста: ахматовская и некрасовская анкеты, отобранные нами как наиболее значимые для понимания эстетических и общественных позиций Чичибабина. Более обширный свод подобных материалов (статьи, интервью, выступления) читатель найдет в сборнике «Борис Чичибабин. Раннее и позднее» (Харьков: Фолио, 2002).

Далее следуют 73 стихотворения, без которых представление о Чичибабине было бы, на наш взгляд, неполноценным. Публикуются также его первые поэтические опыты, которые он сам оценивал пренебрежительно, но которые говорят о становлении его таланта.

Примечания содержат необходимые сведения текстологического, фактического и историко-литературного характера, информацию о предшествующих публикациях и издательской судьбе, об обстоятельствах и побудительных мотивах создания данного стихотворения, о лицах, к которым оно обращено или упоминаемых в нем. Особое внимание уделялось характеристикам людей, принадлежавших к дружескому кругу Чичибабина, малоизвестных широкому читателю, но занимавших важное место в биографии поэта. По нашему убеждению, знакомство с ними необходимо для полноценного понимания соответствующих текстов.

Приводятся наиболее интересные отзывы об отдельных стихотворениях, указания на работы, где они исследовались. Раскрываются аллюзии, которые могут не привлечь к себе внимания. Для удобства русскоязычного читателя даются переводы характерных для стихов Чичибабина украинизмов. Раздел «Другие редакции и варианты» в книге не предусмотрен, но в отдельных случаях они полностью или частично включены в примечания к соответствующим стихотворениям. Приблизительные даты написания стихотворений даются в квадратных скобках.

Поскольку в книгу включена детальная «Хронология жизни и творчества Б.А. Чичибабина», в сопроводительной статье сведения биографического характера сведены к минимуму. Составители выражают глубокую благодарность В.Г. Ялькову за помощь в работе над изданием.

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

К Б. Чичибабину обратились с предложением написать статью для журнала «Наше наследие». Это был 1992 год, когда вышел только один номер журнала, и статья не была опубликована. Приближающийся 70-летний юбилей Б.Чичибабина журнал «Дружба народов» захотел отметить публикацией произведений поэта.

Первый номер журнала в 1993 г. открывался этой статьей, написанной ранее поэтом для журнала «Наше наследие», и подборкой стихотворений. Статья называлась «Просто, как на исповеди», текст был изменен редакцией по своему усмотрению. При подготовке Чичибабиным в 1994 г. сборника «В стихах и прозе» он изменил название статьи (назвал её «Мысли о главном») и внес некоторые добавления. Первая публикация была в сборнике «В стихах и прозе» в 1996 г.

Я РОДОМ ОТТУДА

«Я РОДОМ ОТТУДА, ГДЕ СЕРП ОПИРАЛСЯ НА МОЛОТ...»

Впервые: Новый мир. 1992. № 8. С. 3. Б. Чичибабин придавал этому стихотворению особый смысл, вследствие чего отвел ему роль зачина, пролога к своей итоговой книге (об обстоятельствах его создания см. сопров. ст.).

Кожаный ангел – здесь: человек в «кожанке», одежде революционеров-большевиков.

Бывшие бесы – намек на типажи, выведенные Достоевским в романе «Бесы».

Чапаев... подпольщик Максим – герои знаменитых советских фильмов: «Чапаев», 1934; кинотрилогии: «Юность Максима», 1934; «Возвращение Максима», 1937; «Выборгская сторона», 1938.

Ададонных – неологизм (от «дно ада»). Учитывая характерное для Б. Чичибабина внимание к фонике («Одолевали одолюбы...», «Клубится кладбищенский сумрак...», «озябну зябликом в росе я», «прядется предел», «ему, как пращуру, пращу бы...», «...со лжою спорит Солженицын...» и т. п.), можно предположить, что он использовал созвучие этого слова с именем Аваддона (Аббадонна) – в мифологии иудаизма олицетворение поглощающей, скрывающей и бесследно уничтожающей ямы, могилы и пропасти преисподней, фигура, близкая к ангелу смерти, получившая широкое распространение в русской и мировой литературе (Мильтон, Клопшток, Жуковский, Н.А. Полевой, Герцен).

Котлован – аллюзия к повести А. Платонова.

«КОНЧУСЬ, ОСТАНУСЬ ЖИВ ЛИ...»

Впервые: Новый мир. 1987. № 10. С. 122. Б. Чичибабин считал, что именно с этого произведения началось его сознательное творчество. Стихотворение написано в одиночной камере на Лубянке.

Путивль – вотчина новгород-северского князя Игоря Святославича (город принадлежал сыну князя Владимиру, однако роковой поход на половцев войска начали именно из Путивля, там же осталась и жена Игоря Ярославна). Здесь: символ родных мест, от которых поэт был насильственно оторван (ср. пленение князя Игоря).

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Первоначальный вар. в ЯП, с. 45. Впервые: ПА как вторая часть стихотворения «Былое и грядущее». Строки «И никто нам не поможет. / И не надо помогать» в итоговой книге Чичибабин взял в кавычки, так как обнаружил аналогичные в сти-

хотворении Георгия Иванова «Хорошо, что нет Царя...». По предположению Л. Аннинского, Б. Чичибабин мог услышать эти строки в тюрьме и запомнить их со слуха – возможности прочитать их у него не было. Книгу Г. Иванова «Из литературного наследия» (М., 1989) он приобрел в 1990-е годы и, увидев совпадение, поставил кавычки. В ПА после приведенных выше строк следовала заключительная строфа: «Сами справимся с бедою, / плюнем пламени в лицо, / но вовек в свое святое, / не допустим пришлецов!».

Шпынь – колкий насмешник (юж., зап. диал.).

Шиш – здесь: бродяга, вор (вят. диал.).

Льнет к полячке русый рыцарь... – Намек на Лжедмитрия и Марину Мнишек.

Не кричит ночами петел... – В восточнославянской мифологии предрассветный крик петуха возвещал конец ночного разгула бесовщины. Этот мотив использован Гоголем в повести «Вий».

ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

Впервые: К89, с. 13. Первоначальный вар.: ЯП, с. 125. В публикуемой редакции строфы 5-я, 7-я, 8-я, 9-я существенно отличаются от первоначального варианта. Приводим строфы первоначального варианта, причем 5-я строфа менялась дважды.

5-я. Не проникнуть в быт твой наглыми глазами.
Мир с чужой молитвой стал под образами.
5-я. Потемнели думы, облетели кроны.
Казематы, тюрьмы, царские погромы...

7-я. Не под холостыми пулями, ножами
Пали в Палестине юноши мужами.

8-я. Погоди, а ну как повторится снова.
Или в смертных муках позабылось Слово?

9-я. Потускнели страсти, опустились плечи?
Ни земли, ни власти, ни высокой речи?..

В архиве поэта сохранен машинописный сборник 1979 г., где его рукой внесены изменения в первоначальный вариант. Именно в этом году Б. Чичибабину был подарен фотоснимок с Чаплином и Эйнштейном. Поэтому под стихотворением проставлена вторая дата – 1979 г. Изменение первоначальной даты и названия стихотворения по сравнению с К89 были сделаны самим Б. Чичибабиным.

Анализ этого вар. стихотворения см.: *Милославский Ю.* Шестидесятник: К 85-летию Бориса Чичибабина // Новая демократия. 2008. № 6. 8 февр. С. 1, 12 (Харьков).

Тит Флавий Веспасиан (39–81 гг. н. э.) – римский император; в 70 г., подавив восстание иудеев, захватил и разрушил Иерусалим.

Сион – холм в Иерусалиме, символ древнего Израиля.

Ротшильд – здесь: Мейер Ансельм Ротшильд (1743–1812), родоначальник знаменитой династии банкиров.

«ПОЭТ – ЧТО МАЛОЕ ДИТЯ...»

Впервые: Сельская молодежь. 1988. № 2. С. 30.

Поэт –... дитя. – В лирике Б. Чичибабина совокупность черт с общим значением «детскости» (ребячливость, наивность, непосредственность, чистота души) выступает мерилом истинности поэта, что отражено в стихотворениях, посвященных любимым поэтам-современникам: Б. Пастернаку, С. Маршаку, И. Эренбургу и др. Как принято считать, формула «поэт – дитя» восходит к культуре немецкого романтиза, в частности, к знаменитой «Переписке Гете с ребенком» (1835) Беттины фон Арним, вызывавшей восхищение многих русских писателей.

БИТВА

Впервые: Гар, с. 54. Стихотворение написано в Вятлаге. Существует в нескольких вариантах; первоначальный – в ЯП, с. 12. (См.: *Яськов В.* Битва: к истории одного стихотворения // Материалы Чичибабинских чтений. 1995–1999. Харьков, 1999. С. 86–101.)

«ПОКА ХОТЬ ОДИН БЕЗУТЕШЕН ВЛЮБЛЕННЫЙ...»

Впервые: Мол, с. 15, с незначительными расхождениями. Стихотворение написано в Вятлаге. Мотив искупительной жертвы, готовность страдать вместе с другими и пострадать за других прослеживается в лирике Чичибабина с конца 40-х годов и до последних лет жизни, с особой силой проявляясь в тех стихах, которые носили для поэта программный характер: «Я родом оттуда...», «Молитва» и др. Анализ этого стихотворения см.: *Кукушкин Л.* Sub specie aeternitatis[1]. Религиозные истоки творчества Бориса Чичибабина // Рус. мысль. Париж, 2000. № 4303. 3–9 февр.; № 4304. 10–16 февр., а также: Чичибабинские чтения. Сб. материалов. Харьков, 2006. С. 36–44.

МАХОРКА

Впервые: Гар, с. 55, с искажениями. На примере этого стихотворения можно видеть, как советская цензура вынуждала автора искажать свой текст. 3-я строфа: «А здесь, где все заманчиво и ново, / где холод лют, а хижины мокры, / Все ароматы быта городского / для нас остались в пригоршне махры». 5-я строфа: «И добрый друг, неумолимый деспот, / ввернет словцо, не ведая вины, / что нас еще не разлюбили, дескать, / что, дескать, ждут нас, рады и верны». Первоначальный вар.: ЯП, с. 35. В 3-ей строфе 2-я строка: «Где номера зловонны и мокры». См. об этом: *Рахлин Ф.* О Борисе Чичибабине и его времени: строчки из жизни. Харьков: Фолио, 2004. С. 58–61.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Впервые: Гар, с. 58 (расхождение в 5-й строфе, 3-я строка была: «Что ему славянофилов болтовня»). В архиве Михаила Владимировича Копелиовича маши-

---

[1] «Под знаком вечности» (*лат.*).

нописный вар. стихотворения содержит дополнительную строфу между 5-й и 6-й строфами: «Ну а мрак-то, ну а темень – хоть завой! / Он стоит и за виски руками держится. / А на вышке все маячит часовой, / а на книжке его тень от самодержца». (М.В. Копелиович – друг Чичибабина, автор многочисленных статей о его творчестве, см. П, с. 347–402).

Петрашевец – Достоевский был членом кружка петрашевцев, собиравшегося в 1844–1849 гг. в Петербурге (у М.В. Петрашевского) для обсуждения текущих политических и общественных проблем. Участников собраний арестовали по доносу в 1849 г., Достоевский был приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами.

«ДО ГРОБА СТРАСТИ НЕ ИЗБУДУ...»

Впервые: Гар, с. 90, с искажениями. О чичибабинском выборе свободы как «частности» существования (здесь возможно продуктивное сопоставление с концепцией поэта у И. Бродского) точно написал украинский писатель И. Дзюба: «Чичибабин никогда не героизировал свой выбор, а скорее наоборот – профанировал (в бахтинском понимании этого слова)» (*Дзюба И.* Свобода и неволя Бориса Чичибабина // Дружба народов. 2003. № 5. С. 202–218.) Ради публикации этого важного для него стихотворения Б. Чичибабин был вынужден корректировать текст, избегая цензурного запрета. См. об этом: *Рахлин Ф.* О Борисе Чичибабине и его времени: Строчки из жизни. Харьков: Фолио, 2004. С. 58–64. В раннем машинописном варианте первая строка стихотворения была: «До гроба злости не избуду...».

В края чужие не поеду. Эту мысль Чичибабин повторял не раз. Ср.: «и я не уйду в заграницы, как Герцен...» («Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю...»).

«ЛЮДИ – РАДОСТЬ МОЯ...»

Впервые: Волга. 1989. № 8. С. 6.

ОДА

Впервые: МШ, с. 68. Вариант в рукописной тетради поэта (архив Л. Карась-Чичибабиной). 3-я строфа: «Все в мире – суета и тлен, / но вдруг рождается интимность. / Не вся ли женщина вместилась / в медвяной плавности колен? / Порой толкуешь не спеша / с чужой и дальней, все корректно, / как вдруг сверкнет ее коленка – / и заколеблется душа». В 4-й строфе, в рукописи: «Смотрю на них во все глаза / влюбленно, свято, безотчетно. / Как на великие полотна / и на весенние леса».

Чудо – вмешательство Проведения (Божественной воли) в обыденную жизнь мира. Концепция любви как чуда (и тема чуда как таковая) роднит Б. Чичибабина с Б. Пастернаком и А. Тарковским.

Лучило – неологизм.

РОДНОЙ ЯЗЫК

Впервые: День поэзии. 1962. С. 241.

Он к ушам моим приник... – Парафраз пушкинского стиха из стихотворения «Пророк»: «И он к устам моим приник, / и вырвал грешный мой язык...»; Чичибабин одушевляет сам язык, делая его спутником-вдохновителем героя.

Сычить – здесь: сипеть, хрипеть (диалект., арханг.).

ДОЖДИК

Впервые: Новый мир. 1962. № 5. С. 95.

ЯБЛОНЯ

Впервые: Мол, с. 43.

«ТВОИ ГЛАЗА СВЕТЛЕЙ И ТИШЕ...»

Впервые: МиС, с. 69. Стихотворение посвящено Марлене Давидовне Рахлиной (1925–2010) – другу Б. Чичибабина, поэту, переводчику, автору восьми сборников стихотворений и книги воспоминаний «Что было – видали» (Харьков, 2008), содержащую некоторые субъективные трактовки. Перевела с украинского языка книги В. Стуса «Золотокоса красуня» и «Полимпсесты». Рахлина и Чичибабин познакомились во время учебы на филологическом факультете Харьковского университета (Чичибабин поступил в 1945 г. на первый курс после демобилизации из армии, Рахлина училась на втором курсе). Сблизила их любовь к поэзии, оба писали стихи; полюбили друг друга. Когда Чичибабин был арестован, М. Рахлина трижды приезжала к нему в лагерь вместе с его родителями. Лагерь все-таки разлучил их: у каждого сложилась собственная судьба, но они оставались близкими друзьями на протяжении всей жизни.

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА МИРА – ЛЮБОВЬ

Впервые: МШ, с. 54. Стихотворение посвящено жене поэта Матильде Федоровне Якубовской (1919–1999).

Соловьи – в русской поэтической традиции одно из распространенных обозначений поэта-певца.

«АПРЕЛЬ – А ВСЕ ВЕСНА НЕ СЛАДИТСЯ...»

Впервые: МШ, с. 71.

«КОГДА ВЕСЬ ЖАР, ВЕСЬ ХОЛОД БЫЛ ИЗВЕДАН...»

Впервые: МШ, с. 72. Стихотворение посвящено М.Ф. Якубовской.

Моей пустыни холод соловьиный. – О символике соловья в лирике Б. Чичибабина см. примеч. к стихотворению «Вечная музыка мира – любовь...».

«НЕТ, ТЫ МНЕ НЕ ЖЕНА...»

Впервые: МШ, с. 74. Стихотворение посвящено М.Ф. Якубовской.

Пчелкой... – В любовных стихотворениях Чичибабина пчела нередко выступает спутницей героини (ср. связь пчел с женскими божествами – Деметрой, Персефоной, Великой Матерью, Девой Марией).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОРЩА

Впервые было опубликовано в многотиражной газете «Харьковский электротранспорт», вызвав отрицательные отклики и обвинения Б. Чичибабина в мещанстве (фельетон С. Василчина «Наборщували» в областной газете «Соціалістична Харківщина» от 22.03.67). Между тем дар одухотворения жизни в ее обыденных проявлениях делает поэта прямым наследником Пастернака. К Пастернаку же, по всей видимости, восходит и обращение «подруга», представляющее жену или возлюбленную равноправным участником жизненного пира.

Цибуля – луковица (укр.).

До кучи – к куче, в кучу (укр.).

Ляда – крышка в подпол (укр.); здесь: сам подвал.

Духмяней – душистей (укр.).

«ЯНВАРЬ – СЕРЕБРЯНЫЙ СЕРЖАНТ...»

Впервые: МШ, с. 88. Одно из самых загадочных стихотворений Б. Чичибабина, проводящее черту между внешней реальностью и внутренней мистической сутью поэзии (отсюда характерное противопоставление поэзии и прозы в 3-й строфе).

Чоботы – сапоги (укр.).

Пошкандыбал – поплелся (простонар.).

«УЖЕ КАРТОШКА ВЫКОПАНА...»

Впервые: Мол, с. 55.

Струшивая – стряхивая (укр.)

«ВО МНЕ ПРОСНУЛОСЬ СЕРДЦЕ ЭЛЛИНА...»

Впервые: Гар, с. 64.

Шурких – неологизм (прилаг. от глагола «шуркать» – шуршать).

Отчизна пчел; соловьиных голосов – О символе соловья в лирике Б. Чичибабина см. примеч. к стихотворению «Вечная музыка мира – любовь», пчелы – примеч. к стихотворению «И опять – тишина, тишина, тишина...». Характерно, что эти образы неоднократно употребляются поэтом совместно, в русле размышлений о метафизике творчества.

«А ХОРОШО БЫ ЛЕТОМ ЗАКАТИТЬСЯ...»

Впервые: МиС, с. 58.

Дымарня – труба (укр.).

«ПО-РАЗНОМУ ТРАТИТСЯ ЛЕТНЯЯ РАДОСТЬ...»

Впервые: МиС, с. 31 (без последней строфы).

Пленум – речь идет о пленуме ЦК КПСС 1961 г. перед XXII съездом партии, на котором продолжилось разоблачение Сталина.

БЕЛЫЕ КУВШИНКИ

Впервые: Гар, с. 66 (см.: *Остапенко И.* «И живу, как живет одуванчик...». Образы цветов в лирике Б. Чичибабина // Материалы Чичибабинских чтений. 2000–2002. Харьков, 2002. С. 65–74.).

НА ЖУЛЬКИНУ СМЕРТЬ

Впервые: МШ, с. 153.

Шевченковский сад – парк им. Т.Г. Шевченко в центре Харькова.

ВЕРБЛЮД

Впервые: Радуга. 1989. № 6. С. 25.

Верблюд – в русской поэзии XX века верблюд, известный своим долготерпением и выносливостью, неоднократно выступал олицетворением поэта – ср. образ верблюда у М. Цветаевой («И вот, навьючив на верблюжий горб...»), А. Тарковского («На длинных нерусских ногах...»). Верблюд у Б. Чичибабина выделяется «угрюмой живучестью» и «нежным презреньем» – ироническим отношением к своей судьбе.

Домбра – казахский струнный щипковый музыкальный инструмент, издавна завоевавший любовь и популярность в народном быту.

Песчаный Лебедин. – Здесь: лебедь пустыни (метафора обусловлена наличием у верблюда длинной «лебединой» шеи; ср. созвучное «паладин»). В этом значении слово «Лебедин» является неологизмом (ср. название украинского городка Лебедин).

«В ДЕКАБРЕ В ОДЕССЕ ЖУТЬ...»

Впервые: МШ, с. 156. Дата уточнена. В декабре 1963 г. Б. Чичибабин отдыхал в Доме творчества писателей в Одессе. В архиве Чичибабина существует автограф стихотворения, посвященный одесскому поэту Борису Нечерде, датированный 31 декабря 1963.

Дюк – герцог (*фр.*). Поэт называет «Дюком» памятник герцогу де Ришелье, легендарному основателю Одессы.

Треба – нужно (укр.).

«КЛУБИТСЯ КЛАДБИЩЕНСКИЙ СУМРАК...»

Впервые: К89, с. 19. Дата в настоящем издании уточнена Б. Чичибабиным (ср. ВСП, с. 69).

Календарь... без мая... – Здесь: намек на отсутствие «весеннего», праздничного настроения.

Глушат и *смалят...* – Пьют и курят.

Бродяга и шут из Ламанчи... – Дон Кихот, герой произведения Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», любимый литературный персонаж Б. Чичибабина.

«БЕЗ ВСЯКОГО МИСТИЧЕСКОГО ВЗДОРА...»

Впервые: МШ, с. 97. В начальных строках угадываются аллюзии к программному стихотворению А. Ахматовой «Мне ни к чему одические рати...» (1940), опубликованному в журнале «Звезда» за 1940 г. (№ 3–4. С. 74) и сб. «Из шести книг» (1940) с вариантом второй строки «и прелесть элегических страстей».

КЛЯНУСЬ НА ЗНАМЕНИ ВЕСЕЛОМ («ОДНАКО РАДОВАТЬСЯ РАНО...»)

Впервые: Лит. Россия. 1988. 14 окт. С. 5.

Подонки травят Пастернаков... – Имеется в виду показательная травля Пастернака в связи с публикацией за рубежом романа «Доктор Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии в 1958 г. (подробнее об этом стихотворении см. в сопр. ст.).

КРЫМСКИЕ ПРОГУЛКИ

Впервые: К89, с. 14. Уточнена дата создания стихотворения (ср. К89 и К91). Б. Чичибабин не фиксировал даты написания стихотворений, и часто они были неточны. Со слов Марка Ивановича Богославского, – друга Чичибабина, поэта, филолога, автора многих статей о его творчестве, стихотворение было написано после посещения Крыма в 1961г.

В 1944 г. была произведена насильственная депортация крымских татар. В 1966 г. в Харькове состоялась встреча Б.Чичибабина с классиком крымско-татарской литературы Эшрефом Шемьи-заде (1908–1978), который подарил ему свою книгу стихотворений, с надписью: «Борису Алексеевичу Чичибабину – лучшему другу многострадального крымско-татарского народа. 31.VIII.66» (книга хранится в Ялтинском литературно-художественном музее).

Алупка Воронцовская. – Имеется ввиду генерал-губернатор Новороссии М.С. Воронцов, построивший свой алупкинский дворец в 1828–1848 гг.

Ривьера – знаменитое живописными видами побережье Средиземного моря между Ниццой и Специей; образ Крыма как русской Ривьеры сложился в 1820-е годы.

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Впервые: Гар, с. 79.

Ламанча – район в Кастилии, родина Дон Кихота.

«МЕСЯЦ ПРОШЕЛ И ГОД, ДЕСЯТЬ ПРОЙДЕТ И СТО...»

Впервые: МШ, с. 116. Стихотворение написано по заказу: Б. Чичибабина попросили сочинить песню о «Ласточкином гнезде» в ритме вальса.

СОНЕТ С МАРШАКОМ

Впервые: Гар, с. 78.

Сияло детство щедрое само в нем... – Б. Чичибабин акцентирует, что популярность Маршака связана прежде всего с его стихами для детей. О концепции «поэт – дитя» см. примеч. к стихотворению «Поэт – что малое дитя».

«НЕУЖТО ВСЕ И ВПРЯМЬ ТЕМНО И ТОШНО...»

Впервые: МШ, с. 123. В стихотворении проявилось мастерство Б. Чичибабина в описании явлений материального мира и способность к живому восприятию красоты. Ср. «Приготовление борща» и др. подобные стихотворения.

ОДА НЕЖНОСТИ

Впервые: Гар, с. 51.

Потемнею ликом... – Лик – лицо человека, а также изображение лица на иконе. Иконные лики со временем темнеют.

ЭТОТ МАРТ

Впервые: МиС, с. 74.

Замять – метель, вьюга (малоупотр).

«НА МОЙ ПОРОГ ЗИМА ПРИШЛА...»

Впервые: Гар, с. 73 (отличие в 3-й строфе: «Я жарюсь в чертовых печах. / Я у любви служу солистом. / Я ей без памяти залистан. / О, не читай меня печаль!»).

Грусть моя грешна. – Антитеза пушкинскому «печаль моя светла».

«И НАМ, МЕЧТАТЕЛЯМ, ДАНО...»

Впервые: МиС, с. 25. Л. Аннинский об этом стихотворении: «Это абсолютно возрожденческое жизнелюбие, которому не важно, что происходит поистине в реальности...». (см.: *Аннинский Л.* Выступление на Чичибабинских чтениях // Материалы Чичибабинских чтений. 1995–1999. Харьков, 1999. С. 3–12).

«ВСЕ ДЕРЕВЬЯ, ВСЕ ЗВЕЗДЫ МНЕ С ДЕТСТВА ТЕБЯ ОБЕЩАЛИ...»

Впервые: МШ, с. 132. Стихотворение посвящено Ларисе Иосифовне Богораз (1929–2004), известной правозащитнице. В начале 1960-х годов, готовя первый сборник стихов «Молодость» для издательства «Советский писатель» в Москве,

Б. Чичибабин остановился в доме Ларисы Богораз и Юлия Даниэля – друзей Марлены Рахлиной по Харьковскому университету. (См. также стихотворение «Зову тебя, не размыкая губ...»).

Черная пчелка печали... – О символе пчелы у Чичибабина см. примеч. к стихотворениям: «Нет, ты мне не жена...» и «И опять – тишина, тишина, тишина...».

«И ОПЯТЬ – ТИШИНА, ТИШИНА, ТИШИНА...»

Впервые: Мол, с. 80 (первоначальный вар. в ЯП, с. 38). В наст. изд. дата, проставленная Б. Чичибабиным (1962), уточнена: стихотворение было прислано из Вятлага (т. е. не позже 1951 г.) в письме к М. Рахлиной; впоследствии слово «от тебя» было заменено на «от себя».

Пчела – образ принадлежит к числу основных мифологем Б. Чичибабина. «Высокая степень "организованности" пчелы и меда (особенно сотового), олицетворяющих начало высшей мудрости, делает пчелу и мед универсальными символами поэтического слова, шире – самой поэзии» (*Иванов В.В., Топоров В.Н.* Пчела // Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2. С. 334–336).

«МЕНЯ ОДОЛЕВАЕТ ОСТРОЕ...»

Впервые: День поэзии. 1989. С. 41. (Дата, проставленная ранее – 1965 – уточнена, так как «*в трамвайном управлении*» Чичибабин начал работать с мая 1966 г.).

Гаврик – мелкий жулик, пройдоха.

Все тише, все обыкновеннее / я разговариваю с Богом. – Поэт впервые признается в своем глубоком религиозном чувстве.

«КАК СТАЛИ ДНИ МОИ ТИХИ...»

Впервые: К89, с. 31.

Ляснув – хлопнув, щелкнув (укр.)

... берет под ноготь... – Выражение, заимствованное Б. Чичибабиным из лагерного жаргона; неоднократно употребляясь в лирике поэта, вступает во взаимодействие с идеями Достоевского (ср. мотив «человек-вошь» в романе «Преступление и наказание»).

В полдневный жар... – Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Сон».

Монтень Мишель де (1533–1592) – французский философ, создатель знаменитых «Опытов».

Тюлька – мелкая рыбешка из семейства сельдей. Поэт намеренно сближает великое и мелкое.

ОДА РУССКОЙ ВОДКЕ

Впервые: Апрель. 1991. Вып. 4. С. 8. В одном из интервью Б. Чичибабин, смеясь, сказал: «Люблю это дело, но один никогда не пью». И воспел водку как атрибут дружеского застолья, «пира», как возможность для него, довольно замкнутого человека, беседовать, спорить.

Емельян – Пугачев.

Финь-шампань – название местности во Франции, в окрестностях города Коньяка, давшего имя напитку, здесь – ироническое наименование самого коньяка.

Кащей – здесь: жадина, накопитель (ср. пушкинское: «там царь Кащей над златом чахнет»)

...а Бог наш – Пушкин пил с утра... – Получивший распространение миф о «пьющем» Пушкине находит обоснование разве что в лицейской лирике поэта – в действительности же, став взрослым, он не употреблял крепких напитков, порой делая исключение для так называемой «жженки». В изредка встречающихся в его письмах признаниях типа «Братцы, я пьян» больше озорства и кокетства, чем реального алкоголизма. В действительности поэт предпочитал шампанское, которое стоило тогда очень дорого и напиться им было непросто, а утро начинал с чашки кофе.

«ВЕСНА – ОДНО, А ОТТЕПЕЛЬ – ИНОЕ...»

Впервые: К89, с. 36.

Тверезы – трезвы (укр.).

Пономарь – дьячок. Б. Чичибабин намекает этим на присущую пономарям манеру однообразного монотонного чтения (Ср. в «Горе от ума» А. Грибоедова: «Читай не так, как пономарь, / А с чувством, с толком, с расстановкой»).

«НАМ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ДРУЗЬЯ...»

Впервые: К89, с. 37. Эхо хрущевского разгрома творческой интеллигенции в Москве докатилось до Харькова. Чиновники от идеологии подвергали стихи Б. Чичибабина грубой критике. В докладе одного из секретарей ЦК Компартии Украины было упомянуто имя Чичибабина как поэта, в стихах которого содержатся анархические взгляды.

Сивуха – плохо очищенная хлебная водка. Существует вариант стихотворения, приведенный поэтом в письме к Л.Е. Пинскому (П, с. 197):

Мне говорят мои друзья,
что им у нас бывать нельзя.
При этом каждому охота
сказать, шутя, про Дон Кихота.
А мне – что водка, что гамза,
и не хочу смотреть в глаза.
Стыдясь подобных ситуаций,
они затяжно суетятся
и намекают нам тайком
на времена и на райком.
Чтоб не подумали, что трусят,
они нам долго руки трусят
и, как со смертного одра,
желают всякого добра.
Закончат шуткой неудачной –
и вниз по лестнице чердачной.
А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет...

Гамза – вино или самогон из винограда сорта «гамза».

«КОЛОКОЛА ГОЛУБИЗНЕ...»

Впервые: К89, с. 35.

Фарисеи – здесь: лицемеры, ханжи (ср. строки Пастернака в стихотворении «Гамлет»: «Я один, все тонет в фарисействе. / Жизнь прожить – не поле перейти»).

«ПРО ТО, ЧТО СЕРДЦЕ, КАК В СНЕГУ...»

Впервые: МШ, с. 171.

...как Маяковский не смогу, а под Есенина не стоит. – Маяковский был одним из любимых поэтов юного Б. Чичибабина и долгое время оставался для него высоким авторитетом в искусстве (см. «Мысли о Маяковском», ответы Чичибабина на вопросы анкеты «Литературной газеты», 1993, № 28). Близости же к Есенину Б. Чичибабин не чувствовал.

Жар-перо. Образ восходит к восточнославянским мифам о жар-птице и связан с традиционным для русской поэзии представлением об обжигающем воздействии поэтического слова (см.: *Никипелова Н.* «Жар-перо» – символ поэтического труда в лирике Бориса Чичибабина // Вестник Крымских чтений Б.А. Чичибабина. 2009. Вып. 5. С. 105–109; *Юхт В.* Еще раз о Жар-пере // Вестник Крымских чтений Б.А. Чичибабина. Симферополь: Крымский архив. 2011. Вып. 7. С. 168–177.)

«ОДОЛЕВАЛИ ОДОЛЮБЫ...»

Впервые: Гар, с. 92.

Одолюбы – неологизм; любители од (ср. однолюбы).

Водоливы – неологизм, высмеивающий многословие.

ПАСТЕРНАКУ

Впервые: Лит. обозрение. 1988. № 11. С. 5.

...Врубель в Рублеве... – анаграмма. Врубель М. А. (1856–1910) – русский художник-символист; Рублев Андрей (ок. 1360–1428) – великий русский иконописец.

...мудрец и ребенок... – О концепции «поэт – дитя» у Б. Чичибабина см. примеч. к стихотворению «Поэт – что малое дитя...».

Какая пора на дворе, какая погода!.. – Намек на стих Пастернака: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

СОНЕТЫ К КАРТИНКАМ

Так Б. Чичибабин назвал цикл сонетов, сочиненных по мотивам рисунков своего друга Леонида Пугачева (1928–1987), человека разностороннего таланта. По профессии он был актером, хорошо разбирался в живописи и сам рисовал. Сочинял песни на стихи Б. Чичибабина и других поэтов и исполнял их. Б. Чичибабин посвятил Пугачеву ряд дружеских посланий (см. примеч. к стихотворению «Посошок на дорожку Лёше Пугачеву»). Впоследствии «Сонеты к картинам» вошли в книгу «82 сонета и 28 стихотворений о любви».

«Сонеты к картинкам» в основном написаны в начале и середине 1960-х годов. Проблематика цикла построена вокруг драматических взаимоотношений «внутреннего» человека и внешнего мира, представленного как плоское изображение, зримая реальность. Поэт осмысляет различные аспекты этой драмы – от переживания загадки сознания как таковой («Женщина у моря») до переживания катастрофического разрыва с действительностью («Племя лишних») и конечности мира («Хорал»). Принцип построения цикла (произвольная прогулка между рисунками, которые наводят автора на широкие размышления), а также его заглавие говорят о близости «Сонетов к картинкам» и знаменитых «Картинкам с выставки» М. Мусоргского (1874). Последние написаны по материалам графики В. Гартмана, умершего друга композитора.

1. ПАРУСА

Впервые: Моск. комсомолец. 1989. № 55. 5 марта. Б. Чичибабин заимствует романтический образ паруса, предоставляя герою с тоской вспоминать о былой свободе.

2. ВЕЧЕРОМ С ПОЛУЧКИ

Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 9. Пинский Л.Е. о сонетах Б. Чичибабина отзывался так: «“Вечером с получки”, “Паруса” – не знаю лучших сонетов (как таковых) во всей русской поэзии» (П, с. 192).

3. ПОСТЕЛЬ

Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 9.

4. ОСЕНЬ

Впервые: Лит. Армения. № 10. С. 9. Б. Чичибабин обращается к осени как времени итогов, размышлений о бренности предпринятых ранее начинаний (ср. аналогичные мотивы в поэзии Е. Баратынского, А. Пушкина и др.).

5. ЧТО Ж ТЫ, ВАСЯ?

Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 10. Б. Чичибабин прибегает к черному юмору и гротеску, рисуя босхианскую картину крушения человеческих иллюзий.

6. СТАРИК-КЛАДОВЩИК

Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 11. Иронический образ Бога, «доброго» старика-кладовщика характерен для размышлений Б. Чичибабина о безразличии и невмешательстве. Способность уподобить «земное» высокому присуща поэтическому складу поэта; в тоже время он профанирует идею Бога в образе скромного старика-кладовщика, работающего в РАЙскладе.

С гремучим колесом... – На гравюре Пугачева старик с развевающейся бородой катит перед собой огромное колесо.

7. ХОРАЛ

Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 10. С горечью и иронией поэт описывает конец света, несправедливый и безрассудно жестокий («святые перепились», «он сбрасывает любящих с кроватей», «кричит в ночи раздавленное детство»), – и мысль о славящем Бога хорале звучит как карамазовский упрек Создателю.

8. ПЛЕМЯ ЛИШНИХ

Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 10. В этом сонете Б. Чичибабин развивает тему «лишних людей», осмысляя свой разлад с эпохой.

9. НЕ ВИЖУ, НЕ СЛЫШУ, ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ

Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 11. Б. Чичибабин обыгрывает буддийскую идею отрешенности от неистинного («ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу»).

Не вижу смерти в падающих ливнях... – Намек на возможность опасного облучения от зараженных частиц, попавших в атмосферу после испытательных ядерных взрывов.

10. ЖЕНЩИНА У МОРЯ

Впервые: 82 сонета..., с. 30 (см. ст. Л.Г. Фризмана в наст. изд.)

11. ВЕСЕННИЙ ДОМ

Впервые: 82 сонета..., с. 35. Жизнеутверждающее стихотворение, в котором декларируется неразрывная связь с прошлым, с лучшим юношеским в душе поэта.

Мокрынь – неологизм.

12. ВЕТЕР

Впервые: 82 сонета..., с. 31. В сонете звучит романтический мотив цыганщины, генетически восходящий к Пушкину.

«ЖИВЕМ – И ЧЕРТА ЛЬ НАМ В ПОКОЕ?..»

Впервые: Лит. обозрение. 1988. № 11. С. 50.

Что проку добрым быть и честным?.. и нас на кладбище свезут?.. – Б. Чичибабин излагает вопросы воображаемого оппонента, ответом на которые является весь последующий текст стихотворения.

Парис Жуаныч Котелков – под этим именем Чичибабин вывел одного из своих недоброжелателей, представителя харьковского литературного истеблишмента.

«КОГДА С ТОБОЮ ПЬЮТ...»

Впервые: К89, с. 34.

«Я СЛИШКОМ ДОЛГО НАЧИНАЛСЯ...»

Впервые: К89, с. 26. С середины 1960-х мотивы одиночества и изгойства все чаще звучат в поэзии Б. Чичибабина. Обилие архаизмов (*каменья, согбен, младые, пекло, святыни)* обусловлено темой стихотворения, герой которого болезненно осознает свою отъединенность от современников («мои стихи, мое дыханье / не долетело до людей»).

«ЕСТЬ ПОСЕЛОК В КРЫМУ. НАЗЫВАЕТСЯ ОН КАЦИВЕЛИ...»

Впервые: К89, с. 29. Стихотворение обращено к М.Ф. Якубовской. Ощущение нарастающей личной драмы сливается в нем с темой изгойства.

«ЖИВУ НА ДАЧЕ. ЖИЗНЬ ЧУДНА...»

Впервые: Москва. 1988. № 10. С. 4. А.Е. Полушин, отчим Б. Чичибабина, построил для него на своем участке в пос. Высокий под Харьковом небольшой дачный дом; впоследствии поэт оставил его М.Ф. Якубовской.

Малюта – Г.Л. Скуратов-Бельский (ум. 1573) – сподвижник царя Ивана IV Грозного.

...мой Толстой... – В отношении Б. Чичибабина к Л.Н. Толстому всегда была особая доверительность, интимность, сочетавшаяся с высочайшим пиететом (см. примеч. к стихотворению «Толстой и стихи»). Поэт ценил его моральное учение, которому во многом следовал. Это прозвучало в завершающем стихотворение призыве: «Бросайте все! Пусть гибнет плоть. / Спасайте души!»

«КОГДА ТРАВА ДОЖДЕМ СЕЧЕТСЯ...»

Впервые: К89, с. 39.

Пугачевец – участник восстания Е.И. Пугачева (1773–1775).

Скоромное – молочная и мясная пища, не употребляемая религиозными людьми во время поста.

«НЕ БРАТ С СЕСТРОЙ, НЕ С ДРУГОМ ДРУГ...»

Впервые: К89, с. 40. Событийная канва стихотворения – расставание с М.Ф. Якубовской.

Сходим в ад за кругом круг. – Аллюзия к «Божественной комедии» Данте.

«УХОДИТ В НОЧЬ МОЙ ТРАУРНЫЙ ТРАМВАЙ...»

Впервые: К89, с. 40. Событийная канва та же.

Трамвай – один из важных символов поэзии Б. Чичибабина, друг и собеседник лирического героя. Работа в трамвайном управлении порой приносила неожиданные плоды – так, Чичибабин существенно обогатил «трамвайный миф» русской поэзии XX в. (ср. «трамвай» Н. Гумилева, О. Мандельштама, Г. Иванова, В. Ходасевича и др.).

«И ВИЖУ ЗЛО, И СЛЫШУ ПЛАЧ...»

Впервые: Лит. газета. 1988. 24 авг. С. 6. Сущность стихотворения есть не что иное, как гиперболизированное ощущение собственной виновности перед природой, людьми и Господом: все виноваты перед всеми, а потому «не спрашивай, по ком звонит колокол, – он звонит по тебе».

«ТЕБЯ СО МНОЙ ПОПУТАЛ БЕС...»

Впервые: К89, с. 44. Это и два последующих стихотворения адресованы Л.С. Карась, будущей жене поэта.

«В ЯНВАРЕ НА УЛИЦАХ ВОДА...»

Впервые: К89, с. 45.

«НА СЕРДЦЕ КРАСИТСЯ БОЛЬ И ДОСАДА...»

Впервые: ВСП, с. 123

...изыду из ада... – Аллюзия к «Божественной комедии» Данте Алигьери (ср. мотив схождения в ад в стихотворении «Не брат с сестрой, не с другом друг...»).

«СНИМИ С МЕНЯ УСТАЛОСТЬ, МАТЕРЬ СМЕРТЬ...»

Впервые: Лит. газ. 1988. 24 авг. С. 6.

Матерь Смерть – одна из ярчайших мифологем Б. Чичибабина, вбирающая многовековой опыт человеческой культуры: от древних мифов (дающая жизнь и смерть «мать сыра земля») до новейшей литературы (ср. невесту-смерть у А. Блока, сестру-жизнь у Б. Пастернака и др.). Образ носит на себе печать чичибабинского «францисканства», погруженности поэта в мир одухотворенной природы.

КОЛОКОЛ

Впервые: Огонек. 1987. № 36. С. 9. Стихотворение написано после посещения Новгорода Великого.

Колокол – один из символов России, ее духовности и культуры; в лирике Б. Чичибабина – образ судьбы и предназначения русского поэта, ставшего голосом всенародной совести. Сам поэт сказал об этом так: «Колокол – как предмет, как сим-

волический предмет, как символ – многозначен. Самый первый, поверхностный план – гражданственный, то есть по-лермонтовски, “колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных”. Дальше – это религиозный смысл: колокол как нечто священное. Это еще и символ России для меня, символ русской духовности» (см. РиП, с. 233).

Микешин М.О. (1835–1896) – русский художник, автор памятника 1000-летию России в Великом Новгороде, выполненного в форме колокола.

«КОГДА ВЗЫГРАЮТ НАДО МНОЙ...»

Впервые: К89, с. 49.

...а счастья суетною ловлей. – Аллюзия к строкам М. Лермонтова в стихотворении «Смерть поэта»: «На ловлю счастья и чинов / Заброшен к нам по воле рока».

Огневое решето – блики солнца на воде.

Платонов А.П. (1899–1951) – писатель, мастер языка и стиля; изображал трагическую суть советского быта. В письме А.И. Шарову Б. Чичибабин признавался, что любит Платонова больше всех русских прозаиков XX в. – «даже учитывая таких, как Бунин, Олеша, Тынянов или Бабель: он серьезнее, трагичнее, глубже любого из них – и по таланту, который дается от Бога, и по видению, и по поведению ⟨...⟩ Может быть, как мастера, ему чем-то близки Лесков или Горький, но в какие глубины, какие мраки он от них ушел, за тридевять земель, в тридесятое царство» (см.: П, с. 224–225). Об отношении Б. Чичибабина к *Мандельштаму* – см. статью «Всех живущих прижизненный друг».

«Я ГРУЗ НЕБЫТИЯ ВКУСИЛ СВОИМ ГОРБОМ...»

Впервые: Огонек. 1987. № 36. С. 9. С писателем Ф.Д. Кривиным Б. Чичибабин познакомился в Киеве в 1971 г., гостил у него в Ужгороде (см. ВСВ, с. 195–207; П, с. 248–263).

«Оставьте навсегда отчаянье и страх, входящие сюда вы». – Аллюзия к строке Данте Алигьери «Оставь надежду всяк сюда входящий» – так, по мысли Данте, выглядит надпись на дверях ада («Божественная комедия», «Ад», песнь 3).

«ЦВЕТЫ ЛЕЖАЛИ НА СНЕГУ...»

Впервые: Огонек. 1988. № 36. С. 21. Дата уточнена.

...как Маяковский на Таганке! – Имеется в виду спектакль Ю. Любимова «Послушайте!» (1967) по лирике Маяковского, вызвавший широкий общественный резонанс.

«ТРЕПЕЩУ ПЕРЕД ЧУДОМ ГОСПОДНИМ...»

Впервые: Радуга. 1989. № 6. С. 27. Посвящено Л. Карась.

Смерд – здесь: простолюдин, незнатный человек.

«КУДА МНЕ БЕЖАТЬ ОТ БУРЛАЦКИХ ЗАМАШЕК?..»

Впервые: Новый мир. 1987. № 10. С. 121.

И Вечность вовек не взойдет семицветьем. – Иносказательное описание радуги, символа Божественного присутствия (по Библии, радуга возникла после Всемирного потопа как обещание Бога больше не насылать на людей потоп).

ИЗ СОНЕТОВ ЛЮБИМОЙ

Так Б. Чичибабин назвал цикл сонетов, посвященных жене Лиле Карась. Они вошли в книгу «82 сонета и 28 стихотворений о любви». О сонетах написано несколько литературоведческих работ: рецензия М.В. Копелиовича «Сонеты на жизнь Мадонны Лили» (Новый мир. 1994. № 10); статья О.М. Оконевской и Н.А. Никипеловой «Высоким слогом вечного сонета...» (Сонет от Петрарки до Чичибабина на уроке литературы // Рус. яз. и лит. в школах Украины. 2002. № 9); раздел в книге И. Лосиевского «Встреча с Петраркой: из наблюдений над интертекстом в чичибабинской лирике» (Харьков, 2005). Первоначальное название включало имя адресата: «Сонеты Лиле».

1. «КАК ВЛАСТЕН В НАС БЕССМЫСЛЕННОГО ЗОВ...»

Впервые: К89, с. 56. В первом сонете Б. Чичибабин рисует апокалипсическую картину морального распада человечества. Именно на этом фоне возникает любовь – преодолевающее зло мира богоданное чудо. Тема *века* в этом и последующих стихотворениях приобщает Б. Чичибабина к классической традиции от Баратынского до Мандельштама. Особенно выразительны аллюзии к стихотворению Тютчева «Наш век» («Не плоть, а дух растлился в наши дни...»), передающие состояние людей, лишенных веры.

Страшный суд – в христианстве последний акт мировой истории, когда каждому человеку будет предъявлен список его деяний.

2. «У ЯВНОГО ЗЛОДЕЙСТВА СЧЕТ ДВОЙНОЙ...»

Впервые: К89, с. 56. В этом сонете особенно сильны шекспировские мотивы, связанные в цикле с пониманием истории как арены действия злых сил (ср. в «Макбете»: «Но духи лжи, готовя нашу гибель, / Сперва подобьем правды манят нас, / Чтоб уничтожить тяжестью последствий», пер. Б. Пастернака).

Не плоть, а души убивает ложь... – См. примеч. к пред. сонету «У явного злодейства счет двойной...».

3. «– ОТВЕТЬТЕ МНЕ, СЕРВАНТЕС И ДОРЕ....»

Впервые: К89, с. 57.

Доре Поль Гюстав (1832–1883) – французский график и живописец, иллюстрировавший «Дон Кихота» Сервантеса, Библию и «Божественную комедию» Данте.

Лицо любимой излучает свет... – Б. Чичибабин следует библейской традиции отождествления добра со светом (ср. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (Иоанн 1, 5)). И. Лосиевский указывает также на параллель с «льющей свет» Мадонной Лаурой Ф. Петрарки.

4. «НЕ СПРАШИВАЙ, ЧТО БЫЛО ДО ТЕБЯ....»

Впервые: К89, с. 57. Образ круга зла в этом сонете заставляет вспомнить круги ада (от Данте) в текстах Б. Чичибабина предшествующих лет. Любовь позволяет герою выйти за рамки круга.

5. «ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЕСТЬ СТИХИ, ЛЕСОВ СЫРЫЕ ЧАЩИ...»

Впервые: К89, с. 58.

...джорджоневский закал... – Джорджоне (ок. 1477–1510) – итальянский живописец венецианской школы эпохи Ренессанса, автор знаменитой картины «Спящая Венера».

...еще не отжурчал блаженный Мандельштам. – Мандельштам О.Э. (1891–1938) – русский поэт. Намекая на прочтение героиней текста любимого поэта, Б. Чичибабин заимствует его образы («по капле душу пей» в предыдущей строке – ср. «Всю смерть ты выпила и сделалась нежней» в стихотворении «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...» (1916), а также, возможно, первичное по отношению к нему стихотворение Ахматовой «Как соломинкой пьешь мою душу...» (1911)). Сонет перекликается также с текстом Мандельштама «Есть иволги в лесах и гласных долгота...» – в обоих случаях объектом изображения становится «единственное», феноменальное переживание.

6. «ЛЮБЛЮ ТВОЕ ЛИЦО. В НЕМ КАЖДАЯ ЧЕРТА...»

Впервые: К89, с. 59. Мотив иконописной прелести «лика» возлюбленной получит продолжение в других стихотворениях цикла, в частности, «Твое лицо светло, как на иконе...».

7. «ТВОЕ ЛИЦО СВЕТЛО, КАК НА ИКОНЕ...»

Впервые: К89, с. 59. Сонет передает молитвенное преклонение перед возлюбленной, в которой Б. Чичибабин, в традиции поэтов Ренессанса, узнает образ Мадонны.

8. «СМИРЕННИЦА, ТЫ СПРОСИШЬ: ГДЕ ЖЕ СТЫД?..»

Впервые: К89, с. 60. В этом тексте слышны отзвуки «Сонета к Дженевре» Дж. Байрона («Ты так бледна и так мила в печали...» – ср. «Твоя печаль на лбу моем блестит», как и вообще мотив «блеска» духовной красоты, благоговейный трепет перед возлюбленной – «Серафимом» у Байрона, «душой» у Б. Чичибабина).

9. «КОГДА Б МЫ БЫЛИ ДУХОМ ВЫСОКИ...»

Впервые: Огонек. 1990. № 47. С. 16.

10. «ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ ДУШЕ МОЕЙ ДАНА...»

Впервые: К89, с. 60.

11. «ЧЕРНОВОЛОС И ОЗАРЕННО-РОЗОВ...»

Впервые: К89, с. 61.
Девять веков – Возможно, Б. Чичибабин имеет в виду дату крещения Руси.

12. «В ТЕБЕ СЕМИТОВ КРОВЬ ТУМАННЕЙ И НАПЕВНЕЙ...»

Впервые: К89, с. 61.

13. «БЕССМЫСЛЕН РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ...»

Впервые: К89, с. 62.

14. «ПАЛАТКА ЗА НОЧЬ ЗДОРОВО ПРОМОКЛА...»

Впервые: К89, с. 63.
Софокл (496–406 до н.э.) – древнегреческий драматург; скорее всего, Б. Чичибабин имеет в виду его трагедию «Эдип-царь», где ставится вопрос о роковых обстоятельствах и свободной воле человека.

15. «МНЕ О ТЕБЕ ЗАДУМЧИВО-ТЕЛЕСНОЙ....»

Впервые: К89, с. 63. По наблюдению И. Лосиевского, «образ Любимой у Б. Чичибабина предельно приближен к двоящемуся образу Бога-Природы: “Ты – мой собор единственный, ты – лес мой, / в котором я с молитвою стою, / Ты вся – душа, вся в розовом и белом. / Так дышит лес. Так должен пахнуть Бог”».

16. «“СМЕШНО ТОЛПЕ ДОБРО”, – ТАКОЙ ПРИПЕВ ЗАЛАДЯ»

Впервые: К89, с. 64.
... смешны, как умникам Исус, как взрослому дитя, как Мандельштам и Надя ~ Дон Кихот. – Этот смысловой ряд символизирует ориентацию поэта на разрыв с миром, не принимающим чуда любви и самопожертвования.

17. «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ, ПРОЗРЕВ С ПОЗАВЧЕРА...»

Впервые: Лит. газета. 1990. 3 окт. С. 8.

18. «БЕССМЕРТНА ПРОЗА РУССКАЯ...»

Впервые: «82 сонета...», с. 114.
Мирооблетный – неологизм.

19. «В ЛЮБОЕ МЕСТО МОЖНО ВЗЯТЬ БИЛЕТ...»

Впервые: Огонек. 1990. № 47. С. 16.

...та власть, что движет листья и светила... – Аллюзия к строке из «Божественной комедии» Данте: «Любовь, что движет солнце и светила».

Орфическом... – Намек на учение орфиков (Древняя Греция) о двух сущностях человека, божественной и плотской.

Вещероб – неологизм, ср. хлебороб.

20. «ЕЩЕ НЕ ВЕСЬ СВОБОДЕН ОТ ХИМЕР Я...»

Впервые: «82 сонета...», с. 123.

21. «КОГДА УЙДУТ В БЕСПОВОРОТНЫЙ ПУТЬ...»

Впервые: К89, с. 64.

22. «КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО У НАС БЫЛ ПУШКИН...»

Впервые: Пушкинский праздник (приложение к «Лит. газете»). 1988. 25 мая–7 июня.

Который век безмолвствует народ... – Аллюзия к финальной ремарке «народ безмолвствует» в пушкинской трагедии «Борис Годунов»; одна из частых характеристик народа у Б. Чичибабина.

...и скачет Медный задом наперед. – В этой насмешке над Медным всадником проявилось отрицательное отношение Б. Чичибабина к Петру I (см. примеч. к стихотворению «Проклятие Петру»).

23. «НЕ ЛЬНУ К ТРУДАМ, НЕ СОСТОЮ ПРИ ШКОЛАХ...»

Впервые: Лит. газета. 1988. 24 авг. С. 6.

Суета сует – выражение библейского царя Екклезиаста (Еккл. 1,2); один из любимых фразеологизмов Б. Чичибабина.

Король был гол. – Аллюзия к сказке Г.Х. Андерсена «Новое платье короля».

ВЕСЕННИЕ СТАНСЫ

Впервые: К89, с. 67.

Строил на песке... – Выражение восходит к евангельской притче (Матф. 7, 26–27) (ср. стихотворение Б. Слуцкого «Я строю на песке, а тот песок / еще недавно мне скалой казался...»).

ЭПИТАЛАМА, СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

Впервые: Лит. газета. 1990. 3 окт. С. 8.

Эпиталама – в античной поэзии стихотворение или песня в честь свадьбы.

Гименей-Христос – образ обусловлен общими представлениями о Христе как Боге любви, однако соотносится и с конкретным библейским сюжетом: первым чудом Христа в Кане Галилейской.

Кана Галилейская – Ин, 2, 1–11.

ТАЛЛИНН

Впервые: Лит. обозрение. 1988. № 11. С. 49. В стихотворении отражено первое посещение Чичибабиными Прибалтики.

Мололи суету сует – Соединение библейского фразеологизма «суета сует (и всяческая суета)» (Екк. 1, 2) и пословицы «перемелется – мука будет». См. также примеч. к стихотворению «Не льну к трудам, не состою при школах...».

Томас – флюгер «Старый Тоомас» (образ солдата-ландскнехта) на башне ратуши, символ и «защитник» Таллинна.

Вышгородские стены – стены, окружающие старый город Тоомпеа.

ЛИТВА – ВПЕРВЫЕ И НАВЕК

Впервые: К89, с. 71.

Чюрленис Микалоюс (1875–1911) – литовский живописец и композитор.

Гедимин (ум. 1341) – великий князь Литовский, легендарный основатель Вильнюса.

Нерис – приток Немана в Литве.

РИГА

Впервые: К89, с. 73.

Намацав – нащупав (укр.).

Райнис Ян (наст. имя Янис Плиекшанс, 1865–1929) – латышский поэт и драматург.

«УЛЫБНИСЬ МНЕ ЕЛЕ-ЕЛЕ...»

Впервые: К89, с. 76. Стихотворение отразило впечатления от отпуска, проведенного на берегу Финского залива, в пос. Саулкрасты недалеко от Риги.

Мавка – славянское мифическое существо, лесная русалка; в восприятии Б. Чичибабина образ обусловлен драмой Леси Украинки «Лесная песня», отсюда интерпретация мавки как прекрасной девочки-певуньи.

БАХ В ДОМСКОМ СОБОРЕ

Впервые: К91, с. 77.

Домский собор – памятник архитектуры XIII в., одна из главных достопримечательностей Риги; знаменит также своим органом.

«С ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД МОЛЕНЬЯМИ ОТОЗВАН...»

Впервые: Юность. 1989. № 4. С. 3. Об этом стихотворении в письме к Б. Чичибабину А.П. Межиров высказался так: «Стихотворение – безоговорочно прекрасное, в нем все значительно и совершенно» (см.: *Карась-Чичибабина Л.* Называй кем хочешь, Мастер… // О Борисе Чичибабине и Александре Межирове. Знамя. 2011. № 7. С. 155–160).

ПРОКЛЯТИЕ ПЕТРУ

Впервые: День поэзии. 1989. С. 41. Дата уточнена. В письме к Г.С. Померанцу и З.А. Миркиной Б. Чичибабин признавал, что дал одностороннюю характеристику Петру: не мог простить палача, своими руками рубившего человеческие головы. (см. П, с. 37–38).

Плотник саардамский... – Имеется в виду эпизод из биографии юного Петра, работавшего на верфях в г. Саардаме (Голландия) под именем плотника Петра Михайлова.

Каменной мертвецкой... – Здесь: Санкт-Петербурга, при возведении которого погибло по меньшей мере 30 000 человек.

...от нелепицы стрелецкой натряс в немецкие штаны. – Имеется ввиду бегство Петра из Москвы в Троицкий монастырь 7 августа 1689 г., вызванное слухами о готовящемся покушении на него стрельцов.

...морозную Элладу! – Миф о России как наследнице Эллады стал следствием крещения Руси по византийскому образцу. Поэтическому воображению Б. Чичибабина, по-видимому, импонировала мысль об эллинских истоках русской культуры (ср. стихотворение «Во мне проснулось сердце эллина...»).

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЕНИЯ В НАЧАЛЕ СЕМИДЕСЯТЫХ

Впервые: Лит. газета. 1990. 3 окт. С. 8. Опасения грядущего нашествия Китая на Запад было вызвано событиями так называемой «культурной революции» и агрессивностью тогдашнего китайского режима.

...ни Дантов и ни Гой. – Имеются в виду картины ужасов, изображенных в «Божественной комедии» Данте (1265–1321) и на полотнах испанского живописца Ф. Гойи (1746–1828).

...пророчество рязанца. – То есть А.И. Солженицына, который после реабилитации в 1966 г. жил и работал в Рязани.

Иероним Босх (ок. 1460–1516) – нидерландский живописец.

Петруша Верховенский – герой романа Ф. Достоевского «Бесы», по определению Н.А. Бердяева, «главный бес русской революции».

ВЕНОК НА МОГИЛУ ХУДОЖНИКА

Впервые: День поэзии. 1989. С. 42.

Филонов Павел Николаевич (1883–1941) – художник, один из лидеров русского авангарда первой половины XX в.; подвергался систематическим нападкам советской критики, поэтому Б. Чичибабин сближает его судьбу с участью других деятелей

искусства, попавших с ним «под один переплет», – А.П. Платоновым и Н.А. Заболоцким. Впервые увидев изданный в Польше альбом Филонова, Б. Чичибабин был потрясен его произведениями.

Дедал – легендарный древнегреческий художник, строитель, изобретатель, подвергавшийся преследованиям и изгнанный из Афин.

«ТЕБЕ, МОЯ РУСЬ, НЕ БОГУ, НЕ ЗВЕРЮ...»

Впервые: Лит. газета. 1988. 24 авг. С. 6. В последней строке в первоначальном варианте было: «*...щепоть Аввакумова в лоб мой стучит*».

Левитан Исаак Ильич (1860–1900) – художник, прославившийся любовным и лиричным воспроизведением на своих картинах русской природы.

Аввакум (1620 или 1621–1682) – писатель, протопоп, глава старообрядчества и идеолог раскола в Русской православной церкви. По царскому указу был сожжен в срубе.

ПЕЧАЛЬНАЯ БАЛЛАДА О ВЕЛИКОМ ГОРОДЕ НАД НЕВОЙ

Впервые: К89, с. 80 (в К89: не «*над Невой*», а «*на Неве*»). В тексте перечислены известные деятели культуры, жившие в Ленинграде: режиссер Н.П. *Акимов* (1901–1968), литературовед и прозаик Ю.Н. *Тынянов* (1894–1943), поэтесса О.Ф. *Берггольц* (1910–1975).

Ляснув – треснув, расколовшись (простонар.).

ЛЕШКЕ ПУГАЧЕВУ

Впервые: Волга. 1989. № 8. С. 8 (см. примеч. к «Сонетам к картинкам» и «Посошок на дорожку Леше Пугачеву»).

ЦЕРКОВЬ В КОЛОМЕНСКОМ

Впервые: Лит. газета. 1988. 24 авг. С. 6.

Церковь в Коломенском. – Церковь Вознесения в Коломенском – первая каменная шатровая церковь в России. В стихотворении звучит мотив Вознесения, явления духовной сути России.

...мы – как волхвы... – Намек на евангельский эпизод – приход волхвов к младенцу Иисусу.

Охвостье – здесь: окраина.

Как же ты мог, возвеличенный Петр, съехать отселева... – В конце XVII в. Петр I часто жил в Коломенском, на полях коломенской излучины Москвы-реки происходили организованные им так называемые «кожуховские маневры», в 1696 г. после взятия Азова он готовил здесь триумфальное вступление в Москву, но с основанием Петербурга потерял к нему интерес, отдавая предпочтение новым резиденциям на берегах Финского залива, в результате чего Коломенское утрачивает свое прежнее значение и превращается в заурядную усадьбу, выполняющую чисто хозяйственные функции.

Богу и Кесарю. – Аллюзия к словам Христа «Кесарю кесарево, а Богу Богово» (Матф. 22, 15–21).

Анна Святая – имеется в виду костел Св. Анны в Вильнюсе.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПОКРОВА НА НЕРЛИ

Впервые: Лит. газета. 1990. 3 окт. С. 8.

...царевна-скромница... – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы становится у Б. Чичибабина символом вечной женственности (ср. также образ белой Лебеди).

ДЕВОЧКА СУЗДАЛЬ

Впервые: К89, с. 94. Во время отпуска в мае 1980 г. Чичибабины посетили древнерусские города Владимир, Суздаль и их окрестности.

Пруст Марсель, *Джойс* Джеймс, *Кафка* Франц – классики литературы XX в.

ПСКОВ

Впервые: Дружба народов. 1989. № 6. С. 8.

В Печорах – Псково-Печерский монастырь на границе Псковской области и Эстонии.

Берендеевым осам. – Намек на мифическое царство берендеев, изображенное в пьесе А.Н. Островского «Снегурочка»; осы – снег в «Прологе» пьесы.

ЭКСКУРСИЯ В ЛИЦЕЙ

Впервые: К89, с. 101.

Кюхельбекер В.К. (1797–1846) – поэт, декабрист; *Яковлев* М.Л. (1798–1868) – сенатор и тайный советник; *Дельвиг* А.А. (1798–1831) – поэт. Лицейские товарищи Пушкина.

Брашна (мн. ч. от «брашно») – еда, пища (устар.).

...в хоре семисферном. – Имеется в виду учение Пифагора, принятое в астрологии, о гармонии (музыке) сфер (по числу известных тогда планет).

Черная речка – здесь: место последней дуэли Пушкина.

Давидова праща. – Согласно ветхозаветному преданию, Давид одолел Голиафа без меча, вооружась лишь пращей и камнем.

СТИХИ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Впервые: Дружба народов. 1988. № 4. С. 199.

Бражники – гуляки, пьяницы (устар.).

Зерцала – зеркала (старин.).

Тройного зачина. – Пушкин, Лермонтов и Гоголь, по Б. Чичибабину, играют роль магического зачина, пролога, открывающего «Повесть русской литературы».

ПУШКИН И ЛЕРМОНТОВ

Впервые в газ. Лен. зміна (Харків). 1988. С. 5.

Вермутов – анахронизм, так как напиток начали ввозить в Россию в конце XIX в.

Алчники – ненасытные, алчные люди (устар.).

Немотно – тихо, безмолвно (устар.).

ПУТЕШЕСТВИЕ К ГОГОЛЮ

Впервые: Огонек. 1987. № 36. С. 9. Стихотворение стало результатом поездки в Полтаву. Памятник Гоголю скульптора Андреева (в Москве) ныне находится во дворе дома Аксаковых, где скончался Гоголь.

Ворскла – приток Днепра.

...а уж потом смотрел из Рима... – Начиная с 1837 г. Гоголь проводил много времени в Риме, где была написана значительная часть поэмы «Мертвые души».

Капитолий – Капитолийский холм в Риме, одна из главных достопримечательностей города.

Вечера на хуторе возле Диканьки – первый сборник рассказов Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» в двух частях (1831–1832).

Медный всадник – здесь: символ государственной власти.

Пасечник – подзаголовок «Вечеров...»: «Повести, изданные Пасичником Рудым Паньком».

Ампир – архитектурный стиль.

На собачьей площадке. – Каламбур: московский двор, где находится ныне памятник Гоголю, очень близко расположен к Собачьей площадке, ныне уничтоженной при строительстве Нового Арбата.

Гефсиманская ночь – последняя ночь перед казнью, которую провел Иисус Христос с учениками в Гефсиманском саду.

«*Да минует меня эта жгучая чара*». – Парафраз слов Христа (Матф. 26, 42).

Ни жилец, ни мертвец. – Парафраз выражения «ни жив ни мертв».

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Впервые: Апрель. 1991. Вып. 4. С. 12. Б. Чичибабин считал Есенина большим поэтом, но относился к нему неоднозначно и не принимал «есенинщины» в поведении и творчестве.

Фиал – чаша, кубок. Слово из возвышенного лексикона включено в общий контекст иронически-уничижительной характеристики Есенина.

Ключи Марии – так назывался трактат Есенина; в примечании к нему поэт говорил, что на языке хлыстов Мария является обозначением души.

«О, ДАЙ НАМ БОГ ВНИМАТЕЛЬНЫХ БЕССОННИЦ...»

Впервые: Лит. обозрение. 1988. № 11. С. 51.

Бессонница – устойчивый концепт лирики Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама, к которым в этом стихотворении обращается Б. Чичибабин. Вместе с тем мотив бессонницы может быть рассмотрен в более широком контексте, начиная с Пушкина (см.: *Юхт В.* «Внимательные бессонницы» Бориса Чичибабина // Материалы Чичибабинских чтений. 1995–1999. Харьков, 1999. С. 78–85).

Мзда – награда, плата (устар.).

Благовест – колокольный звон перед началом церковной службы. Символ колокола исключительно важен для понимания Б. Чичибабиным роли и предназначения поэзии (см. примеч. к стихотворению «Колокол»).

Как хорошо, что есть на свете Чудо... – Б. Чичибабин вспоминает строки стихотворения М. Волошина, посвященного юной Цветаевой: «Ваша книга – это весть оттуда, / Утренняя благостная весть. / Я давно уж не приемлю чуда, / Но как сладко слышать: Чудо – есть» («К Вам душа так радостно влекома...»). Ср. также звучащий в тексте мотив благовеста – «благой вести».

СОНЕТ МАРИНЕ

Впервые: К89, с. 126. Стихотворение посвящено М. Цветаевой, одному из любимых поэтов Б. Чичибабина.

...с грозой перстов, притиснутых ко лбу... – Эта характерная цветаевская поза запечатлена не только на известном рисунке ее дочери, художницы А. Эфрон, но и – задолго до этого – в ее собственных стихах: «Но будешь ли ты – кто знает – / Смертельно виски сжимать, / Как их вот сейчас сжимает / Твоя молодая мать» («Ты будешь невинной, тонкой...»). В стихотворении также улавливаются аллюзии к цветаевскому циклу «Пригвождена».

Аксаков и Лесков – Цветаева называет их любимыми прозаиками в анкете 1926 г., присланной ей Пастернаком.

«ДО МОГИЛЫ АХМАТОВОЙ СЕРДЦЕМ ДОЙТИ НЕЛЕГКО...»

Впервые: Радуга. 1988. № 7. С. 47. Могила А. Ахматовой – в поселке Комарово под Петербургом. Чичибабины вместе со своим ленинградским другом Михаилом Копелиовичем заблудились по дороге от станции в Комарово, что отражено в стихотворении.

ПАМЯТИ А. ТВАРДОВСКОГО

Впервые: Дружба народов. 1988. № 4. С. 197. Б. Чичибабин не присутствовал на похоронах Твардовского и описал позорную церемонию по впечатлениям друзей и репортажам радио «Свобода». Стихотворение фигурировало при исключении Б. Чичибабина из Союза писателей. При первой публикации в строке «... молчит, дерьма набравши в рот?» слово «дерьма» заменили словом «воды».

Первых двух – Пушкина и Лермонтова.

Без журнала. – Власти вынудили Твардовского уйти с поста главного редактора журнала «Новый мир» (1970).

Куда пускали по талонам. – Б. Чичибабин имеет в виду позорный факт введения «билетов» на похороны Твардовского, из-за чего множество читателей не смогло с ним проститься.

ПАМЯТИ ДРУГА

Впервые: К89, с. 118. Первое стихотворение посвящено другу Б. Чичибабина писателю А.И. Шарову (1909–1984) и его жене А.М. Ливановой (1917–2001); второе посвящено памяти Шарова (вар. см. ССт., С. 562). См. также статью Б. Чичибабина «Несколько слов о писателе Шарове».

Итака – остров в Ионическом море, родина Одиссея.

По замети – в метель.

Испанского безумца – Дон Кихота Ламанческого.

В сказку быль – аллюзия на строку известной советской песни: «Чтоб сказку сделать былью».

ГАЛИЧУ

Впервые: Искусство кино. 1988. № 10. С. 89.

Галич (Гинзбург) Александр Аркадьевич (1918–1977) – драматург, поэт, бард, в 1974 г. был вынужден эмигрировать во Францию. Б. Чичибабин познакомился с ним в доме Шаровых осенью 1969 г. (см. *Карась-Чичибабина Л.* Ответим именем его... // Знамя. 2006. № 4).

Гундосый – гнусавый (простореч.).

Далечь – даль (укр.).

ПОСМЕРТНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ А.А. ГАЛИЧУ

Впервые: Искусство кино. 1988. № 10. С. 101. См. примеч. к стихотворению «Галичу». Выступая на вечере памяти Галича в 1988 г., Б. Чичибабин назвал его имя в одном ряду с именами Солженицына и Сахарова.

Одеснýю и ошýю – справа и слева.

...украл судьбу чужую – здесь: будучи благополучным советским писателем, Галич резко изменил свою судьбу, став автором и исполнителем «антисоветских» песен.

НА МОГИЛЕ ВОЛОШИНА

Впервые: К89, с. 129.

Кучук-Енишар – горный хребет вблизи Коктебеля, место захоронения Волошина.

Марина – Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – выдающаяся русская поэтесса.

Благословил на полет – Волошин высоко оценил первый сборник стихов Цветаевой «Вечерний альбом» (1910), что положило начало их дружбе.

Карадаг – горный массив между устьями Отузской и Коктебельской долины, обломок древнего вулкана, достопримечательность Коктебеля, упоминается в стихах Волошина.

Богатырь – как и многие современники, Б. Чичибабин ощущал в облике Волошина воплощение могучего русского духа.

Садко – герой былин новгородского цикла, услаждавший игрой на гуслях Водяного царя и благополучно возвратившийся из подводного царства.

ПАМЯТИ ГРИНА

Впервые: Смена. 1989. № 3. С. 18.

Бегущей по волнам и Алым парусам. – «Бегущая по волнам», «Алые паруса» – наиболее известные произведения А. Грина.

Невдалый – неудачливый (укр.).

Содом – один из ветхозаветных городов (второй – Гоморра), испепеленных Богом за развращенность их жителей; здесь: символ греховного мира.

Умевшему летать к чемушеньки грести. – Аллюзия к фразе из «Песни о соколе» Горького: «Рожденный ползать летать не может».

Фламандец – персонаж полотен фламандских живописцев, предающийся чревоугодию.

Антоша Чехонте – так подписывал ранние рассказы Чехов.

...враль, алкаш, хамло, проныра... – Обилие в тексте разговорной (также просторечной, грубой) оценочной лексики символизирует «иную сторону жизни», жестокую реальность, которой противостоит фантастический мир Грина.

Старый Крым – поселок близ Феодосии, в котором умер и похоронен Грин.

ПАУСТОВСКОМУ

Впервые: К89, с. 244. В июньском отпуске 1984 г. в Коктебеле Б. Чичибабин перечитывал книги Паустовского и Надсона.

...седого юношества хмель... – Как и ранее, Б. Чичибабин особенно ценит в любимых писателях дар «невзросления» (ср. образы Маршака, Пастернака и др.). В черновиках существует вар. стихотворения:

Не уподобившись волхвам,
не видя света из-за марева,
я опоздал с любовью к Вам
на полстолетия без малого.

Раскаяние жжет глаза,
что, пьян от реализма русского,
я так и не собрался за
благословением в Тарусу к Вам.

Теперь, когда уже Вас нет,
а я разборчивей кумекаю,
мне выпадает лишь во сне
Вам прочитать мою элегию.

О, как стыдилось Вас хамье
писательское, – ну, и что с того?
Ужо они возьмут свое,
когда не стало Паустовского.

Но, что ни год, от ваших чар
все чаще на душу, о Боже мой,
нисходит светлая печаль
и свежесть вести неопошленной.

По прозе Вашей разлита
все явственней и озареннее

и чудной речи красота,
и чуть не Моцарта гармония.

Что вам пригрезилось во сне
и что увидено – услышано,
то все останется во мне
и просветленно, и возвышенно.

С. СЛАВИЧУ

Впервые: Радуга. 1988. № 7. С. 46. Станислав Кононович Славич (1925–2013) – русский прозаик, входил в дружеский круг Б. Чичибабина, по состоянию здоровья переехал в Ялту.

ЗАЩИТА ПОЭТА

Впервые: Дружба народов. 1988. № 4. С. 197. Стихотворение написано после исключения Б. Чичибабина из Союза писателей.

Поэт – ...дурак. – Постоянный мотив лирики Б. Чичибабина, опирающийся на образ фольклорного дурня.

Басё Мацуо (1644–1694) – классик японской поэзии, основатель традиции хокку.

Беатриче – возлюбленная Данте; в «Божественной комедии» встречает героя в раю.

«БОЛЬНАЯ ЧЕРЕПАХА...»

Впервые: К89, с. 135.

...попавши к миру в сети... – Аллюзия к автоэпитафии Сковороды «Мир ловил меня, но не поймал».

Лють – здесь: злоба (укр.) (подробный анализ стихотворения см.: *Юхт В.* Скоморох или пророк? (Заметки об одном стихотворении Бориса Чичибабина) // Материалы Чичибабинских чтений. Харьков, 2002. С. 75–82).

«ДАЙ ВАМ БОГ С КОРНЕЙ ДО КРОН...»

Впервые: Знамя. 1989. № 5. С. 33. Поводом к написанию стихотворения послужил отъезд друзей в Израиль. Текст распространялся в списках и был предъявлен Б. Чичибабину при исключении из Союза писателей в 1973 г.

Саваоф – одно из имен Бога в иудаистической и христианской традициях.

Синай – гора, на которой Бог дал Моисею десять заповедей.

Голгофа – холм в окрестностях Иерусалима, где, по Евангелию, был распят Христос; символ мученичества и страданий.

«НЕ ВЕРЯ КРОВНОМУ ЗАВЕТУ...»

Впервые: К89, с. 141. Стихотворение написано «в пику» предыдущему; Б. Чичибабин очень переживал отъезд друзей за рубеж, хотя понимал, что для некоторых из них это было жизненно необходимо. После того как ему передали слова Ларисы Богораз «эта земля уже мертвая», Б. Чичибабин добавил 4-ю строфу.

«ОПЯТЬ Я В НЕХРИСТЯХ, ОПЯТЬ...»

Впервые: К89, с. 145. В те годы КГБ проводило регулярную «работу» среди сотрудников проектных и научных институтов. В числе имен «антисоветчиков» называли Б. Чичибабина.

Не ездок. – Намек на заключительный монолог Чацкого («Горе от ума» А.С. Грибоедова): «сюда я больше не ездок».

БЫЛИНА ПРО ЕРМАКА

Впервые: К89, с. 146.

Мошна – здесь: в переносном значении деньги, богатство.

Две медведицы – созвездия Большой и Малой Медведицы.

Семисвечья – семисвечники, древнееврейский символ божественного присутствия, пришествия благодати.

Князь Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) – сподвижник Ивана Грозного, военачальник, бежавший в 1564 г. в Литву от угрожавшей ему царской расправы, позднее – публицист, переводчик.

...трону, сыновнею кровью багриму – намек на убийство Иваном Грозным своего сына Ивана.

Льется русская кровь по великому Третьему Риму... – Историософская доктрина «Москва – Третий Рим» лежала в основе государственной идеологии Московского государства в XV–XVII вв. и подразумевала исключительную преемственность Москвы по отношению к истинному христианскому Риму (вопреки «отпавшему» Риму католическому).

Садыба – усадьба (укр.).

Малютину дыбу – см. примеч. к стихотворению «Живу на даче. Жизнь чудна...».

...Добыта Сибирь, – и уже не уйти никуда. – Здесь отразились размышления Б. Чичибабина о невозможности бегства, отъезда за границу.

«МАРЛЕНОЧКА, НЕ НАДО ПЛАКАТЬ...»

Впервые: К89, с. 148. Во время загородной прогулки между Б. Чичибабиным и Марленой Рахлиной (см. примеч. к стихотворению «Твои глаза светлей и тише...») произошла ссора. Чувствуя свою вину, Чичибабин посвятил давнему другу стихотворение.

«НЕ ОТ ГОРЯ И НЕ ОТ СЧАСТЬЯ...»

Впервые: К89, с. 150. Стихотворение было написано к 50-летию (9 января 1973 г.).

Бодисатва (Бодхисатва) – «буддистское божество», ведущее людей по пути внутреннего совершенствования.

«О, КОГДА Ж МЫ С ТОБОЮ ПРИСТАНЕМ...»

Впервые: Радуга. 1989. № 6. С. 25.

Лилит – у древних иудеев женский демон ночи (ср. «лайла» – ночь); согласно одному из преданий Лилит была первой женой Адама.

Царевна Ворона – в ряде мифов ворона скрывает в себе превращенную женщину.

«ДЕРЕВЬЯ БЕДНЫЕ, ЗИМОЮ ЧЕРНО-ГОЛОЙ...»

Впервые: Моск. комсомолец. 1989. № 55.

Деревья – сквозной образ лирики Б. Чичибабина.

ХЕРСОНЕС

Впервые: Дружба народов. 1988. № 4. С. 198. Дата уточнена. В мае 1975 г. Чичибабины посетили Бахчисарай, Чуфут-Кале и Херсонес. Стихотворение дышит тоской по культуре Древней Греции, желанием воскресить тени старого Херсонеса («*Да будут нам сниться воскресные сны...*»).

Зевес (Зевс) – верховный бог древнегреческого пантеона.

Троянский цикл – цикл древнегреческих мифов о завоевании Трои.

...той, что из пены возникла. – Богиня любви и красоты Афродита, согласно мифу, родилась из морской пены.

«ЕЩЕ НЕДАВНО ТЫ СО МНОЙ...»

Впервые: К89, с. 85. В первоначальном вар. в пятой строфе вместо «... сказать, что все мы мертвецы» было «... сказать, что чехи молодцы» (реакция на позорный ввод советских войск в Чехословакию); в шестой строфе первые три строки читались: «Как не стыжусь текущих дней / в них русским быть еще стыдней, / стога, березоньки – ату их...».

Карадаг – см. примеч. к стихотворению «На могиле Волошина».

СУДАКСКИЕ ЭЛЕГИИ

1. «КОГДА МЫ УСТАНЕМ ОТ ПЫЛИ И ПРОЗЫ...»

Алчба – сильное желание, жажда (книжн., устар.); в лирике Б. Чичибабина часто синоним стяжательства.

Оплот генуэзцев – Генуэзская крепость (конец XIV в.), достопримечательность Судака.

2. «НАСТОЙ НА СНАХ В ПУСТЫННОМ СУДАКЕ...»

Впервые (с искажением): Новый мир. 1987. № 10. С. 122.

Перчем – гора в окрестностях Судака.

Георгий – здесь: гора Ай-Георгий вблизи Судака, где в средние века располагался монастырь Святого Георгия.

Паныч – Барчук (укр.).

3. «ВОСТОЧНИЙ КРЫМ , ЧЬЯ СИНЬ СЕДА...»

Сурож – название Судака в древнерусских документах XIV–XV вв.

Сокол-гора – одна из гор в окрестностях Судака.

Голицын Лев Сергеевич (1845–1915) – князь; в 1878 г. купил имение Новый Свет, где основал завод шампанских вин.

Небренный – неологизм.

ЧУФУТ-КАЛЕ ПО-ТАТАРСКИ ЗНАЧИТ «ИУДЕЙСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Впервые: К89, с. 157. См. примеч. к стихотворению «Херсонес». Посещение Чичибабиными Чуфут-Кале совпало с празднованием 1 Мая: в крепости было безлюдно, тихо и ничто не мешало вслушиваться в историю и судьбу этих мест.

И Пушкин сам... – Пушкин посетил Бахчисарай 6 сентября 1820 г.; его впечатления отражены в поэме «Бахчисарайский фонтан» и стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца».

Кто в наши дни мечтатель и философ, тот иудей. – Ср. преобразование еврейской темы у Цветаевой: «В сем христианнейшем из миров / Поэты – жиды» («Поэма Конца»).

«ПРЕБЫВАЮ БЕЗЫМЯННЫМ...»

Впервые: К89, с. 159.

Межиров Александр Петрович (1923–2009) – советский поэт (см. *Карась-Чичибабина Л.* Называй кем хочешь, Мастер... // Знамя. 2011. № 7).

Парнас – в древнегреческой мифологии место обитания Аполлона и муз; здесь – официальная советская литература.

Тайны ремесла – словосочетание вошло в обиход после публикации (в кн. «Бег времени», 1965) одноименного цикла А. Ахматовой.

Пересыльный город Горький. – Нижний Новгород издревле служил пересыльным пунктом из Москвы в Сибирь – по так называемому Владимирскому тракту отправляли ссыльных и каторжных, среди которых были А. Радищев, декабристы, тысячи деятелей советской культуры; Б. Чичибабин также проследовал по этому пути (ср. «Я ждал этапа в пересыльном Горьком...» в стихотворении «Воспоминание о Волге»). В стихотворении слышны отголоски лирики Мандельштама (ср. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки...», «Мы с тобой на кухне посидим...»).

«СБЫЛАСЬ БЕДА ПРОРОЧЕСКИХ УГРОЗ...»

Впервые: Юность. 1989. № 4. С. 3.

Диккенс и Твен упомянуты здесь как авторы, популярные у детей, их произведения отвечают «мальчишеским мечтам».

«НЕХОРОШО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ...»

Впервые: Москва. 1988. № 10. С. 5. Об этом стихотворении см. сопроводительную статью, с. 454–456.

ПОСОШОК НА ДОРОЖКУ ЛЕШЕ ПУГАЧЕВУ

Впервые: К89, с. 165. Пугачев Леонид Сергеевич (1928–1987) – музыкант, актер, художник. В 1954 г. в Харькове окончил музыкальное училище, а в 1959-м театральный институт, актерский факультет. Работал в Московском театре эстрады, в харьковских театрах: украинском драматическом им. Шевченко и театре музыкальной комедии. В середине 1950-х знакомится с Б. Чичибабиным и становится душой чичибабинского круга. Сочинял музыку на стихи Б. Чичибабина и других поэтов и исполнял их под гитару, выразительно и артистично. На рисунки Пугачева Б. Чичибабин написал сонеты (см. «Сонеты к картинкам»). Подаренная Б. Чичибабину икона св. Бориса и Глеба, написанная Пугачевым, послужила поводом к созданию стихотворения «Ночью черниговской с гор араратских». В 1978 г. переводится в драматический театр в Петропавловске на Камчатке, чем и было вызвано создание этого стихотворения. В 1986 г. на некоторое время возвращается в Харьков, а в 1987 г. уезжает работать в Карагандинский драматический театр. Вскоре тяжело заболел и скончался в Караганде в 1987 г.; похоронен в Харькове.

Преломлю... кулич. – Пасхальный сюжет становится ключом к описанию Б. Чичибабиным темы прощания (ср. «воистину (воскрес)», «тебе не пасть во тлен», «и здравствуй, и прощай» и др.).

Еще немного побредем... – аллюзия к диалогу протопопа Аввакума с женой: «– Долго ли муки сия, протопоп, будет? – Марковна, до самыя до смерти. – Добро, Петрович, ино еще побредем» («Житие протопопа Аввакума»).

Языческий обряд – здесь: старая русская традиция выпивать последнюю рюмку на дорожку.

Напишут вилы по воде. – Ср. фразеологизм: «вилами по воде писано».

Молочай – травянистое растение с ядовитым белым млечным соком.

ОДА ВОРОБЬЮ

Впервые: Лит. газета. 1988. 24 авг. С. 6. Одно из любимых стихотворений Б. Чичибабина. Воробей – постоянный образ его лирики, alter ego лирического героя; символ простоты, естественности и своеобразной независимости (примечательно, что воробей является также христианским символом скромности и незначительности).

ЧЕРНИГОВ

Впервые: Новый мир. 1988. № 10. С. 121 (с искажениями: отсутствуют 6- и 7-я строфы). Оригинальное прочтение этого стихотворения, уводящего в «утопическое измерение прошлого», предложено И. Лосиевским (*Лосиевский И.* Встреча с Петраркой. Харьков, 2005. С. 92–110). Исследователь характеризует взятое из «доброго средневековья» слово *лад* как один из ключевых чичибабинских словообразов,

а здесь еще и центральный символ, распространяющийся на весь художественный континуум стихотворения.

Воробьи – см. примеч. к стихотворению «Ода воробью».

Нет еще московского Ивана... – здесь: Ивана Грозного.

Батый (ум. 1255) – хан Золотой Орды, завоеватель Древней Руси.

Опричнины, канцелярии – видение последующей русской истории как череды репрессивных режимов сближает Б. Чичибабина с Волошиным (ср. в стихотворении «Северовосток»: «Ныне ль, даве ль – все одно и то же: / Волчьи морды, машкеры и рожи, / Спертый дух и одичалый мозг, / Сыск и кухня тайных канцелярий, / пьяный гик осатанелых тварей, / Жгучий свист шпицрутенов и розг...»).

Ерусалим, Цареград – старорусские названия Иерусалима и Константинополя.

Калики – старинное название для странников-слепцов, поющих духовные стихи.

Братний – здесь: братский (укр.).

Лепота – красота, великолепие.

«НОЧЬЮ ЧЕРНИГОВСКОЙ С ГОР АРАРАТСКИХ...»

Впервые: Дружба народов. 1988. № 4. С. 201. Л. Пугачев (в тексте – *Лёха*) написал для Б. Чичибабина икону св. Бориса и Глеба – этот подарок вдохновил его на создание стихотворения. В архиве поэта сохранился черновой вариант стихотворения с несколькими не вошедшими строфами, в одной из которых прочитывается прямая связь с иконой: «Тайна засады и ярость погони / дышут во тьме горячо и свирепо. / От беззаконий куда ж на *иконе* / скачут лошадки Бориса и Глеба?».

Борис и *Глеб* – первые канонизированные святые Древней Руси; младшие сыновья кн. Владимира Святославича, убитые сводным братом Святополком.

Арарат – в Библии гора, к которой причалил ковчег Ноя по окончании Потопа.

Синай – см. примеч. к стихотворению «Дай вам Бог с корней до крон...».

МОЦАРТ

Впервые: Радуга. 1988. № 7. С. 4. Написано под впечатлением поездки в Одессу в сентябре 1976 г.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) – австрийский композитор. Б. Чичибабин не раз говорил о божественном даре Пушкина и Моцарта, выделяющем их среди всех великих художников.

Шматок – кусок (укр.).

«С УКРАИНОЙ В КРОВИ Я ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ УКРАИНЫ...»

Впервые: Радуга. 1988. № 7. С. 43.

Одуванчик мне брат – ср. стихотворение «Ода одуванчику».

Древокрылое – неологизм.

...от источника Сковороды. – Сковорода Григорий Саввич (1722–1794) – украинский философ, поэт, педагог. Этическое учение Г.С. Сковороды повлияло на мировоззрение Б. Чичибабина, стремившегося сохранить независимость от притязаний «мира».

Кобзарь – здесь: Т.Г. Шевченко.

Тополь, степь – устойчивые приметы и символы украинского пейзажа; вертикаль и горизонталь украинского мира; см. также примеч. к стихотворению «Ода тополям».

КИЕВ

Впервые: Радуга. 1988. № 7. С. 44.

Юрий Вадимович Шанин (1930–2005) – филолог-классик, друг Б. Чичибабина (см. П, с. 312–346); был гидом Чичибабиных в Киеве в 1972 г.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, сооруженные при Ярославе Мудром.

...от врубелевских фресок... – имеются в виду фрески Врубеля в Кирилловской церкви.

Батыи – см. примеч. к стихотворению «Чернигов». *М.А. Булгаков* с 1906-го по 1919 г. жил в Киеве.

Городецкий Лешек (1863–1930) – киевский архитектор, автор знаменитого «Дома с химерами». Строфы 9–11, очевидно, навеяны общением с Ю.В. Шаниным.

НА СМЕРТЬ ЗНАКОМОЙ СОБАЧКИ ПИФЫ

Пифой звали собачку Ю. Шанина (см. примеч. к стихотворению «Киев»).

ФЕЛИКСУ КРИВИНУ

В сентябре 1971 г. Чичибабины гостили у писателя Ф. Кривина в Ужгороде; в последующие годы между ними сохранялись дружеские отношения (см. эссе Кривина «Друзья мои, прекрасен наш союз!», ВСВ, с. 195–207 и П, с. 248–262).

Мукачев – Мукачево, город в Закарпатской области Украины.

Пимен – здесь: монах, затворник (по имени персонажа пушкинской трагедии «Борис Годунов»).

ЛЬВОВ

Впервые: К89, с. 88. По приглашению харьковского приятеля Чичибабины в 1973 г. провели неделю во Львове. Б. Чичибабин восхищался красотой города, но чувствовал себя чужестранцем.

Мицкевич Адам (1798–1855) – польский поэт, друг А.С. Пушкина; памятник ему во Львове был открыт в 1904 г.

Один похожий... – Б. Чичибабин имеет в виду Санкт-Петербург.

КИШИНЕВСКАЯ БАЛЛАДА

Впервые: Дружба народов. 1988. № 4. С. 200. В сентябре 1976 г. Чичибабины, гостившие в Одессе, побывали в Кишиневе.

Первобрага – неологизм.

...повинный Овидий... – Древнеримский поэт Овидий (43 до н. э. – ок. 18 н. э.) в 8 г. был сослан императором Августом в Томы (ныне Констанца, Румыния); традиция соотнесения этого сюжета с Кишиневом восходит к Пушкину, уподоблявшему свою кишиневскую ссылку изгнанию Овидия.

Мамалыжник – прозвище молдаван, иногда румын (разг., от мамалыги – национального блюда из кукурузной муки).

Штефан (Стефан) *Великий* (ум. 1504) – господарь Молдавии; союзник России, выдавший дочь за сына Ивана III.

Воробышки – см. примеч. к стихотворению «Ода воробью».

Косматый искус – намек на легенду о влюбленности Пушкина в цыганку.

Земфира – героиня пушкинской поэмы «Цыганы».

«НА ПАВЛОВОМ ПОЛЕ, НАТАША, НА ПАВЛОВОМ ПОЛЕ...»

Наталья Ивановна Смирская – друг Б. Чичибабина. Работая в библиотечном коллекторе, могла радовать его книжными новинками.

Павлово поле – район в Харькове; граничит с лесным массивом, где часто гуляли Чичибабины.

...молясь о покое и воле... – аллюзия к строке Пушкина «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» («Пора, мой друг, пора...»).

Бах – см. примеч. к стихотворению «Бах в Домском соборе».

Бёлль Генрих (1917–1985) – немецкий писатель, на момент написания стихотворения последний лауреат Нобелевской премии по литературе (1972).

Заради – ради, для (укр.).

ДУМА НА ПОХМЕЛЬЕ

Впервые: К89, с. 179.

...пока не в косных буднях, а в Вечности живешь. – В этих строках слышен отзвук стихотворения Пастернака «Идет без проволочек...».

«Я ПЛАЧУ О ДУШЕ, И СТЫДНО МНЕ, И ГОЛО...»

Впервые: Горизонт. 1989. № 7. С. 38. Стихотворение посвящено писателю, участнику Отечественной войны, руководителю украинской правозащитной группы Мыколе Руденко. Б. Чичибабин написал его, узнав об аресте Мыколы, а жена Руденко передала текст адресату во время одного из тюремных свиданий. Как вспоминал Руденко, стихотворение очень поддержало его. В 1997 г. Руденко написал о Б. Чичибабине мемуарный этюд «Слово о друге» (ВСП, с. 211–212).

Голый король – аллюзия к сказке Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» (согласно сюжету сказки, лишь мальчик решился крикнуть правду об одеянии властителя).

Ванька-Каин – знаменитый русский разбойник XVIII в.; здесь: воплощение темной стороны русского духа, символ разложения русского народа.

НА ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ Л.Е. ПИНСКОГО

Впервые: Знамя. 1989. № 5. С. 4.

Леонид Ефимович Пинский (1906–1981) – известный литературовед и педагог, сыграл важную роль в поэтической судьбе Б. Чичибабина (см. П., с. 190–213). Приезжая в Москву, Чичибабины останавливались в доме Пинского, где знакомились с новинками самиздата и «Хрониками текущих событий» – крамольными документами того времени. (Кое-что удавалось привозить в Харьков.) Стихотворение написано после получения известия о смерти Пинского.

...у него в гостях Шекспир... – Одна из лучших книг Пинского посвящена Шекспиру («Шекспир. Основы драматургии» (1971)).

...из чернот лесоповала... – В 1951–1956 гг. Пинский отбывал срок в лагере. Недавно увидели свет его лагерные тетради, ставшие ярким документом эпохи. (*Пинский Л.Е.* Мнимы. СПб., 2007).

Младенец, мальчишка... – Б. Чичибабин всегда ценил в друзьях черты детскости (ср. образы Маршака, Пастернака и др.).

...это он меня нашел и пустил в перепечатку. – Под редакцией Л.Е. Пинского в 1972 г. вышел в Москве самиздатовский сборник Б. Чичибабина, принесший поэту известность в литературных кругах.

«Я НЕ ЗНАЮ, ПЛЕННИК И УРОД...»

Впервые: К89, с. 235. Дата исправлена с 1980-го на 1985-й по автографу Б. Чичибабина в архиве Михаила Копелиовича. (Из письма М. К.: «...у меня есть автограф, где этот текст имеет название, и оно выведено красными чернилами: "9 января 1985 года"».) Стихотворение написано в жанре исповеди; в последней строке вместо традиционного отпущения грехов герой просит у Бога смерти, «отпущения на волю».

«НЕ ГОВОРИТЕ РУССКОМУ ПРО РУСЬ...»

Впервые: К89, с. 184. Стихотворение написано под впечатлением рассказа о погромном диспуте в московском СП, на котором звучали антисемитские заявления.

Пророк в одноименном стихотворении Пушкина традиционно воспринимается как образ поэта.

«Спас» Рублева – знаменитый образ Спасителя кисти А. Рублева, фрагмент иконы из Деисусного, так называемого Звенигородского чина (1410-е годы).

Китеж – древний город; по народному поверью, ушел под землю во время нашествия Батыя; на его месте образовалось Святое озеро.

Город Глупов – символический образ России в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина.

«КАК СТРАШНО В СУББОТУ ХОДИТЬ НА РАБОТУ...»

Впервые: Сельская молодежь. 1988. № 2. С. 29. Работая в харьковском трамвайно-троллейбусном управлении, Б. Чичибабину иногда приходилось принимать участие в субботниках: уборке территории, в проверке билетов в городском транспорте – некоторые харьковчане хранят надорванный им билет.

Суббота – в Библии (особенно в Ветхом Завете) священный день, данный человеку для отдыха и молитвы.

«МНЕ СНИТСЯ ГРУСТИ НЕЗЕМНОЙ...»

Впервые: Новый мир. 1989. № 7. С. 83. Придя на похороны сотрудника, Б. Чичибабин был потрясен тем, как упростился обряд похорон; тяжелое впечатление совпало с душевными переживаниями.

...тоска вселенская... – одно из ключевых понятий романтической литературы (ср. нем. Sehnsucht).

Алчба – см. примеч. к стихотворению «Судакские элегии».

«Я ПОЧУЯЛ БЕДУ И ПРОСНУЛСЯ ОТ ГОРЯ И СМУТЫ...»

Впервые: Зона. 1990. С. 438. Одно из программных стихотворений Б. Чичибабина, создавалось в одно время с предыдущим как попытка выхода из кризиса. (См.: *Казарин В., Остапенко И.* Опыты комментария («больше тысячу лет, как не Бог нам диктует слова») // Вестник Междунар. крымских чтений Б.А. Чичибабина. Вып. 7. Симферополь: Крымский архив, 2011. С. 32–35.)

Бах – см. примеч. к стихотворению «Бах в Домском соборе».

...через терньи... – Начало знаменитого афоризма Сенеки «Через тернии к звездам».

«ПОКАМЕСТ ЕСТЬ ОХОТА...»

Впервые: Новый мир. 1987. № 10. С. 123. Стихотворение стало популярным в перестроечное время, хотя было написано задолго до перестройки, и именно тогда, во времена так называемого застоя, заключенные в нем призывы были особенно актуальны.

«БЛАГОДАРСТВУЮ, ДРУГИ МОИ...»

Впервые: К89, с. 192. На Павловом поле (см прим. к стихотворению «На Павловом поле, Наташа...») жили многие друзья Б. Чичибабина – он любовно окрестил их «павлопольской бражкой». Воспевая дружбу, поэт ориентируется на традицию, заложенную в лирике Пушкина.

...о святом нетерпенье. – Намек на роман Ю. Трифонова «Нетерпение» (1973) о народовольцах.

«РЕДКО ВИДИМСЯ МЫ, ЛАДЕНЗОНЫ...»

Впервые: МШ, с. 196. Борис и Алла Ладензоны – харьковские друзья Б. Чичибабина. Ладензон Борис Яковлевич – любимый собеседник Б. Чичибабина – высокопрофессиональный инженер-гидравлик, изобретатель, человек обширных знаний в области литературы, философии, языков. Он высоко ценил поэзию Чичибабина и разделял многие его взгляды. Являясь обладателем магнитофона «Яуза», первый в

конце 1960-х записал стихи Б. Чичибабина в авторском исполнении и сохранил запись. Будучи большим поклонником песен Галича, приобщил к ним Б. Чичибабина. Впоследствии, когда Б. Чичибабин подружился с Галичем, в июне 1970 г., Ладензон приехал в Москву, чтобы лично познакомиться с любимым поэтом-бардом и записать на магнитофон его песни из первых уст. Через Ладензона Б. Чичибабин сблизился с кругом харьковских диссидентов: Г. Алтуняном, В. Недоборой, Д. Лифшицем, А. Левиным (они учились с Ладензоном в одном классе; узнав об аресте друзей, он стал помогать их семьям). Б. Чичибабин не всегда разделял взгляды диссидентов: его единомышленником оставался лишь Борис Ладензон. После смерти поэта, тяжело переживая утрату и будучи не очень здоровым человеком, Ладензон с женой в 1997 г. уехал в Израиль.

Робинзоны – по имени героя романа Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».

Тверезы – трезвы (укр).

НА ЛЫЖАХ

Впервые (без последней строфы): Огонек. 1988. № 36. С. 21. Стихотворение посвящено Александру Львовичу Черняку – другу поэта, талантливому инженеру. Их знакомство состоялось в начале 1970-х благодаря косвенному участию А. Галича. Ленинградский приятель Черняка, друживший с Галичем, узнал от него о харьковском поэте Чичибабине и попросил устроить встречу с ним. Просьба послужила поводом для знакомства с Б. Чичибабиным, после чего Александр естественно вписался в круг друзей поэта. Не было бы стихотворения «Путешествие к Гоголю», если бы не поездка с Черняками в Полтаву на их машине. А.Черняк был надежной опорой семьи Чичибабиных. С 1996 г. живет в Германии.

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий писатель и философ, автор идеи сверхчеловека.

ЗИНЕ МИРКИНОЙ

Впервые: К89, с. 194. Посвящено З.А. Миркиной, поэту и мыслителю, другу Б. Чичибабина (см. «Мысли о главном» и П, с. 17–187).

ЭЛЕГИЯ ФЕВРАЛЬСКОГО СНЕГА

Впервые: Огонек. 1988. № 36. С. 21. В 1977 г. бесснежный январь сменился снежным февралем; Б. Чичибабин не раз обращался к снегу как символу просветления (ср. в интервью с О. Галицких: «...Эта первозданная белизна... Я воспринимаю ее как чудо, как какое-то воплощение неба на земле. А ведь это всего-навсего замороженная вода...» РиП, с. 226).

Не куем, не сеем, и не пашем... – Была широко известна песня В. И Лебедева-Кумача и И.О. Дунаевского из кинофильма «Богатая невеста» («Марш трактористов», припев: «Мы с чудесным конем / все поля обойдем. / Соберем и посеем и вспашем...»). Параллельно существовала хулиганская каламбурная пародия – «Мы не сеем, мы не пашем...», в которой текст марша неприлично и остроумно травестировался. Б. Чичибабин явно имел в виду и то и другое.

Утренняя Мария – намек на греческую богиню Афродиту.

Саша Верник – Верник Александр Леонидович, поэт, харьковчанин. В юности посещал литературную студию, которой руководил Б. Чичибабин. Учился в Харьковском университете на филологическом факультете. Автор трех сборников стихов. (На обложке сборника «Сад над бездной» написал: «воспитывался в студии Бориса Чичибабина».) В 1978 г. А. Верник с семьей эмигрировал в Израиль. Б. Чичибабин долго не мог примириться с его отъездом, как вообще с отъездом близких ему друзей. Постепенно между ними наладилась переписка (см. П, с. 402–421), а когда открылись границы в 1991 г. А. Верник приехал в Харьков. Состоялся его творческий вечер, который вел Б. Чичибабин. В сентябре 1992 г. Чичибабины впервые в составе украинской делегации побывали в Израиле. А. Верник устраивал выступления Б. Чичибабина в Иерусалиме, Тель-Авиве, на русском радио, а также дружеские застолья, собирая на них харьковчан, знавших и любивших поэта. Б. Чичибабин еще раз в составе правозащитной делегации в октябре 1994 года посетил Израиль. Теперь можно сказать, что это была прощальная поездка: через два месяца он ушел из жизни. А. Верник остался верным памяти Б. Чичибабина и поддерживает дружеские отношения с Лилей Карась-Чичибабиной.

ЭЛЕГИЯ БЕЛОГО ОЗЕРА

Впервые: К89, с. 200. Под Харьковом вблизи русла реки Северский Донец расположено живописное Белое озеро.

...школа Корчака... – Корчак Я., наст. имя Генрих Гольдшмит – польский писатель, педагог и врач, директор «Дома сирот»; погиб в 1942 г. со своими воспитанниками в газовой камере концлагеря Треблинка.

Листобой – сильный северо-восточный осенний ветер, срывающий листья с деревьев (устар., фолькл.-поэт.).

«ЗЕЛЕНОЙ ПАЛАТКОЙ...»

Впервые: Радуга. 1989. № 6. С. 26. Выходные дни Чичибабины старались проводить на природе, иногда выезжали из города «с ночевкой».

...поденем. – Денем (простонар., возможно, от укр. *подiти* – деть). В стихотворении слышны переклички с циклом Цветаевой «Деревья» (ср. «Деревья! К вам иду! Спастись / От рева рыночного! / Вашими вымахами ввысь / Как сердце выдышано!..» («Когда обидой опилась...»); «Что в вашем веяньи? / Но знаю – лечите / Обиду Времени – / Прохладой Вечности...» («Каким наитием...»)). О теме деревьев у Б. Чичибабина см. также примеч. к стихотворению «Деревья бедные, зимою черноголой...».

«МЕЖДУ ПЕЧАЛЬЮ И НИЧЕМ...»

Впервые: Знамя. 1989. № 5. С. 31. Одно из программных стихотворений поэта. Основано на аллюзиях к Новому Завету, где Христос призывает за собой немногих, готовых пожертвовать жизнью во имя добра, – в Нагорной проповеди Иисус назы-

вает их «солью земли» и «светом мира» (Мф. 5,13, 14). По Б. Чичибабину, истинные поэты – всегда ревнители добра (см. стихотворение «Искусство поэзии»).

ОДА ТОПОЛЯМ

Впервые: Юность. 1990. № 1. С. 3.

Тополь – сквозной образ лирики Б. Чичибабина. Широко распространенный на Украине, он воспевается в украинском фольклоре за стройность и прямоту (характерно сравнение девушки с тополем). У Б. Чичибабина тополь выступает не только символом Украины, но и вариантом мифологического Мирового Древа.

Жертвенник Ван Гога. – Голландский художник Винсент Ван Гог как никто постиг мистику устремленных ввысь деревьев (ср. «Аллею тополей в Ньюэнене» и др. работы, в частности многочисленные изображения кипарисов, которые на полотнах Ван Гога напоминают пирамидальные тополя).

Нарцисс – в греч. мифологии самовлюбленный юноша, сын речного бога.

Вишну – в индуизме Бог-созерцатель, пребывающий в нирване; изображается с улыбкой.

ЭЛЕГИЯ О СТАРОМ ДИВАНЕ

Впервые: Сельская молодежь. 1988. № 2. С. 30. Б. Чичибабин не любил ничего менять ни в доме, ни в вещах, ни в привычках. Ему было даже трудно оставить конторскую нелюбимую работу. В этом сказывается его традиционализм, любовь к установившемуся.

...стенам... рухнуть. – Намек на библейский сюжет о падении стен Иерихона.

...за вычетом Бога и дурня... – Здесь: дурень тот, кто не печется о земном благополучии, фольклорный дурак, в своей кротости угодный Богу.

«КУДА МЫ? КЕМ ВЕДОМЫ? И В ХАРТИЯХ – ТРУХА...»

Впервые: К89, с. 211.

Содомы – см. примеч. к стихотворению «Памяти Грина».

Адамов грех. – В Библии грехопадение Адама и Евы, отдалившее человека от Бога.

Один противу всех. – Ср. автохарактеристику Цветаевой «Одна из всех – за всех – противу всех!» (стихотворение «Роландов рог»).

Блазнится – мерещится, мечтается (устар.).

Нехоть. – См. примеч. к циклу «Судакские элегии».

...сексэнтээрных лет... – неологизм (лет сексуальной и научно-технической революции).

Тополи – см. примеч. к стихотворению «Ода тополям» (окончание «и» здесь – устар. лит. норма; ср.: учители/учителя, соболи/соболя).

Басё Мацуо – см. примеч. к стихотворению «Защита поэта».

«Я НА ЗЕМЛЮ УПАЛ С НЕВЕДОМОЙ ЗВЕЗДЫ...»

Впервые: Сельская молодежь. 1988. № 2. С. 29. Программное стихотворение Б. Чичибабина, с конца 1970-х годов все сильнее ощущавшего обреченность поэта на метафизическое одиночество.

Паскаль Блез (1623–1662) – французский ученый, писатель, автор знаменитых «Мыслей».

Бах – см. примеч. к стихотворению «Бах в Домском соборе».

9 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА

Впервые: К89, с. 213. В разные годы Б. Чичибабин написал несколько стихотворений по случаю своего дня рождения. Обычно празднование проходило шумно и сопровождалось жаркими дискуссиями; сам хозяин был горяч и мог невзначай обидеть кого-то из друзей.

Марлена. – См. примеч. к стихотворению «Твои глаза светлей и тише...».

Генчик – Алтунян Генрих Ованесович (1933–2005), харьковчанин, военный радиоинженер, майор ВВС, диссидент, большой поклонник стихов Б. Чичибабина. В 1968 г. за связь с участниками диссидентского движения П.И. Якиром и генералом П.Г. Григоренко уволен из армии и исключен из КПСС. Свыше десяти лет провел в тюрьмах и лагерях. Б. Чичибабин познакомился с Г. Алтуняном в 1972 г. (см. примеч. к стихотворению «Редко видимся мы, Ладензоны...»), симпатизировал ему и посвятил несколько стихотворений. После освобождения в 1987 г. бывший политзаключенный стал народным депутатом Верховной Рады Украины (1989–1994). В последние годы жизни Б. Чичибабина их взгляды на политическую ситуацию в Украине резко разошлись (см. стихотворение «Современные ямбы»).

Шмеркина Инна – Шмеркина Фаина Марковна, харьковчанка, подруга Марлены Рахлиной, поклонница стихов Б. Чичибабина. Музыкально одаренная, выступала с оригинальными программами песен и романсов на стихи М. Цветаевой, М. Рахлиной и многих др. поэтов. С 1994 г. живет в Израиле.

...в родимых ламанчах... – здесь: в родимых местах; от провинции Ла-Манча, родины Дон Кихота.

Игруч, отыгрист – неологизмы.

ПРИЗНАНИЕ

Впервые: Новый мир. 1989. № 7. С. 84. О состоянии Б. Чичибабина в этот период см. примеч. к стихотворению «Я на землю упал с неведомой звезды».

Шолом-Алейхем (наст. имя Соломон Рабинович, 1859–1916) – еврейский писатель, родившийся в России и покинувший ее после погромов 1905 г.

И все мне снится сон... – Мотив «сна во сне» восходит к монологу Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос...»: «Это ли не цель / Желанная? Скончаться. Сном забыться. / Уснуть. И видеть сны? Вот и ответ. / Какие сны в том смертном сне приснятся, / Когда покров земного чувства снят?» (пер. Б. Пастернака) – ср. далее по тексту Б. Чичибабина: «Пока я вижу сны, еще я добрый Гамлет...».

...жизнь у нас на лжи... – Перекличка с программной статьей Солженицына «Жить не по лжи» (1974), важным образцом публицистики тех лет.

О суете сует. – См. примеч. к стихотворению «Не льну к трудам, не состою при школах...»

9 ЯНВАРЯ 1983 ГОДА

Впервые: К89, с. 222. В день своего рождения Б. Чичибабин с чувством вины вспоминает находящегося «за проволокой колючей» Генриха Алтуняна и незабываемую Армению.

Кемари – от просторечного «кимарить» – неглубоко спать.

Будда Сиддхарта Гаутама (6-й в. до н. э.) – основатель буддизма; здесь, возможно, любой просветленный.

Барашек с петушком. – Животные, традиционно используемые для обряда жертвоприношения, существующего и поныне.

Эчмиадзин – религиозный и культурный центр Армении; в городе находится резиденция католикоса.

Нести в себе вину, а не обиду. – Эту мысль Б. Чичибабин прочел у Бердяева (см. примеч. к стихотворению «Ежевечерне я в своей молитве...»).

Комитас. – См. примеч. к стихотворению «Псалом Армении».

Севан – высокогорное озеро в Армении.

ПСАЛОМ АРМЕНИИ

Впервые: К89, с. 225. В сентябре 1981 г. Чичибабины совершили путешествие в Армению, которую поэт воспринял как свою духовную родину (см. эссе «В сердце моем болит Армения»).

Ной – согласно Библии, Ноев ковчег по окончании Потопа причалил к Араратским горам.

Бродил Мандельштам – поэт путешествовал по Армении с мая по сентябрь 1930 г.

Гроссман Василий Семенович (1905–1964) – писатель; в посмертном сборнике «Добро вам!» (1967) собраны его путевые заметки об Армении.

Арарат – вулканический массив, символ Армении (находится на территории Турции).

Саят-Нова (наст. имя Арутюн Саядян, 1719–1795) – народный поэт Закавказья.

Геноцид – здесь: массовое уничтожение и депортация армянского населения Османской империи в 1915–1923 гг.

Комитас (наст. имя Согомон Геворкович Согомонян, 1869–1935) – армянский композитор и музыкант; в 1915 г. был арестован и сослан в Анатолию, после пережитых потрясений сошел с ума.

ВТОРОЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ

Впервые: Дружба народов. 1989. № 6. С. 7. См. примеч. к стихотворению «Псалом Армении».

Матенадаран – научно-исследовательский центр в Ереване, содержащий крупнейшее в мире хранилище древнеармянских рукописей.

Гарни – поселок неподалеку от Еревана, знаменит древним языческим храмом, напоминающим Парфенон.

Гегард – монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение.

Масис – одно из названий Арарата.

Нарекаци Григор (Григор Нарекский, 951–1003) – монах, армянский поэт и богослов. По-видимому, «молитвенником» Б. Чичибабин называет его знаменитую «Книгу скорбных песнопений» (1002).

ТРЕТИЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ

Впервые: Юность. 1989. № 2. С. 74. См. примеч. к предыдущим стихотворениям.

Памятник горю. – Мемориал жертвам геноцида близ Еревана.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПСАЛОМ АРМЕНИИ

Впервые: К89, с. 231. Отпуск 1985 г. по туристическим путевкам начинался в Ереване, а заканчивался в Батуми. Чичибабины навестили семью Степанянов, приютивших их в первый приезд в Армению в 1981 г. Дочь хозяина дома *Карине* была главным гидом Чичибабиных.

Нирвана – в буддизме блаженное состояние покоя и отрешенности от жизненной суеты.

Резня пятнадцатого года. – См. примеч. к стихотворению «Псалом Армении».

В куточек – в уголок (укр.).

Хачкары – армянские средневековые памятники в виде вертикальных каменных плит с изображением креста и растительного орнамента.

Сарьян Мартирос Сергеевич (1880–1972) – армянский художник.

Наапет Кучак (? – ок. 1592) – армянский поэт, автор айренов о любви, судьбе Армении и философских «Айренов раздумий».

9 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА

Впервые: Моск. комсомолец (кн. в газ.). 1989. 5 марта.

Пущино с Окой. – В июне 1983 г. Чичибабины были в гостях у давнего друга Б. Чичибабина Иосифа Гольденберга в Пущине. В душе Б. Чичибабина еще жива память о посещении Армении – отсюда упоминание *армянского камня*.

Никак не выберусь из детства – ср. стихотворения «Поэт – что малое дитя...», «Воспоминание об Эренбурге». Гольденберг Иосиф Сухарович – филолог, поэт, в дружеском кругу известен по прозвищу Граф. Познакомился с Б. Чичибабиным в 1945 г. на филфаке харьковского университета. После освобождения Б. Чичибабина из лагеря принимал дружеское участие в его судьбе. В 1964 г. уехал из Харькова в Новосибирск, преподавал русский язык и литературу в Академгородке по разработанной им методике. В связи с диссидентской деятельностью вынужден был срочно уехать и поселиться в Пущине. Человек необыкновенной доброты и обаяния. Автор пяти сборников стихотворений.

НА ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ Л. ТЁМИНА

Впервые: Юность. 1990. № 1. С. 4. Тёмин (Темис) Леонид Самойлович (1933–1983) – поэт, переводчик, друг Б. Чичибабина. В начале 1960-х годов переехал из Киева в Москву и быстро освоился в московской литературной среде. Познакомил Б. Чичибабина с С.Я. Маршаком, впоследствии давшем ему рекомендацию для вступления в Союз писателей, и с Л.Е. Пинским (см. примеч. к стихотворению «На вечную жизнь Л.Е. Пинского»). Л. Тёмин – автор нескольких сборников стихотворений, опубликованных в Москве. Многие годы посвятил воспитанию молодых поэтов в литобъединениях. Переводил стихи грузинских поэтов. В связи с переводческой деятельностью часто бывал в Тбилиси. В день своего 50-летия скончался от сердечного приступа в Тбилиси. Стихотворение написано на годовщину смерти Леонида Тёмина и прочитано на вечере памяти в Киеве 25 мая 1984 г.

Меж приступов пьянок, сует... – Б. Чичибабин развивает мотивы стихотворения «Защита поэта» и др., показывая противоречивость творческой личности.

МОСКОВСКАЯ ОДА

Впервые: К89, с. 236. Возвращаясь из Ленинграда ненастной осенью 1986 г., Чичибабины побывали в Москве, которая произвела на Б. Чичибабина тягостное впечатление (см. созвучное этому стихотворение «Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю...»).

Жидов и чучмеков – так в России пренебрежительно называют евреев и жителей Средней Азии; здесь: инородцев (Б. Чичибабин как всегда становится на сторону отверженных)...

...не веришь слезам... – Поговорка «Москва слезам не верит», ставшую особенно популярной после одноименного фильма.

...с Калитой да с Малютой. – Иван Калита (1288–1340) – великий князь, упрочивший связи Москвы с Золотой Ордой;

Малюта – см. примеч. к стихотворению «Живу на даче. Жизнь чудна...»; здесь: жестокие и хитрые московские властители.

...в церкви на крови и негоже молиться... – намек на то, что перед храмом Василия Блаженного находится лобное место.

Черноруcская – здесь: такая, как у черносотенцев (неологизм).

Кистень – старинное оружие в виде короткой палки с подвешенным на цепи металлическим шаром, обыкновенно им были вооружены разбойники. Упоминание Охотного ряда, видимо, связано с укоренившимся представлением об «охотнорядце» как реакционере и погромщике.

...в ступе толочь мутны воды перстом. – Парафраз поговорки «толочь воду в ступе».

НЕПРОЩАНИЕ С БАТУМИ

Впервые: К89, с. 238. В стихотворении отражено посещение Чичибабиными Батуми по туристической путевке в 1985 г. (см. «Четвертый псалом Армении»).

Гугнив, гугнивый – говорящий в нос.

Стакнуться – сойтись, сговориться (простореч).

Медея – в греческой мифологии волшебница, дочь царя Колхиды и жена Ясона, убившая своих детей; героиня одноименной трагедии Еврипида.

ФЕОДОСИЯ

Впервые: К89, с. 240. В мае–июне 1984 г. Чичибабины проводили отпуск в Коктебеле, путешествуя по окрестностям. (Четыре ниже приведенных стихотворения написаны в то же время.)

Кафа – генуэзская колония, крупный средневековый город на месте нынешней Феодосии.

Пэппи – Пэппи Длинный Чулок, героиня одноименного произведения Астрид Линдгрен.

Факельноокая, пестроцветущие – неологизмы по образцу древнегреческих эпитетов.

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) – художник-маринист, в Феодосии находится собрание его полотен.

Сурожскоморские – неологизм (от «Сурож», древнерусского названия Феодосии.

ДЕЛЬФИНЬЯ ЭЛЕГИЯ

Впервые: Огонек. 1987. № 36. С. 9 (с сокращением). См. примеч. к стихотворению «Феодосия». Чичибабины присутствовали на тренировке дельфинов на Карадагской биостанции, которые никак не хотели подчиняться воле дрессировщика.

...я чувствую себя дельфином... – Б. Чичибабина возмутило насилие над высокоразвитыми животными. После сеанса его познакомили с научным сотрудником биостанции, с которым он вступил в спор, о безнравственном отношении человека к дельфинам.

...во сне повинном... – Мотив «повинного сна» звучал у Б. Чичибабина и раньше (напр., в стихотворении «Признание»).

...мы то всего сильнее любим, что нам приносит боль и гибель. – Аллюзия к стихотворению Тютчева «О, как убийственно мы любим...». С лирикой Тютчева связан и мотив бездны, подхваченный модернистами (ср. у М. Волошина: «Кругом поет родная бездна...» в стихотворении «Письмо»).

Моби Дик – белый кит; персонаж одноименного романа Г. Мелвилла.

...брат старшой... – по мнению Б.Ф. Егорова, имеется в виду Россия, русский народ.

«ЕЖЕВЕЧЕРНЕ Я В СВОЕЙ МОЛИТВЕ...»

Впервые: К89, с. 242. Полученный Б. Чичибабиным тепловой удар сказался на его состоянии и наложил отпечаток на тональность стихотворения.

...о чем смолчал Бердяев. – Бердяев Николай Александрович (1874–1948) русский философ XX в., представитель христианского экзистенциализма. По-видимому,

Б. Чичибабин имеет в виду следующую мысль Бердяева в работе «Смысл творчества»: «Переживание своей вины – переживание силы; переживание рабьей обиды – переживание слабости».

КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ОДА

Впервые в альм.: Крым-90. Симферополь. 1990. С. 3.

Аленушка-Алиса – собирательный образ сказочной героини (ср. русские народные сказки, произведения С. Аксакова, Л. Кэрролла и др.).

Киммерия – древнее название Восточного Крыма, встречающееся в текстах Гомера и Геродота и получившее новую жизнь благодаря Волошину.

Максимилиан – М.А. Волошин (1877–1932). Возможно, Б. Чичибабин обыгрывает то, что русский поэт был тезкой героя одноименной народной драмы (пьеса Ремизова А.М.) «Царь Максимилиан», 1919.

ВОСПОМИНАНИЕ

Впервые: К89, с. 260. Обращено к жене, Л. Карась. Мотив общей памяти, обращения к общим заветам относится к числу классических мотивов русской любовной лирики (ср. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...» А. Блока, «Ты помнишь дворец великанов...» Н. Гумилева).

Хамелеон – мыс, обрамляющий слева Коктебельскую бухту, одна из достопримечательностей Коктебеля.

...со своей горы... – Имеется в виду гора Кучук-Енишар, на которой похоронен Волошин.

«НЕ КАЮСЬ В ТОМ, О НЕТ, ЧТО МНЕ КАЗАЛОСЬ БРЕННЕЙ...»

Впервые: К89, с. 248. Важная самохарактеристика поэта. Он верил, что его стихи будут жить и после его кончины. Ср.: «Одним стихам во век не потускнеть...» в стихотворении «Сними с меня усталость, матерь Смерть...».

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

Впервые: Лит. газета. 1987. 9 сент. С. 6. Так назывался знаменитый трактат Аристотеля.

А. Верник – см. примеч. к стихотворению «Элегия февральского снега».

Михайловских высот. – То есть высот пушкинской поэзии (по названию его имения в Михайловском).

Давид, *Соломон* (сын Давида) – великие цари и пророки Израиля (конец XI–X вв. до н.э).

СИЯНИЕ СНЕГОВ

Впервые: Лит. обозрение. 1988. № 11. С. 49. Об образе снега у Б. Чичибабина см. примеч. к стихотворению «Элегия февральского снега». Первоначальный вари-

ант назывался «Свет зимы». Приводим несколько строф, не вошедших в опубликованный текст:

Как юн и свеж декабрьский снег
утреннеродный тот,
ниспавший капельками с век
и вестию с высот!

Как без него глазам нищо
бродить по черным дням, –
а он не тает, он еще
слетает новый к нам.

...

Ты кто, случайник мой земной?
Отдай свою беду,
захочешь – в Русь пойдем со мной,
а нет – так сам пойду.

Ровняя ладом дол и ров,
со всеми свет деля,
лег Девы – Матери покров
на русские поля.

Галич – см. примеч. к стихотворению «Галичу».

ТОЛСТОЙ И СТИХИ

Впервые: К89, с. 262. Несмотря на то что в последние годы жизни Л.Н. Толстой пришел к отрицанию искусства и, в частности, поэзии (см. эпиграфы к стихотворению), для Б. Чичибабина Толстой всегда оставался самым любимым писателем. (см. *Чичибабин Б.* Всегда мерил все его мерой: о Льве Толстом // Звезда. 2011. №112).

«*Круг чтения*». – В последние годы жизни Л.Н. Толстой составлял сборник высказываний (и великих, и простых) мыслителей о жизни и мудрости, названный им «Круг чтения».

«СКОЛЬКО ВЫ МЕНЯ ТЕРПЕЛИ!..»

Впервые: Новый Мир. 1987. № 10. С. 124.

...как мальчишка Гекльберри... – герой романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна».

...с Блоком, Достоевским... – Здесь: писателями, одержимыми муками и соблазнами земли.

...Пушкина и Льва Толстого. – Здесь: в противоположность Блоку и Достоевскому, писателям, познавшим вселенскую гармонию.

АЛЕКСАНДРУ ВОЛОДИНУ

Впервые в журн.: Позиция (Харьков). 1991. № 1. С. 94. Знакомство Б. Чичибабина с драматургом А.М. Володиным произошло в Ленинграде осенью 1986 г. благодаря содействию ленинградского друга Михаила Копелиовича. Володина взволновали стихи Б. Чичибабина, и он способствовал их первой – после долгого замалчивания – публикации (Новый мир, 1987. № 10).

МОЛИТВА ЗА МЫКОЛУ

Впервые: Донбасс. 1991. № 1. С. 4. Стихотворение посвящено украинскому писателю и правозащитнику М. Руденко (см. примеч. к стихотворению «Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо...»). После освобождения из лагеря, не имея пристанища, Руденко с женой уехал в Америку. Впоследствии писатель возвратился на Украину.

...дом в Конче Заспе... – Конча-Заспа – пригород Киева, где жил Руденко до ареста.

...несть эллина ни иудея... – Аллюзия к словам ап. Павла «...нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3, 11).

Майя – понятие др.-инд. философии (иллюзорность внешнего мира).

Мова – язык (укр.).

РОЖДЕСТВО

Впервые: Звезда. 1991. № 2. С. 36. Стихотворение было прочитано на радиостанции «Свобода» в Мюнхене в декабре 1990 года (см. также прим. к стихотворению «На память о Фрайбурге»).

С уверенностью детской... – Тема Рождества позволила Б. Чичибабину вновь обратиться к излюбленной мысли о «детскости» как мериле истинности жизни.

РИМ БЕЗ ТЕБЯ

Впервые: Звезда. 1991. № 2. С. 35. Обращено к жене, Л. Карась. В сентябре 1988 г. Б. Чичибабин был включен в состав писательской делегации, направлявшейся в Италию. Это была его первая зарубежная поездка.

...у них на всех окнах прибожно опущены шторы. – Ср. «Как ресницы на окнах опущены темные шторы» в стихотворении О. Мандельштама «Золотистого меда струя в бутылки текла...»), в чьем творчестве образ Рима занимает значительное место.

Муссолини Бенито (1833–1945) – глава итальянской фашистской партии.

Бернини Джованни Лоренцо (1598–1680) – итальянский архитектор, скульптор и живописец.

Микеланджело Буонаротти (1475–1564) – итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт.

...Пьета в соборе Святого Петра... – В соборе находится скульптура «Пиета» («Оплакивание Христа») работы Микеланджело.

...холм Авентина – один из семи холмов, на которых был расположен Древний Рим.

Рафаэль (Рафаэлло) Санти (1483–1520) – итальянский художник и архитектор.

Сикстинская капелла – выдающийся памятник эпохи Возрождения, в создании которого принимали участие Рафаэль, Микеланджело, Боттичелли, Перуджино и другие итальянские художники.

«СПОКОЙНО ДНЮЕТ И НОЧУЕТ...»

Впервые: Лит. газета. 1989. 29 нояб. С. 6.

...русский бунт... – аллюзия к словам Гринева: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» («Капитанская дочка» Пушкина).

Сколько стоит лиха фунт. – Парафраз выражения «Почем фунт лиха».

«СКОЛЬЗИМ НАД БЕЗДНОЙ, В МЕРУ СИЛ ДРУГИХ ТОЛКАЯ...»

...национал-мордоворотов. – Неологизм, отразивший острое неприятие Б. Чичибабиным роста националистических настроений в России и в Украине.

Что человек тебе, что вошь... – Источник этого частого у Б. Чичибабина сопоставления – мотив «человек-вошь» в романе «Преступление и наказание» Ф. Достоевского.

РЕСПУБЛИКАМ ПРИБАЛТИКИ

Впервые: Московский комсомолец. 1991. 1 мая. Когда республики Прибалтики объявили о выходе из состава СССР, Б. Чичибабин одним из первых поддержал их стремление к независимости.

Танкодавящей – неологизм, порожденный, по-видимому, воспоминаниями о трагедии, произошедшей в Вильнюсе в январе 1991 г. при попытке захвата телецентра.

«НА МЕНЯ ТОСКА НАПАЛА...»

Впервые: Огонек. 1990. № 47. С. 16. Стихотворение отразило «предрассветное» состояние радости и тревоги, сопровождавшее Б. Чичибабина в первые годы перестройки. Оно богато новозаветными символами (свет, мрак, «слово, бывшее в начале», духовный хлеб – жатва, Божий суд и др.) и развивает тему святой Руси как духовной родины, в отрыве от которой невозможно спасение.

Иосиф Бродский (1940–1996) – поэт, лауреат Нобелевской премии; эмигрировал из СССР в 1972 г. Б. Чичибабин полемизирует с ним также в третьем стихотворении из цикла «Судакские элегии».

«КТО – В ПАНИКЕ, КТО – В ЯРОСТИ...»

Впервые: Огонек. 1992. № 3. С. 22.

...что если мы полюбим, то в нас воскреснет Бог. – Аллюзия к словам из 1 Послания Иоанна: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенна есть в нас» (4, 11).

СОВРЕМЕННЫЕ ЯМБЫ

Впервые: Огонек. 1992. № 30. С. 2. Б. Чичибабин не мог оставаться равнодушным к происходящим событиям – он обратился к древнему жанру ямбов, традиционно служившему «пламенной сатире». Возможно следование Барбье, чей прославленный сборник «Ямбы» (1831) нашел в России многочисленных почитателей и продолжателей.

Всуперечь – вопреки (укр.).

Мы ж рушим мир до основанья. – Намек на гимн коммунистов «Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья...».

Что нет в глазах моих соринок... – Аллюзия к словам Христа «Что ты смотришь на соринку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не замечаешь?»

...насчет иголки и верблюда... – Аллюзия к словам Христа «И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».

Не налякаться – не испугаться (укр.)

...несть эллина ни иудея. – См. примеч. к стихотворению «Молитва за Мыколу»

...из рабства вызволен Тарас. – Тарас Шевченко был выкуплен из крепостного рабства в 1838 г. усилиями поэта Жуковского и художника Брюллова.

Петр Аркадьевич – П.А. Столыпин (1862–1911), государственный деятель, реформатор.

СОНЕТЫ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Впервые: Аврора. 1993. № 1. С. 7.

Телек – телевизор.

ПИСЬМО ИЗ АМЕРИКИ

Впервые: Новый мир. 1992. № 8. С. 4.

ВСЕ НЕ ТАК

Впервые в газ.: Новое русское слово. Нью-Йорк. 1994. 26–27 февр.

СЕЛО

Впервые: Новый мир. 1992. № 8. С. 4. В этом сонете Б. Чичибабин выступает последовательным толстовцем, ратующим за здоровое природное начало в жизни и в искусстве. О концепте «лад» в творчестве поэта см. примеч. к стихотворению «Чернигов».

СНЕГ

Впервые в кн.: 82 сонета..., с. 32.

СМУТА НА РУСИ

Впервые: Дон. 1994. № 6. С. 8.

Анна и Марина – Ахматова и Цветаева.

ПЕСЕНКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Впервые: Донбасс. 1991. № 1. С. 6. Переработанный вариант стихотворения 1946 г., ставшего одной из причин ареста молодого Б. Чичибабина. Вариант в сборнике «Плывет «Аврора» (см. «Былое и грядущее»).

...мать моя посадница. – По всей видимости, Б. Чичибабина имеет в виду знаменитую Марфу-посадницу (Борецкую), которая вместе с сыном в 1471 г. возглавила враждебную Москве партию новгородских бояр. В этом контексте герой стихотворения предстает наследником символической вольной республики.

Заратустра – пророк и учитель, основатель зороастризма.

Кат – палач (укр.).

И не завтра пятница – От библейской традиции считать пятницу окончанием рабочей недели.

В БЕССОННУЮ НОЧЬ ДУМАЮ О ГОРБАЧЕВЕ

Впервые: Дружба народов. 1993. № 1. С. 16.

...лампаду африканца... – возможно, намек на стихотворение Пушкина «Вакхическая песня», где свет ночной лампады должен смениться восходящим солнцем: ...Как эта лампада бледнеет / Пред ясным восходом зари...

«Варна» – популярные болгарские сигареты.

ПЛАЧ ПО УТРАЧЕННОЙ РОДИНЕ

Впервые: Лит. газета. 1992. 22 апр. № 17. С. 1. Это один из программных текстов, созданных поэтом в последние годы жизни. Благодаря стихотворению Б. Чичибабин приобрел как многочисленных сторонников, так и противников.

Империя зла – это распространенное впоследствии определение СССР впервые прозвучало в речи президента США Р. Рейгана 8 марта 1983 г.

Баку и Ереван – Скрытый намек на острый конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Об этом стихотворении см. сопровод. статью, с. 442–444.

А Я ЖИВУ НА УКРАИНЕ

Б. Чичибабин тяжело переживал разрыв культурных связей между Россией и Украиной. В первых строках стихотворения раскрывается символика украинского государственного флага.

Разномовный – разноязычный (укр.).

Самостийность – самостоятельность (укр.).

Тарас – Тарас Григорьевич Шевченко (1814–1861) – украинский поэт.

Сковорода Г.С. – см. примеч. к стихотворению «С Украиной в крови я живу на земле Украины...».

Кармелюк – Устим Кармалюк (1787–1835) – народный герой, предводитель крестьянского восстания на Правобережной Украине.

Лина Костенко – украинская поэтесса, см. также примеч. к стихотворению «Лине Костенко».

Кобза – старинный украинский струнный щипковый музыкальный инструмент.

Очерет – камыш (укр.).

ПОЭТЫ

Впервые: Время (Харьков). 1992. 7 марта.

...с крыл-коня... – С крылатого коня, Пегаса; неологизм. Далее по тексту Б. Чичибабин многократно использует эпитеты-приложения (жох-парень, сука-розга, жизнь-река, книжка-доченька), характерные для народной поэзии и широко распространенные в поэзии Шевченко.

Китс Джон (1795–1821) – английский поэт-романтик.

Бодлер Шарль (1821–1867) – французский поэт; казалось, нарочно искал страдания, чтобы сублимировать их в искусстве.

Гёльдерлин Фридрих (1770–1843) – немецкий романтик, поэт и мыслитель; оказался «темен» для современников, закончил жизнь безумным.

Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт; стремление «жить среди толпы, но быть во времени бездомным» предопределило его отшельническую судьбу и бесприютность.

Переехан царскою коляской – Николай I отдал Шевченко, уже известного поэта и художника, в солдаты.

Коляска – возможно, намек на печально знаменитое (ибо хвалебное) стихотворение Ап. Майкова о Николае I «Коляска».

В пустыне Аральской – место ссылки Шевченко.

ЛИНЕ КОСТЕНКО

Впервые: Независимость. Киев. 1993. 12 марта. В конце января 1993 г. в киевском Доме учителя прошел творческий вечер, посвященный 70-летию Б. Чичибабина. Вечер вела Лина Костенко. После похвал в адрес Б. Чичибабина она в довольно резком тоне высказалась о стихотворении «Россия, будь!». Б. Чичибабин был несколько обескуражен непониманием со стороны Костенко и пообещал ответить стихотворением.

«НАМ ВЕЧНОСТЬ ЗНАКОМА НА ОЩУПЬ...»

Впервые в газ.: Время (Харьков). 1992. 14 нояб.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Впервые: Благотворительная газета (Симферополь). № 30. 1992. С. 2.

Откуда счастье нам? Ведь мы ж не побирушки... – Очевидно, Б. Чичибабин вспоминает слова Мандельштама, обращенные к жене: «Кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?».

«...мир сей посетил в минуты роковые». – Аллюзия к строкам Тютчева («Цицерон»).

...отшельника, чей дом... – Волошина.

ОДА ОДУВАНЧИКУ

Впервые: Дон. 1993. № 3/4. С. 31. Б. Чичибабин любил называть свои стихи одами, но посвящал свои оды самым различным предметам: женским коленям, водке, воробьям. Эта ода – последняя.

Одуванчик – один из символов благословенной простоты и кротости, столь близких Б. Чичибабину (ср. «Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий, / сердце радо ромашке простой» («С Украиной в крови я живу на земле Украины...»)).

Сговор звезды со звездой. – Аллюзия к стихотворению Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» («И звезда с звездою говорит...»).

РОССИЯ, БУДЬ!

Впервые: Лит. газ. 1993. № 1–2. 13 янв.

...«особенная стать». – Цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Умом Россию не понять...»

...генералиссимус рябой... – И.В. Сталин.

Сергий Радонежский (1314–1392) – основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, канонизирован православной церковью.

«В ЛЕСУ СОЛОВЬИНОМ, ГДЕ СОН ТРАВЯНОЙ...»

Впервые в газ.: Красное знамя (Харьков). 1990. 18 нояб. Стихотворение написано после прогулки в любимом лесу возле источника Сковороды. Звучит мотив любви, венчания, вины, ухода из мира и воскрешения.

«НЕ ИДЕТ ВО МНЕ СВЕТ, НЕ ИДЕТ ВО МНЕ МОРЕ НА УБЫЛЬ...»

Впервые: Донбасс. 1991. № 1. С. 10.

Вите Шварцу – Шварц Виктор Яковлевич, харьковчанин, кандидат физико-математических наук, поклонник стихов Б. Чичибабина. Преподавал в Донецком политехническом институте. Сочинял стихи и музыку к ним и сам исполнял. В 1988 г. организовал выступления Б. Чичибабина в Донецке: университете, политехническом институте и в Центральной библиотеке, совместив пребывание Чичибабиных с отдыхом на берегу Азовского моря в летнем студенческом лагере ДПИ. Именно там Б. Чичибабин написал стихи: «Не идет во мне свет, не идет во мне море на убыль» и «Когда я был счастливый». Спустя некоторое время стало известно, что В. Шварц тяжело заболел. В надежде на излечение в 1990 г. эмигрировал с семьей в Израиль, но было уже поздно. Скончался в Израиле в том же году.

...клеймо упыря... – имеется в виду Жданов, чье имя Мариуполь носил с 1948 по 1989 г.

Чумацкий Шлях – Млечный Путь (укр.).

...в цикуте Сократа... – великий афинский философ Сократ (ок. 470/469–399 до н.э.) был приговорен к смерти и умер от яда, который, вероятно, был соком цикуты. Возникновение образа Сократа в контексте стихотворения (и вообще в творчестве Б. Чичибабина) не случайно: как и древнегреческий мыслитель, превыше всего ценивший независимость и не записывавший своих сочинений, Б. Чичибабин предпочитал быть вольным стихотворцем – отсюда мотив записанных на песке стихов и Чумацкого Шляха, уводящего в странствия за пределы города и социально детерминированного мира.

«КОГДА Я БЫЛ СЧАСТЛИВЫЙ...»

Впервые: Донбасс. 1991. № 1. С. 10. См. примеч. к предыдущему стихотворению.

...при Александр Сергейче... – Пушкине; поэт посетил Мариуполь в мае 1820 г. во время путешествия на Кавказ с семьей генерала Н. Раевского.

Акутагава Рюнскэ (1892–1927) – японский писатель.

НА ПАМЯТЬ О ФРАЙБУРГЕ

Впервые в газ.: Вечерний Харьков. 1992. 29 окт. Приглашение посетить Германию Б. Чичибабин получил от профессора-слависта Кельнского ун-та В. Казака. Выступления Б. Чичибабина прошли в университетах Майнца, Кельна, Фрайбурга. Во Фрайбурге поэт познакомился с профессором Элизабет Шорре, большой поклонницей русской литературы. Она показала Б. Чичибабину дом, в котором в 1904–1905 гг. жили сестры Цветаевы.

Шварцвальд – горный массив на юго-западе Германии.

Хайдеггер Мартин (1889–1976) – немецкий философ, один из основоположников экзистенциализма.

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ В ЛЕНИНГРАДЕ

Впервые: Звезда. 1991. № 2. С. 33. Б. Чичибабин был поражен, увидев в Ленинграде буддийский храм.

Басё – см. примеч. к стихотворению «Защита поэта».

Стогибельная – неологизм.

Чудь – др.-рус. название финских племен на северо-западе современной России.

...лошадиным ртом... – Имеется в виду конь под императором Петром на Медном всаднике.

Нирвана – см. примеч. к стихотворению «Четвертый псалом Армении».

Даждь – дай (церк.-слав.).

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЬ

Впервые: Вечерний Харьков. 1992. 29 окт. Это стихотворение, как и два последующих, были написаны после посещения Израиля в сентябре 1992 г. Б. Чичибабин был включен в состав украинской делегации, целью которой было налаживание

культурных связей между Израилем и Украиной. *Тора* – Пятикнижие Моисея, центральный документ иудаизма.

Давид, Соломон. – См. примеч. к стихотворению «Искусство поэзии».

...вышли из рабства. – Имеется в виду описанный в библейской книге «Исход» уход евреев из Египта под предводительством Моисея.

Род Моисеев. – Здесь: еврейский народ (по имени библейского пророка Моисея, выведшего израильтян из Египта; через Моисея Бог сообщил свой Закон, содержавший условия завета Бога с Израилем).

Яд-Вашем. – См. примеч. к стихотворению «Когда мы были в Яд-Вашеме».

КОГДА МЫ БЫЛИ В ЯД-ВАШЕМЕ

Впервые: Вечерний Харьков. 1992. 29 окт. В этом тексте Б. Чичибабин развивает тему «всемирной отзывчивости» (Достоевский), «вселенскости» русского человека, для которого «на свете нет чужого горя». Слова «Всему живому не чужой» могут рассматриваться как квинтэссенция чичибабинского мироощущения.

Яд-Вашем (Яд ва-Шем) – национальный мемориал Катастрофы (холокоста) и Героизма в Иерусалиме.

В те волны горб свой погружал... – Ср. чичибабинский образ верблюда как один из его поэтических автопортретов (стихотворение «Верблюд» и др.).

Цветожар. – Здесь: цветок (возможно, цветок канны), неологизм.

Ханыги – обманщики, мошенники.

С пеньем Тор. – См. примеч. к предыдущему стихотворению, здесь: с пеньем законов Торы.

Голгофский крест – крест, на котором был распят Христос.

«НЕ ГОРЮЙ, НЕ РАДУЙСЯ...»

Впервые: Голос України. 1993. 13 січ. С. 8. В стихотворении описаны дружеские застолья на веранде израильской квартиры Александра Верника (см. примеч. к стихотворению «Элегия февральского снега»).

Муза Царскосельская. – Намек на Пушкина, выпускника Царскосельского лицея.

Марево. – Здесь: мираж, призрачное явление.

«ЧТО-ТО СТАЛ РИФМАЧАМ БОЖИЙ ЛАД НЕХОРОШ...»

Впервые: Время (Харьков). 1993. 11 янв. Стихотворение посвящено поэту, журналисту Ефиму Бершину, с которым Б. Чичибабин познакомился в Коктебеле в сентябре 1992 г. Их беседа была опубликована в «Лит. газете» 28 окт. 1992 г. под названием: «Тайна Бориса Чичибабина, которую он так и не открыл Ефиму Бершину».

...и своя, а не Божия воля. – Слова любимой молитвы Б. Чичибабина: «Господи, как легко с Тобой, как тяжко без Тебя! Да будет воля Твоя, а не моя, Господи!».

...от слов самовитых. – Теория «самовитого слова» – слова, имеющего самостоятельную ценность и значение, слова как такового была разработана в 1910-х годах русскими футуристами, ее реализацией стало творчество В. Хлебникова.

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Впервые: Лит. газета. 1992. 1 июля. № 27. С. 16. Летом 1991 г. в Харькове состоялся премьерный показ картины Э. Рязанова «Небеса обетованные», на который был приглашен Б. Чичибабин. Не сумев выразить режиссеру восхищение после фильма, он написал поэтическую рецензию.

«Смеясь над милым, слезы лью мол», – признал всевидящий Отец. – Видимо, шутливый пересказ слов Христа: «...смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль» (Иак, 4. 9).

Диккенсовские чудаки – персонажи романов Ч. Диккенса: Пиквик, Барнаби Раджа и др.

«НЕ ПРАЗДНИЧНО УВИТЫ...»

Впервые ВСП, с. 401. Стихи написаны на день рождения харьковской поэтессы Виктории Борисовны Добрыниной под впечатлением от книги ее стихов «Светлым светло» (1993).

ЦВЕТЕНИЕ КАРТОШКИ

В начале 1990-х годов семья Чичибабиных обзавелась огородом. Б. Чичибабин, чувствовавший себя неважно, не участвовал в огородных работах. Однажды он решил помочь собирать колорадских жуков и вскоре сообщил, что придумал четверостишие: «Никак не угляжу, – / видать, не та сноровка, – / где колорадский жук, / где божия коровка...». А потом появилось все стихотворение, давшее впоследствии название книге «Цветение картошки» (М.: Моск. рабочий, 1994).

Шматками – кусками (укр.).

«В ЛЕСУ, ГДЕ ВЕЕТ БОГ, ИДТИ С ТОБОЙ НЕСПЕШНО...»

Впервые: Кодры. 1991. № 8. С. 45. В этом тексте, как и вообще в поздней любовной лирике Б. Чичибабина, ненавязчиво, но ощутимо присутствуют библейские мотивы: творение мира, предстояние перед Богом, конец времен.

«СМЕЖЕННЫЙ СВЕТ СОЛОНОВАТЫХ ВЕК...»

Впервые: Кодры. 1991. № 8. С. 46.

...рождественские звоны... – Мотив рождественского откровения (новой вести о Христе, нового прихода в мир света и добра) объединяет этот текст со стихотворением «Рождество».

«МНЕ ГОРЬКО, МНЕ ГРУСТНО, МНЕ СТЫДНО С ЛЮДЬМИ...»

Впервые: Апрель. 1991. Вып. 4. С. 12. Мотив покаяния присутствует во многих стихотворениях Б. Чичибабина, в этом – с особенной силой.

«ОСНЕЖИСЬ, ГОЛОВА! ЧЕРТ-ТЕ ЧТО В МИРОВОМ ЧЕРТЕЖЕ!..»

Впервые: Время (Харьков). 1993. 11 янв. Стихотворение посвящено поэту Кириллу Ковальджи, с которым Б. Чичибабин сблизился в сентябре 1992 г. в Коктебеле (Ковальджи успел подарить ответное стихотворение в последний приезд Б. Чичибабина в Москву в ноябре 1994 г.). На веранде Волошинского дома читались стихи; тишину нарушал только стук каблучков экскурсовода *Наташи* – Н.М. Мирошниченко, ныне директор Дома музея Волошина.

...византийский комар... – Возможно, Б. Чичибабин имеет в виду «жужжание» не-своей, мертвой речи – и находится в этом отношении под влиянием Мандельштама («Первые интеллигенты – византийские монахи – навязали языку чужой дух и чужое обличье, – писал Мандельштам в “Заметках о поэзии”. ⟨...⟩ Поэтическая речь никогда не бывает достаточно “замирена”, и в ней через много столетий открываются старые нелады, – это янтарь, в котором жужжит муха, давным-давно затянутая смолой, живое чужеродное тело продолжает жить и в окаменелости. Все, что работает в русской поэзии на пользу чужой, монашеской словесности, всякая интеллигентская словесность, то есть “Византия”, – реакционна. Все, что клонится к обмирщению поэтической речи ⟨...⟩ несет языку добро, то есть долговечность...»). Перекличке способствовал Коктебель, сохранивший воспоминания о великом поэте.

...костяным холодком повевая. – Вновь аллюзия к Мандельштаму, на этот раз стихотворению «На каменных отрогах Пиэрии» («И холодком повеяло высоким / От выпукло-девического лба, / Чтобы раскрылись правнукам далеким / Архипелага нежные гроба»).

...слово, что было в начале?.. – Отсылка к первой строке Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было с Богом и Слово было Бог».

...до конца свой клубок размотавши... – Ср. древнегреческий миф о клубке Ариадны; возможно, также представления о Парках, ткущих нити человеческих судеб.

«ВЗРОСЛЫМ ТАК И НЕ СТАВ, ПОКАЖУСЬ-КА Я БЕЛОЙ ВОРОНОЙ...»

Впервые: Новый мир. 1992. № 8. С. 5. Из письма З. Миркиной: «...Это стихотворение великой духовной правды...»; из письма Г. Померанца: «Ваша школа любви – один из самых замечательных текстов, напечатанных за последние годы. Один из самых нужных...». В этом стихотворении Б. Чичибабин силой поэтического прозрения выразил мистическую суть христианской жизни, понимаемой в недрах церкви как школа любви, любовное следование Христу.

Тикал – убегал (укр.).

Голос мой в мире не звонок? – Намек на стихотворение Е.А. Баратынского «Мой дар убог, и голос мой не громок...».

1 ЯНВАРЯ 1993 ГОДА

Впервые: Время (Харьков). 1993. 11 янв. Стихотворение написано на день рождения жены Лили. Обилие в тексте неологизмов, по-видимому, подспудно связано с темой неведомого слова, которое лишь брезжит в сознании поэта (ср. ее раскрытие Мандельштамом в стихотворении «Я слово позабыл, что я хотел сказать...»).

«МЫ С ТОБОЙ ПРОСНУЛИСЬ ДОМА...»

Впервые: Лит. газета. 1990. 3 окт. С. 8. Стихотворение также посвящено жене Л. Карась.

«ИСПОВЕДНЫМ СТИХОМ НЕ УКРАШЕН...»

Впервые: Время (Харьков). 1994. 15 янв. Последнее стихотворение, написанное Б. Чичибабиным.

...и давно уже к смерти готов. – Б. Чичибабин повторяет известные слова Мандельштама («Я к смерти готов»), произнесенные им в феврале 1934 г. в разговоре с Ахматовой. Ахматова включила признание друга в первую главу «Поэмы без героя».

В завирюхе – в метели (укр.); ср. символ метели (вьюги) в классической русской поэзии, особенно в произведениях Блока, Волошина, где метель связана с социальными катаклизмами.

ВЫБРАЛ САМ

Б. Чичибабин никогда не писал художественной прозы. Однако в его архиве сохранилось немало публицистических материалов (статей, интервью, ответов на вопросы нескольких литературных анкет). Высоко ценивший прямое общение с читателем, поэт отобрал некоторые из них для своей итоговой книги.

ВЫБРАЛ САМ

Впервые (вар.): Лит. газета. 1988. № 49. 7 дек. С. 5. Беседа за рабочим столом / Записала Т. Архангельская.

ЛЮБОВЬ К ПУШКИНУ

Впервые: Лит. газета. 1990. № 23. 6 июня. С. 3 (под заглавием «Идеал»). Написано к 191-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина.

«ВСЕХ ЖИВУЩИХ ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДРУГ...»

Впервые: Правда. 1991. 15 янв. С. 3. К 100-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама.

ПРИЗНАНИЯ О МАРИНЕ

Впервые: Лит. газета. 1992. 7 окт. С. 6. («Одна – за всех – против всех»): Поэты о поэте: (на анкету о Марине Цветаевой. отвечают М. Авакумова, Е. Евтушенко, В. Соснора, Б. Чичибабин и др.).

МЫСЛИ О МАЯКОВСКОМ

Впервые: Лит. газета. 1993. № 28. 14 июля. Век Маяковского: Поэты о поэте: (на анкету о Маяковском отвечают Г. Айги, Н. Коржавин, Б. Чичибабин и др.).

СЛОВО О ЛЮБИМОМ ПИСАТЕЛЕ

О К.Г. Паустовском. Впервые: Мир Паустовского. 1993. № 1.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПИСАТЕЛЕ ШАРОВЕ

Впервые: как послесловие к кн.: *Шаров А.* Окоем // Шаров А. Окоем: повести, воспоминания. М.: Сов. писатель, 1990. С. 426–431. Об А. Шарове см. также примеч. к стихотворению «Памяти друга».

«В СЕРДЦЕ МОЕМ БОЛИТ АРМЕНИЯ»

Впервые: Республика Армения. 1991. 18 июня. С. 4.

ДОПОЛНЕНИЯ

АХМАТОВСКАЯ АНКЕТА

Впервые: Вопр. лит. М., 1997. № 1. С. 280–288. (Все крупно... Ответ на анкету об А. Ахматовой / Публ., вступ., примеч. Е. Ольшанской).

[1] Мнухин Лев Абрамович – московский библиофил, исследователь поэзии «серебряного века».

[2] Леонович Владимир Николаевич – поэт.

[3] Ольшанская Е.М. (1929–2003) – поэтесса, друг Б. Чичибабина. Будучи страстной поклонницей Ахматовой, на протяжении многих лет собирала связанные с ней материалы. Идея прислать Б. Чичибабину эту анкету принадлежит ей.

[4] *Бунин И.А.* Думая о Пушкине // Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1967. С. 454.

[5] Чуковская Лидия Корнеевна – писательница, мемуаристка, биограф А.А. Ахматовой.

[6] Тарковский Арсений Александрович – поэт, переводчик.

[7] Рахлина Марлена Давидовна – поэт, переводчик, см. примеч. к стихотворению «Твои глаза светлей и тише...».

[8] Егунов Андрей Николаевич – писатель, переводчик, филолог-античник.

[9] *Эйхенбаум Б.М.* Анна Ахматова: Опыт анализа. Пб.,1923.

[10] *Жирмунский В.М.* Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973.

[11] *Добин Е.С.* Поэзия Анны Ахматовой. Л., 1973.

[12] Ч*уковская Л.К.* Записки об Анне Ахматовой. М.,1989.

[13] *Виленкин В. Я.* В сто первом зеркале. М., 1990.

[14] *Ильина Н.И.* Дороги и судьбы: Автобиографическая проза. М., 1985.

[15] *Павловский А.И.* Анна Ахматова: Очерк творчества. Л., 1982.

[16] *Блок А.А.* Стихотворение «Анне Ахматовой» (1913).
[17] *Ахматова А.А.* Воспоминание об Александре Блоке (1965).
[18] Из цикла «Стихи к Ахматовой» (незавершенное) *Тарковского А.А.*
[19] *Цветаева М.И.* Стихи к Ахматовой; Отрывок из стихов к Ахматовой.
[20] *Пастернак Б.Л.* Анне Ахматовой.
[21] *Самойлов Д.С.* Смерть поэта.
[22] *Смеляков Я.В.* Анна Ахматова.
[23] *Петровых М.С.* Имеются в виду первые две строчки стихотворения: «Ни ахматовской кротости, / Ни цветаевской ярости...».

НЕКРАСОВСКАЯ АНКЕТА

Впервые: Путеводитель к выставке «Некрасов вчера и сегодня»: (ответы на анкету о творчестве Н.А. Некрасова) / Центр. гор. публ. б-ка им. Н.А. Некрасова. Вып. 2. М., 1988. С. 98–100.

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

В настоящий раздел вошли стихотворения из архива поэта, частично опубликованные в «Раннем и позднем», а также из прижизненных изданий, не вошедшие в книгу «В стихах и прозе». Стихотворения расположены в хронологическом порядке.

ЗИМА В КАХЕТИИ

Печ. по: РиП, с. 18. Первоначально это стихотворение и три последующих в ЯП, с. 86–93 (оригинал ЯП – фонд Б. Чичибабина в ХГНБ им. В.Г. Короленко, копия в РГАЛИ). Точная дата написания неизвестна. Предположительно стихотворения Б. Чичибабина, посвященные Кавказу, написаны в годы воинской службы (1942–1945) – под непосредственным впечатлением от этих мест.

Гомборский перевал – горный перевал на пути из Тбилиси в Кахетию.

«ТО ОТЛИВАЯ ЗОЛОТОМ, ТО РТУТЬЮ...»

Печ. по: РиП, с. 22.

Куринская вода – вода реки Куры, протекающей в Грузии.

Пушкин... заглянул сюда. – Пушкин был первым поэтом, по собственным впечатлениям представившим Кавказ русскому читателю. Он посетил Кавказ дважды: в 1820 и 1829 гг.

«И ВОТ ДАРОВАН НАМ ПРИВАЛ...»

Печ. по: РиП, с. 20.

Здесь в прошлом Лермонтов бывал... – Если не считать юношеского посещения Кавказа в 1825 г., Лермонтов бывал на Кавказе дважды – во время ссылки 1837 и 1840 гг.; с Кавказом связаны его крупнейшие произведения.

Шуша – город в Нагорном Карабахе.

«ВЕЧЕР В БЕЛЫХ ЗВЕЗДАХ БЫЛ ПО ПРАВУ...»

Печ. по: РиП, с. 19. *Степанакерт* – город в Нагорном Карабахе.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Печ. по: РиП, с. 27. Автограф Б. Чичибабина в собрании М. Рахлиной. Название отсылает к поэме Гейне «Германия. Зимняя сказка».

Новый Петрарка – видимо, намек на любовь Петрарки и Беатриче?

Александр и Анна – здесь, возможно, Блок и Ахматова.

АННА АХМАТОВА

Набросок. Печ. по: Начало (прилож. к газете «Новости недели»). Тель-Авив. 1997. 9, 16, 23 янв. Публикация Феликса Рахлина (брата Марлены Рахлиной). Из собрания М. Рахлиной. Два последующих стихотворения печатаются по тому же источнику.

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Набросок.

«*Великолепный паж*»... – вероятно, отсылка к стихотворению Гумилева «Старая дева», где есть строфа «В глубине Средневековья / Я принцесса, что, дрожа, / Принимает славословья / От красивого пажа».

«*Изысканный жираф*»... – цитата из стихотворения Гумилева «Жираф»; заглавие критической статьи И.П. Иванова-Разумника (Знамя. 1920. № 3–4). В статье говорилось, что Гумилева вовсе не волнуют «мировые катастрофы», что главное для него – экзотика.

«ЧТО-ТО МНЕ С НЕДАВНИХ ПОР...»

Это стихотворение роковым образом изменило судьбу Б. Чичибабина: при аресте в июне 1946 г. оно было предъявлено поэту в качестве обвинительного документа. Б. Чичибабин не любил упоминаний о нем, но сам, очевидно, не считал его случайным. В стихотворении «Песенка на все времена» (1989) он сохранил строфику и ритмику этого давнего текста.

«МОЕЙ ВЕСНЫ ПОСЛЕДНЮЮ ГЛАВУ...»

Один из первых сонетов Б. Чичибабина, прообраз его дальнейших исканий в этом жанре. Печ. по: РиП, с. 30. Автограф в РГАЛИ. Написано в заключении.

«Я ОТВЫК ОТ ХОРОШО ОДЕТЫХ ЖЕНЩИН...»

Печ. по: РиП, с. 31. Автограф в РГАЛИ. Написано в заключении.

КАЙ

Печ. по: РиП, с. 32. Первоначально в ЯП, с. 43. Написано в Вятлаге.

Кай – так называлась местность, где Б. Чичибабин отбывал срок (Кайский район Кировской обл.).

Ополонки – проруби (укр.).

Шершмя – неологизм.

СЕВЕР

Печ. по: МШ, с. 33. Впервые: Мол, с. 59. Первоначальный вариант в ЯП, с. 3. («Край родной, лесной, звериный, птичий...», датируется по ЯП). Написано в Вятлаге.

Север – постоянный концепт чичибабинской лирики, символ изгнания и несвободы, противостоящий духу привычного для поэта южного (украинского) пейзажа; вместе с тем в этом стихотворении противопоставление Севера и Юга служит осмыслению жизненных контрастов.

Кама – река в европейской части России, левый приток Волги (ср. стихотворения Мандельштама «Как на Каме-реке глазу темно, когда...», «Я смотрел, отдаляясь на хвойный восток...» (1935)). У Б. Чичибабина ей посвящено также отдельное стихотворение «Кама» (ЯП, с. 6–7).

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОСТОКЕ

Печ. по: МШ, с. 70. Впервые: Мол, с. 75. Первоначальный вар. в ЯП, с. 94: было «пыльную», стало «сонную». Во время службы в Закавказье в 1944 или 1945 г. Б. Чичибабин ненадолго приезжал к родным, эвакуированным в Чимкент. Стихотворение было прислано в письме к М. Рахлиной из Вятлага.

«О ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОЕ!..»

Печ. по: МШ, с. 23. Первоначально в ЯП, с. 121. Датируется по ЯП. Написано после возвращения из лагеря.

Химера. – Здесь: нелепость, пустая выдумка.

...Дела идут, контора пишет (шутливое), популярная в советские годы поговорка, характеризующая видимость деятельности, активности; вероятно, восходит к тексту романа «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.

«А все-таки все люди – братья!..» – Б. Чичибабин переиначивает знаменитое высказывание Галилея «А все-таки она вертится!»

СНЕГ НА КРЫШАХ И ВЕРШИНАХ

Печ. по: Цв.К, с. 23. Первоначально в ЯП, с. 117. Датируется по ЯП. Первая строка кажется предчувствием того, что Б. Чичибабин будет видеть из окна чердачной комнаты в Харькове (ул. Рымарская, 1), где поселится позднее.

«А! ТЫ НЕ МОЖЕШЬ БЫТЬ ТАКИМ, КАК ВСЕ...»

Печ. по: МШ, с. 31.

Таилище (арх.) – здесь: заповедное место, хранилище.

И жизнь отдай за худшего из них. – О мотиве искупительной жертвы см. примеч. к стихотворению «Пока хоть один безутешен влюбленный...».

Суета сует – см. примеч. к стихотворению «Не льну к трудам, не состою при школах...».

«НИ ЧЕРТА Я НЕ ПРИШЕЛЕЦ...»

Печ. по: РиП, с. 45. Первоначально в ЯП, с. 51.

Берендей – См. примеч. к стихотворению «Псков».

Иосиф – Гольденберг Иосиф Сухарович (см. примеч. к стихотворению «9 января 1984 года»).

Солнце – брат мой, звезды – сестры. – Так обращался к солнцу и звездам св. Франциск Ассизский; неизвестно, был ли Б. Чичибабин знаком с наследием св. Франциска (например, «Гимном брату Солнцу») уже на начальном этапе своего творчества или воспринимал его опосредованно, но его мироощущение несет на себе следы этого учения.

Лорелея – речная фея, дева-чаровница, один из центральных персонажей немецкой романтической поэзии. Упоминается также в сонете Б. Чичибабина «Тебе в то лето снилась Лорелея...» с вероятной мандельштамовской ассоциацией (в стихотворении «Декабрист»: «Все перепуталось и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея»).

МОЛОДОСТЬ

Печ. по: Мол, с. 5. Первоначальный вар. в ЯП, с. 66. Датируется по ЯП. Это стихотворение дало название одной из книг стихов Б. Чичибабина.

«И МНЕ, КАК ВСЕМ, НА СКЛОНЕ ЛЕТ ДАНО...»

Печ. по: РиП, с. 57. Первоначально в ЯП, с. 119.

«А Я НЕ СТАЛ НИ МСТИТЕЛЕН, НИ ГРУСТЕН...»

Печ. по: РиП, с. 44. Первоначальный вариант в рукописном сборнике «Работа и Любовь» (1954) (оригинал сборника хранится в фонде Б. Чичибабина в ХГНБ им. В.Г. Короленко). Вариант последней строфы использован в стихотворении «Я груз небытия вкусил своим горбом...».

«ЛЮБИТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ – ВОТ БЕДА...»

Печ. по: МШ, с. 41. Впервые: МиС, с. 70 (датируется по рукописному сборнику без названия (1957), хранящемуся в фонде Б. Чичибабина в ХГНБ им. В.Г. Короленко).

Чудо. – См. примеч. к стихотворению «Ода». Концепция любви как чуда (и тема чуда как таковая) роднит Б. Чичибабина с Пастернаком и Тарковским. Стихотворе-

ние отчетливо перекликается с текстом Пастернака «Любить, – идти, – не смолкнул гром...»: влюбленный герой «теряет язык», чтобы потом обрести песню.

ГЕОРГИЮ КАПУСТИНУ

Печ. по: ССт, с. 59. Впервые: альм.: Бурсацкий спуск (Харьков). 1992. С. 20. Дата исправлена в соответствии с автографом Б. Чичибабина в архиве Л. Карась-Чичибабиной.

Капустин Георгий Александрович (1918–1991) – музыкант, писал стихи, друг Б. Чичибабина.

«НЕ ТО ДОБРО, ЧТО Я СТИХОМ...»

Печ. по: МШ, с. 56. Впервые: Мол, с. 11.

Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) – русский прозаик, любимый писатель Б. Чичибабина. См. РиП, с. 306–323. «...Во второй книжке Пришвина нашлось для меня кое-что новое, еще нечитанное мною, и поэтому я был попросту счастлив. Такие вещи еще могут доставить мне счастье...» (письмо 10-е).

Бажов Павел Петрович (1879–1950) – русский писатель, автор «сказов».

АВТОБИОГРАФИЯ

Печ. по: МШ, с. 14. Впервые вар.: Мол, с. 13.

...от Свифта сбежавший Гулливер. – Свифт Джонатан (1667–1745) – ирландский писатель, автор романа «Путешествия Гулливера». Существует несколько вариантов стихотворения, один из них опубликован в РиП, с. 81.

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

Единственное стихотворение Б. Чичибабина о школьных годах, на фоне общественной жизни тех лет.

Чапаев... подпольщик Максим. – См. примеч. к стихотворению «Я родом оттуда...».

Постышев Павел Петрович, *Косиор* Станислав Викентьевич – советские государственные и партийные деятели, вожди Украинской коммунистической партии. Оба были репрессированы и расстреляны.

Ира Цехмистро – Ирина Кузьминична Цехмистро, одноклассница Б. Чичибабина.

...не сдается Мадрид. – Гражданская война в Испании 1936–1939.

No pasaran (они не пройдут) – знаменитый лозунг Долорес Ибаррури – участницы революционного движения в годы Гражданской войны в Испании, деятель испанского и международного коммунистического движения.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭРЕНБУРГЕ

Печ. по: ЦвК, с. 98. Впервые: Аврора. 1993. № 1. С. 130. Датируется по кн.: *Фрезинский Б.Я.* Почта Ильи Эренбурга. М., 2006. С. 526.

Илья Григорьевич, мальчишка... – Образ лежит в русле чичибабинских представлений о поэте как ребенке (см. примеч. к стихотворению «Поэт – что малое дитя...»).

Совела. – Советь – впадать в полусонное, расслабленное состояние (простонар.).

Марина – Цветаева; в 1921 г. Эренбург помог ей разыскать мужа, заброшенного войной в Константинополь; благодарная Цветаева посвятила ему цикл стихотворений «Сугробы». В 1960 г. Эренбург поместил воспоминания о Цветаевой во вторую книгу мемуаров «Люди, годы, жизнь» (в 1960–1965 г. эти воспоминания публиковались в журнале «Новый мир»).

ПУШКИН – ОДИН

Печ. по автографу Б. Чичибабина (хранится в архиве Л. Карась-Чичибабиной). Впервые: Москва. 1988. № 10. С. 5. Аналогичный вариант в МШ. В рукописный автограф Б. Чичибабин внес изменения. В опубликованных вариантах: в 3-й строфе, 3-я и 4-я строки: «...мы берем его том и, как в Шушенском Ленин, / веселеем от пушкинских дум»; в 4-й строфе первые четыре строки: «А ведь разумом Пушкин-то с Лениным сходен, / словно свет их один породил, / и, чем больше мы связи меж ними находим, / тем светлее заря впереди».

Вера, надежда, любовь. – Основные христианские добродетели.

ГАРМОНИЯ

Печ. по: МШ, с. 35. Первоначальные варианты: Мол, с. 17; Гар, с. 23. Стихотворение дало название сборнику 1965 г.

НА СУМЕРЕЧНОЙ ЛЕСТНИЦЕ...

Печ. по кн.: 82 сонета..., с. 11. Впервые: Аврора. 1993. № 1. С. 3.

«ЗОВУ ТЕБЯ, НЕ РАЗМЫКАЯ ГУБ...»

Печ. по: МШ, с. 134. Впервые: МиС, с. 66. Посвящено Ларисе Богораз. См. примеч. к стихотворению «Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали...».

Лаура – возлюбленная Петрарки, воспетая в его многочисленных произведениях; ассоциация вызвана близостью имен Лариса и Лаура.

«СКОЛЬКО Б НИ БРОДИЛОСЬ, НИ ТРЕПАЛОСЬ...»

Печ. по: МШ, с. 64. Первоначальный вариант в Гар, с. 25 с изменением слова «марусь» (в Гар. – Марусь, Б. Чичибабин был вынужден обманывать цензуру).

«маруси». – Здесь: машины для перевозки арестованных, также называвшиеся воронками. С 1930-х годов этот образ входит в русскую поэзию, ср. в «Реквиеме» Ахматовой: «Звезды смерти стояли над нами, / И безвинная корчилась Русь / Под кровавыми сапогами / И под шинами черных марусь». А также: «Затем, что и в смерти блаженной боюсь / Забыть грохотание «черных марусь».

«Я ПО ТЕБЕ ГРУЩУ, ДУХОВНОСТЬ...»

Печ. по: МШ, с. 177.

Се аз. – Это я (церк.-слав.).

Я весь добра и света весть. – Аллюзия к строке А. Блока «Он весь – дитя добра и света» («О, я хочу безумно жить...»).

МОЛИТВА

Печ. по: МШ, с. 94. Впервые: К89, с. 8. Стихотворение опирается на высокие образцы русской лирики, приравнивающие труд поэта к духовному подвигу (ср. «Молитву» («Дай мне горькие годы недуга...») Ахматовой, «Готовность» Волошина и др.).

СЕРЕДИНА ДВАДЦАТОГО ВЕКА

1960. Печ. по: ЦвК, с. 29.

Как с судна на бал. – Сразу, внезапно; вариант фразеологизма «с корабля на бал», восходящего к тексту пушкинского романа «Евгений Онегин» (ср. «...Он возвратился и попал, / Как Чацкий, с корабля на бал»).

Зоревая волна. – Здесь: военная тревога (от «зо́ря» – военный сигнал, играть зорю); аллюзия на выражение «девятый вал» (символ грозной опасности).

ТАРАС

Печ. по: МШ, с. 95. Впервые: Гар, с. 38 (вар.).

Тарас – Т.Г. Шевченко; см. примеч. к стихотворению «Поэты».

Бодлер Шарль – см. примеч. к стихотворению «Поэты».

Кос-Арал – остров в северо-восточной части Аральского моря.

Кобзарь – утвердившееся в украинской культуре «второе имя» Шевченко (от перифраза «автор "Кобзаря"»).

Чернеча гора (Тарасова гора) – гора возле Канева, место захоронения Шевченко.

«Заповит» – см. примеч. к стихотворению «Искусство поэзии».

«НЕ МУЧУСЬ ПО ТЕБЕ, А ПРАЗДНУЮ ТЕБЯ...»

Печ. по: ПА, с. 47. Со слов М. Рахлиной, стихотворение посвящено киевской приятельнице Изольде Андроповой, хотя на одном экземпляре ПА Б. Чичибабин сделал надпись: «Лиличке, ей же и писалось».

А.И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Печ. по: К89, с. 116. Впервые: Горизонт. 1989. № 7. С. 38.

«На то и гений, чтоб быть орудием добра...» – Развитие пушкинского тезиса «Гений и злодейство – две вещи несовместные» («Моцарт и Сальери»).

Яснополянец. – Здесь: Л.Н. Толстой.

Упырствуют – неологизм.

...с ошметком вольности в горсти... – Ср. вольность как осевое понятие классической русской литературы (оды «Вольность» Радищева, Пушкина).

...во лбы волнение вожги!.. – Аллюзия к строке пушкинского стихотворения «Пророк»: «Глаголом жги сердца людей».

Творит в Рязани Солженицын... – См. примеч. к стихотворению «Фантастические видения в начале семидесятых».

Иван Денисович – имя героя повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» означает здесь: обычный человек, человек из народа.

СОЖАЛЕНИЕ

Печ. по: К89, с. 114. Впервые: Горизонт. 1989. № 7. С. 38. Этим стихотворением не исчерпывается отношение Б. Чичибабина к А.Н. Толстому; см. стихотворение «Как Алексей Толстой и Пришвин...». Гар., с. 27 и РиП, с. 315 (письма из Вятлага), где А.Н. Толстой назван в числе любимых прозаиков.

«ЖИЗНЬ – КОМУ СЫТО, КОМУ РЕШЕТО...»

Печ. по: К91, с. 112. Впервые: Огонек. 1988. № 36. С. 21. (вариант «сито» вместо «сыто» – по-видимому, эти варианты существовали в сознании Б. Чичибабина как равноправные, что подтверждается несколькими автографами). Неоконченное стихотворение, посвященное Мандельштаму.

«СТОЮ ЗА ПРАВДУ В МЕРУ СИЛ...»

Печ. по К89, с. 144. В 1974 г. Солженицын был выдворен из СССР; в этом же году вынужденно эмигрировал Галич.

ИЗ СОНЕТОВ ЛЮБИМОЙ

Полностью «Сонеты любимой» опубликованы в книге «82 сонета и 28 стихотворений о любви». Здесь печатаются сонеты, не вошедшие в книгу «В стихах и прозе».

«ЗА ЧАШЕЙ БЕД ВКУСИЛ Я ЧАШУ СРАМА...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 64. «Чашей бед» Б. Чичибабин, по-видимому, называет время пребывания на Лубянке и в Вятлаге, «чашей срама» – первые годы творчества, когда он, по позднейшему признанию в письме Г. Померанцу и З. Миркиной, вполне испытал «чувство панели» и выпускал «омерзительные книжки» (см. П, с. 94).

...Я мнил себя привратником у храма... – Эта ритуальная ситуация, как и многочисленные библейские образы, служат здесь разоблачению коммунистической «религии».

«А ТЫ В ТО ВРЕМЯ ДЕВОЧКОЙ В СИБИРИ...»

Впервые: К89, с. 56. Печ. по: 82 сонета..., с. 65. Сонет построен по контрасту с предыдущим: сознание мятущегося героя обнаруживает свою ущербность в сравнении с миром героини-девочки, растущей вдали от сует века.

«ИДУ НА ЗОВ. НЕ СПРАШИВАЙ ОТКУДА...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 69.

Ты в снах любви, как лебедь, белогруда... – в любовной лирике Б. Чичибабин не раз обращался к образу пушкинской царевны Лебедь, одному из символов Вечной Женственности.

«ТЕБЕ В ТО ЛЕТО СНИЛАСЬ ЛОРЕЛЕЯ...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 70.

Лорелея. – См. примеч. к стихотворению «Ни черта я не пришелец...».

«НЕ ВСТРЯНУ В ЗЛО, НЕ СТРУШУ, НЕ СОЛГУ...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 76.

«И МЫ УКРЫЛИСЬ ОТ СУЕТ МИРСКИХ...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 95. Впервые: Лит. газета. 1990. 3 окт. С. 8. Стихотворение написано под впечатлением от посещения мастерской Э. Неизвестного.

Мироподобья – неологизм.

«ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ, БУДЬ ВАМ ЗЛО ВО БЛАГО!..»

Печ. по: 82 сонета..., с. 96. Впервые: Лит. газета. 1990. 3 окт. С. 8. См. примеч. к предыдущему стихотворению.

...будь Вам зло во благо... – Э. Неизвестный был в опале после разгромного выступления Н. Хрущева (1962).

«КАКАЯ ТЫ – НЕ ВЕДАЕТ НИКТО...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 105.

...ласточка надежды... – Образ ласточки в этом цикле окрашен мандельштамовскими интонациями (ср. его знаменитую «Ласточку», где в подтексте задается присутствие Н.Я. (Надежды!) Мандельштам).

«В ЧЕМ НЕТ ДУШИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНО...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 113.

Ты – Мандельштама лучшая строка... – Подводя итог многочисленным мандельштамовским «следам» в «Сонетах любимой», необходимо признать, что глубин-

ным подтекстом для такого сближения была любовь к поэзии Мандельштама жены поэта (о любви к ней самого Б. Чичибабина уже не раз говорилось).

«УСЛЫШЬ МОЕ ЗАВЕТНОЕ УСЛОВЬЕ...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 115.

...лето на Оби... – Л. Карась-Чичибабина не раз рассказывала Б. Чичибабину о сибирских лесах и реках, вблизи которых она выросла.

...с душой Христа и телом Афродиты. – Постоянный мотив сонетов – молитвенное преклонение перед красотой, прозрение единства земной и небесной любви.

«ИЗДАВНИЛОСЬ ПОНЯТЬЕ “ПАТРИОТ”...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 115.

«КОГДА УЙДЕШЬ, – А РАНО ИЛИ ПОЗДНО...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 126.

...за все, за все тебя благодарю... – Аллюзия к первой строке стихотворения Лермонтова «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я...»).

ГЕНРИХУ АЛТУНЯНУ

Печ. по: К91, с. 188.

Генрих Алтунян – известный харьковский правозащитник (см. примеч. к стихотворению «9 января 1980 года»).

ЛЕСЯ В ЯЛТЕ

Печ. по: ССт, с. 346. Впервые: Донбасс. 1991. № 1. С. 6. Приехав в Ялту летом 1983 г., Чичибабины сняли жилье неподалеку от памятника Лесе Украинке, который вдохновил Б. Чичибабина.

«Здоровый дух в здоровом теле». – В советские годы выражение «в здоровом теле здоровый дух» часто употреблялось со ссылкой на римского поэта Ювенала, однако в контексте его 10-й сатиры афоризм имеет принципиально иное значение: «Эх, если бы в здоровом теле и дух был здоровый!».

...женщина с Волыни. – Леся Украинка родилась на Волыни в городе Новоград-Волынском.

В краю, где Пушкин и Мицкевич. – Оба поэта бывали в Крыму и воспели его в своих произведениях.

У чатырдагского подножья – у подножья горы Чатырдаг.

ЗА НАДСОНА

Печ. по: К89, с. 259. Впервые: Волга. 1989. № 8. С. 10. Б. Чичибабин нашел у друзей старое издание стихотворений Надсона С.Я., которое взял с собой в отпуск (см. примеч. к стихотворению «Паустовскому»).

...девять крылатых сестричек... – Девять муз древнегреческой мифологии.

...не таить же врученный светильник... – Аллюзия к Нагорной проповеди Христа.

ЕЩЕ О ПЕТРЕ

Печ. по: ЦвК, с. 11. Впервые: Апрель. 1991. Вып. 4. С. 8. В одном из писем Г. Померанцу Б. Чичибабин пообещал написать стихотворение о «хорошем» Петре, но все же не смог. См. примеч. к стихотворению «Проклятие Петру».

Хоть за Прут уйти б... – Б. Чичибабин поминает Петру так называемый Прутский поход (1711), когда непродуманные, по существу авантюристические действия Петра в войне против турок завершились тяжелым поражением. Русская армия была окружена, и сам царь избежал плена лишь благодаря согласию везира Баталджи-паши на мирные переговоры, которые завершились унизительным для России Адрианопольским мирным договором (1713).

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЛГЕ

Печ. по: ССт, с. 397. Впервые: Волга. 1989. № 8. С. 4 (вариант). В 1948 г. Б. Чичибабин по этапу был переведен из тюрьмы в Вятлаг (Кировская обл.).

Стенькам и Емелькам. – От С. Разина и Е. Пугачева; здесь: народным предводителям, искавшим вольной жизни на Волге.

По той ли шири странствовал Островский... – А.Н. Островский был участником литературной экспедиции по Волге; на «волжском» материале были написаны драмы «Гроза» и «Бесприданница».

ДУМА О КАРАБАХЕ

Печ. по: ССт, с. 388. Впервые: Лит. Армения. 1991. № 10. С. 6. Стихотворение написано в связи с событиями в Нагорном Карабахе (политический конфликт между Азербайджаном и Арменией).

...сумгаитский погром... – Армянский погром, произошедший в азербайджанском городе Сумгаит в 1988 г.

Я солдатом служил. – Имеются в виду годы воинской службы Б. Чичибабина в Закавказье (1942–1945).

«О, ЗЛЫЕ СКРИЖАЛИ...»

Печ. по: ЦвК, с. 137. Впервые: Звезда. 1991. № 2. С. 37. См. примеч. к предыдущему стихотворению.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ЛЮБИМЫМ АРТИСТОМ И СКРОМНЫМ АВТОРОМ В УГЛУ

Печ. по: ЦвК, с. 102. Впервые: Аврора. № 1. 1993. С. 132. Стихотворение написано к 75-летию З.Е. Гердта (1916–1996).

АБХАЗИЯ – ПЕЙЗАЖ С РАСПЯТИЕМ

Печ. по: ЦвК, с. 134. Впервые: Время (Харьков). 1992. 14 нояб. Грузино-абхазский конфликт в августе 1992 г. привел к жертвам с обеих сторон. Б. Чичибабин вспоминает мирную Абхазию, где отдыхал в 1982 г.

Искандер Фазиль Абдулович – русский и абхазский писатель.

«МНЕ ЧУЖД АЗАРТ НЕВЕЖД И КРАСНОБАЕВ...»

Печ. по: 82 сонета..., с. 46. Впервые: Новый мир. 1992. № 8. С. 4. Видя, как быстро люди меняют свои убеждения, Б. Чичибабин, с присущим ему максимализмом, брал на себя ответственность за события прошлого.

«ИСТОРИЯ ДАВЕЧА ВСКРЫЛА СЛЕДЫ...»

Печ. по: ЦвК, с. 160. Впервые: Благотворительная газета (Симферополь). 1992. № 30. С. 2. См. примеч. к стихотворению «С Украиной в крови я живу на земле Украины...».

Прощенья пчелиным полянам. – О символе пчелы у Б. Чичибабина см. примеч. к стихотворению «И опять – тишина, тишина, тишина...». Очевидно, в данном случае актуализируется значение пчелы как гостьи из потустороннего мира.

ОРЛИНЫЕ ЭЛЕГИИ

Печ. по: ССт, с. 451 (автограф находится в собрании Л. Карась-Чичибабиной). Впервые две элегии: Сельская молодежь. 1993. № 11–12. С. 9. Горькое разочарование Б. Чичибабина политикой новой России породило к жизни этот цикл политических памфлетов.

Жорна (укр.) – каменный жернов для помола; так образно названы орлиные глаза.

Волоса фелицат. – Фелицата – христианская мученица во II в. Волосы, возможно, обобщенный образ: некоторые христианские мученицы шли на казнь, прикрывая свою наготу прядями длинных волос.

Византийский старик. – Намек на происхождение двуглавого орла в Византийской империи.

Подполия. – Вслед за Достоевским Б. Чичибабин имеет в виду темные глубины человеческой психики.

Тырса – смесь песка и опилок для посыпания цирковой арены.

Слово Игорево. – Здесь: «Слово о полку Игореве».

Кармелюк. – См. примеч. к стихотворению «А я живу на Украине...».

Слобожанский воробей. – Термин «Слобожанская» или «Слободская» Украина (позднее – Харьковщина) бытовал в XVIII – начале XIX вв.: тогда было утверждено официальное название «Слободско-Украинская губерния; ее основу составляла Харьковская губерния с присоединением некоторых южных районов нынешних Воронежской и Белгородской областей.

СКАЗАНО В КИЕВЕ

Печ. по: ССт, с. 793 (автограф хранится в собрании Л. Карась-Чичибабиной).

«А КАК ЖЕ ТЫ, ЧЕЙ СВЕТ НЕ ОПЕЧАЛЮ...»

Печ. по: ССт, с. 526. Впервые: Новое русское слово (Нью-Йорк). 1994. 26–27 февр. С. 11. Последний сонет, посвященный жене.



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

Я РОДОМ ОТТУДА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Чичибабин Б.А.

В стихах и прозе / Борис Чичибабин ; изд. подгот. Л.С. Карась-Чичибабина, Л.Г. Фризман ; [отв. ред. Б.Ф. Егоров]. – М. : Наука, 2013. – 567 с.– (Литературные памятники). – ISBN 978-5-02-038097-4

Публикуемый сборник Б. Чичибабина был составлен автором незадолго до кончины, но опубликован уже посмертно, в 1996 г. В него вошли произведения, написанные в 1942–1994 гг. Для настоящего издания, приуроченного к 90-летию со дня рождения Б. Чичибабина, составителями была проведена текстологическая проверка всех произведений издания 1996 г., в раздел «Дополнения» включены еще 61 стихотворение и две анкеты – «Ахматовская» и «Некрасовская». Издание иллюстрировано фотографиями из семейного архива Б. Чичибабина.

Для широкого круга читателей.

Научное издание

БОРИС ЧИЧИБАБИН

В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Утверждено к печати редколлегией серии «Литературные памятники»

Редактор *Н.Д. Александрова.* Художник *В.Ю. Яковлев*
Технический редактор *Т.А. Резникова.* Корректоры *А.Б. Васильев, Р.В. Молоканова*

Иллюстрации воспроизведены в соответствии с представленными оригиналами

Подписано к печати 11.10.2013. Формат 70 × 90 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс. Печать офсетная
Усл.печ.л. 42,8. Усл.кр.-отт. 45,0. Уч.-изд.л. 34,8. Тип. зак. 3935

Издательство «Наука». 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru www.naukaran.ru

Первая Академическая типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12/28